95+83
П69

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[3] 2006

РОМАН НИКОЛЬ КРАУСС "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" / СТИХИ ПАТРИКА КАВАНАХА / ПОВЕСТЬ АМЕЛИ НОТОМБ "ЛЮБОВНЫЙ САБОТАЖ" / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ПАСКАЛЯ БРЮКНЕРА "ВЕЧНАЯ ЭЙФОРИЯ. ЭССЕ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ СЧАСТЬЕ" / НОВЫЙ ВЫПУСК РУБРИКИ "ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕССА МИРА"

Основан в 1891 году

19 января в редакции журнала состоялась церемония вручения премий "ИЛ" за 2005 год

Премия *ИЛлюминатор* присуждена Нине ШУЛЬГИНОЙ за многолетнюю и плодотворную работу по переводу чешской и словацкой прозы.

Премия *Инолит* присуждена Владимиру БОШНЯКУ за перевод романа Тони Моррисон "Любовь" (№ 9).

Премия *Инолиттл* присуждена Ольге СЕДАКОВОЙ за перевод стихов Пауля Целана и эссе "Пауль Целан. Заметки переводчика" (№ 4).

Премия имени А. М. Зверева — молодому критику, автору статей и рецензий о переводной литературе — за 2005 год присуждена Константину МИЛЬЧИНУ.

Почетный *диплом критики зоИЛ* присужден Ирине ЛАППО за перевод романа Дороты Масловской "Польско-русская война под бело-красным флагом" (№ 2).

[3]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Амели Нотомб *Любовный саботаж.* Повесть. Перевод с французского Оксаны Чураковой

65 Патрик Каванах *Стихи.* Перевод с английского и вступление Г. Стариковского

71 Николь Краусс *История любви.* Роман. Перевод с английского Е. Левенсон

Статьи, эссе

218 Паскаль Брюкнер *Вечная эйфория. Эссе о принудительном счастье.* Фрагменты книги. Перевод с французского Натальи Мавлевич

Литературная пресса мира

234 Антон Нестеров *Радуга критического притяжения.* О чем пишут англоязычные критики: осень–зима 2005 года

Carte blanche

245 Леонид Костюков *Мировая литература*

Среди книг

248 Андрей Мороз *Парад сербской поэзии.* Борис Хазанов *Ежедневный труд свободы*

БиблиофИЛ

254 *Издательские планы. Об опере барокко, эстетике смерти и вечной эйфории.* Серия "Studia Europaea", Издательство Ивана Лимбаха. Материал подготовила Светлана Силакова

260 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

262 *"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках начала 2006-го.* Выбор главного редактора

Курьер "ИЛ"

266

Авторы номера

270

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года —
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

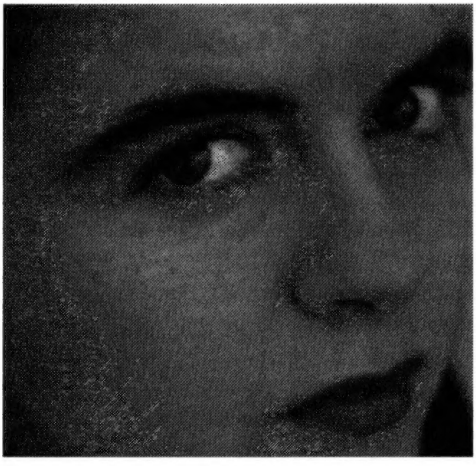
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Амели Нотомб



Любовный саботаж

Повесть

Перевод с французского Оксаны Чураковой

ПУСТИВ моего коня галопом, я гарцевала среди вентиляторов.

Мне было семь лет. Не было ничего приятнее, чем избыток воздуха в голове. Чем быстрее я мчалась, тем сильнее свистел ветер, сметая все на своем пути.

Мой скакун вырвался на простор на площади Великого Вентилятора, в просторечии называемой площадью Тяньаньмэнь[1], и свернул направо на бульвар Обитаемого Уродства.

Держа поводья одной рукой, другой я изображала собственное величие, лаская по очереди круп коня и пекинское небо.

Элегантность моей посадки восхищала прохожих, плевки на асфальте — ослов и вентиляторы.

Мне незачем было пришпоривать скакуна. Китай создал его по моему образу и подобию — он был горяч и быстр. Его вдохновлял собственный пыл и восторги толпы.

С первых дней я поняла главное: все, что не красиво в Городе Вентиляторов, то уродливо.

А значит, уродливым было почти все.

И конечно красивее всех на свете была я.

© Éditions Albin Michel S. A., 1993
© Оксана Чуракова. Перевод, 2006
Переводчик благодарит профессора И. С. Смирнова за научную консультацию по цивилизации Китая.

1. Площадь Ворот Небесного Спокойствия в Пекине. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Дело не в том, что эта семилетняя плоть, кожа, кости и волосы могли затмить собой ангелов из садов Аллаха или из гетто международного сообщества.

Прекрасны были моя долгая павана средь бела дня, бег моего скакуна и моя голова, подобная парусу, надутому дыханием вентиляторов.

Пекин пах детской рвотой.

На бульваре Обитаемого Уродства только стук копыт мог заглушить покашливания, запрет на общение с китайцами и пугающую пустоту взглядов.

Поравнявшись с оградой, конь замедлил бег, чтобы часовые могли меня опознать. Как и всегда, я не внушила им подозрений.

Я проникла на территорию гетто Саньлитунь, где жила со времен изобретения письменности, то есть уже примерно два года эпохи неолита, в период правления "банды четырех"[1].

"Мир — это все, что имеет место", — писал Витгенштейн[2] в своих замечательных трудах.

В 1974 году Пекин не имел места. Не знаю, можно ли выразиться точнее.

В семь лет я не читала Витгенштейна. Но еще раньше, чем я прочла вышеупомянутое умозаключение, я и сама сделала вывод, что Пекин мало походил на прочий окружающий мир.

Я приспособилась к нему. У меня был конь, а мой мозг жадно всасывал воздух.

У меня было все. И сама я была вечным приключением.

Только в Великой китайской стене я чувствовала родственную душу. Она была единственной человеческой постройкой, которую видно с Луны, и уж она-то уважала мое величие. Она не ограничивала взгляд, но устремляла его в бесконечность.

Каждое утро рабыня приходила причесывать меня.

Она не знала о том, что она моя рабыня, и считала себя китаянкой. На самом деле у нее не было национальности, ведь она была моей рабыней.

До переезда в Пекин я жила в Японии, где рабы были самые лучшие. В Китае рабы так себе.

В Японии, когда мне было четыре года, моя рабыня боготворила меня. Она часто простиралась передо мной ниц, и это было приятно.

Пекинскую рабыню этому не учили. Утром она приходила расчесывать мои длинные волосы, которые драла безбожно. Я вопила от боли и мысленно награждала ее сотней ударов бича. Затем она заплетала мне одну или две восхитительные косы. Древнее искусство плетения кос в Китае ничуть не пострадало во время "культурной революции". Я предпочитала одну косу. Мне казалось, что такая прическа больше подходит персоне моего ранга.

Китаянку звали Чжэ. Такое имя я считала недопустимым и велела ей зваться очаровательным именем моей японской рабыни. Но она только

1. Название политической группировки в Китае во главе с женой Мао Цзэдуна — Цзян Цин.
2. Людвиг Витгенштейн (1889—1951) — австрийский философ и логик, представитель аналитической философии.

недоуменно воззрилась на меня и продолжала называться Чжэ. С тех пор я поняла, что в политике этой страны был какой-то изъян.

Некоторые страны действуют на вас как наркотик. Китай — именно такая страна. Она обладает удивительной способностью делать претенциозными не только тех людей, которые там побывали, но и всех, кто о ней говорит.

Самодовольство побуждает к творчеству. Отсюда и огромное количество книг, написанных о Китае. Подобно стране, вдохновившей авторов, книги эти либо очень хороши (Лейс[1], Сегален[2], Клодель[3]), либо из рук вон плохи.

Я тоже не стала исключением из правила.

Китай сделал меня чрезвычайно самодовольной.

Но у меня есть оправдание, к которому мало кто из дешевых синоманов может прибегнуть: мне было пять лет, когда я приехала в страну, и восемь, когда я ее покинула.

Очень хорошо помню тот день, когда узнала, что поеду в Китай. Мне едва исполнилось пять, но я уже поняла главное — мне будет чем похвастаться.

У этого правила нет исключений: даже самые ярые хулители Китая, если им предстоит туда отправиться, чувствуют себя так, будто им предстоит посвящение в рыцари.

Ничто так не придает веса человеку, как непринужденные слова "я был в Китае". И даже сегодня, если я чувствую, что кто-то недостаточно мной восхищается, то посреди фразы небрежно вставляю: "Когда я жила в Пекине..."

В этом действительно есть нечто особенное, потому что, в конце концов, я могла бы с таким же успехом сказать "когда я жила в Лаосе", что само по себе звучит более экзотично, но все же не так шикарно. Китай — это классика, неоспоримая, как "Шанель № 5".

Не все объясняется снобизмом. Очень много значат наше воображение и мечты. Путешественник, приезжающий в Китай, не заблуждаясь насчет этой страны, столкнется здесь с кошмаром.

У моей матери всегда был самый счастливый в мире характер. В тот вечер, когда мы прибыли в Пекин, его уродство поразило ее до слез. А ведь она никогда не плакала.

Конечно, был еще Запретный Город[4], Храм Неба[5], Ароматные горы[6], Великая стена, могилы эпохи Мин[7]. Но все это было по воскресеньям.

1. Симон Лейс (р. 1935) — бельгийский писатель, синолог, автор произведений "Новый наряд президента Мао", "«Культурная революция» в народном Китае".
2. Виктор Сегален (1878–1919) — французский поэт, этнограф-любитель, путешественник по Индии и Китаю.
3. Поль Клодель (1868–1955) — французский поэт, драматург и дипломат.
4. Территория бывшего императорского дворца Гугун в центре Пекина.
5. Храм Неба (Тяньтань) — сооруженный в XV–XVI вв. культовый комплекс, где императоры Минской и Цинской династий приносили дары Небу и молились о богатом урожае.
6. Ароматные горы — Сяншань. Самая высокая точка — камень Жуфэнши, по форме напоминающий курительницу благовоний, который и дал название парку.
7. Захоронения династии Мин (1368–1644) в 50 км к северу от Пекина.

В остальные дни недели были грязь, безнадежность, бетонированное пространство, гетто и постоянный надзор — все те достижения, в которых китайцы не имели себе равных.

Ни одна страна не ослепляет до такой степени. Люди, покидающие ее, рассказывают лишь о ее великолепии. Сами того не желая, они забывают о всепроникающем убожестве, которого не могли не заметить. Странное дело. Китайская республика похожа на ловкую куртизанку, которой удается заставить своих любовников забыть о ее бесчисленных физических недостатках, даже не скрывая их, и привязать к себе своих возлюбленных еще крепче.

Двумя годами раньше мой отец с важным видом получил свое назначение в Пекин.

Я и подумать не могла о том, чтобы покинуть деревню Сюкугава[1], горы, дом и сад.

Отец объяснил, что гораздо важнее было другое. По его словам, Китай — страна, у которой не все в порядке.

— Там идет война? — с надеждой спросила я.

— Нет.

Я надула губы. Меня увозят из обожаемой Японии в страну, где даже нет войны. Конечно, Китай — это звучит здорово. Что-то в этом есть. Но как же Япония обойдется без меня? Куда смотрит министерство?

В 1972 году мы уезжаем. В доме неспокойно. Упаковывают моих плюшевых медведей. Я слышу, как говорят, что Китай — коммунистическая страна. Надо будет над этим поразмыслить. Но сейчас есть дела поважнее: дом пустеет, исчезают заполнявшие его вещи. В один прекрасный день не остается совсем ничего. Пора ехать.

Пекинский аэропорт: нет сомнений, это другая страна.

По неясным причинам наш багаж не прибыл вместе с нами. Нужно несколько часов ждать в аэропорту. Сколько часов? Два, четыре, а может быть, двадцать? Одна из прелестей Китая в его непредсказуемости.

Прекрасно. У меня есть время осмотреться. Я прогуливаюсь по аэропорту с инквизиторским видом. Меня не обманули: эта страна сильно отличается от Японии. Не могу точно сказать, в чем разница. Здесь все некрасиво, но такой некрасивости я еще никогда не видела. Наверное, есть какое-нибудь слово, чтобы описать это убожество, но я его пока не знаю.

Мне интересно, что скрывается за словом "коммунизм". Мне пять лет, и мое чувство собственного достоинства слишком велико, чтобы спрашивать об этом у взрослых. В конце концов, научилась же я говорить без посторонней помощи. Если бы мне пришлось спрашивать о значении каждого слова, я бы до сих пор не овладела речью. Я сама поняла, что "собака" означает собаку, а "злодей" — злодея. Так зачем же мне нужен кто-то, чтобы понять еще одно слово?

Тем более что, скорее всего, в нем нет ничего сложного. Есть тут что-то особенное, и я пытаюсь понять, что именно: все люди одеты одинаково, свет такой же, как в больнице Кобе, а еще...

1. Деревня в провинции Кансай в Японии, где А. Нотомб провела первые детские годы.

Но не будем спешить с выводами. Коммунизм здесь, это ясно, но не стоит слишком поспешно давать ему определение. Это дело серьезное, ведь речь идет о слове.

И все-таки что же здесь самое странное?

И тут силы покинули меня. Я легла на плиточный пол аэропорта и сразу уснула.

Просыпаюсь. Не знаю, сколько времени я спала. Родители все еще ждут багаж, и вид у них слегка удрученный. Мои брат и сестра спят на полу.

Я забыла про коммунизм. Мучает жажда. Отец дает мне денег, чтобы я купила себе попить.

Прогуливаюсь туда-сюда. Здесь нет разноцветных газированных напитков, как в Японии. Продают только чай. И я делаю вывод: "Китай — это страна, где пьют чай". Ладно. Подхожу к маленькому старичку, который продает это пойло. Он протягивает мне кружку обжигающего напитка.

С огромной кружкой я сажусь на пол. Чай на вкус крепкий и очень необычный. Такого я никогда не пробовала. За несколько секунд он опьяняет меня. Это мое первое в жизни опьянение, и оно мне очень нравится. В этой стране меня ждут великие дела. Я прыгаю по аэропорту и верчусь как юла.

И вдруг я сталкиваюсь нос к носу с коммунизмом.

Когда наконец прибывает багаж, на улице уже темно.

Мы едем в машине, вокруг нас бесконечно странный мир. Время близится к полуночи, улицы широки и безлюдны.

У родителей все еще удрученный вид, а брат и сестра удивленно озираются вокруг.

От теина у меня в голове настоящий фейерверк. Стараясь не выдать себя, я дрожу от возбуждения. Все кажется грандиозным, начиная с меня самой. Мысли играют в голове в чехарду.

Я не чувствую, что мой экстаз неуместен. Китай "банды четырех" и я существуем в разных измерениях, и так будет продолжаться три года.

Машина прибывает в гетто Саньлитунь. Гетто окружено высокими стенами, а стены — китайскими солдатами. Здания похожи на тюрьму. Нам отведена квартира на пятом этаже. Лифта нет, а лестничные площадки залиты мочой.

Поднимаемся наверх с чемоданами. Мать плачет, а я понимаю, что было бы невежливо демонстрировать сейчас мой восторг, и сдерживаю себя.

Из окна моей новой комнаты Китай выглядит до смешного безобразным. Я снисходительно гляжу на небо и прыгаю на кровати.

"Мир — это все, что имеет место", — писал Витгенштейн.

Если верить китайским газетам, в Пекине имели место разного рода поучительные события.

Проверить это было невозможно.

Каждую неделю дипломатическая почта доставляла в посольства национальные газеты. Статьи, посвященные Китаю, походили на новости с другой планеты.

Циркуляр ограниченного тиража распространялся среди членов китайского правительства, а также, по нелепой необходимости соблюдать гласность, среди иностранных дипломатов: его печатали там же, где и "Ежедневный народный вестник"[1], и новости в этих двух изданиях сильно различались. Новостями из циркуляра не приходилось гордиться, и их нельзя было выдать за "настоящие": во времена правления "банды четырех" создатели разных новостей зачастую сами путались в них. Для иностранного сообщества тем более было трудно разобраться в этой путанице. И многие дипломаты признавались, что, в сущности, они ничего не знали о том, что происходит в Китае.

Отчеты, которые они писали в свои министерства, были верхом литературного творчества за всю историю их карьеры. Много писательских талантов родилось тогда в Китае, и по вполне понятной причине.

Если бы Бодлер знал, что там, "где-то вдали от этого мира", он столкнется с этой гремучей китайской смесью правды, лжи и полулжи-полуправды, уверена, он не стал бы желать этой встречи с таким пылом.

В 1974 году живя в Пекине, я не читала ни Витгенштейна, ни Бодлера, ни "Жэньминь жибао".

Я мало читала, у меня было слишком много дел. Пусть читают эти бездельники взрослые. Надо же их чем-то занять.

А у меня были дела поважнее.

Был конь, занимавший три четверти моего времени.

Была толпа, которую нужно восхищать.

Была репутация, которую нужно сохранять.

И легенда, которой надо себя окружить.

Но важнее всего была война. Ужасная и яростная война в гетто Саньлитунь.

Возьмите ватагу ребятишек самых разных национальностей, заприте их вместе в ограниченном бетонированном пространстве и оставьте без присмотра.

Весьма наивен тот, кто полагает, что ребятня сразу подружится.

Наш приезд совпал с конференцией на высшем уровне, на которой было решено, что Вторая мировая война закончилась неудачно.

Нужно было все переделать, тем более что ничего с тех пор не изменилось и немцы как были врагами, так и остались.

Уж кого-кого, а немцев в Саньлитунь хватало.

Кроме того, последней мировой войне не хватало размаха, а в этот раз армия союзников состояла из всех возможных национальностей, в том числе чилийцев и камерунцев.

Однако среди нас не было ни американцев, ни англичан.

Расизм тут ни при чем, все дело в географии.

Война ограничивалась территорией гетто Саньлитунь, а англичане жили в старом гетто под названием Вайцзяо далу[2]. У американцев была своя резиденция, где они жили вместе с их послом, неким Джорджем Бушем.

1. Газета "Жэньминь жибао".
2. "Проспект, где живут иностранцы" (*кит.*).

Отсутствие представителей этих двух наций в наших рядах нас нисколько не смущало. Можно было обойтись и без них. Но без немцев — никак.

Война началась в 1972 году. В этом году я поняла кое-что очень важное: никто в жизни так не нужен, как враг.

Без врагов человек — жалкое существо, а его жизнь — тяжкое испытание, полное уныния и скуки.

Враг же подобен мессии.

Одного врага достаточно, чтобы человек воспрял духом.

Благодаря врагу это несчастье под названием "жизнь" становится эпопеей.

Христос был прав, говоря: "Возлюби врага своего".

Но он делал из этого нелепый вывод, что нужно примириться со своими врагами, подставить левую щеку и так далее.

Как бы не так! Если помириться с врагом, он станет другом.

А если больше не будет врагов, придется искать новых. И опять все сначала.

Так далеко не уедешь.

Значит, нужно любить своего врага, но не говорить ему об этом. А главное, ни в коем случае не мириться с ним.

Перемирие — это роскошь, которую человек не может себе позволить.

И доказательство тому — новые войны, которыми всегда кончается мирное время.

Мир вредит человечеству, война же влияет благотворно.

А значит, нужно философски смотреть на некоторый вред, наносимый войной.

Ни одна газета, ни одно информационное агентство и ни один учебник истории никогда не рассказывали о мировой войне в гетто Саньлитунь, которая продлилась с 1972 по 1975 год.

Так с юных лет я поняла, чего стоят цензура и дезинформация.

А иначе разве можно было умолчать о трехлетнем военном конфликте, в котором приняли участие десятки наций и во время которого совершались страшные зверства?

Газеты обошли нас вниманием, потому что средний возраст бойцов равнялся десяти годам. Так что ж, дети уже ничего не значат для истории?

После международной конференции 1972 года какой-то ябеда рассказал родителям о том, что мы затеваем войну.

Взрослые поняли, что накал страстей чересчур велик и помешать войне невозможно.

Однако новая война с немцами-детьми могла осложнить отношения с их родителями. В Пекине некоммунистические страны должны были жить в мире друг с другом.

Тогда делегация от родителей выдвинула свои условия: "Пусть будет мировая война, раз уж это неизбежно, но ни один западный немец не должен считаться врагом".

Нас это ничуть не огорчило: нам хватало и восточных немцев.

Но взрослые хотели большего: они требовали, чтобы западных немцев приняли в армию союзников. Мы не могли на это решиться. Ладно, мы не будем их трогать, но сражаться с ними плечом к плечу казалось нам противоестественным. Впрочем, и сами западные немцы не были с этим согласны, в чем и просчитались, потому что им, беднягам, пришлось стать нейтральной стороной и умирать со скуки. (За исключением нескольких предателей, перешедших на сторону Востока: единичные измены, о которых никогда не упоминалось.)

Итак, по мнению родителей, все было в порядке: войну детей они принимали за войну против коммунизма. Я свидетельствую, что дети так никогда не считали. Только немцы были нашими лучшими врагами. Доказательством может служить то, что мы никогда не дрались с албанцами и прочими болгарами из Саньлитунь. Их было мало, и они остались вне игры.

Про русских вообще нечего говорить, они жили в отдельном поселении. Другие страны востока располагались в Вайцзяо далу, кроме югославов, которых нам не за что было преследовать, и румын, которых взрослые заставили нас принять в игру. В те времена считалось хорошим тоном иметь румынских друзей.

Это было единственное вмешательство взрослых в ход войны. И я подчеркиваю, что нам это было совершенно безразлично.

В 1974 году я была самым младшим солдатом Союзной армии, мне было семь лет. Старшему из нас было тринадцать, и он казался мне стариком. Основной костяк составляли французы, но шире всех континентов была представлена Африка: в наших батальонах числились камерунцы, малийцы, заирцы, марокканцы, алжирцы и прочие. Были еще чилийцы, итальянцы и те самые румыны, которых мы не любили, потому что нам их навязали, и которые были похожи на официальную делегацию.

Бельгийцев было трое: мой брат Андре, моя сестра Жюльетт и я. Других детей нашей национальности не было. В 1975 году прибыли еще две очаровательные маленькие фламандки, но они были безнадежными пацифистками, и от них не было никакого толку.

С 1972 года в армии был создан мощный блок из трех самых надежных, как в дружбе, так и в бою, стран: Франции, Бельгии и Камеруна. У камерунцев были чудные имена, они громко разговаривали и все время смеялись, их все обожали. Французы казались нам забавными: с искренним простодушием они просили нас сказать что-нибудь по-бельгийски, отчего мы хохотали. А еще они часто упоминали некоего незнакомца, чье имя — Помпиду — меня ужасно смешило.

Итальянцы были славой или позором армии: среди них было столько же трусов, сколько храбрецов. А их героизм зависел от настроения. Самые отважные из них могли оказаться самыми трусливыми на другой же день после совершенного подвига. Среди них была наполовину итальянка, наполовину египтянка по имени Джиан. Ей было двенадцать лет, рост 170 сантиметров, а вес 65 килограммов. Эта дылда была нашим главным козырем: она одна могла обратить в бегство немецкий патруль; а видели бы вы, как она дралась! Но она продолжала расти, и это сказывалось на ее характере. В те дни, когда Джиан "росла", она была совершенно непригодной и не внушала нам доверия.

Заирцы здорово дрались, жаль только, что дрались они не только с врагами, но и друг с другом. А если мы вмешивались, могло и нам достаться.

Война быстро достигла такого размаха, что стало ясно – без госпиталя нам не обойтись. На территории гетто, недалеко от кирпичного завода, мы обнаружили громадный деревянный ящик для перевозки мебели. Мы вдесятером могли поместиться там стоя.

Было единодушно решено использовать этот ящик под военный госпиталь.

Нам не хватало только медсестер. Мою десятилетнюю сестру Жюльетт сочли слишком красивой и хрупкой, чтобы драться на фронте. Ее назначили санитаркой-врачом-хирургом-психиатром-интендантом, и она со всем прекрасно справлялась. У швейцарских дипломатов она стащила такие целебные средства, как стерильную марлю, меркурохром, аспирин и витамин С, которому приписывала волшебное свойство излечивать от трусости.

Во время одной крупной вылазки нам удалось окружить гараж, принадлежащий семье восточных немцев. Гаражи были важным стратегическим объектом, поскольку взрослые хранили там запасы провизии. А одному богу было известно, как ценились эти продукты в Пекине, где на рынке продавали только свинину и капусту.

В немецком гараже мы отбили у неприятеля ящик с супами в пакетиках и отнесли его в госпиталь. Оставалось только решить, что с ним делать. Состоялся симпозиум по этому вопросу, который постановил, что супы гораздо полезнее в виде порошка. Генералы тайно уединились с санитаркой-врачом и решили, что этот порошок послужит нам панацеей от всех недугов, как телесных, так и душевных. Тот, кто добавит в них воду, предстанет перед военным трибуналом.

Супчики пользовались большим успехом, и госпиталь никогда не пустовал. Симулянтов можно было простить, ведь благодаря Жюльетт больница превратилась в райский уголок. Она укладывала "больных" и "раненых" на матрасы из "Жэньминь жибао", ласково и серьезно расспрашивала об их недугах, пела им колыбельные, обмахивала веером и кормила с ложечки сухими супами. Даже сады Аллаха не могли сравниться с этим раем.

Генералы догадывались об истинной причине болезней, но не осуждали эту хитрость, так как это поддерживало моральный дух солдат и привлекало в наши ряды много новобранцев. Конечно, новые рекруты, вступая в армию, надеялись, что их ранят, но военачальники не теряли надежды сделать из них храбрых вояк.

Мне пришлось проявить настойчивость, чтобы попасть в армию Союзников. Меня считали слишком маленькой. В гетто были другие дети моего возраста и даже младше, но их война пока не интересовала.

Мне помогли храбрость, упорство, безграничная преданность, а главное, резвость моего скакуна.

Последнее достоинство привлекло наибольшее внимание.

Генералы долго совещались между собой. Наконец меня позвали. С дрожью в ногах я явилась в Ставку. Мне объявили, что за маленький рост и проворство меня назначали разведчиком.

— Тем более, ты еще ребенок, враг ничего не заподозрит.

Я даже не обиделась, так велика была моя радость.

Разведчик! Невозможно было придумать лучше, грандиознее и достойнее меня.

Можно было жонглировать этим словом так и этак, оседлать его, как мустанга, повиснуть на нем, как на трапеции: оно оставалось столь же блистательным.

От разведчика зависит существование армии. С риском для жизни он крадется по незнакомой территории в поисках опасности, может случайно наступить на мину, и его разорвет на тысячу частей. Кусочки его геройского тела медленно лягут на землю, нарисовав перед этим в воздухе ядерный гриб, этакое конфетти из плоти. Уцелевшие товарищи по оружию, увидев в небе его останки, воскликнут: "Это был наш разведчик!" А тысяча осколков, поднявшись на приличную для исторического события высоту, замрут на мгновение и приземлятся столь грациозно, что даже враг будет рыдать над моей славной кончиной. Я мечтала так умереть. Этот фейерверк сделал бы из меня легенду на все времена.

Дело разведчика — узнавать и разведывать, проливать свет на то, что скрыто от глаз, освещать неведомое. Нести свет — это было по мне. Я стану настоящим человеком-факелом.

Но переменчивый как Протей[1], разведчик может вдруг стать невидимым и неслышимым. Никем не замеченный, легкой тенью скользит он меж вражеских рядов. Хитрый шпион меняет свой облик, гордый разведчик не опускается до переодеваний. Затаившись в тени, он храбро рискует жизнью.

И когда он вернется в лагерь после смертельно опасной вылазки, его товарищи будут с восхищением и благодарностью внимать его словам. Добытые им сведения бесценны и подобны манне небесной. Когда говорит разведчик, генералы замолкают. Никто не поздравляет его, но восхищенные взгляды вокруг говорят сами за себя.

Никогда ни одно звание не наполняло меня такой гордостью, и никогда ни одну должность не считала я столь достойной меня.

Позже, когда я стану Нобелевским лауреатом в области медицины или мученицей, я без особой досады смирюсь с этими простоватыми титулами, думая о том, что самый славный период моей жизни уже позади, и останусь ему вечно верна. До самой смерти я буду вызывать восхищение простыми словами: "Во время войны в Пекине я была разведчиком".

Я могла бы прочесть Хо Ши Мина в подлиннике, перевести Маркса на хеттский язык, провести стилистический анализ эпанадиплосисов[2] текста "красной книжечки"[3], написать транскрипцию работ Ленина методом УЛИПО[4], но сколько ни размышляла я о коммунизме, я так и не отказалась от вывода, который сделала в возрасте пяти лет.

1. Греческое морское божество, умел принимать облик зверя, воды, дерева, предсказывать судьбу. В переносном смысле — изменчивый, непостоянный человек.
2. Здесь Нотомб смешала лингвистические термины "эпаналепсис" и "анадиплосис".
3. Сборник цитат из речей Мао Цзэдуна.
4. Мастерская экспериментальной литературы, созданная в 1960 г. во Франции Р. Кено и Ф. Ле Лионне.

Моя нога едва коснулась Красной земли, я еще не покинула аэропорт, но уже все поняла.

Я нашла единственно верное определение, заключавшееся в одной фразе.

Эта формула была одновременно прекрасной, простой и поэтичной. И как все великие истины, она немного разочаровывала своей простотой.

"Вода кипит при температуре сто градусов по Цельсию" — элементарно, красиво и понятно, не вызывает никаких вопросов.

Но истинная красота должна волновать и будоражить воображение.

И в этом отношении моя формула была красива.

Вот она: "Коммунистическая страна — это страна, где есть вентиляторы".

Эта мысль столь гениальна в своей простоте, что могла бы служить примером для венского трактата по логике. Но если оставить стилистику, то больше всего моя формула поражает правдивостью.

Эта очевидность не могла не броситься в глаза, когда в Пекинском аэропорту я столкнулась нос к носу с целой армией вентиляторов.

Странные цветы с крутящимся венчиком, посаженные в клетки, могли расти только в таком необычном месте.

В Японии были кондиционеры. Там я ни разу не видела таких пластмассовых растений.

Иногда в коммунистической стране можно было встретить кондиционер, но он не работал, и тогда нужен был вентилятор.

Потом я жила в других коммунистических странах, Лаосе и Бирме, и там убедилась, что мой вывод, сделанный в 1972 году, был верен.

Я не утверждаю, что в других, некоммунистических, странах совсем нет вентиляторов. Но там они очень редки, а потому не столь примечательны.

Вентилятор для коммунизма — то же самое, что эпитет для Гомера. Гомер не единственный писатель, который пользовался эпитетами, но именно у него они приобретают особый смысл.

В 1985 году вышел фильм Эмира Кустурицы "Папа в командировке". Там есть сцена коммунистического допроса, в которой участвуют трое: двое мужчин и вентилятор. Во время этого бесконечного сеанса вопросов и ответов голова машины вертится без остановки, в неумолимом ритме, на миг замирая, чтобы указать то на одного, то на другого персонажа. Это бессмысленное движение раздражает и делает сцену невыносимой.

Во время допроса люди неподвижны, камера стоит на месте, только вентилятор вертится. Без него сцена не достигла бы такого накала. Вентилятор играет роль античного хора, но его пассивное присутствие ужасно. Он никого не осуждает, ни о чем не думает, просто служит фоном и безукоризненно выполняет свою работу. Он полезен, и у него нет своего мнения. О таком подпевале мечтают все тоталитарные режимы.

Даже если бы знаменитый югославский режиссер поддержал меня, вряд ли мне удалось бы убедить других в верности моей теории о вентиляторах. Но это совершенно не важно. Неужели на свете еще остались простаки, которые думают, что теории нужны, чтобы в них верить? Они нужны, чтобы раздражать обывателей, кружить головы эстетам и смешить всех остальных.

Самые поразительные истины не поддаются анализу. Виалату[1] принадлежат замечательные слова: "Июль месяц – очень месячный месяц". Было ли сказано когда-либо что-нибудь более точное и более удивительное об июле?

Я давно уже не живу в Пекине, и у меня больше нет коня. Пекин я заменила листом белой бумаги, а коня – чернилами. Мое геройство глубоко затаилось.

Я всегда знала, что быть взрослым – немногого стоит. Половое созревание – это эпилог жизни.

В Пекине моя жизнь имела огромное значение. Человечество нуждалось во мне.

Впрочем, я ведь была разведчиком, и тогда шла война.

Наша армия придумала новый способ борьбы с врагом.

Каждое утро по распоряжению китайских властей обитателям гетто доставляли натуральные йогурты. Перед дверями квартир ставили ящики со стеклянными баночками, накрытыми простым листом бумаги. Белый йогурт был сверху покрыт слоем желтоватой сыворотки.

На рассвете отряд мальчишек отправлялся к квартирам восточных немцев. Они снимали бумагу, выпивали сыворотку и заменяли ее тем же количеством жидкости из собственного организма. Затем они клали бумагу на место и незаметно удирали.

Мы никогда не узнали, съедали наши жертвы свои йогурты или нет. Похоже, что да, потому что ни одной жалобы не поступило. Эти китайские йогурты были такие кислые, что странному вкусу вполне могли не придать значения.

Мы были в полном восторге от собственной подлости и называли самих себя грязными подонками. Это было здорово.

Восточные немцы были крепкими, храбрыми и сильными. Они считали, что достаточно просто отколотить нас. Но по сравнению с нашими пакостями это были игрушки.

Мы-то вели себя как настоящие мерзавцы. Мы были гораздо слабее врагов, хоть их и было меньше, но мы превосходили их в жестокости.

Когда кто-то из наших попадал в плен к немцам, он возвращался оттуда через час в синяках и шишках.

Когда мы брали языка, то тоже не оставались в долгу.

Начать с того, что мы "обрабатывали" пленника гораздо тщательнее. Маленького немца мучили полдня, а то и больше.

Сначала в присутствии жертвы мы с вожделением обсуждали ее дальнейшую судьбу. Говорили мы по-французски, и немец ничего не понимал, а потому еще больше боялся. Такое жестокое ликование было в наших голосах и на лицах, что все было понятно без слов.

Мы не любили мелочиться.

– Отрежем ему... – было классическим вступлением нашей словесной пытки.

(Среди восточных немцев не было ни одной девочки. Для меня это так и осталось загадкой. Возможно, родители оставляли их дома в Германии с тренером по плаванию или метанию ядра.)

1. Александр Виалат (1901–1971) – французский писатель, переводчик, журналист.

— Ножом господина Чана.

— Нет! Бритвой господина Зиглера.

— И заставим его их сожрать, — выносил приговор прагматик, чуждый мелких подробностей.

— С приправой из его собственного...

— Очень медленно, — добавлял любитель наречий.

— Да! Пусть прожует хорошенько, — говорил комментатор.

— А потом пусть блюет этим, — изрекал богохульник.

— Ну, вот еще! Так ему будет только лучше! Надо, чтобы оно осталось у него в животе, — кричал хранитель святынь.

— Надо заткнуть ему ..., чтобы оно никогда не вышло наружу, — предлагал наш дальновидный собрат.

— Да, — соглашался последователь святого Матфея.

— Ничего не получится, — говорил обыватель, но его никто не слушал.

— Замажем его строительным цементом. И рот заткнем, чтобы он не мог позвать на помощь.

— Закупорим ему все дырки! — восклицал мистик.

— Китайский цемент — это же дерьмо, — делал замечание эксперт.

— Тем лучше! Значит, замажем его дерьмом! — снова отзывался мистик в трансе.

— Но он же так умрет! — лепетал трус, принимавший себя за Женевскую конвенцию.

— Нет, — отвечал последователь святого Матфея.

— Он у нас так легко не отделается.

— Надо, чтоб он мучился до конца!

— До какого конца? — волновалась Женевская конвенция.

— Ну, до обычного конца. Когда мы отпустим его, и он побежит жаловаться мамочке.

— Представляю его мамашу, когда она увидит, как мы отделали ее сынка!

— Будет знать, как рожать немецких детей!

— Хороший немец — это немец, замазанный китайским цементом.

Этот лозунг вызвал бурю восторга.

— Ладно. Но сначала надо вырвать ему волосы, брови и ресницы.

— И ногти!

— Вырвем ему все! — восклицал мистик.

— И смешаем с цементом, чтобы было прочнее.

— Будет знать!

Такая патетика быстро истощала наш лексикон. А поскольку у нас часто бывали пленники, приходилось проявлять чудеса воображения, чтобы придумать новые, не менее эффектные угрозы.

Нам не хватало частей тела, мы исследовали словарный запас с таким остервенением, что лексикографам не мешало бы у нас поучиться.

— По-научному это еще называется тестикулы.

— Или гонады.

— Гонады! Это как гранаты!

— Взорвем ему гонады!

— Сделаем из них гонадинчики!

На этом словесном турнире, где слова передавались по эстафете, я говорила меньше всех. Я слушала, покоренная красноречием и злой от-

вагой. Слова летали от одного к другому, как жонглерские шарики, пока какой-нибудь растяпа не запнется. Я предпочитала следить со стороны за словесным калейдоскопом. Сама-то я отваживалась говорить только в одиночестве, когда можно было поиграть словом, подбрасывая его, как тюлень — мячик.

Бедный немчик успевал наложить в штаны, пока мы переходили от слов к делу. Он слышал угрожающий смех и словесную перепалку, и зачастую, к нашей великой радости, заливался слезами, когда палачи приближались к нему.

— Слабак!

— Дряблая гонада!

Увы, к сожалению, дальше слов дело не шло, и пытки мало отличались друг от друга.

В основном, все кончалось маканием в секретное оружие.

Секретным оружием была вся наша моча, которую мы могли собрать, кроме той, что предназначалась для немецких йогуртов. Мы тщательно собирали драгоценную жидкость, стараясь отлить не где попало, а в большой общественный бак. Он стоял на вершине пожарной лестницы самого высокого здания гетто. Охраняли его самые свирепые среди нас.

(Долгое время взрослые не могли понять, зачем это дети так часто бегают к пожарной лестнице и почему они так спешат.)

К моче, которая быстро теряла свежесть, добавлялось изрядное количество туши (чернил, изобретенных в Китае).

Таким образом, из довольно простой смеси получался зеленоватый эликсир с запахом аммиака.

Немчика брали за руки и за ноги и опускали в бак.

Затем мы избавлялись от секретного оружия под предлогом, что жертва осквернила его, и опять собирали мочу для следующего пленника.

Если бы в то время я прочла Витгенштейна, то не согласилась бы с ним.

Он предлагал семь непонятных способов познания мира, а ведь нужен был всего один, и какой простой!

Здесь и размышлять было не о чем. Не нужно придумывать ему название, достаточно просто жить. Я была уверена в этой истине, ведь каждое утро она рождалась вместе со мной:

"Вселенная существует ради меня".

Мои родители, коммунизм, ситцевые платья, сказки "Тысячи и одной ночи", натуральные йогурты, дипломатический корпус, враги, запах обожженного кирпича, прямой угол, коньки, Чжоу Эньлай[1], орфография и бульвар Обитаемого Уродства: здесь не было ничего лишнего, ведь все это было частью моей жизни.

Мир начинался и оканчивался мною.

Китай грешил излишней скромностью. Срединная империя? Само название говорило об ограниченности. Китай может быть серединой планеты при условии, что он будет знать свое место.

Я же могла отправляться куда захочу, центр тяжести следовал за мной по пятам.

1. Чжоу Эньлай (1898–1976) — государственный и политический деятель Китая.

Благородство — это еще и умение признать очевидное. Нечего скрывать, что мир миллиарды лет готовился к моему появлению на свет.

Что будет после меня — не важно. Наверняка, понадобятся еще миллиарды лет, чтобы завершить летопись моей жизни. Но эти мелочи меня не занимали, слишком много у меня было дел. Все эти досужие домыслы я оставляла моим летописцам и летописцам моих летописцев.

Витгенштейн был вне игры.

Он серьезно провинился, потому что писал. И за это его следовало предать забвению.

Пока китайские императоры ничего не писали, Китай процветал. Упадок его начался в ту минуту, когда император взялся за перо.

Я ничего не писала. Когда надо поражать гигантские вентиляторы и гнать коня галопом, когда нужно ходить в разведку, сражаться плечом к плечу и унижать врагов, ты шествуешь с гордо поднятой головой и тебе не до писанины.

И, однако, именно там, в Городе Вентиляторов, начался закат моей славы.

Это случилось в ту минуту, когда я поняла, что центром вселенной была вовсе не я.

Это началось в тот миг, когда я, очарованная, узнала, кто был центром вселенной.

Летом я всегда ходила босиком. Добросовестный разведчик не должен носить обувь.

И мои шаги были так же бесшумны, как движения запрещенной некогда гимнастики тайцзицюань, которой в пугающей тишине и тайне занимались некоторые фанатики.

Торжественно и бесшумно пробиралась я в поисках врага.

Саньлитунь был таким унылым, что для того, чтобы выжить в нем, нужны были бесконечные приключения.

И я прекрасно выживала, ведь приключением была я сама.

Рядом с соседним домом остановилась незнакомая машина.

Вновь прибывших иностранцев поселили в гетто, чтобы изолировать от китайцев.

В машине были большие чемоданы и четыре человека, среди которых и был центр вселенной.

Центр вселенной поселился в сорока метрах от меня.

Центром вселенной была итальянка по имени Елена.

Она стала центром вселенной, как только ее нога коснулась бетона Саньлитунь.

Ее отец был маленький беспокойный итальянец, а мать — высокая индианка из Суринама со взглядом, пугающим как "Светлый путь"[1].

Елене было шесть лет. Она была красива, как ангел с открытки.

У нее были огромные темные глаза и пристальный взгляд, а кожа цвета влажного песка. Ее черные как смоль волосы спускались ниже пояса и блестели, словно по одному натертые воском.

При виде ее восхитительного носика у Паскаля захватило бы дух.

1. Революционно-террористическая организация в Перу.

Овал щек был очарователен, но хватало одного взгляда на красиво очерченный рот, чтобы понять, что девочка была злой.

Ее тело было гармонично и совершенно: плотное и нежное, по-детски лишенное выпуклостей, а силуэт такой неправдоподобно четкий, словно ей хотелось ярче выделиться на общем фоне.

"Песнь песней" по сравнению с описанием красоты Елены годилась лишь для инвентаризации мясной лавки.

С первого взгляда становилось ясно, что любить Елену и не страдать так же невозможно, как изучать французскую грамматику без учебника Гревиса[1].

В тот день на ней было платье с белым английским шитьем, какие бывают только в кино. Я бы сгорела со стыда, если бы мне пришлось так вырядиться. Но Елена не принадлежала к нашей системе ценностей, и в этом платье она была прекрасна, как ангел, украшенный цветами.

Она вышла из машины, не заметив меня.

Примерно так же она держала себя весь год, который нам предстояло провести вместе.

Подобно тем мистификациям, которыми Китай себя окружил, у этой страны свои стилистические законы.

Небольшой урок грамматики.

Правильно говорить: "Я научился читать в Болгарии" или "Я встретил Евлалию в Бразилии". Но было бы неверным сказать: "Я научился читать в Китае" или "Я встретил Евлалию в Китае". Говорят: "В Китае я научился читать" или "В Пекине я встретил Евлалию".

Нет ничего коварнее синтаксиса.

И в данном случае это очень важно.

Так, неправильно говорить: "В 1974 году я высморкался" или "В Пекине я завязал шнурки". Нужно хотя бы добавить "в первый раз" — иначе эта фраза режет слух.

Неожиданный вывод: если китайские повести рассказывают о столь удивительных вещах, в этом прежде всего виновата грамматика.

А когда к синтаксису примешивается мифология, это радует стилиста.

И если соблюдены требования стиля, можно рискнуть написать следующее: "В Китае я познала свободу".

Можно придать высказыванию скандальный оттенок: "В чудовищном Китае времен 'банды четырех' я познала свободу".

Или оттенок абсурда: "Я познала свободу в тюремном гетто Саньлитунь".

Подобное противоречие можно извинить только тем, что это правда.

В этом кошмарном Китае иностранцы-взрослые чувствовали себя подавленно. Их возмущало то, что они видели, а то, чего не видели, возмущало еще больше.

И только дети были довольны.

Страдания китайского народа их не волновали.

Быть загнанными в бетонированное гетто с сотнями других детей казалось им счастьем.

1. Морис Гревис (1895—1980) — бельгийский ученый, автор учебника классической французской грамматики.

Я сильнее других ощущала эту свободу. Я только что приехала из Японии, где провела несколько лет и ходила в японский детский сад, а там это все равно что служба в армии. Дома за мной присматривали гувернантки.

В Саньлитунь никто не следил за детьми. Нас было так много в таком тесном пространстве, что это казалось лишним. И по неписаному закону родители, прибывая в Пекин, предоставляли своих отпрысков самим себе. Каждый вечер взрослые, спасаясь от депрессии, уходили куда-нибудь развлекаться, а нас оставляли одних. С наивностью, свойственной их возрасту, они полагали, что мы устанем и ляжем спать в девять.

Каждый вечер мы посылали кого-нибудь следить за родителями и предупреждать об их возвращении. И вот тут начиналась беготня. Дети разбегались по своим углам, одетыми прыгали в кровать и притворялись, что спят.

Потому что ночью война была прекрасней всего. Крики испуганных врагов громче звучали в темноте, засады становились более коварными, а моя роль разведчика приобретала еще больший освещающий смысл: на своем иноходце я чувствовала себя живым факелом. Я не была Прометеем, я была огнем и похищала себя самое. С восторгом наблюдала я, как мой огонек украдкой пробегал по темным китайским стенам.

Война была самой достойной игрой. Это слово звенело, как сундук с сокровищами. Его взламывали, и наши лица озарялись радостным сиянием дублонов, жемчуга и драгоценных камней, но больше всего здесь было неистовой ярости, благородного риска, грабежей, вечного террора, и наконец, дороже всех алмазов были воля и свобода, которые свистели в ушах и делали из нас титанов.

Подумаешь, нельзя выходить из гетто! Свобода не измеряется в квадратных метрах. Свобода — это быть предоставленным самому себе. Лучшее, что взрослые могли сделать для детей, — это забыть о них.

Забытые китайскими властями и взрослыми, дети Саньлитунь были единственными личностями во всем народном Китае. У них было упоение, героизм и священная злость.

Играть во что-нибудь другое, кроме войны, значило уронить свое достоинство.

Именно этого Елена никогда не хотела понять.

Елена ничего не хотела понимать.

С первого дня она повела себя так, словно все давно поняла. И это было весьма убедительно. У нее была своя точка зрения, которую она никогда не стремилась отстаивать. Говорила она мало, с небрежным высокомерием и уверенностью.

— Я не хочу играть в войну. Это неинтересно.

Слава богу, я одна слышала эти кощунственные слова и никому об этом не сказала. Нельзя, чтобы союзники плохо подумали о моей любимой.

— Война — это здорово, — возразила я.

Она как будто не слышала. У нее был дар делать вид, что она вас не слушает.

У нее всегда был вид особы, которая ни в ком и ни в чем не нуждается.

Она жила так, словно все, что ей было нужно, — это быть самой красивой и иметь такие длинные волосы.

У меня никогда не было друга или подруги. Я даже не задумывалась об этом. Зачем они нужны? Я наслаждалась обществом самой себя.

Мне были нужны родители, враги и товарищи по оружию.

Совсем чуть-чуть мне нужны были рабы и зрители — дело престижа.

Тот, кто не принадлежал ни к одной из этих пяти категорий, могли бы и вовсе не существовать.

Тем более возможные друзья.

У моих родителей были друзья. Это были люди, с которыми встречались, чтобы вместе пить разноцветные алкогольные напитки. Как будто нельзя выпить без них!

Кроме того, друзья были нужны, чтобы разговаривать и слушать. Им рассказывали глупые истории, они громко смеялись и рассказывали свои. А потом все садились за стол.

Иногда друзья танцевали. Это было удручающее зрелище.

Короче, друзьями были люди, которые могли составить компанию в разных нелепых, читай — смехотворных, занятиях, или затем, чтобы делать что-то нормальное, для чего они были совсем не нужны.

Иметь друзей было признаком вырождения.

Мои брат и сестра имели друзей. Им можно простить, ведь это были их товарищи по оружию. Дружба рождалась в бою. Здесь нечего было стыдиться.

Я же была разведчиком и воевала в одиночку. Друзей пусть имеют другие.

Что до любви, то она еще меньше меня касалась. Это странное чувство было из области географии, из сказок "Тысячи и одной ночи", из стран Ближнего Востока. Я же жила слишком далеко на востоке.

Что бы там ни думали, в моем отношении к окружающим не было тщеславия. Все было совершенно оправдано. Вселенная начиналась и заканчивалась мною, не моя в том вина, и не я это придумала. Это было объективной реальностью, которой я должна соответствовать. К чему стеснять себя друзьями? Им не было места в моем мире. Я была центром вселенной, и друзья ничего не могли к этому прибавить.

Дружила я только с моим скакуном.

Моя встреча с Еленой не была переделом власти — у меня ее не было, и она меня не прельщала, — это был духовный переворот: отныне центр вселенной был за пределами моего существа. И я делала все, чтобы к нему приблизиться.

Я поняла, что недостаточно находиться рядом с ней. Нужно было еще что-то для нее значить, а я не значила ничего. Я ее не интересовала. Как, впрочем, и все остальное. Она ни на что не смотрела и ничего не говорила. У нее был вид человека, которому нравится быть погруженным в себя. Но все замечали, что она чувствует, как на нее смотрят, и что ей это нравится.

Я не сразу поняла, что Елене важно одно — чтобы на нее смотрели.

Так, сама того не осознавая, я делала ее счастливой, потому что пожирала ее глазами. Я не могла оторвать от нее взгляда. Раньше я никогда не видела ничего столь же красивого. Впервые в жизни чья-то красо-

та ошеломила меня. Я уже встречала много красивых людей, но они не привлекали моего внимания. До сих пор не могу понять, почему красота Елены так меня завораживала.

Я полюбила ее с первой секунды. Как это объяснить? Я никогда не собиралась никого любить. Я никогда не думала, что чья-то красота может вызывать чувства. И, однако, все произошло в тот миг, когда я впервые ее увидела, приговор обжалованию не подлежал: она была самой красивой, я ее полюбила, и теперь она стала центром вселенной.

Чары продолжали действовать. Я понимала, что не могу просто любить ее, надо, чтобы и она тоже полюбила меня. Почему? Потому что так было нужно.

И я простодушно открыла ей свое сердце. Я просто не могла не признаться.

— Ты должна меня любить.

Она снизошла до того, чтобы взглянуть на меня, но этот взгляд был из тех, что и врагу не пожелаешь. Она презрительно усмехнулась. Было ясно, что я сморозила глупость. Значит, нужно ей объяснить, что это совсем не глупо.

— Ты должна меня любить потому, что я люблю тебя. Понимаешь?

Мне казалось, что теперь все встало на свои места. Но Елена рассмеялась.

Меня это задело.

— Чего ты смеешься?

Она ответила сдержанно, высокомерно и насмешливо:

— Потому что ты глупа.

Так было принято мое первое признание в любви.

Я испытала все сразу: ослепление, любовь, тягу к самопожертвованию и унижение.

Все эти чувства я познала по очереди в первый же день. И подумала, что между этими четырьмя несчастьями есть связь. Хорошо бы избежать самого первого, но было слишком поздно. В любом случае у меня не было выбора.

И мне стало очень жаль себя. Потому что я познала страдание. А оно показалось мне мучительным.

Однако я не сожалела ни о моей любви к Елене, ни о том, что она жила на этом свете. Нельзя сожалеть о подобном. А если она жила, ее нельзя было не любить.

С первого мгновения моей любви — то есть с самой первой секунды — я решила, что надо действовать. Эта мысль пришла сама собой и не покидала меня до конца этой истории.

"Надо что-нибудь совершить.

Потому что я люблю Елену, потому что она самая красивая, потому что на земле есть такое бесподобное существо и потому, что я его встретила, потому что — даже если она не знает об этом, — она моя возлюбленная, и надо что-то предпринять.

Что-нибудь грандиозное, великолепное — достойное ее и моей любви.

Убить немца, например. Но мне не дадут этого сделать. Мы всегда отпускаем пленников живыми. Все из-за этих родителей и Женевской конвенции. Что за фальшивая война!

Нет. Что-нибудь, что я могла бы совершить одна. Что произвело бы на нее впечатление".

Я почувствовала такую безысходность, что у меня подкосились ноги, и я уселась на бетонный пол. Убежденность в собственном бессилии парализовала меня.

Мне хотелось застыть навеки. Я буду неподвижно сидеть на бетоне без пищи и воды до самой смерти. Я быстро умру, и это произведет на мою любимую огромное впечатление.

Нет, так не выйдет. За мной придут, заставят подняться, будут кормить насильно через трубку. Взрослые выставят меня на посмешище.

Тогда наоборот. Раз нельзя замереть, буду двигаться, а там посмотрим.

Мне стоило огромных усилий сдвинуть с места свое тело, окаменевшее от страдания.

Я побежала в конюшню и оседлала своего скакуна. Часовые легко пропустили меня. (Беспечность китайских солдат всегда меня удивляла. Меня слегка задевало то, что я не вызываю никаких подозрений. За три года в Саньлитунь меня ни разу не обыскали. Говорю же, в системе был какой-то изъян.)

На бульваре Обитаемого Уродства я пустила коня таким бешеным галопом, о каком не слышали за всю историю скачек.

Ничто не могло его остановить. Не знаю, кто из двоих, всадник или лошадь, был больше возбужден. Мы были единым вихрем. Мой мозг быстро преодолел звуковой барьер. Один иллюминатор в кабине с треском лопнул, и голова мгновенно заполнилась воздухом. В черепной коробке воцарилась пронзительная пустота, и я перестала страдать и думать.

Я и мой конь были теперь просто метеором, запущенным в Городе Вентиляторов.

В то время в Пекине почти не было машин. Можно было скакать, не останавливаясь на перекрестках, не глядя по сторонам, не соблюдая осторожность.

Моя сумасшедшая скачка длилась четыре часа.

Когда я вернулась в гетто, от чувств осталось только ошеломление.

"Надо что-то совершить". И я уже совершила: часами носилась по городу.

Конечно, Елена не знала об этом. В каком-то смысле так было лучше.

Благородство этой бескорыстной скачки наполняло меня гордостью. Не похвастаться этим перед Еленой казалось мне расточительством.

На следующий день я подошла к ней с загадочным видом.

Она не соизволила взглянуть на меня.

Но я не беспокоилась, она меня еще увидит.

Усевшись рядом с ней на стене, я сказала безразличным тоном:

— У меня есть конь.

Она посмотрела на меня недоверчиво. Я ликовала.

— Плюшевая лошадка?

— Нет, конь, на котором я везде скачу галопом.

— Конь, здесь, в Саньлитунь? Но где он?

Ее любопытство очаровало меня. Я удалилась в конюшню и вернулась верхом на моем скакуне.

Моя любимая все поняла с первого взгляда.

Она пожала плечами и сказала с полнейшим равнодушием, без всякой усмешки:

— Это не конь, а велосипед.

— Это конь, — спокойно заверила я.

Но моя безмятежная уверенность была напрасной. Елена меня больше не слушала.

Иметь в Пекине большой красивый велосипед было так же естественно, как иметь ноги. Велосипед занимал огромное место в моей жизни и был достоин конной статуи.

Для меня существование коня было чем-то неопровержимым, и мне не нужно было в него верить, чтобы его показывать. Я и подумать не могла, что Елена может увидеть в нем что-то другое.

Мне это и до сих пор непонятно. Это не было плодом детского воображения, я не придумала себе сказку. Велосипед был конем, это было так. Не помню, чтобы я когда-нибудь что-то выдумывала. Этот конь всегда был конем. Он не мог быть ничем иным. Это животное из плоти и крови было такой же частью объективной реальности, как гигантские вентиляторы, на которые я смотрела с пренебрежением во время прогулок. И я совершенно искренне решила, что центр вселенной увидит в нем то же, что и я.

Это был только второй день моей любви, а мой внутренний мир уже пошатнулся.

В сравнении с этим открытие Коперника просто шутка. Я решила упорно с этим бороться и сделала вывод: "Елена слепа".

От страдания одно лекарство — пустота в голове. Чтобы опустошить голову, надо мчаться галопом, подставляя лоб ветру, стать продолжением коня, рогом единорога, устремляясь к последней схватке, когда эфир унесет туда, где разгоряченные всадник и конь будут разорваны на куски и поглощены невидимым пространством. Вентилятор засосет их, чтобы потом рассеять по воздуху.

Елена слепа. Этот конь настоящий. Там, где есть свобода, ветер и скорость, там есть и конь. Я называю конем вовсе не четвероногое животное, за которым нужно убирать навоз. Конь — это тот, кто попирает ногами землю, уносит ввысь и не дает упасть. Это тот, кто затоптал бы меня насмерть, уступи я земным соблазнам. Это тот, кто заставляет танцевать мое сердце и ржать мой живот, и это тот, чей бег столь неистов, что заставляет щуриться от пощечин ветра сильнее, чем ослепительный свет.

Конь там, где, взмывая ввысь, ты перестаешь мыслить, чувствовать и думать о будущем, где ты становишься летящей бурей.

Я называю конем ключ к бесконечности, и я называю кавалькадой несущиеся мне навстречу толпы монголов, татар, сарацин, краснокожих и других братьев по седлу, которые родились всадниками, родились, чтобы жить.

Кавалькадой я называю существо, которое лягается четырьмя копытами, и я знаю, что у моего велосипеда есть четыре копыта, и что он умеет лягаться, и что это конь.

Всадник — это тот, кому конь принес свободу и у кого свобода свистит в ушах.

Вот почему ни один конь так не заслужил звания коня, как мой.

Если бы Елена не была слепа, она бы увидела, что это конь, и полюбила меня.

Это был только второй день любви, а я уже дважды опозорилась.

Для китайцев позор — самое страшное в жизни.

Я не была китаянкой, но соглашалась с ними. Я была дважды глубоко унижена. Нужен какой-то блестящий поступок, чтобы отмыть свою честь. Иначе Елена меня не полюбит.

Со злобным раздражением ждала я удобного случая.

Я боялась третьего дня.

Каждый раз, когда мы мучили маленького немца, противники в отместку колотили кого-нибудь из наших. Одна месть порождала другую, и так без конца.

Карательные акции следовали одна за другой, а насилие оправдывало любые преступления.

Это то, что все называют войной.

Все смеются над детьми, которые, чтобы оправдаться, ноют: "Это он первый начал". Но у взрослых конфликтов корни точно такие же.

Войну в Саньлитунь начали Союзники. Но один из недостатков истории в том, что началом можно объявить все что угодно.

Восточные немцы часто жаловались, что в гетто мы напали на них первые.

А мы находили мелочными эти географические ограничения. Война началась не в Пекине в 1972 году. Она началась в Европе в 1939-м.

Кое-кто из незрелых интеллектуалов замечал, что в 1945-м был заключен мир. Мы считали их наивными. В 1945-м произошло то же, что и в 1918-м, — солдаты опустили ружья, чтобы перевести дух.

Мы перевели дух, а враг остался тем же. Не все меняется в этом мире.

Одним из самых ужасных эпизодов нашей войны была битва за госпиталь и ее последствия.

Местонахождение госпиталя было одной из военных тайн Союзников.

Мы оставили тот самый ящик для перевозки мебели на старом месте. Снаружи наша постройка была совершенно не видна.

Входить в больницу нужно было как можно незаметнее и всегда только по одному. Это было совсем несложно, так как ящик стоял вплотную к стене кирпичного завода. Проникнуть туда незаметно было проще простого.

Впрочем, на свете не было шпионов хуже немцев. Они не обнаружили ни одну из наших баз. Воевать с ними было легче легкого.

Нам нечего было бояться, кроме ябед. Среди нас не могло быть предателя. Трусы бывали, но изменники — никогда.

Если попадаешь в лапы к врагу, всегда знаешь, что тебя поколотят. Не слишком приятно, но мы держались. Такие испытания не были для нас пыткой. Нам бы никогда не пришло в голову, чтобы кто-то из наших

мог выдать военную тайну только для того, чтобы избежать столь легкой расправы.

Однако именно это и случилось.

У Елены был брат десяти лет. Насколько Елена была красива и высокомерна, настолько же смешон был ее брат Клавдио. Не то чтобы он был некрасив, но он был воплощением какого-то вялого жеманства, слабости и нерешительности, которые с первого взгляда раздражали. К тому же, как и его сестра, он всегда был одет с иголочки, тщательно причесанные волосы отливали чистотой и были разделены безупречным пробором, а одежда так идеально выглажена, что он походил на картинку из модного каталога для детей аппаратчиков.

Мы все ненавидели его за эту ухоженность.

Однако у нас не было причин не взять его в армию. Елене война казалась смешной, и она смотрела на нас свысока. Клавдио же хотел сойти за своего и был готов на все, чтобы его приняли.

И его приняли. Мы не могли рисковать дружбой с итальянцами — среди которых была великолепная Джиан, — не приняв в армию их соотечественника. Особенно досадным было то, что сами итальянцы ненавидели новенького, хотя никогда нельзя было предугадать, на что именно они обидятся.

Это было не столь важно. Клавдио будет плохим солдатом, вот и все. Не может же армия состоять из одних героев.

Через две недели после того, как мы приняли брата Елены в наши ряды, во время одной стычки немцы взяли его в плен. Никогда еще мы не видели, чтобы кто-нибудь так плохо дрался и медленно бегал.

В глубине души мы были довольны, с радостью предвкушая колотушки, которые ему достанутся. Поэтому мы даже симпатизировали врагу, ведь маленький итальянец был таким изнеженным, а его мать носилась с ним, как курица с яйцом.

Клавдио вернулся, хромая. Никаких следов побоев или пыток у него не было. Хныча, он рассказал, что немцы вывернули ему ногу на 360 градусов, а мы удивились столь прогрессивным методам.

На другой день немцы пошли в атаку и разгромили наш госпиталь, а брат Елены позабыл о больной ноге. Все стало ясно. Клавдио плохо говорил по-английски, но достаточно для того, чтобы предать.

(Английский был язык переговоров с врагом. А раз уж наше общение в основном ограничивалось драками и пытками, то мы этим языком никогда не пользовались. Все Союзники говорили по-французски, и я считала это естественным.)

Итальянцам больше других не терпелось наказать предателя. Мы собрались на военный совет, и тут Клавдио проявил верх трусости: мать собственной персоной явилась вызволять своего бедного малыша. "Если хоть один волос упадет с головы моего сына, я вам такое устрою, на всю жизнь запомните!" — заявила она, сверкая глазами.

Обвиняемого помиловали, но его поступок навсегда остался образцом низости. Мы презирали его до глубины души.

Я была готова на все, чтобы стать хоть чем-то ближе к Елене. От своей матери и брата она, конечно, узнала об этом происшествии, а я рассказала ей, что́ мы об этом думали.

Даже ее высокомерный вид не мог скрыть некоторого огорчения. Я понимала ее: если бы Андре или Жюльетт совершили такой проступок, позор пал бы и на меня.

Именно так я и преподнесла Елене эту историю. Мне хотелось видеть ее уязвленной. Однако такое ангельское создание могло иметь лишь одно слабое место — собственного брата.

Разумеется, она не признала себя побежденной.

— Все равно война — глупая игра, — сказала она с обычным презрением.

— Глупая или нет, но Клавдио плакал, чтобы мы приняли его в игру.

Елена знала, что ей нечего мне возразить. Она промолчала и замкнулась в себе.

Но одно мгновение я видела, как она страдает. На секунду она перестала быть неуязвимой.

Я сочла это великой победой любви.

На рассвете, лежа в кровати, я снова мысленно проиграла эту сцену.

Мне и вправду казалось, что я прикоснулась к чему-то заветному.

В мифологии какой страны есть такая история: "Отвергнутый влюбленный в надежде добиться недосягаемой возлюбленной приходит к ней, чтобы объявить о предательстве ее брата"?

Насколько я знаю, такая трагическая сцена нигде не описана. Великие классики не могли написать о столь низком поступке.

Мне ни на секунду не приходило в голову, что такое поведение недостойно. Даже пойми я это, меня бы это не смутило. Любовь настолько заставила меня забыть о себе, что я, не колеблясь, покрыла себя позором. Чего отныне стоило мое достоинство? Ровным счетом ничего, потому что я превратилась в ничто. Пока я была центром вселенной, у меня было свое почетное место. А теперь приходилось оставаться у Елены в тени.

Как хорошо, что есть Клавдио. Без него мне не оставалось ни малейшего доступа, ни лазейки не то что к сердцу, а хотя бы к чести моей возлюбленной.

Я снова мысленно проживала эту сцену: вот я являюсь к ней, она, как всегда, холодна и равнодушна. Она красива, просто красива, она не соблаговолит сделать ничего больше, кроме как сиять красотой.

А потом эти постыдные слова: твой брат, любовь моя, твой брат, которого ты не любишь — ты ведь никого не любишь, кроме себя, — но он ведь твой брат, а значит, он — часть твоей репутации, твой брат, моя богиня, — первостатейный хлюпик и предатель.

В этот ничтожно малый и божественный миг я увидела, что моя новость обнажила нечто неуловимое, а значит, очень важное в тебе! И это сделала я!

Я не хотела сделать тебе больно. Впрочем, я не знаю, что нужно моей любви. Просто для удовлетворения моей страсти я должна была вызвать в тебе настоящее чувство, не важно какое.

Этот проблеск боли в твоих глазах — настоящая награда для меня!

Я вновь проживала сцену, останавливаясь на этой картинке. Меня охватывал любовный трепет — отныне я что-то значу для Елены.

Надо продолжать в том же духе. Она еще будет страдать. Я слишком труслива, чтобы самой причинить ей боль, но я постараюсь отыскать любое известие, которое могло бы ее ранить, и я всегда найду время, чтобы принести дурную весть.

Самые нелепые мысли лезли мне в голову. Мать Елены погибнет в автокатастрофе. Посол Италии понизит в должности Елениного отца. Клавдио будет разгуливать по гетто с дырой на заду, не замечая этого, и станет всеобщим посмешищем.

Все эти ужасы должны были происходить с дорогими Елене людьми, но не с ней самой.

Эти фантазии очаровывали меня, глубоко проникая в сердце. В мечтах я подходила к своей возлюбленной с трагически серьезным видом и медленно и торжественно объявляла: "Елена, твоя мать умерла". Или: "Твой брат обесчещен".

Боль искажает твое лицо, это пронзает мне сердце, и оттого я люблю тебя еще сильнее.

Да, любимая, ты страдаешь по моей вине, но не потому, что мне приятно твое страдание; было бы лучше, если бы я могла осчастливить тебя, а это невозможно, потому что для того, чтобы я могла дать тебе счастье, ты должна сначала полюбить меня, но ты меня не любишь, а чтобы сделать тебя несчастной, не обязательно, чтобы ты любила меня. К тому же, чтобы осчастливить тебя, нужно сначала, чтобы ты была несчастна — не принесешь ведь счастье тому, кто счастлив и так. Значит, я должна сделать тебя несчастной, чтобы потом я могла осчастливить тебя, в любом случае, любовь моя, важно только то, чтобы причиной всему была я. Если бы ты испытала ко мне хотя бы десятую часть того, что я чувствую к тебе, ты была бы счастлива страдать, зная, что своим страданием ты доставляешь мне радость.

Я млела от удовольствия.

Мы должны были найти новый госпиталь.

Теперь уже нельзя было оборудовать его в ящике для перевозки мебели. По правде говоря, выбор у нас был небогатый. Пришлось устроить больницу там же, где мы собирали и хранили секретное оружие. Не очень гигиенично, но Китай приучил нас к грязи.

Постели из "Жэньминь жибао" были перенесены на последний этаж пожарной лестницы самого высокого дома в Саньлитунь. На головокружительной высоте в центре больничной палаты возвышался бак с мочой.

Немцы были настолько глупы, что пощадили наши запасы стерильной марли, витамина С и супов в пакетиках. Их сложили в рюкзаки и подвесили на металлические перила лестницы. Поскольку дождь в Пекине шел крайне редко, мы почти ничем не рисковали. Но теперь секретная база была видна гораздо лучше. Немцам стоило только задрать голову и хорошенько приглядеться, чтобы нас обнаружить. Правда, мы не были такими дураками, чтобы приводить туда пленных. Когда мы хотели помучить жертву, то спускали секретное оружие вниз.

И тут война приобрела неожиданный политический размах.

Однажды утром мы хотели подняться в госпиталь, но обнаружили, что лестница заперта на висячий замок.

Сразу было видно, что замок не немецкий, а китайский.

Значит, нашу базу обнаружила охрана гетто. И им это так не понравилось, что они поступили жестоко — заперли единственную пожарную лестницу самого высокого дома Саньлитунь. В случае пожара жителям оставалось только выброситься в окошко.

Это скандальное происшествие нас жутко обрадовало.

На то были причины. Разве не счастье узнать, что у нас появился новый враг?

И какой враг! Сам Китай! Живя в этой стране, мы уже были посвящены в рыцари. А война с ней сделает нас героями.

В один прекрасный день мы сможем рассказать своим потомкам со сдержанным величием в голосе, что в Пекине мы сражались с немцами и китайцами. Это высшая слава.

К тому же такая чудесная новость: наш враг был глуп. Он строил лестницы и сам же запирал их на замок. Такая непоследовательность нас обрадовала. Ведь это все равно что построить бассейн и не налить туда воды.

Кроме того, мы надеялись, что случится пожар. После разбирательства выяснилось бы, что китайский народ таким образом приговорил к смерти сотни иностранных граждан. Мы были бы не только героями, но и жертвами политики — интернациональными мучениками. Честное слово, в этой стране мы бы не потеряли время зря.

(Мы были глубоко наивны. В случае пожара и последующего разбирательства история с замком была бы тщательно замята.)

Само собой, мы скрывали от родителей это выгодное обстоятельство. Вмешайся они, и нам никогда не стать мучениками. И потом, мы терпеть не могли допускать взрослых в свои игры. Они все портили. Они ничего не смыслили в великих делах. Они только и думали, что о правах человека, теннисе и бридже. Казалось, они не понимали, что впервые за всю их никчемную жизнь им выпадал шанс стать героями.

Верхом неприличия было то, что они хотели жить. Мы, впрочем, тоже, но при условии, что можно будет пожертвовать жизнью ради престижа, например на великолепном пожаре.

(На самом деле, если бы случился пожар, доля вины легла бы и на нас. Мы смутно догадывались об этом, но нас это не волновало. А меня и того меньше, поскольку и Елена, и моя семья жили в другом доме.)

Чудесная новость имела, однако, и свои недостатки: мы теперь не могли попасть в лагерь.

Но сама задача несла в себе решение, ведь замок был китайским.

Открыть его можно было пилкой для ногтей.

А чтобы китайцы ни о чем не догадались, мы додумались купить точно такой же замок, ключ от которого хранился у нас, и повесили его на место старого.

Теперь в случае пожара мы становились главными виновниками, потому что это наш замок обрекал на смерть тех, кто захотел бы спастись бегством.

Об этом мы тоже смутно догадывались. Но нас это опять-таки не беспокоило. Мы жили в Пекине, а не в Женеве и вести чистую войну не собирались.

Мы, конечно, не хотели, чтобы кто-то погиб. Но если это необходимо для продолжения войны, то пусть будет так.

Во всяком случае, нас это не заботило.

De minimis non curat praetor[1]. Пусть эти неудавшиеся дети — взрослые — тратят свое бесполезное время на такие вопросы, все равно у них нет серьезных дел.

У нас было такое острое ощущение человеческих ценностей, что мы почти никогда не разговаривали с людьми старше пятнадцати лет. Они были из параллельного мира, с которым мы жили в добром согласии, поскольку с ним не соприкасались.

Мы не задавались глупым вопросом о нашем будущем. Может быть, потому, что инстинктивно мы все нашли единственно верный ответ: "Когда я стану большим, я подумаю о том времени, когда я был маленьким".

Само собой разумеющимся было то, что взрослые посвящали себя детям. Родители и им подобные жили на земле для того, чтобы их отпрыскам не приходилось заботиться о пище и жилье, для того, чтобы они до конца могли исполнить свое главное предназначение — быть детьми, то есть жить полной жизнью.

Меня всегда интриговали дети, рассуждающие о своем будущем. Когда мне задавали извечный вопрос: "Кем ты будешь, когда вырастешь?", я неизменно отвечала, что "сделаю" Нобелевскую премию по медицине или стану мученицей, а может, и то и другое сразу. А отвечала я без запинки не потому, что хотела кого-то удивить, а для того, чтобы с помощью заранее заготовленного ответа поскорее отделаться от нелепых вопросов.

Вопрос этот был для меня скорее абстрактным, чем нелепым, ведь в глубине души я была уверена, что никогда не стану взрослой. Время слишком долго тянется, чтобы такое могло произойти. Мне было семь лет. Эти восемьдесят четыре месяца казались мне бесконечными. Моя жизнь так длинна! Голова кружилась от одной мысли, что я могу прожить еще столько же. Еще целых семь лет! Нет, это было бы слишком. Я думала остановиться на десяти или одиннадцати годах. Это будет вершиной зрелости. Я уже чувствовала себя зрелой личностью. Впрочем, со мной ведь уже столько всего приключилось!

Когда я говорила о Нобелевской премии по медицине или о мученичестве, это не было тщеславием, это был просто абстрактный ответ на абстрактный вопрос. И потом, эти звания не казались мне столь уж грандиозными. Единственным занятием, вызывавшим мое уважение, была профессия солдата, а точнее — разведчика. Я уже была на вершине своей карьеры. А потом — если потом что-нибудь будет — придется довольствоваться Нобелем. Но в глубине души я не верила в это "потом".

Это недоверие сопровождалось другим: когда взрослые говорили о своем детстве, я считала, что они лгут. Они не были детьми. Испокон веков они были взрослыми. Деградации не существовало, потому что дети оставались детьми, а взрослые взрослыми.

Я хранила эту невысказанную истину про себя. Я прекрасно понимала, что не смогу ее доказать, но от этого верила в нее еще больше.

Елена никому не рассказала, что мой велосипед был лошадью или наоборот.

1. Претору не до мелочей (*лат.*).

Она сделала это не по доброте, а потому, что я ничего для нее не значила. Она не говорила о незначительных вещах.

Впрочем, она вообще говорила мало. И никогда не заговаривала первой, а лишь отвечала на вопросы, которые находила достойными себя.

— Кем ты будешь, когда вырастешь? — спросила я просто ради научного эксперимента.

Никакого ответа.

В действительности, ее поведение подтверждало мою мысль. Дети, способные ответить на этот вопрос, — или ненастоящие дети (и таких много), или дети, тяготеющие к абстрактному мышлению и склонные к выдумке (такой была я).

Елена была настоящим ребенком, не склонным к философским измышлениям. Ответить на такой глупый вопрос для нее значило унизить себя. Это было так же нелепо, как спросить у канатоходца, что бы он делал, если бы был бухгалтером.

— Откуда у тебя такое платье?

Тут она снисходила до ответа. Чаще она отвечала так:

— Мама сшила, она очень хорошо шьет.

Или:

— Мама купила мне в Турине.

Так назывался город, из которого она приехала. Багдад не казался мне более загадочным.

Чаще она одевалась в белое. Этот цвет восхитительно шел ей.

Ее гладкие волосы были так длинны, что, даже заплетенные в косы, спускались ниже пояса. Ее мать никогда не позволяла китаянке притрагиваться к волосам дочери. Она сама тщательно и любовно заплетала роскошные пряди.

Мне больше нравилась одна коса, но Чжэ чаще заплетала мне две, как себе самой. Когда у меня была одна коса, я чувствовала себя очень элегантной. Я очень гордилась своими волосами, но когда увидела волосы Елены, то мои показались мне самыми обыкновенными. Это особенно бросилось в глаза в тот день, когда мы случайно оказались одинаково причесаны. Моя коса была длинной и темной. Ее же — бесконечной и черной как смоль.

Елена была на год младше меня и на пять сантиметров ниже, но она была выше меня во всем. Она превосходила меня, как превосходила весь мир. Она так мало нуждалась в других, что казалась старше меня.

Она могла целыми днями неторопливо шагать по тесному гетто. И оглядывалась по сторонам только для того, чтобы убедиться, что на нее смотрят.

Не знаю, были ли дети, не любовавшиеся ею. Она внушала восхищение, уважение, обожание и страх, потому что была самой красивой и потому что всегда была безмятежна, потому что никогда не заговаривала первой, потому что для того, чтобы войти в ее мир, нужно было приблизиться к ней, и потому, что, в конечном счете, никто так и не проник в ее мир, который, наверняка, был царством надменного спокойствия, величия и блаженства, где она превосходно обходилась обществом самой себя.

Никто не смотрел на нее так, как я.

С 1974 года я начала смотреть на других так долго и пристально, что это их смущало.

Но Елена была первой.

И ее это ничуть не беспокоило.

Именно она научила меня смотреть на людей. Потому что она была красива и, казалось, требовала, чтобы на нее смотрели не отрываясь. Требование, которое я выполняла с редким усердием.

По ее вине я стала меньше интересоваться войной. Разведчик все реже ходил в разведку. До ее появления я проводила свободное время верхом, в поисках врага. Теперь же долгие часы были посвящены созерцанию Елены. Это можно было делать сидя в седле или пешком, но всегда на почтительном расстоянии.

Мне и в голову не приходило, что это выглядит нелепо. При виде ее я забывала о себе самой. А потеря памяти оправдывала самое странное поведение.

Ночью, лежа в кровати, я приходила в себя и начинала страдать. Я любила Елену и чувствовала, что моя любовь жаждет чего-то. Но понятия не имела, чего именно. Я знала, что красавица должна хоть чуточку обратить на меня внимание. Этот первый шаг был совершенно необходим. Но я чувствовала, что потом между нами должно свершиться нечто таинственное и неопределенное. Я сочиняла истории — кое-кто назвал бы их метафорами, — чтобы приблизиться к тайне. В этих историях моя возлюбленная всегда страдала от сильного холода. Чаще всего она лежала на снегу. Полураздетая, почти голая, она плакала от холода. Снег играл здесь очень важную роль.

Мне нравилось, что она мерзла, ведь нужно было ее согреть. Мое воображение не было столь настойчиво, чтобы найти тому наилучший способ, зато я представляла — я чувствовала, — как тепло, постепенно растекавшееся по застывшему телу, отогреет обмороженные места и заставит ее вздохнуть от необычного удовольствия.

Эти истории повергали меня в такое блаженство, что казались волшебными. Отблеск их магического очарования падал на меня, я была настоящим медиумом. Я была хранителем мудрых секретов, и если бы Елена могла догадаться об этом, она бы полюбила меня.

Нужно было рассказать ей об этом.

И я рискнула. Это было очень наивно с моей стороны, но по моим поступкам можно было судить, как сильно я верила в это чудо.

Однажды утром я подошла к ней. На ней было пурпурное платье без рукавов, плотно облегающее талию и расширяющееся книзу подобно пиону. Ее красота и грация затуманили мне голову.

Однако я не забыла того, что хотела ей сказать.

— Елена, у меня есть один секрет.

Она снисходительно взглянула на меня, словно говоря, что послушать новости всегда неплохо.

— Еще один конь? — насмешливо спросила она.

— Нет. Настоящий секрет. Об этом кроме меня больше не знает никто на свете.

Я сама ничуть в этом не сомневалась.

— И что это?

Тут я сообразила — хоть и поздно, — что мне совершенно нечего было ей показать. Что я могла придумать? Не могла же я рассказать ей про снег и странные вздохи.

Это было ужасно. В кои-то веки она удостоила меня взглядом, а мне нечего было сказать.

Чтобы протянуть время, я решила ее куда-нибудь отвести.

— Иди за мной.

И я пошла, сама не зная куда, стараясь сохранять уверенный вид, чтобы скрыть свою панику.

О чудо — Елена последовала за мной. Правда, ничего необычного в этом не было. Она целыми днями неторопливо расхаживала по гетто. А сейчас просто шагала рядом, но была такой же отстраненной, как всегда.

Было очень трудно так медленно идти. Похоже на замедленную съемку. Но это было ничто в сравнении с ужасом, который я испытывала при мысли о том, что мне нечего, абсолютно нечего было ей показать.

И все же я ликовала, глядя, как она идет за мной. Я ни разу не видела, чтобы она шла с кем-то рядом. Ее волосы были заплетены в косу, и я отчетливо видела ее восхитительный профиль.

Но куда же, черт побери, мне ее отвести? В гетто не было ничего таинственного, и она знала его так же хорошо, как я.

Все это заняло около получаса. А мне вспоминается, словно прошла неделя. Я медленно шагала, не столько чтобы быть рядом с Еленой, сколько, чтобы оттянуть момент позора и унижения, когда я покажу ей дыру в земле, кусок битого кирпича или другую чепуху и отважусь пролепетать что-то вроде: "О! Его кто-то украл! Кто стащил мой ларец с изумрудами?" Красавица рассмеялась бы мне в лицо. Позор был неотвратим.

Я выставляла себя на посмешище и все же не могла признать свое поражение, ведь секрет все-таки был, и он был лучше любых изумрудов. Если бы только найти слова, чтобы описать Елене всю прелесть этой тайны — снег, странный жар, неведомое удовольствие, бесстыдные улыбки и все то необъяснимое, что следовало за этим.

Если бы я могла показать ей хоть краешек этого чуда, она пришла бы в восторг и полюбила меня, в этом я не сомневалась. Нас разделяли слова. А ведь достаточно было найти волшебное заклинание, чтобы добраться до сокровищ, как у Али-Бабы "Сезам, откройся!" Но великий секрет оставался под замком, и все, что я могла сделать, — еще больше замедлить шаг в надежде на то, что вдруг из воздуха возникнет слон, летучий корабль или атомная электростанция — что-нибудь, что отвлекло бы нас.

Терпение Елены говорило о ее равнодушии, она словно заранее решила, что мой секрет не стоил внимания. Я была почти благодарна ей за это. Так потихоньку, бесцельно сворачивая то вправо, то влево, мы подошли наконец к воротам гетто.

Я почти задыхалась от отчаяния и гнева. Я готова была броситься на землю с криком: "Нет никакого секрета! Не могу я его ни показать, ни рассказать о нем! И все-таки он есть! Ты должна поверить, потому что я чувствую его в себе и потому что он в тысячу раз прекраснее, чем ты можешь себе представить! И ты должна полюбить меня, потому что

я одна владею этим секретом. Не дай такому сокровищу, как я, уплыть из твоих рук!"

И тут Елена, сама того не зная, спасла меня:

– Твой секрет за воротами Саньлитунь?

Я сказала "да", просто чтобы что-нибудь ответить, прекрасно зная, что бульвар Обитаемого Уродства не похож ни на какой секрет.

Моя возлюбленная остановилась:

– Тогда ничего не получится. Мне нельзя отсюда выходить.

– Что? – переспросила я, делая вид, что не поняла, и не решаясь поверить в это спасение за секунду до гибели.

– Мама запретила мне выходить. Она говорит, что китайцы опасны.

Я чуть не воскликнула: "Да здравствует расизм!", но вовремя сдержалась и сказала:

– Жалко! Если бы ты только знала, как прекрасен этот секрет!

Слова, достойные умирающего Малларме.

Елена пожала плечами и медленно удалилась.

Должна признаться, что с тех пор я храню глубокую и вечную благодарность китайскому коммунизму.

Две лошади выехали из-за ограды через единственные и постоянно охраняемые ворота. На бульваре Обитаемого Уродства они не свернули на площадь Великого Вентилятора, а поскакали в противоположную сторону, налево. Они ехали за город.

На площади Великого Вентилятора был Запретный Город. Он был не таким запретным, как деревня. Но два всадника были не в том возрасте, на который распространялся запрет, и их не останавливали.

Они скакали галопом среди полей. Город Вентиляторов скрылся из виду.

Нельзя понять, что такое уныние, если не видел земли, окружающие Пекин. Трудно поверить, чтобы самая великая в истории империя могла быть создана на этой скудной земле.

Пустыня красива. Но пустыня, замаскированная под деревню, – это жалкое зрелище. Из земли еле пробивались чахлые ростки. Людей редко можно было увидеть, потому что они жили в землянках.

Если есть на этой планете унылый пейзаж, он выглядит именно так. Кони стучали копытами по узкой дороге в надежде нарушить тишину руин.

Не знаю, известно ли было моей сестре, что ее велосипед – это конь, по крайней мере, по ее виду нельзя было сказать, чтобы она сомневалась в этой непреложной истине.

Прибыв на берег пруда, окруженного рисовыми полями, мы останавливали коней, снимали свои доспехи и прыгали в грязную воду. Это была наша субботняя прогулка.

Иногда какой-нибудь китайский крестьянин с загадочно-отсутствующим видом приходил посмотреть на двух купающихся белянок.

Два рыцаря выходили из воды, вновь облачались в доспехи и садились на берегу. Пока их скакуны щипали редкую траву, они ели печенье.

В сентябре началась учеба.

Для меня это уже было не ново. Для Елены – в первый раз.

Но маленькая Французская школа Пекина имела мало общего с образованием.

Мы, дети всех национальностей, — за исключением тех, что говорили по-английски и по-немецки, — страшно бы удивились, скажи нам кто-нибудь, что мы ходим туда учиться.

Мы этого не замечали.

Для меня школа была большой фабрикой бумажных самолетиков.

Даже учителя помогали нам их делать. Поскольку по профессии они не были ни учителями, ни воспитателями, это было почти все, чему они могли научить.

Этих отважных добровольцев нелегкая занесла в Китай, где за великими иллюзиями последовало великое разочарование.

Впрочем, все живущие в Китае иностранцы, кроме дипломатов и синологов, попадали сюда по "нелепой случайности".

А раз уж этим несчастным нужно было чем-то заняться, они шли "преподавать" в маленькую Французскую школу Пекина.

Это была моя первая школа. Там я провела три знаменательных года. Но сколько я ни копалась в памяти, не могла вспомнить ничего из того, чему нас там учили, кроме строительства бумажных самолетиков.

Впрочем, ничего страшного в этом нет. Читать я умела с четырех лет, писать — с пяти, а уж завязывать шнурки и подавно. Значит, и учиться мне было больше нечему.

Перед учителями была поставлена сверхтрудная задача — не дать детям поубивать друг друга. И они с ней справлялись. Значит, нужно поздравить этих достойных людей и понять, что в подобных условиях учить детей алфавиту было нелепой роскошью идеалистов конца прошлого века.

Для нас, детей разных национальностей, учение было только продолжением все той же войны.

С той небольшой разницей, что в маленькой Французской школе Пекина не было немцев, они ходили в Восточногерманскую школу.

И мы уладили этот скандал гениальным и пугающим решением: в школе врагами были все без исключения.

А поскольку учебное заведение было небольшим, мы уничтожали друг друга с легкостью. Врага не нужно было искать, он был повсюду, до него можно было достать рукой, зубами, ногой, плевком, ногтем, головой, подножкой, мочой и блевотиной. Стоило лишь чуть наклониться.

Эта школа была замечательна еще тем, что четверть учеников не знали ни слова по-французски и даже не собирались его учить. Родители отправили их туда, потому что не знали, куда их девать, и потому что хотели отдохнуть в кругу взрослых и насладиться режимом дома.

Среди нас были перуанцы и еще какие-то марсиане, которых мы мутузили для развлечения и чьи крики совершенно нельзя было понять. О Французской школе у меня сохранились наилучшие воспоминания.

Для Елены это тоже была первая в жизни школа.

Я дрожала от страха. Я обожала этот вертеп, но мысль о том, что такое хрупкое создание попадет в столь опасное место, меня ужасала. Она же ненавидела насилие!

В любом случае, я дала себе слово отлупить всякого или всякую, кто тронет ее хоть пальцем. Тогда уж, наверное, она обратит на меня внима-

ние. Тем более что обидчик, скорее всего, сделает из меня отбивную, а Елена надо мной посмеется.

Но помощь не понадобилась.

Везде, куда ни ступала Елена, свершалось чудо. С первого учебного дня вокруг моей возлюбленной возникла аура мира, спокойствия и галантности. Она могла проходить через самые кровавые битвы, аура следовала за ней повсюду. Все инстинктивно расступались перед ней: никто бы не осмелился поднять руку на такую красоту и величие.

В четыре часа она возвращалась в гетто такой же чистой и опрятной, как утром.

Казалось, воинственный дух, царивший в школе, не мешал ей, она его не замечала. По крайней мере, делала вид, что не замечает. На переменах она неторопливо расхаживала по земляному двору с задумчивым видом, наслаждаясь одиночеством.

Однажды случилось то, что и должно было случиться. Ее одиночество не могло длиться вечно.

Такая высокомерная красота, как у нее, держала других на почтительном расстоянии. Я никогда не думала, что какой-нибудь смельчак отважится приблизиться к ней. В любви я познала много страдания, но еще не испытала ревности.

И каково же было мое удивление, когда однажды утром я увидела, как какой-то жизнерадостный мальчишка что-то рассказывал маленькой итальянке.

И чтобы послушать его, она остановилась.

И она слушала его. Она удостоила его взглядом. И ее глаза и рот были глазами и ртом человека, который слушает.

Конечно, нельзя было сказать, что она им восторгалась или хотя бы заинтересовалась, но она по-настоящему слушала. Она одарила его своим вниманием.

Я видела, что этот мальчишка существует для нее.

И существовал он по меньшей мере минут десять.

А поскольку учился он с ней в одном классе, одному Богу известно, сколько он еще просуществует, а я не буду об этом знать.

Какая гнусность.

Тут следует кое-что пояснить.

До четырнадцати лет я делила человечество на три вида: женщины, маленькие девочки и смешные существа.

Прочие различия казались мне из области анекдотов: богатые и бедные, китайцы или бразильцы (немцы стояли особняком), господа или рабы, красивые или уродливые, взрослые или старики, все эти различия были, конечно, важны, но не раскрывали человеческой сути.

Женщины были очень нужными людьми. Они готовили еду, одевали детей, учили их завязывать шнурки, наводили чистоту, создавали младенцев у себя в животах, они носили интересную одежду.

Смешные существа были совершенно непригодны. Утром взрослые существа уходили "на работу", которая была школой для взрослых, то есть заведением бесполезным. Вечером они встречались с друзьями — малопочтенное занятие, о котором я уже говорила.

На самом деле взрослые смешные существа были очень похожи на смешных существ-детей с той существенной разницей, что они утрати-

ли прелесть детства. Но их предназначение не менялось, и внешний облик тоже.

Зато между женщинами и маленькими девочками была огромная разница. Прежде всего, с первого взгляда было видно, что они не принадлежат к одному полу. И потом, их значимость существенно менялась с возрастом. Девочки переходили от бесполезности детства к первостепенной роли женщин, в то время как смешные существа оставались бесполезными всю жизнь.

Единственные смешные, которые на что-то годились, были те, что подражали женщинам: повара, продавцы, учителя, врачи и рабочие.

Потому что эти профессии были прежде всего женскими, особенно последняя: на многочисленных пропагандистских плакатах, которыми кишел Город Вентиляторов, рабочие всегда были женщинами, толстощекими и жизнерадостными. Они так весело ремонтировали пилоны, что у них румянец играл на лицах.

Деревня не отставала от города. На плакатах были только радостные и энергичные крестьянки, в экстазе вязавшие снопы.

Взрослые смешные в основном занимались притворством. Так, китайские солдаты, окружавшие гетто, притворялись опасными, но никого не убивали.

Я хорошо относилась к смешным существам, тем более что их судьба казалась мне трагичной: они ведь были смешными с рождения. Они рождались с этой нелепой штукой между ног, которой так трогательно гордились, и были от этого еще смешнее.

Дети смешные часто показывали мне этот предмет, и я всегда хохотала до слез, что их весьма удивляло.

Однажды я не сдержалась и сказала одному из них с искренним сочувствием:

— Бедняга!

— Почему? — недоуменно спросил он

— Это, должно быть, неприятно.

— Нет, — заверил он.

— Не нет, а да, это сразу видно, если вас по нему стукнуть.

— Да, но так удобнее.

— Что?

— Мы писаем стоя.

— Ну и что?

— Так лучше.

— Ты думаешь?

— Чтобы писать в немецкие йогурты, нужно быть мальчиком.

Я призадумалась. Обязательно должно быть какое-то средство, чтобы доказать свое превосходство. И позже мне еще представится такая возможность.

Элитой человечества были маленькие девочки. Человечество существовало ради них.

Женщины и смешные существа были калеками. Их тела своей нелепостью вызывали смех.

Только маленькие девочки были совершенны. Ничего не торчало из их тел, ни причудливые отростки, ни смехотворные протуберанцы. Они были чудесно сложены, их силуэт был гладким и обтекаемым.

Они не приносили материальной пользы, но они были нужнее, чем кто-либо, ибо они воплощали собой красоту — настоящую красоту, которой можно только наслаждаться, которая ничем не стесняет, когда тело — это истинное счастье с головы до ног. Надо быть маленькой девочкой, чтобы понять, какой роскошью может быть собственное тело.

Чем должно быть тело? Только источником удовольствия и радости.

Если тело начинает тяготить и становится препятствием — все пропало.

У прилагательного "гладкий" почти нет синонимов. И неудивительно, ведь словарь счастья и удовольствия во всех языках беден.

Да будет позволено мне употребить слово "обтекаемость", дабы объяснить обделенным природой, что такое счастливое тело.

Платон считал тело помехой, тюрьмой, и я сто раз соглашусь с ним, но только не в случае с маленькими девочками. Если бы Платон мог побыть девочкой, он узнал бы, что тело — это, напротив, источник свободы, самый головокружительный трамплин в наслаждение, это классика души, это чехарда идей, ловкость и быстрота, единственная отдушина для бедного мозга. Но Платон ни разу не вспомнил о маленьких девочках, их слишком мало в Идеальном Мире.

Конечно, не все маленькие девочки красивы. Но даже на некрасивых девочек приятно смотреть.

А когда девочка хорошенькая или красивая, величайший итальянский поэт посвящает ей все свое творчество, маститый английский логик теряет голову из-за нее, русский писатель бежит из страны, чтобы назвать ее именем опасный роман, и т. д. Потому что маленькие девочки сводят с ума.

До четырнадцати лет я любила женщин, любила я и смешных существ, но я считала, что быть влюбленным в кого-то, кроме маленькой девочки, лишено всякого смысла.

Поэтому, когда я увидела, что Елена уделяет внимание смешному мальчишке, я была возмущена.

Пусть она не любит меня.

Но чтобы она предпочла мне смешное создание — это уже не лезло ни в какие ворота.

Значит, она все-таки слепа?

Но ведь у нее был брат: не могла же она не знать о том, что все мальчики обижены природой. Не могла она влюбиться в калеку.

Калек можно любить только из жалости. А Елене было неведомо это чувство.

Я не могла понять.

Она что, правда его любит? Узнать это невозможно. Но ради него она перестала шагать с отсутствующим видом, она соблаговолила остановиться и послушать его. Я никогда не видела, чтобы она кого-то баловала таким вниманием.

И так повторялось на многих переменах. Видеть это было нестерпимо.

Кто такой, черт возьми, этот смешной? Я не была с ним знакома.

Я навела справки. Это был шестилетний француз из Вайцзяо далу. Ну, слава богу, не хватало еще, чтобы он жил в одном гетто с нами. Но он общался с Еленой в школе по шесть часов в день. Это было ужасно.

Его звали Фабрис. Я никогда не слышала такого имени и сразу решила, что это самое нелепое имя на свете. А в довершение своей нелепости он еще и носил длинные волосы. Это было чрезвычайно нелепое смешное существо.

Увы, кажется, я была единственной, кто так считал. Фабрис был заводилой в младших классах.

Моя любимая выбрала власть, мне было стыдно за нее.

Но, как ни странно, от этого я только больше ее полюбила.

Я не понимала, почему у моего отца такой измученный вид. В Японии он хорошо себя чувствовал. В Пекине его будто подменили.

К примеру, со дня приезда он пытался выяснить состав китайского правительства.

Хотелось бы знать, ему что, всерьез это интересно?

Похоже, для него это было серьезно. Ему не везло. Всякий раз, когда он задавал этот вопрос, китайские власти отвечали, что это секрет.

Он старался возражать как можно вежливее:

— Но ни одна страна мира не скрывает состав своего правительства!

Кажется, этот аргумент не трогал китайцев.

Таким образом, немногие дипломаты, жившие в Пекине, были вынуждены обращаться к фиктивным и безымянным министрам: это интересное занятие требовало способности к абстрактному мышлению и смелости воображения.

Всем известна молитва Стендаля: "Господи, если Ты существуешь, сжалься над моей душой, если она у меня есть".

Общение с китайским правительством сводилось примерно к тому же.

Но действующая система была гораздо сложнее теологии в том, что она не переставала сбивать с толку своей непоследовательностью. Так, официальные обращения могли содержать следующую фразу: "На открытии нового текстильного завода народной коммуны такой-то присутствовал министр промышленности товарищ Чан..."

Тут же все пекинские дипломаты бросались к своим правительственным уравнениям с двадцатью неизвестными и записывали: "11 сентября 1974 года министр промышленности — Чан..."

Месяц за месяцем политическая мозаика потихоньку заполнялась, но всегда с огромной долей неуверенности, потому что состав правительства Китая был весьма нестабилен. Одним словом, однажды, без всякого предупреждения, появлялось следующее официальное сообщение: "Согласно заявлению министра промышленности товарища Мина..."

И все начиналось сначала.

Склонные к мистике довольствовались словами, которые давали пищу их фантазии:

— В Пекине мы поняли, что древние подразумевали под словами deus absconditus[1].

Прочие шли играть в бридж.

1. Лик бога непознаваем (*лат.*).

Меня не волновали подобные вещи.

Было кое-что поважнее.

Был этот Фабрис, чей престиж рос на глазах и на которого Елена обращала все больше и больше внимания.

Я не задавалась вопросом, что было у этого мальчика, чего не было у меня. Я знала, что у него было.

И именно это озадачивало меня. Неужели у Елены эта штука не вызывала смех? Неужели она могла ей нравиться? Очень похоже, что так и было.

В четырнадцать лет, к моему великому удивлению, я стала относиться к этому по-другому.

Но в семь лет такая склонность казалась мне непонятной.

Я с ужасом сделала вывод, что моя возлюбленная сошла с ума.

Я решила: будь что будет. Отведя маленькую итальянку в сторону, я шепнула ей на ухо, каким уродством страдал Фабрис.

Она посмотрела на меня, сдерживая смех, и было ясно, что смеялась она надо мной, а не над этим предметом.

Я поняла, что Елена для меня потеряна.

Ночь я провела в слезах — не потому, что у меня не было этого приборчика, а потому, что у моей любимой оказался дурной вкус.

В школе один отважный учитель задумал занять нас чем-то иным, нежели строительство бумажных самолетиков.

Он собрал вместе три младших класса, и я оказалась рядом с Еленой и ее свитой.

— Дети, у меня идея — мы вместе сочиним историю.

Это предложение сразу показалось мне подозрительным. Но я одна так к нему отнеслась, остальные обрадовались.

— Пусть те, кто умеет писать, сочинят какую-нибудь историю. А потом мы вместе выберем самую интересную, нарисуем к ней картинки и сделаем книгу.

"Чепуха", — подумала я.

Эта затея была придумана для того, чтобы большинство неграмотных учеников младших классов захотели научиться писать.

Уж если приходится заниматься всякой ерундой, решила я, выберу историю, которая мне по душе.

И с жаром погрузилась в творчество.

Одна прекрасная русская принцесса (почему именно русская, до сих пор не пойму) была голой погребена в горе снега. У нее были очень длинные волосы и бездонные глаза, которые прекрасно сочетались с ее страданием. Ведь холод причинял ей нестерпимую боль. Только голова ее виднелась из снега, и она видела, что кругом ни души и никто не придет ей на помощь. Далее шло долгое описание ее слез и горя. Я ликовала. И тут, как богиня из машины, появлялась другая принцесса, которая вызволяла ее из снежного плена и согревала ее заледеневшее тело. Со страстью и вожделением описывала я, как она это делала.

Голова моя была как в тумане, когда я сдала свое сочинение.

По непонятным причинам оно было тут же предано забвению. Учитель даже не упомянул о нем.

Однако он рассказал обо всех остальных, где говорилось о поросятах, далматинцах, о носе, который рос, если его хозяин врал, – короче, сплошной плагиат.

К моему великому стыду, должна признаться, что я забыла историю, сочиненную Еленой.

Но я не забыла, кто из учеников занял первое место и как толпа помогла ему в этом.

В сравнении с этим румынская избирательная кампания – просто образец честности.

Фабрис – а это, конечно, был он – сочинил историю о благотворительности. Дело происходило в Африке. Маленький негритенок не мог видеть, как его семья умирает с голоду, и отправился на поиски съестного. Он ушел в город и разбогател. Через десять лет он вернулся в деревню, завалил родню подарками и едой и построил больницу.

Вот как учитель преподнес нам этот поучительный рассказ:

– Я оставил напоследок историю нашего Фабриса. Не знаю, что вы на это скажете, но мне она нравится больше всех.

И он прочел его сочинение, которое было встречено самыми вульгарными криками восторга.

– Ну что ж, дети, думаю, вы со мной согласны.

Не могу выразить, как мне было противно.

Прежде всего сага Фабриса показалась мне нелепой и глупой.

"Да ведь это сказка про гуманитарную помощь!" – слушая его чтение, воскликнула я про себя с таким огорчением, словно хотела сказать: "Это же пропаганда!"

С тех пор, если этот взрослый кого-то хвалил, я сразу понимала, что речь об очередной посредственности.

Мое первое впечатление подтвердилось отвратительной идеологической манипуляцией, которая затем последовала.

Дальнейшее шло по тому же сценарию: голосование восторженными криками, а не выборами, неточность в подсчетах и т. д.

И в конце гвоздь программы: лицо победителя, который вышел поприветствовать избирателей и изложить свой проект более подробно.

Его спокойная, довольная улыбка!

Его идиотский голос, вещающий о мужестве голодающих!

А главное – единодушные крики радости этой кучки маленьких глупцов!

Только Елена не ликовала вместе со всеми, но та гордость, с которой она смотрела на героя, была не лучше.

По правде сказать, я ничуть не расстроилась, что о моей истории не упомянули. Я жаждала славы только в любви и на фронте. И считала, что писать – хорошее занятие для других.

Но при мысли, что притворное добродушие этого мелкого смешного существа снискало такой восторг, меня тошнило.

То, что к моему возмущению примешивалось много ревности и злости, не меняло дела: мне было отвратительно слышать, как превозносили до небес историю, где добрые чувства были плодом фантазии.

С этого дня я провозгласила литературу делом продажным.

Махинация была налицо.

Сочинение писали сорок детей.

Я гарантирую, что из нас только тридцать девять человек были способны сочинять истории, потому что я предпочла бы лучше умереть, чем помогать, как бы мало ни было мое участие, этому народному созиданию.

А если исключить маленьких перуанцев и других инопланетян, случайно приземлившихся среди нас, которые не понимали ни слова по-французски, остается тридцать четыре человека.

Из них надо вычесть тех, которые молча следуют за большинством, такие есть в любом обществе, и их тупое молчание принимают за участие. Остается двадцать человек.

Среди них Елена, которая всегда молчит, чтобы сохранить репутацию сфинкса. Остается девятнадцать.

Из них девять девочек влюблены в Фабриса и открывают рот только для того, чтобы громко одобрять все, что бы ни сказал их длинноволосый идол. Остается десять.

Из них четверо мальчиков подражают Фабрису и только умеют, что разевать рты от восторга, когда говорит их кумир. Итого шесть.

Среди них один румын, очень важный с виду, все время повторяющий, как ему нравится эта затея и как он мечтает принять в ней участие. На этом его участие и заканчивалось. Без него остается пять.

Из них два соперника Фабриса, которые робко пытаются противиться всему, что он говорит, но малейший их выпад гасится общим улюлюканьем. Итого трое.

Среди них странный тип, который говорил только по подсказке. Остается два человека.

Один из них — мальчик, который жаловался, возможно искренне, что у него нет ни капли воображения.

Вот как мой соперник преуспел в нашем коллективном труде.

(Впрочем, таково большинство коллективных трудов.)

И вот как те, кто должен был научиться читать и писать, благодаря этому спектаклю ничему не научились.

Эта махинация длилась три месяца.

Мало-помалу учитель заметил кое-какие изъяны этого предприятия, которое становилось все менее и менее коллективным.

Однако он не пожалел о своей выдумке, потому что мы никого не поколотили за три месяца, а это уже было большим достижением.

Однажды он все-таки рассердился, видя, что караван-сарай из молчунов все меньше, а шума все больше. И он приказал тем, кто не участвовал в написании истории, рисовать картинки к истории Фабриса.

Этим занялись двадцать детей, которые, как предполагалось, должны были изобразить прекрасный поступок героя.

Непонятно почему, учитель велел нам рисовать наши шедевры при помощи палочек, вырезанных из сырого картофеля, которые макались в тушь. Впрочем, эта идея прекрасно сочеталась с человеколюбивой моралью истории, которую мы рисовали.

Наверное, задумка должна была выглядеть авангардно, но это было скорее смешно, учитывая, что картошка в Китае стоила гораздо дороже, чем кисти.

Нас разделили на художников и чистильщиков-строгальщиков картошки. Я заверила, что таланта к живописи у меня нет, и подалась в чи-

стильщики, где начала с тайным бешенством применять разные технические методы саботажа картофельных палочек. Я делала все что угодно, чтобы палочка не получалась, резала слишком тонко или поперек, а иногда даже попросту ела сырые клубни, чтобы уничтожить их, что само по себе геройский поступок.

Я никогда не бывала в министерстве культуры, но когда я себе его воображала, то всегда видела перед собой классную комнату в Городе Вентиляторов, где десять человек чистили картошку, десять художников вдохновенно марали бумагу, девятнадцать интеллектуалов сидели без дела, а верховный жрец самостоятельно создавал великую и возвышенную коллективную историю.

Если на этих страницах почти не говорится о Китае, это не значит, что он был мне не интересен: не обязательно быть взрослым, чтобы подхватить эту болезнь, которая у каждого называется по-разному: синомания, синолалия, синопатия, синолатрия или даже синофагия — называйте как хотите, все зависит от того, какие чувства вызывает у вас эта страна. Мы едва начинаем понимать, что интересоваться Китаем значит интересоваться самим собой. По странным причинам, которые вызваны, вероятно, его огромными размерами, древностью, ни с чем не сравнимой цивилизацией, его гордыней, чудовищной утонченностью, его легендарной жестокостью, необъяснимыми парадоксами, его молчанием и мифической красотой, свободой интерпретаций, которую допускает его таинственность, его законченностью, его всеми признанной мудростью, тайным господством, постоянством, страстью, которую он внушает, и, наконец и более всего, своей непознаваемостью, — по всем этим неблаговидным причинам человек внутренне отождествляет себя с Китаем, хуже того, в Китае он видит географическое воплощение самого себя.

Как дом терпимости позволяет обывателю воплотить в жизнь свои самые непристойные фантазии, так и Китай становится местом, где позволено предаваться самым низким инстинктам, — там учатся говорить о себе. Потому что разговор о Китае — это удобно завуалированный способ поговорить о себе (исключения можно сосчитать по пальцам одной руки). Отсюда и самодовольство, о котором говорилось выше и которое, под маской злословия и поношения, никогда, однако, далеко не уходит от первого лица единственного числа.

Дети — натуры еще более эгоцентричные, чем взрослые. Вот почему Китай околдовал меня, как только я ступила на его землю в возрасте пяти лет. Потому что эта мечта, доступная даже незамысловатым умам, обходится недешево: по сути все мы — китайцы. Конечно, каждый в той или иной степени несет в себе частичку Китая, как у каждого есть некое количество холестерина в крови или самодовольства во взгляде. Любая цивилизация по-своему повторяет китайскую модель. Из сети разных плеоназмов можно было бы выделить великую ось истории: древний мир—Китай—современная цивилизация, поскольку невозможно упомянуть одно из трех понятий, исключив два других.

И, однако, Китай почти отсутствует на этих страницах. Можно придумать много отговорок: что присутствие Китая чувствуется тем сильнее, чем меньше о нем упоминаешь; что это рассказ о воспоминаниях детства и что, в каком-то смысле, каждое детство — это свой Китай; что Срединная Империя — слишком интимное место на теле человечества,

чтобы я осмелилась описать ее более подробно; что при описании этого двойного путешествия — в детство и в Китай — слова становятся особенно слабыми и невыразительными. Все это звучит правдоподобно, и мне наверняка поверили бы.

И все же я отвергаю все это ради самого досадного довода: эта история происходит в Китае, но едва ли именно там. Можно было бы с тем же успехом сказать, что все это случилось не в Китае, причин тому нашлось бы немало. Приятнее было бы думать, что эта страна больше не Китай, что он куда-то исчез, а на краю Евразии появилась огромная по численности нация, бездушная и безымянная, а значит, и лишенная всяких бед. Увы, я этого сделать не могу. И, вопреки всем ожиданиям, эта отвратительная страна была именно Китаем.

Что вызывает сомнение, так это присутствие в Китае иностранцев. Необходимо понять, что означает слово "присутствовать". Конечно, мы жили в Пекине, но разве можно говорить о "присутствии", если ты так тщательно изолирован от китайцев? Если доступ к остальной территории страны запрещен? Если общение с ее жителями невозможно?

За три года мы по-настоящему были знакомы только с одним китайцем, это был переводчик из посольства, милый человек, носивший неожиданное имя Чан. Его французский был восхитителен и изыскан, с очаровательными фонетическими неточностями: например, вместо того, чтобы сказать "в прошлом", он говорил "в очень холодной воде"[1], потому что так он слышал слово "в прошлом". Мы не сразу поняли, почему господин Чан так часто начинал свою речь с фразы "в очень холодной воде". Но его рассказы об этой "холодной воде" были всегда чрезвычайно интересны, и чувствовалось, какую ностальгию они у него вызывают. Однако именно из-за упоминаний о "холодной воде" на господина Чана обратили внимание и очень скоро он исчез, а вернее испарился, не оставив и следа, как будто его никогда не было.

О его дальнейшей судьбе остается только гадать.

Довольно быстро его сменила несговорчивая китаянка с неожиданным именем Чан. Но если господин Чан был господином, то она не терпела никакого другого обращения, кроме "товарищ". Когда к ней обращались "мадам Чан" или "мадемуазель Чан", она поправляла нас, словно речь шла о грубой грамматической ошибке. Однажды моя мать спросила: "Товарищ Чан, а как обращались к китайцам раньше? Был ли какой-то эквивалент слов 'мадам' или 'месье'?"

— К китайцам обращаются "товарищ", — неумолимо ответила переводчица.

— Да, конечно, — настаивала моя наивная мать. — А раньше, вы понимаете... раньше?

— Не было никакого "раньше", — безапелляционно отрезала товарищ Чан.

Мы все поняли.

У Китая не было прошлого.

Нечего было говорить об "очень холодной воде".

На улицах китайцы шарахались от нас, как от зачумленных. Что касается обслуживающего персонала, который китайские власти выдели-

1. Речь идет об ошибке в произношении фразы "dans l'autrefois", что в переводе с французского означает "в прошлом". Китаец произносит эти слова "dans l'eau très froide", что звучит почти так же, но означает "в очень холодной воде".

ли иностранцам, то эти люди очень мало общались с нами. Так что, во всяком случае, в шпионаже их заподозрить было нельзя.

Наш повар, у которого было неожиданное имя Чан, очень тепло к нам относился, наверное, потому что имел доступ к миру продуктов, которые в голодном Китае считались наипервейшей ценностью. Чан был одержим идеей закармливать трех детей с запада, которых ему поручили. Он присутствовал при каждом приеме пищи, когда мы ели без родителей, а так было почти всегда, и строго следил за тем, как мы ели, словно от наших тарелок зависела судьба человечества. Он говорил всегда только два слова: "много кушать" — священная формула, которую он произносил редко и торжественно, как магическое заклинание. В зависимости от нашего аппетита на его лице отражались или удовлетворение от чувства выполненного долга, или мучительная тревога. Повар Чан любил нас. И если он заставлял нас есть, то только потому, что это был единственный дозволенный ему способ выразить эту любовь: китайцам разрешалось говорить с иностранцами только о еде.

Еще были рынки, куда я ездила верхом покупать карамельки, красных косоглазых рыбок, тушь и прочие диковинки, но там общение ограничивалось товарно-денежным обменом.

Вот и все.

После всего вышесказанного остается сделать вывод: эта история произошла в Китае настолько, насколько ей это было позволено — то есть в очень незначительной степени.

Это история гетто. А значит, рассказ о двойном изгнании — изгнании из моей родной страны (для меня это была Япония, потому что я считала себя японкой) и изгнании из Китая, который нас окружал, но от которого мы были отрезаны как весьма нежелательные гости.

Во избежание заблуждений, сделаю вывод: Китай занимает на этих страницах такое же место, что и черная чума в "Декамероне" Боккаччо: если о ней почти не говорится, то лишь потому, что она СВИРЕПСТВУЕТ повсюду.

Елена всегда была недоступна. А с тех пор, как появился Фабрис, она все больше от меня ускользала.

Я уже не знала, что придумать, чтобы обратить на себя ее взор. Я хотела рассказать ей про вентиляторы, но подумала, что она поведет себя так же, как в случае с конем, — пожмет плечами и равнодушно отвернется.

Я благословляла судьбу за то, что Фабрис жил в Вайцзяо далу. И благословляла мать моей любимой, которая запрещала своим детям покидать Саньлитунь.

На самом деле попасть из одного гетто в другое было просто. На велосипеде у меня это занимало четверть часа. Я часто ездила туда, потому что в Вайцзяо далу был магазин, торгующий отвратительными китайскими леденцами, которые кишели микробами, но казались мне самым лучшим лакомством в мире.

Я заметила, что за три месяца ухаживания Фабрис ни разу не наведался в Саньлитунь.

Это навело меня на мысль, которая, как я надеялась, была жестока. По дороге из школы я спросила у маленькой итальянки безразличным тоном:

— Фабрис влюблен в тебя?

— Да, — ответила она равнодушно, словно иначе и быть не могло.

— А ты его любишь?

— Я его невеста.

— Невеста! Но тогда вы должны с ним часто видеться.

— Мы видимся каждый день в школе.

— Нет, не каждый день. Кроме субботы и воскресенья.

Надменное молчание.

— И вечером вы тоже не видитесь. А ведь жених и невеста чаще всего встречаются по вечерам. Чтобы ходить в кино.

— В Саньлитунь нет кинотеатра.

— Кинотеатр есть во Французском альянсе, рядом с Вайцзяо далу.

— Но мама не разрешает мне выходить отсюда.

— А почему Фабрис не приходит к тебе в Саньлитунь?

Молчание.

— На велосипеде оттуда можно доехать за четверть часа. Я каждый день туда езжу.

— Мама говорит, что выходить опасно.

— Ну и что? Фабрис боится? Я каждый день выхожу.

— Его родители ему не позволяют.

— И он слушается?

Молчание.

— Я велю ему прийти ко мне завтра в Саньлитунь. Вот увидишь, он придет. Он делает все, что я ему говорю.

— А вот и нет! Если он любит тебя, он должен сам до этого додуматься. По-другому не считается.

— Он любит меня.

— Почему же он не приходит?

Молчание.

— Может быть, у Фабриса есть другая невеста в Вайцзяо далу, — предположила я.

Елена презрительно рассмеялась.

— Другие девочки не так красивы, как я.

— Откуда ты знаешь? Они не все ходят во Французскую школу. Англичанки, например.

— Англичанки! — засмеялась маленькая итальянка так, будто одно это слово рассеивало всякие подозрения.

— Ну и что, что англичанки? Есть же леди Годива.

Елена взглянула на меня, в ее глазах были вопросительные знаки. И я объяснила, что у англичанок есть привычка прогуливаться голыми верхом на коне, завернувшись в плащ из собственных волос.

— Но в гетто нет лошадей, — холодно возразила Елена.

— Ну, если ты думаешь, что англичанок это остановит...

Моя возлюбленная удалилась быстрым шагом. Я впервые видела, чтобы она так быстро шла.

На лице ее не отразилось никакого страдания, но я была уверена, что задела по меньшей мере ее гордыню, а может, и сердце, существование которого до сих пор ничем себя не проявляло.

Для меня это был великий триумф.

Я ничего не знала о возможном двоеженстве Фабриса.

Все, что мне известно, – на следующий день Елена разорвала свою помолвку.

Она сделала это с примерным равнодушием. Я очень гордилась ее бесчувствием.

Репутация длинноволосого соблазнителя потерпела сокрушительный удар.

Я ликовала.

Уже дважды я была благодарна китайскому коммунизму.

С наступлением зимы военные действия активизировались.

Когда гетто покрывалось льдом, мы знали, что нас хочешь не хочешь заставят разбивать кирками ледовое море, из-за которого машинам было невозможно проехать.

Значит, нужно было выплеснуть свою агрессию заранее.

И мы ни в чем себе не отказывали.

Особенно мы гордились новым отрядом, который назывался "когортой блюющих".

Оказалось, что среди нас были дети, обладавшие чудесным даром. Феи, склонявшиеся над их колыбелями, наделили их способностью блевать почти по желанию.

Достаточно было хоть какой-нибудь пищи в желудке, чтобы опустошить его.

Эти люди вызывали восхищение.

Большинство из них прибегали к обычному средству – два пальца в рот. Но некоторые поразительным образом действовали одним усилием воли. Обладая чрезвычайными спиритическими способностями, они имели доступ к клеткам мозга, отвечающим за рвотный рефлекс. Надо было только немного сосредоточиться, и все получалось.

Содержание когорты блюющих напоминало заправку самолетов: нужно было уметь подпитывать их на лету. Мы прекрасно понимали, что блевать на пустой желудок было непродуктивно.

Самые бесполезные из нас должны были поставлять рвотное топливо – красть у китайских поваров пищу, которую можно легко съесть. Взрослые заметили, как быстро исчезало печенье, изюм, плавленые сырки, сгущенка, шоколад, а особенно растительное масло и растворимый кофе – ведь мы открыли философский камень рвоты. Смесь масла для салата и растворимого кофе. Эта бурда выходила быстрее всего остального.

(Деликатный нюанс. Ни один из упомянутых продуктов не продавался в Пекине. Раз в три месяца наши родители ездили в Гонконг, чтобы пополнить запасы продовольствия. Эти путешествия дорого стоили. Рвота стоила бешеных денег.)

Продукты выбирали по весу: они должны были быть как можно легче. Поэтому еда в стеклянных банках исключалась сразу. Тот, кто приносил еду, назывался "резервистом". Блюющего должен был сопровождать хотя бы один "резервист". Такое сотрудничество порождало настоящую дружбу.

Для немцев не было пытки ужаснее. Когда их макали в секретное оружие, они часто плакали, но с достоинством. Блевота же наносила сокрушительный удар их чести: они выли от ужаса, когда эта субстанция касалась их, как будто это была серная кислота. Однажды одному из них

стало так плохо, что его самого стошнило, к нашему общему ликованию.

Конечно, довольно быстро самочувствие блюющих стало ухудшаться. Но их священный сан вызывал такие похвалы с нашей стороны, что они оставались совершенно безмятежны.

В моем представлении их славе не было равных. Я мечтала вступить в ряды когорты. Увы, у меня к этому не было ни малейших способностей. Напрасно я глотала мерзкий философский камень, меня не рвало.

И все же нужно было совершить что-то значительное. Иначе Елена никогда не захочет знаться со мной.

Я готовилась к этому в величайшей тайне.

Между тем в школе моя возлюбленная снова одиноко расхаживала по двору.

Но теперь я знала, что она не так недоступна. И я ходила за ней на каждой перемене, не осознавая всей глупости подобного поведения.

Я шагала рядом и что-нибудь рассказывала. Она едва ли слушала меня. Мне это было почти безразлично: ее неземная красота затмевала мой разум.

Потому что Елена была поистине великолепна. Итальянская грация, утонченная цивилизацией, элегантностью и умом, смешивалась в ней с кровью американских индейцев ее матери, с дикой поэтичностью человеческих жертвоприношений и прочих замечательных варварств, которые мое бурное воображение до сих пор ей наивно приписывает. Взгляд моей возлюбленной источал яд кураре и очарование картин Рафаэля: было отчего упасть замертво.

И девочка хорошо знала это.

В тот день во дворе школы я не смогла удержаться и не сказать ту классическую фразу, которая в моих устах звучала как нечто новое и бесконечно искреннее:

— Ты так красива, что ради тебя я готова на все.

— Мне это уже говорили, — равнодушно заметила она.

— Но я-то тебе правду говорю, — сказала я, прекрасно понимая, что в моем ответе был язвительный намек на недавнюю историю с Фабрисом.

Она ответила быстрым насмешливым взглядом, словно говоря: "Думаешь, ты меня задела?"

Потому что надо признать, насколько безутешен был француз, настолько равнодушна была итальянка, подтверждая тем самым, что она никогда не любила своего жениха.

— Значит, ради меня ты сделаешь все что угодно? — весело спросила она.

— Да! — ответила я, надеясь, что она прикажет сделать самое худшее.

— Ладно, я хочу, чтобы ты пробежала двадцать кругов по двору без остановки.

Задание показалось мне очень легким. Я тут же сорвалась с места. Я носилась как метеор, сама не своя от радости. После десятого круга мой пыл поубавился. Я еще больше сникла, когда увидела, что Елена совсем не смотрит на меня, и неспроста: к ней подошел один из смешных.

Однако я выполнила свое обещание, я была слишком послушна (слишком глупа), чтобы схитрить, и предстала перед Еленой и мальчишкой.

— Все, — сказала я.

— Что? — снизошла она до вопроса.

— Я пробежала двадцать кругов.

— А... Я забыла. Повтори, а то я не видела.

Я снова побежала. Я видела, что она опять не смотрит на меня. Но ничто не могло меня остановить. Бег делал меня счастливой: моя страстная любовь могла выразить себя в этой бешеной гонке, и хотя я не получила то, на что надеялась, мое горячее рвение увлекало меня вперед.

— Вот, пожалуйста.

— Хорошо, — сказала она, не обращая на меня внимания. — Еще двадцать кругов.

Казалось, ни она, ни смешной даже не замечают меня.

Я бегала. В экстазе я повторяла про себя, что бегаю ради любви. Одновременно я чувствовала, что начинаю задыхаться. Хуже того, я припомнила, что уже говорила Елене о своей астме. Она не знала, что это такое, и я ей объяснила. Это был единственный раз, когда она слушала меня с интересом.

Значит, она приказала мне бегать, зная, чем мне это грозит.

После шестидесяти кругов я вернулась к моей возлюбленной.

— Повтори.

— Ты помнишь, что я тебе говорила? — робко спросила я.

— Что?

— У меня астма.

— Думаешь, я бы приказала тебе бегать, если бы забыла об этом? — ответила она с полным равнодушием.

Покоренная, я вновь сорвалась с места.

Я не отдавала себе отчета в том, что делаю. У меня в голове стучало: "Ты хочешь, чтобы я топтала себя ради тебя? Это прекрасно. Это достойно тебя и достойно меня. Ты увидишь, на что я способна".

Слово "топтать" было мне по душе. Я не увлекалась этимологией, но в этом слове мне слышалось "копыто" и "конский топот", это были ноги моего коня, а значит, мои настоящие ноги. Елена хотела, чтобы я топтала себя ради нее, значит, я должна раздавить себя этим галопом. И я бежала, воображая, что земля — это мое тело и что я топчу его, повинуясь моей любимой, и буду топтать, пока не затопчу до смерти. Я улыбалась этой блестящей мысли и ускоряла свой бег, разгоняясь все больше.

Мое упорство удивляло меня. Частая верховая езда на велосипеде натренировала мое дыхание, несмотря на астму. И все же я чувствовала приближение приступа. Дышать было все труднее, боль становилась невыносимой.

Маленькая итальянка ни разу не взглянула на меня, но ничто, ничто на свете не могло меня остановить.

Она придумала это испытание, потому что знала, что у меня астма: она и сама не представляла, как была права. Астма? Всего лишь мелочь, небольшой дефект моего организма. Важней было то, что она приказала мне бежать. И я благословляла скорость как добродетель, это был герб моего коня — просто скорость, цель которой не выиграть время, а убежать от времени и всего, что за ним тянется, от трясины безрадостных мыслей, унылых тел и вялой, бесцветной жизни.

Ты, Елена, ты была прекрасна и медлительна — быть может, потому что ты одна могла себе это позволить. Ты всегда шагала так неторопли-

во, словно за тем, чтобы позволить нам дольше любоваться тобой. Ты, наверняка сама того не ведая, приказала мне быть собой, то есть стать вихрем, безумным метеором, опьяневшим от бега.

На восемьдесят восьмом круге свет помутился у меня в глазах. Лица детей стали черными. Последний гигантский вентилятор остановился. Мои легкие взорвались от боли.

Я потеряла сознание.

Я пришла в себя дома, в постели. Мать спросила меня, что произошло.

– Ребята сказали, что ты бегала без остановки.

– Я упражнялась.

– Пообещай мне больше так не делать.

– Не могу.

– Почему?

Я не выдержала и все рассказала. Мне хотелось, чтобы хоть кто-нибудь знал о моем подвиге. Я согласна умереть от любви, но пусть об этом узнают.

Тогда мать начала объяснять, как устроен мир. Она сказала, что на свете бывают очень злые люди, которые в то же время могут быть очень привлекательными. Что если я хочу, чтобы такой человек полюбил меня, то должна вести себя так же жестоко, как он.

– Ты должна вести себя с ней так, как она ведет себя с тобой.

– Но это невозможно. Она меня не любит.

– Стань такой, как она, и она тебя полюбит.

Эти слова не нашли отклика в моей душе. Мне казалось это нелепым: я не хотела, чтобы Елена стала похожей на меня. На что нужна любовь-близнец? Однако я решила последовать материнским советам, просто ради опыта. Я рассудила, что человек, научивший меня завязывать шнурки, не мог дать глупый совет.

К тому же подвернулся удобный случай проверить новый метод на практике.

Во время одной битвы Союзники захватили в плен главу немецкой армии, некоего Вернера, которого нам до сих пор не удавалось поймать и который казался нам воплощением Зла.

Радости нашей не было предела. Теперь он у нас попляшет. Мы покажем ему, где раки зимуют.

Это означало, что мы сделаем с ним все, на что способны.

Генерала связали, как батон колбасы, и заткнули рот мокрой ватой (смоченной в секретном оружии, разумеется).

Через два часа после интеллектуальной оргии угроз Вернера затащили на вершину пожарной лестницы и подвесили на четверть часа над пустотой на не слишком прочной веревке. По тому, как он извивался, было ясно, что у него сильно кружится голова.

Когда его втащили на платформу, он был весь синий.

Тогда его снова спустили на землю и подвергли классической пытке. Его на минуту окунули в секретное оружие, а потом над ним потрудились пятеро прекрасно накормленных блюющих.

Все это было хорошо, но мы так и не утолили жажду крови. Ничего больше не приходило нам в голову.

И я решила, что мой час настал.

— Подождите, — проговорила я таким торжественным голосом, что все стихли.

Я была самой младшей в армии, и на меня смотрели снисходительно. Но то, что я сделала, возвело меня в ранг самых свирепых бойцов.

Я приблизилась к голове немецкого генерала.

И произнесла, как музыкант перед тем, как сыграть отрывок "allegro ma non troppo":

— Стоя и без рук.

Голос мой был сдержанным, как у Елены.

И я сделала, как обещала, попав Вернеру прямо между глаз, которые он щурил от унижения.

Пробежал легкий ропот. Такого никогда раньше не видели.

Я медленно удалилась. Лицо мое было бесстрастным. Меня распирало от гордости.

Слава поразила меня, как других поражает молния. Малейший мой жест казался мне царственным. Я ощущала себя как на параде. С чувством превосходства я смерила взглядом пекинское небо. Мой конь мог мною гордиться.

Дело было ночью. Немца бросили на произвол судьбы. Союзники забыли о нем, так сильно их поразило мое преображение.

На следующее утро его отыскали родители. Его одежда и волосы, смоченные в секретном оружии, покрылись инеем, так же как и куски рвоты.

Парень свалился с жутким бронхитом.

Но это было ничто по сравнению с моральным ущербом, который ему нанесли. И когда он рассказывал обо всем родителям, им показалось, что он тронулся умом.

В Саньлитунь конфликт между Востоком и Западом достиг апогея.

Гордость моя не знала границ.

Моя слава мгновенно облетела Французскую школу.

Неделей раньше я уже упала в обморок. А теперь все узнали, какое я чудовище. Без сомнения, я была знаменательной личностью.

Моя любимая узнала об этом.

Следуя советам, я делала вид, что не замечаю ее.

Однажды во дворе школы свершилось чудо — она подошла ко мне.

Она спросила меня слегка озадаченно:

— Это правда — то, что говорят?

— А что говорят? — отозвалась я, не удостоив ее взгляда.

— Что ты делаешь это стоя, без рук? И можешь попасть, куда захочешь?

— Правда, — с презрением ответила я, как будто речь шла о чем-то обычном.

И я медленно удалилась, не добавив больше ни слова.

Симулировать равнодушие было для меня настоящей пыткой, но средство оказалось таким действенным, что я нашла в себе мужество продолжать игру.

Выпал снег.

Это была моя третья зима в Стране Вентиляторов. Как обычно, мой нос превратился в даму с камелиями, то и дело щедро харкая кровью.

Только снег мог спрятать уродство Пекина, и первые десять часов у него это получалось. Китайский бетон, самый отвратительный бетон в мире, исчезал под его поразительной белизной. Поразительной вдвойне, потому что она поражала небо и землю, смешивая их воедино: безупречная белизна позволяла вообразить, будто город постепенно погружается в небытие, а для Пекина это было если не способом скрыть свое безобразие, то искуплением.

Это иллюзорное соседство наполненности и пустоты делали Саньлитунь похожим на гравюру.

Можно было почти поверить, что ты в Китае.

Через десять часов зараза начинала действовать.

Бетон обесцвечивал снег, убожество побеждало красоту.

И все становилось на свои места.

Новый снег ничего не менял. Ужасно сознавать, насколько уродство всегда сильнее красоты: новые хлопья снега, едва касаясь пекинской земли, тут же становились безобразными.

Я не люблю метафоры. Не буду говорить, что снег в городе — это метафора жизни. Не скажу, потому что это необязательно говорить, всем и так понятно.

Когда-нибудь я напишу книжку, которая будет называться "Снег в городе". Это будет самая унылая книжка на свете. Но я не стану ее писать. К чему описывать ужасы, которые и без того всем известны?

И чтобы покончить с этим раз и навсегда, скажу: не пойму, кто допустил подобную низость, чтобы восхитительный, мягкий, нежный, порхающий и легкий снег мог так быстро превращаться в серую и липкую, тяжелую и бугристую, неподвижную кашу!

В Пекине я ненавидела зиму. Я терпеть не могла разбивать киркой и скребком лед, который затруднял жизнь гетто.

Другие дети, которых заставляли работать, думали так же.

Война была остановлена до оттепели — что может показаться парадоксальным.

Чтобы развлечь детей после принудительного труда, взрослые водили нас по воскресеньям на каток, на озеро Летнего дворца[1]. Я не могла поверить своему счастью, так это было здорово. Огромная замерзшая вода, отражающая северный свет и визжащая под лезвиями коньков, нравилась мне до головокружения. Я была не в состоянии противиться очарованию красоты.

В другие дни, когда мы приходили из школы, нас снова ждали кирки и лопаты.

В этом участвовали все дети.

Кроме двоих весьма примечательных личностей: драгоценных Елены и Клавдио.

Их мать заявила, что ее дети слишком хрупки для такой тяжелой работы.

Насчет Елены никто не думал протестовать.

Но освобождение от работы ее брата не прибавило ему популярности.

1. Летний дворец в парке Ихэюань — бывший летний императорский дворец.

Одетая в старое пальто и китайскую шапку из козьей шерсти, я яростно боролась со льдом. Поскольку Саньлитунь был удивительно похож на тюрьму, мне казалось, что я на исправительных работах.

Потом, когда я получу Нобелевскую премию в области медицины или стану мученицей, я расскажу, что за мои военные подвиги отбывала наказание на пекинской каторге.

Не хватало только ядра на ноге.

Я увидела чудо: передо мной явилось хрупкое существо в белом плаще. Длинные черные волосы свободно струились из-под белого фетрового беретика.

От ее красоты я чуть не лишилась чувств, что было бы для меня весьма выигрышно.

Но правила, внушенные мне, не поменялись. Я притворилась, что не замечаю ее, и с силой ударила киркой по льду.

— Мне скучно. Поиграй со мной.

Ее голос был сама невинность.

— Не видишь — я работаю, — ответила я как можно грубее.

— И без того много детей работают, — сказала она, указывая на ребят, колющих лед вокруг меня.

— Я не какая-нибудь недотрога. Мне стыдно сидеть без дела.

Скорее мне было стыдно за эти слова, но таково было предписание.

Она промолчала. Я снова взялась за свой тяжкий труд.

И тут Елена сделала неожиданный ход.

— Дай мне кирку, — сказала она.

Я с изумлением молча смотрела на нее.

Она завладела моим инструментом, с патетическим усилием подняла его и стукнула им об лед. Потом сделала вид, что собирается повторить.

Разве можно было вынести подобное святотатство?

Я выхватила у нее кирку и сердито крикнула:

— Нет! Только не ты!

— Почему? — спросила она невинно-ангельским голоском.

Я не ответила и молча продолжала долбить лед, уставясь в землю.

Моя возлюбленная удалилась медленным шагом, прекрасно осознавая, что счет был в ее пользу.

Война в стенах школы была большой душевной разрядкой.

На войне нужно уничтожать врага, а значит, постараться выжить самому.

Школа нужна была для того, чтобы свести счеты с Союзниками.

Таким образом, война была нужна, чтобы выплеснуть агрессию, накопленную жизнью.

А школа — чтобы фильтровать агрессию, которую выделяла война.

Мы были просто счастливы.

Но история с Вернером заставила взрослых задуматься.

Родители восточных немцев заявили родителям Союзников, что на сей раз их дети зашли слишком далеко.

Поскольку они не могли требовать наказания виновных, они потребовали перемирия. В противном случае могли последовать "дипломатические репрессии".

Наши родители тотчас же с ними согласились. Нам было стыдно за них.

Родительская делегация прочла нотацию нашим генералам. Они сослались на то, что "холодная война" была несовместима с нашей беспощадной войной. Надо остановиться.

Возражать было невозможно. Ведь у родителей была еда, постели и машины. Как тут не послушаться.

Однако наши генералы осмелились возразить, что нам необходимы враги.

– Зачем?

– Ну, чтобы воевать!

Нас просто поражало, как можно задавать такие глупые вопросы.

– Вам действительно нужна война? – удрученно спросили взрослые.

Мы поняли, как они отстали в своем развитии, и ничего не ответили.

В любом случае на время холодов военные действия были приостановлены.

Взрослые решили, что мы заключили мир. А мы ждали оттепели.

Зима была испытанием.

Испытанием для китайцев, которые погибали от холода, хотя, надо признать, детей Саньлитунь это не занимало.

Это было испытанием и для детей Саньлитунь, вынужденных в свободное время колоть лед.

Испытанием и для нашей агрессии, которую мы сдерживали до весны. Война была для нас заветным Граалем. Но каждую ночь слой заледеневшего снега только увеличивался, и нам казалось, что март никогда не наступит. Можно было подумать, что колка льда охладит наш воинственный пыл, но нет, напротив. Это только подливало масла в огонь. Иные глыбы льда были такие твердые, что для того, чтобы расколоть их, мы представляли, что вонзаем пику в шкуру германца.

Это было испытанием и для меня на всех фронтах моей любви. Я в точности следовала указаниям и была холодна с Еленой, как пекинская зима.

Однако чем тщательнее я соблюдала инструкции, тем нежнее смотрела на меня маленькая итальянка. Да, нежнее. Я никогда не думала, что однажды увижу ее такой. И это ради меня!

Я не могла знать, что мы с ней принадлежали к двум разным породам людей. Елена была из тех, кто любит тем сильнее, чем холоднее с ними обращаются. Я же наоборот: чем больше меня любили, тем сильнее любила я.

Конечно, мне не нужно было ждать, пока красавица посмотрит на меня, чтобы влюбиться в нее. Но ее новое отношение ко мне удесятеряло мою страсть.

Я бредила своей любовью. Ночью, лежа в постели и вспоминая ее ласкающий нежный взгляд, я дрожала и почти теряла сознание.

Что мне мешает сдаться? – спрашивала я себя. Я больше не сомневалась в ее любви. Оставалось только ответить на нее.

Но я не решалась. Я чувствовала, что моя страсть достигла чудовищных размеров. Признание завело бы меня слишком далеко: мне понадобилось бы то неведомое, перед чем я была беспомощна, – то, что я смутно предчувствовала, не понимая.

И я следовала инструкциям, которые тяготили меня все больше, хотя выполнять их было несложно.

Взгляды Елены становились все настойчивей и мучительнее, потому что чем безжалостнее лицо, тем удивительнее на этом лице кротость. И нежность ее глаз-стрел и рта-чумы распаляли меня все больше.

В то же время мне хотелось еще больше защититься от нее, я становилась ледяной и колючей, а взгляд красавицы светился любовью и лаской.

Это было невыносимо.

Самым жестоким был снег.

Снег, который, несмотря на свое убожество и серость под стать Городу Вентиляторов, все равно оставался снегом.

Снег, на котором моей неопытной душе явился образ идеальной любви, что далось мне отнюдь не даром.

Снег, далеко не такой невинный в своей простодушной безмятежности.

Снег, где я читала вопросы, от которых меня бросало то в жар, то в холод.

Снег, грязный и твердый, который я ела, тщетно надеясь найти в нем ответ.

Снег, расколотая вода, ледяной песок, не земная, но небесная несоленая соль, словно кремний на вкус, толченый драгоценный камень, пахнущий стужей, белая краска, единственный цвет, падающий с неба.

Снег, смягчающий все — шум, падение, время, — чтобы придать веса вечным незыблемым ценностям — крови, свету, иллюзиям.

Снег — первая бумага истории, на которой отпечаталось столько следов, столько беспощадных погонь, снег стал первым жанром в литературе, огромной книгой земли изначальной, где говорилось лишь об охотничьих тропах или маршрутах врага, географическая эпопея, придававшая загадочность малейшему отпечатку, — это след моего брата или того, кто его убил?

От этой огромной, протянувшейся на километры, незаконченной книги, которую можно озаглавить "Самая большая книга на свете", не осталось и следа — в отличие от Александрийской библиотеки, ее тексты не сгорели, а растаяли. Но именно ей мы обязаны смутными воспоминаниями, снова возникающими всякий раз, когда падает снег, тревогой перед белой страницей, по которой хочется пройти как по девственной долине, и инстинктом следопыта, когда встречаешь незнакомые следы.

Это снег создал тайну. И он же создал поэзию, гравюру, знак вопроса и эту игру в следование по маршруту, имя которой — любовь.

Снег — ложный саван, огромная пустая идеограмма, где я разгадывала бесконечность ощущений, которые хотела подарить моей возлюбленной.

Меня не волновало, было ли мое желание невинным.

Я просто чувствовала, что снег делал Елену еще неотразимее, тайну — еще трепетнее, а материнские наставления — невыносимее.

Никогда еще весну не ждали с таким нетерпением.

Нельзя доверять цветам.

Особенно в Пекине.

Но коммунизм был для меня историей с вентиляторами, я знала о лозунге Ста цветов[1] не больше, чем о Хо Ши Мине с Витгенштейном.

Все равно с цветами предупреждения не действуют, всегда попадаешь впросак.

Что такое цветок? Огромный член, который вырядился франтом.

Эта истина известна давно, но это не мешает нам, верзилам, слащаво рассуждать о хрупкости цветов. Доходит до того, что глупых воздыхателей называют "голубыми цветами", то есть сентиментальными романтиками, что так же нелепо, как обозвать их "голубыми членами".

В Саньлитунь было очень мало цветов, и они были невзрачны.

И все же это были цветы.

Тепличные цветы красивы, как манекенщицы, но они не пахнут. Цветы в гетто были безвкусно одеты: иные выглядели убого, как крестьянки в городе, другие нелепо разряжены, как горожанки в деревне. Казалось, им всем тут не место.

Но если зарыться носом в их венчик, закрыть глаза и заткнуть уши, хочется плакать — что там такое внутри какого-то цветка с пошлым запахом, что может быть таким волнующим? Почему цветы вызывают ностальгию и будят воспоминания о садах, которых они не знали, о царственной красоте, про которую никогда не слышали? Почему "культурная революция" не запретила цветам пахнуть цветами?

Под сенью цветущего гетто война наконец возобновилась.

Лед тронулся во всех смыслах слова.

В 1972 году взрослые подчинили войну своим правилам, и нам это было глубоко безразлично.

Весной 1975 года они все разрушили. И это разбило нам сердца.

Едва лед растаял, едва завершились наши принудительные работы, едва мы возобновили войну в экстазе и неистовстве, как возмущенные родители взроптали.

— А как же перемирие?

— Мы ничего не подписывали.

— Так вам нужны подписи? Прекрасно. Предоставьте это нам.

Это уже просто не лезло ни в какие ворота.

Взрослые сочинили и отпечатали на машинке самый высокопарный и путаный мирный договор.

Они посадили генералов двух враждующих армий за "стол переговоров", где договариваться было не о чем. Затем прочли текст вслух на французском и немецком — ни тот, ни другой мы не поняли.

Мы имели право только подписать.

От такого унижения, пережитого сообща, мы почувствовали глубокую симпатию к своим врагам. И было видно, что наши чувства взаимны.

Даже Вернеру, из-за которого была затеяна эта пародия на перемирие, было противно.

1. "Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ" — старинное китайское изречение, которым воспользовался Мао Цзэдун в 1957 году, якобы позволив творческой интеллигенции критиковать действующую власть. Поверившие призыву жестоко поплатились за свою доверчивость.

В конце опереточного подписания взрослые посчитали приличным выпить за это по бокалу газировки из настоящих фужеров. Вид у них был удовлетворенный, они улыбались. Секретарь посольства Восточной Германии, приветливый, плохо одетый ариец, спел песенку.

Вот как, сначала отобрав у нас войну, взрослые отобрали у нас мир.

Нам было стыдно за них.

Как ни странно, итогом этого искусственного мирного договора стала взаимная любовь.

Бывшие враги упали в объятья друг друга, плача от ярости к взрослым.

Никто и никогда еще так не любил восточных немцев.

Вернер рыдал. Мы целовали его: он предал нас, но то было на прекрасной войне.

Плеоназм: если что-то связано с войной — значит, это прекрасно.

Мы уже чувствовали ностальгию. Мы обменивались по-английски чудесными воспоминаниями о битвах и пытках. Это было похоже на сцену примирения из американского фильма.

Первое, нет, главное, чем нам предстояло заняться, — это найти нового врага.

Но не просто первого встречного, у нас были свои критерии отбора.

Первый: географический — враги должны жить в Саньлитунь.

Второй: исторический. Нельзя было драться с бывшими Союзниками. Конечно, нас всегда предавали только свои, конечно, нет никого опаснее друзей — но нельзя же напасть на своего брата, нельзя напасть на того, кто на фронте блевал рядом с тобой и справлял нужду в тот же бак. Это значило погрешить против здравого смысла.

Третий критерий был из области иррационального: врага надо было за что-нибудь ненавидеть. И тут годилось все что угодно.

Некоторые предлагали албанцев или болгар по недостаточно веской причине — за то, что они были коммунистами. Предложение никто не поддержал. Мы уже воевали с Востоком, и всем известно, чем это кончилось.

— Может, перуанцы? — предложил кто-то.

— За что можно ненавидеть перуанца? — задал один из нас вопрос, метафизический в своей простоте.

— За то, что они говорят не по-нашему, — ответил далекий потомок строителей Вавилонской башни.

И правда, неплохо придумано.

Но наш склонный к обобщениям товарищ заметил, что с таким же успехом мы могли бы объявить войну почти всему гетто и даже всему Китаю.

— Хорошо, но этого мало.

Мы перебирали разные нации, и тут меня осенило.

— Непальцы! — воскликнула я.

— А за что можно ненавидеть непальца?

На этот вопрос, достойный Монтескье, я дала блестящий ответ:

— А за то, что это единственная страна в мире, у которой флаг не четырехугольный.

Возмущенное собрание на миг смолкло.

— Это правда? — раздался первый воинственный голос.

И я стала описывать флаг Непала, этакое диаболо, разрезанное посередке вдоль.

Непальцы тут же были объявлены врагами.

— У, подонки!

— Мы покажем этим непальцам, будут знать, как иметь флаг не такой, как у всех!

— Кем они себя возомнили, эти непальцы?

Ненависть нарастала.

Восточные немцы были возмущены не меньше нас. Они попросились в армию Союзников, чтобы вместе с нами участвовать в Крестовом походе против нечетырехугольных флагов. Мы с радостью приняли их в свои ряды. Сражаться бок о бок с теми, кто нас колотил и кого мы мучили, было очень приятно.

Непальцы оказались непростыми врагами.

Их было гораздо меньше Союзников. Сначала мы этому обрадовались. Нам и в голову не приходило стыдиться своего численного превосходства. Напротив, нам казалось, что это здорово.

В среднем враги были старше нас. Некоторым из них уже исполнилось пятнадцать, что было для нас началом старости. И еще одной причиной, чтобы их ненавидеть.

Мы с беспримерной гласностью объявили войну: первые же два непальца, проходившие мимо, были атакованы шестьюдесятью детьми.

Когда мы отпустили их, они были сплошь покрыты синяками и шишками.

Бедные маленькие горцы, едва спустившиеся с Гималаев, ничего не поняли.

Дети из Катманду, которых было человек семь от силы, посовещались между собой и выбрали единственно возможный путь — борьбу. Учитывая наши методы, было ясно, что переговоры ни к чему не приведут.

Надо признать, что поведение детей Саньлитунь опровергало законы наследственности. Профессия наших родителей состояла в том, чтобы по возможности уменьшать напряжение в мире. А мы делали все наоборот. Вот и имей после этого детей.

Но тут мы выдумали кое-что новое: такой мощный альянс, целая мировая война, и все это против одной бедной и маленькой страны без идеологических амбиций, не имеющей никакого влияния, — такого еще не бывало.

В то же время, сами того не подозревая, мы следовали китайской политике. Пока солдаты-маоисты осаждали Тибет, мы атаковали горную цепь с другой стороны.

Гималаям не было пощады.

Но непальцы удивили нас. Они показали себя бравыми вояками: их жестокость превосходила все, что мы видели за три года войны против восточных немцев, которые отнюдь не были слабаками.

У детей из Катманду удары кулака были необычайно быстрыми, а пинки очень точными. Всемером они представляли собой опасного врага.

Мы не знали того, что история подтвердила уже не однажды: по части жестокости Азия могла дать фору любому континенту.

Легкой победы не предвиделось, но мы не жалели об этом.

Елена была выше всей этой кутерьмы.

Позднее я прочла одну непонятную историю, в которой говорилось о войне между греками и Троей. Все началось с прелестного создания по имени Елена.

Нетрудно догадаться, что эта подробность вызвала у меня улыбку.

Конечно, я не могла провести параллель. Война в Саньлитунь началась не из-за Елены, и она никогда не желала в нее вмешиваться.

Странное дело, "Илиада" ничего не рассказала мне о Саньлитунь, тогда как Саньлитунь мне многое поведал об "Илиаде". Прежде всего, я уверена, что, не участвуй я в войне гетто, "Илиада" не взволновала бы меня так сильно. Для меня в основе сюжета лежал не миф, а жизненный опыт. И я смею полагать, что этот опыт пролил для меня свет на многое в этом мифе. В частности, на личность Елены.

Разве существует история, которая льстила бы сильнее самолюбию женщины, чем "Илиада"? Две цивилизации беспощадно уничтожают друг друга, даже Олимп вмешивается, военный гений совершает подвиги, рушится целый мир — и все это ради чего, ради кого? Ради красивой женщины.

Легко представить красотку, хвастающуюся подружкам:

— Да, милые, геноцид и вмешательство богов ради меня одной! И я тут совершенно ни при чем. Ничего не поделаешь, ведь я так красива, не в моих силах что-либо изменить.

В многократных толкованиях мифа звучат отголоски чрезмерного ничтожества Елены, которая стала карикатурой восхитительной эгоистки, находившей естественным и даже очаровательным, чтобы другие убивали друг друга из-за нее.

Но когда я воевала, я встретила Прекрасную Елену и влюбилась в нее, и потому у меня свой взгляд на "Илиаду".

Потому что я видела, какова была Прекрасная Елена и как она ко всему относилась. И поэтому я считаю, что ее далекая прародительница-тезка была такой же.

Я думаю, что Елене Прекрасной было совершенно наплевать на Троянскую войну. Вряд ли она льстила ее тщеславию: слишком много чести этим людишкам.

Думаю, она была гораздо выше всей этой возни и занята только созерцанием своей красоты в зеркале.

Думаю, ей было необходимо, чтобы на нее смотрели — все равно кто, воины или мирные жители: ей нужны были только взгляды, которые говорили ей о ней, и только о ней, а не о тех, кто их посылал.

Думаю, она нуждалась в том, чтобы ее любили. Любить самой — нет, это не по ее части. Каждому свое.

Любить Париса? Это вряд ли. Она могла любить только любовь Париса к ней, больше ничто в нем ее не интересовало.

Итак, что же такое Троянская война? Чудовищное варварство, кровавое, позорное и несправедливое, совершенное во имя красавицы, которой все это было глубоко безразлично.

Все войны похожи на Троянскую, а всем прелестницам, ради которых они затеяны, наплевать.

Потому что единственная правда войны в том, о чем никто не говорит: люди затевают войну, потому что им это нравится и потому что это неплохое развлечение. А красавица как причина всегда найдется.

Поэтому Прекрасная Елена была права, любуясь собой в зеркале и считая, что ее это не касается.

И она очень нравится мне именно такой, та Елена, которую я любила в Пекине в 1974 году.

Стольким людям кажется, что они жаждут войны, хотя в действительности мечтают они о дуэли. И "Илиада" иногда напоминает предвыборную борьбу: каждый герой находит себе одного мифического врага с противоположной стороны, который не дает ему покоя до тех пор, пока не будет уничтожен, и наоборот. Но это не война, это любовь со всей ее гордыней и индивидуализмом. Кто не мечтает о прекрасной битве с вечным врагом, о своем личном враге? Чего не сделаешь ради того, чтобы иметь достойного противника!

Из всех битв, в которых мне довелось участвовать в Саньлитунь, лучше всего меня подготовила к "Илиаде" моя любовь к Елене. Потому что среди всех беспорядочных штурмов и рукопашных это был мой заветный бой, мой поединок, который наконец-то отвечал моим самым высоким устремлениям.

Это была схватка не тела, но духа, и боролись здесь не последние среди бойцов. Благодаря Елене моя дуэль состоялась.

Излишне упоминать, что мой противник оказался достойным меня.

Я не была Парисом.

Но теперь Елена так смотрела на меня, что я уже не была уверена в том, кто я.

Я знала, что еще день-два — и я не выдержу.

И этот день настал.

Была весна, и цветы в гетто хоть и были некрасивы, но по-прежнему выполняли свою работу цветов, как честные труженики из рабочей коммуны.

В воздухе витало возбуждение. Вентиляторы рассеивали его повсюду.

В том числе и по школе.

Была пятница. Я уже неделю не ходила в школу из-за бронхита, который надеялась растянуть подольше и побездельничать до выходных, но тщетно. Я пыталась объяснить матери, что пропустить одну неделю в пекинской школе не было невосполнимой потерей, и что я узнавала в сто раз больше, читая первый перевод сказок "Тысячи и одной ночи" в постели, и что я еще слаба. Она не хотела ничего знать и заявила:

— Если ты будешь плохо себя чувствовать в пятницу, я заставлю тебя пролежать в постели и субботу с воскресеньем, пока не выздоровешь.

Пришлось повиноваться и пойти в школу в пятницу, о которой я еще тогда не знала, что одни считали ее днем Венеры, другие днем распятия, а третьи днем огня, что в дальнейшем показалось мне вполне справедливым. Впрочем, пятницы моей жизни много раз просклоняли эти атрибуты на все лады.

Длительное отсутствие всегда придает тебе веса и отстраняет от остальных. После болезни я оказалась в некоторой изоляции и смогла лучше сосредоточиться на строительстве самых совершенных моделей бумажных самолетиков.

Перемена. Это слово означает, что что-то должно перемениться. Но мой опыт подсказывал, что перемены не приносили ничего хорошего, а только все разрушали.

Но для меня перемены были святы, потому что в это время я могла видеть Елену.

Семь дней я не видела ее и краем глаза. Семь дней — это даже больше, чем нужно для того, чтобы сотворить мир. Это целая вечность.

Вечность без моей любимой была для меня пыткой. Конечно, благодаря материнским наставлениям наши отношения ограничивались взглядами исподтишка, но эти беглые взгляды были главным в моей жизни: вид любимого лица, особенно если это лицо красиво, переполняет голодное сердце.

Мое сердце изнывало, и, как изголодавшаяся кошка, которая не решается притронуться к пище, я не отваживалась искать Елену глазами. Я шагала по двору, опустив голову.

Из-за недавней оттепели кругом была слякоть. Я старалась ступать по сухим островкам, это меня отвлекало.

Я увидела две маленькие ножки в элегантных ботиночках, которые, беспечно и грациозно шагая по грязи, приблизились ко мне.

Как она на меня смотрела!

И она была так красива, ее красота дурманила мне голову и будила прежнее безумие: "Надо что-нибудь предпринять".

Она спросила:

— Ты уже выздоровела?

Именно таким был бы голос у ангела, прилетевшего навестить в больнице своего брата.

Выздоровела? О чем ты!

— Все в порядке.

— Я по тебе скучала. Хотела тебя навестить, но твоя мама сказала, что ты плохо себя чувствуешь.

Черт побери этих родителей! Я постаралась, по крайней мере, извлечь выгоду из этой возмутительной новости.

— Да, — мрачно сказала я, — я чуть не умерла.

— Правда?

— Это уже не первый раз, — ответила я, пожав плечами.

Многократная близость смерти придавала мне вес. Я становилась важной персоной.

— А теперь ты сможешь опять играть со мной?

Она предлагала мне играть!

— Но я никогда не играла с тобой.

— И ты не хочешь?

— Я никогда не хотела.

У нее был грустный голос.

— Неправда. Раньше ты хотела. Ты меня больше не любишь.

Тут мне надо было сразу уйти, иначе я могла сказать непоправимое.

Я повернулась на каблуках и поискала глазами, куда бы ступить. От напряжения я не различала, где земля, а где лужи.

Я пыталась соображать, но тут Елена произнесла мое имя.

Это было впервые.

Мне стало ужасно не по себе. Я даже не могла понять, приятно мне или нет. Я застыла, превратившись в статую на постаменте из грязи.

Маленькая итальянка обошла меня, шагая напрямик и не заботясь о своих изысканных ботиночках. Видеть эти ножки в грязи было невыносимо.

Она встала лицом ко мне.

Только этого не хватало: она плакала.

— Почему ты меня больше не любишь?

Не знаю, умела ли она плакать, когда захочет. Как бы то ни было, слезы ее были очень убедительны.

Плакала она искусно — чуть-чуть, чтобы не утратить красоты, широко раскрыв глаза, чтобы не погасить свой великолепный взгляд и показать медленное появление каждой слезы.

Она не шевелилась, ей хотелось, чтобы я досмотрела до конца. Ее лицо было совершенно неподвижно, она даже не моргала, словно очистила сцену от декораций и лишила действие всяких перипетий, чтобы как можно эффектнее преподнести это чудо.

Плачущая Елена — звучит противоречиво.

Я тоже не двигалась и смотрела ей в глаза, мы словно играли в игру, кто первый моргнет. Но настоящая борьба этих взглядов таилась гораздо глубже.

Я чувствовала, что это поединок, и не понимала, какова ставка, — и я знала, что ей это известно, что она знает, куда идет и куда ведет меня, и она знала, что я этого не знаю.

Она хорошо сражалась. Она воевала так, будто знала меня всю жизнь, будто видела мои слабые места как на рентгене. Если бы она не была столь искусным бойцом, она не смотрела бы на меня, как раненый зверек. Этот взгляд рассмешил бы всякого здравомыслящего человека, но он пронзал мое бедное смешное сердце.

Я прочла только две книги — Библию и "Тысячу и одна ночь". Это скверное чтиво заразило меня сентиментальностью Ближнего Востока, которой я уже в то время стыдилась. Эти книги стоило подвергнуть цензуре.

И в эту минуту я поистине боролась с ангелом, и мне казалось, что, как Иаков, я побеждаю. Я не моргала, а мой взгляд меня не выдал.

Я не знаю и никогда не узнаю, были ли слезы Елены искренними. Если бы я знала это, то могла бы точно сказать, было ли с ее стороны то, что произошло потом, случайностью или блестящей игрой.

Может быть, и то и другое сразу, то есть она рисковала.

Она опустила глаза.

Это признание своего поражения было красноречивее, чем если бы она моргнула.

Она даже опустила голову, словно подтверждая, что проиграла.

И по закону земного тяготения это движение головы опустошило запас ее слез. Я увидела два тихих ручейка, скользнувших по ее щекам.

Значит, я выиграла. Но эта победа была невыносима.

Я заговорила, я сказала все, что нельзя было говорить:

— Елена, я сказала неправду. Я уже целый месяц притворяюсь.

Два глаза взметнулись вверх. Я увидела, что она совсем не удивлена, а просто настороже.

Было слишком поздно.

— Я люблю тебя. Я не переставала тебя любить. Я не смотрела на тебя, потому что так было велено. Но я все-таки незаметно смотрела на те-

бя, потому что я не могла на тебя не смотреть, потому что ты самая красивая и потому что я люблю тебя.

Девчонка менее жестокая уже давно бы сказала: "Хватит!" Елена молчала и смотрела на меня с интересом врача к больному. Я это прекрасно видела.

Оплошность как алкоголь: быстро понимаешь, что зашел слишком далеко, но нет бы благоразумно остановиться, чтобы не натворить еще больше бед, наоборот поддаешься какому-то хмельному вихрю, который несет тебя вперед. Это странная ярость, и, наверное, причина ее кроется в гордыне — это гордыня вопиет, что вопреки всем и вся у тебя была причина, чтобы напиться и обмануться. Упрямое нежелание признать ошибку, как и пьянство, становится аргументом, вызовом здравому смыслу: раз я стою на своем, значит, я прав, что бы там ни думали. И я буду упрямо твердить одно и то же, пока не признают мою правоту. Я стану алкоголиком, создам партию своей ошибки, пока не свалюсь, всеми забытая, под стол в надежде стать всеобщим посмешищем, уверенная, что через десять лет или десять веков время, история или легенда признают мою правоту. Хотя в этом уже не будет ни малейшего смысла, потому что время одобряет все, потому что у каждой ошибки и каждого порока будет своей золотой век, потому что ошибаются все, во все времена.

На самом деле люди, которые упорствуют в своих заблуждениях, — мистики, потому что в глубине души они всегда знают, что метят чересчур далеко и умрут задолго до того, как их лик запечатлеет История, но они рвутся в будущее с мессианским стремлением, уверенные, что о них вспомнят, и что в золотой век алкоголиков скажут: "Этот завсегдатай бара был нашим предшественником", и что в день апогея Идиотизма им поставят памятник.

Итак, в марте 1975 года я знала, что совершаю ошибку. И поскольку во мне было достаточно веры, чтобы быть настоящей дурочкой, то есть иметь чувство чести, я ринулась в этот омут:

— Больше я не буду притворяться. Или буду, но ты будешь знать, что это неправда.

Тут я уже зашла слишком далеко.

Должно быть, Елена решила, что это уже не смешно. И сказала с убийственным равнодушием, которое подтверждал ее взгляд:

— Это все, что я хотела знать.

Она повернулась и медленно удалилась, едва касаясь ножками грязи.

Я поняла, что проиграла, но не могла оставить все как есть. И потом, я считала, что меня слишком быстро поставили на место, я еще не успела насладиться своей ошибкой.

Я прыгнула в грязь вдогонку за красавицей.

— А ты, Елена, ты меня любишь?

Она смерила меня вежливым отсутствующим взглядом, который был красноречивым ответом, и пошла дальше.

Это было как пощечина. Щеки мои горели от гнева, отчаяния и унижения.

Бывает, что гордыня заставляет забыть о чувстве собственного достоинства. А если здесь замешана безумная поруганная любовь, чувства могут выйти из берегов.

Одним скачком по грязи я настигла мою возлюбленную.

— Ну, нет! Это слишком просто! Если ты хочешь меня помучить, смотри, как я мучаюсь.

— Зачем? Разве это интересно? — невинно вопросила она.

— Да мне все равно. Ты хотела, чтобы я страдала, значит, ты будешь смотреть, как я страдаю.

— Разве я чего-то хотела от тебя? — сказала она голосом нейтральным, как сама Швейцария.

— Ну, это уж слишком!

— Чего ты кричишь? Хочешь, чтобы все тебя слышали?

— Да, хочу!

— Ах, вот как.

— Да, я хочу, чтобы все знали.

— Чтобы все знали, что ты страдаешь и что надо смотреть на то, как ты страдаешь?

— Вот именно!

— А-а.

Ее равнодушие было столь же велико, сколь велик интерес окруживших нас детей. Вокруг нас собиралась небольшая толпа.

— Стой! Посмотри на меня!

Она остановилась и терпеливо взглянула на меня, как смотрят на бедного актера, который сейчас исполнит свой номер.

— Я хочу, чтобы ты знала и чтобы знали они. Я люблю Елену и делаю все, что она мне велит, до конца. Даже когда ей это уже не нужно. Я упала в обморок потому, что Елена велела мне бегать без остановки. И она велела мне делать это, зная, что у меня астма, потому что знала, что я ее послушаюсь. Она хотела, чтобы я топтала себя, но она не знала, что я зайду так далеко. Потому что, если я вам все это рассказываю, это тоже по ее желанию. Чтобы растоптать себя до конца.

Самые младшие из детей ничего не понимали, зато понимали другие. Те, кто любил меня, были смущены.

Елена взглянула на свои красивые часики.

— Перемена кончается. Я пойду в класс, — сказала она, как пай-девочка.

Зрители улыбались. Им было смешно. К счастью, их было "всего" человек тридцать пять, то есть треть всех учеников. Могло быть хуже.

Все же спектакль вышел отменный.

Еще целый час я была сама не своя. Меня охватила непонятная гордость.

Но это быстро прошло.

В четыре часа, вспомнив об утреннем происшествии, я почувствовала растерянность.

В тот же вечер я объявила родителям, что хочу уехать из Китая как можно скорее.

— Мы все хотим, — сказал отец.

Я чуть не ответила: "Но у меня-то причины серьезные", но, слава богу, сдержалась.

Моих брата и сестры не было при утренней сцене. Им рассказали, что их младшая сестра устроила представление, но их это не расстроило.

Вскоре отец получил назначение в Нью-Йорк. Я возблагодарила Христофора Колумба.

Приходилось ждать до лета.

Эти несколько месяцев я прожила, сгорая от стыда. Однако я преувеличивала свой позор: дети очень быстро забыли о разыгравшейся сцене.

Но Елена о ней помнила. Когда я встречала ее взгляд, то читала в нем насмешку, и это меня мучило.

За неделю до нашего отъезда пришлось прекратить войну с непальцами.

На этот раз родители были ни при чем.

Во время битвы один из непальцев выхватил из кармана кинжал.

До сих пор мы дрались своими телами и их содержимым. Мы никогда не пользовались оружием.

Вид лезвия подействовал на нас, как две атомные бомбы на Японию.

Наш главнокомандующий совершил невообразимое — прошел через все гетто, размахивая белым флагом.

Непал согласился на мир.

Мы покинули Китай вовремя.

Резкий переход от Пекина к Нью-Йорку был полезен моему душевному состоянию.

Мои родители совсем потеряли голову. Они безмерно разбаловали своих детей. Мне это ужасно нравилось, и я вела себя отвратительно.

Во французском лицее в Нью-Йорке десяток девочек безумно влюбились в меня. Я заставила их страдать самым гнусным образом.

Это было чудесно.

Два года назад случай свел моего отца с отцом Елены на одной светской вечеринке в Токио.

Как водится, последовали сердечные излияния и воспоминания о "добром старом времени" в Пекине.

И обычный вежливый вопрос:

— А как ваши дети, дружище?

От отца я узнала, что Елена превратилась в роковую красавицу. Она училась в Риме, и множество несчастных говорили, что лишат себя из-за нее жизни, а может, уже так и сделали.

От этой новости я пришла в прекрасное настроение.

Спасибо Елене за то, что она научила меня любить.

И спасибо, вдвойне спасибо Елене за то, что она осталась верна своей легенде.

Патрик Каванах

Стихи

Перевод с английского и вступление Г. Стариковского

Патрик Каванах достаточно мало известен русскому читателю — при том, что в ирландской англоязычной поэзии XX века это второй поэт после У. Б. Йейтса.

Патрик Каванах родился 21 октября 1904 года близ городка Иннискин (графство Монаган) на северо-востоке Ирландии. Отец его был деревенским сапожником, и, едва закончив начальную школу, будущий поэт начинает постигать отцовское мастерство. Однако тачать сносную обувь Каванах так и не научился. Вскоре он меняет дратву и колодку на плуг, становится землепашцем и в течение двадцати лет фермерствует, периодически наезжая в Дублин. Переехав в Дублин в конце 30-х годов, Каванах подрабатывает журналистикой, часто голодает. Публикация поэмы "Великий голод" (1942) приносит известность, критики называют поэму "ирландским ответом 'Бесплодной земле' Т. С. Элиота". Однако литературная слава настигает Каванаха только в конце жизни.

Годы, проведенные в деревне, не помешали Каванаху стать поэтом высокой европейской культуры. Еще в начале 30-х годов видный дублинский литератор и издатель Джордж Рассел заметил лирические опыты Каванаха и опубликовал несколько стихотворений поэта в своей газете "Айриш стейтсмен". Но гораздо важнее первых публикаций была возможность пользоваться библиотекой Рассела, благодаря чему Каванах впервые прочитал Эмерсона, Мелвилла (роман "Моби Дик" стал его настольной книгой), Достоевского, Уитмена, Фрэнка О'Коннора и многих других. Каванах умел учиться у предшественников и современников, да и учителей выбирал себе достойных: пополним приведенный выше список именами Джойса, Элиота, Сартра, Дилана Томаса.

Когда речь заходила о литературной полемике, Каванах был непредсказуем в своей непримиримости, всегда вступая в очередную "потасовку" с открытым

© 1964 by Patrick Kavanagh
© Г. Стариковский. Перевод, 2006

забралом и запасом едких сарказмов, на которые не скупился. Каванах отличался грубостью, незаурядной даже для ирландца. Многих ирландских поэтов-современников он откровенно презирал, не раз — в критических статьях и изустно — напоминая им о своем презрении. Когда какой-нибудь "презираемый" автор дарил Каванаху свою книгу, тот говорил без обиняков: "Стихов ваших не люблю и читать их не собираюсь".

В статье "Ирландская традиция" Патрик Каванах пишет: "Поэт не гонится за жизненным опытом — опыт сам настигает поэта. Он не ищет красоты и глубины; ему вручается и то и другое". Каванах отверг традиционный и, по его мнению, лицемерный патриотизм поэзии Ирландского Возрождения; на первом плане у Каванаха отнюдь не абстрактный ирландский пахарь, не помпезные восхваления Ирландии и ее народа. Для Каванаха непосредственное соприкосновение поэта с миром куда важнее всех кельтских мифов и войн за независимость.

Каванах-лирик почти всегда автобиографичен. Не случайно его считают предтечей современной ирландской поэзии. Биограф поэта Дорси О'Брайан пишет, что Каванах подал следующему литературному поколению пример к поиску нетрадиционных сюжетов и средств выражения. Так, на ранние стихи Шеймаса Хини муза Каванаха оказала огромное влияние; сам Хини говорит, что "чтение Каванаха натолкнуло его на мысль написать что-нибудь свое".

Тональный диапазон поэзии Каванаха простирается от мессианской сатиры в поэме "Великий голод"[1], от памфлетов в духе Свифта, вроде "Кто убил Джеймса Джойса"[2], до уже иного, неоромантического мессианства в стихотворениях "Идущему за бороной" и "Этика" или опытов лирического, на грани религиозного, смирения в стихотворениях "Прогулка по берегу канала" и "Октябрь". Стихи, приведенные в настоящей подборке, представляют читателю в первую очередь Каванаха-лирика, верившего, что "поэзия — штука мистическая, опасная", что настоящий поэт не имеет выбора между стихами и молчанием: стихотворство ложится тяжким бременем на поэта по воле "высших сил", оно — неотвратимо.

Идущему за бороной

Поводья выпусти! К земле
Зерно летит — свободно — в ночь
Земли, как звезды в черной мгле, —
К бессмертию апрельских почв.

Зерно — всесильное, как плод
Познанья в книге Бытия.
Пусть Бог-Отец коней ведет
В завете ветхого жнивья.

Не верь соседской болтовне,
Не оставляющей следа.
Судьба оправдана вполне,
Лишь зазмеится борозда.

1. Фрагменты из нее можно найти в книге "Поэзия Ирландии". Перевод М. Бородицкой. — М., 1988. С. 319–329.
2. Поэзия Ирландии / Перевод Г. Кружкова. — М., 1988. С. 326–327.

Пусть шепчет червь, что от копыт
И острых зубьев нет житья.
Тебя библейский пар роднит
Со всходом первым Бытия.

Монаган, 1933

Шенкодуфф

Им север подавай, моим холмам, –
Церковную побелку Глассдраммонда
И тихий Армах, будто не для них
Восток алеет, – вот с кого пример
Брать надо было Лотовой жене.

Март вывернул карманы их в надежде
Разжиться хоть косым лучом, когда
Я в эти альпы уходил за сеном
Для умиравших с голода телят
На выгоне, вблизи от Роксаведжа,

А ветер мылил космы камышей,
И спрашивал погонщик: "Кто хозяин
Измученной земли, в чьих стылых гнездах
Перевелись бекасы, неужели –
Поэт? Тогда, о небо, как он беден!"
Мне сердце надрывала эта жалость.

Статуя

Она стоит в полях, прижав к груди
Дитя свое, чудовищна, надменна –
Гордыня, камнем ставшая среди
Роскоммонских канав. Бессмертна пена
Густых волос. Улыбка или вброд
По скулам наползающая похоть
Под складки рта. Не греческий рапсод,
Ее воспела дикая эпоха.
Я в Балладрине спрашивал о ней
И в Бойле узнавал. В ответ мне грубо:
– Она окаменела до корней,
Когда ухмылка иссушила губы.
– Поверьте, этот каменный урод
Назло вам всем к восходу оживет.

Они, как чистый помысел, летели
В порядке боевом на Инчикор –
Гусиный клин, и крыльев перебор
Затмил войны кривое рукоделье.
Крепись, я душу заклинал, итога
Не подвести в безумстве, не стыдись
Напоминать о том, что надо высь
Осваивать и прорываться к Богу.

Дублин, 1943

В *поисках идеала*

Уже ноябрь, и ты – давно в бегах,
О нимфа, ускользнувшая, когда я
Тебя увидел и готов был в прах
Стереть всю мерзость мира, дорогая.
К тебе взывал и – выбился из сил,
Не ведая, что эта страсть пристрастна;
Ни капли ты не стоила чернил,
Ни слов моих, растраченных напрасно.
Фальшивый ангел, блажь ценою в грош,
Я все равно искал тебя с апреля
До сентября и прекратил труды,
Когда от жадности осталась дрожь
Дождей, но и в осенней прели
Я без толку ищу твои следы.

В *том же духе*

Ты издали щебечешь, будто слово,
Процеженное в лирном серебре,
Свой вензель оставляя мотыльково,
Как авторства бесспорность, на ковре
Моих стихов, но скоро, по наитью
Господнему, стерев печать греха,
Войдешь ко мне, отвергнув как событье
Бессмертье нерожденного стиха.
Они твердят, что песня – долговечней
Смычка и струн, но глупости в ответ
Я напишу корявый, человечий,
Не Богу предназначенный сонет.
И ты, о дева, позабыв жеманство,
Придешь ко мне, как времена – к пространству.

Этика

Не сеял хлеба — будь
Полынью твоя снедь.
Тебе — к каменьям льнуть,
Которым в лоб лететь.

Петь не умел — так вой,
Услышав медный гуд,
Пускай сырой травой
В гонг лешачихи бьют.

Когда с дроздом невмочь
Служить молебен — стой
Всю на коленях ночь
На лестнице пустой.

Прогулка по берегу канала

Заласканный листьями берег и зелье
Воды избавляют от тяжести, словно
Даруют свободу, как кроткую зелень
Природы, плывущей и дышащей ровно.
Вот ветер затерся невидимым третьим
В объятья влюбленных, и птица на сучьях
Свивает гнездо из щепы междометий,
Чтоб Слово рождалось и билось в падучей.
И новой охвачен судьбой — по уставу
Волшебной травы, исполинского вяза, —
Я страстно молюсь о кореньях и травах
Растущему возле меня богомазу.
Душе не откажешь в зеленой обнове
И в небе — его голубином покрове.

Сущий

Зеленый, голубой и желто-красный
Бог объявился на болоте.
Мы окунаемся в цветочную купель...
Где ветер муравy гонял в тычки
По захолустью, где и людям сложно
Поднять глаза, цветы во все зрачки
Глядят на Сущего, как будто вхожи
В иную жизнь. Фиалка, первоцвет,
Безумец ирис, прочие... ну что нам
Их имена, когда любви завет
Итожит Муза: "К этим топям сонным
Во всеоружьи вышел на подмогу
Крестьянский Бог, прекрасный Бог, ей-богу".

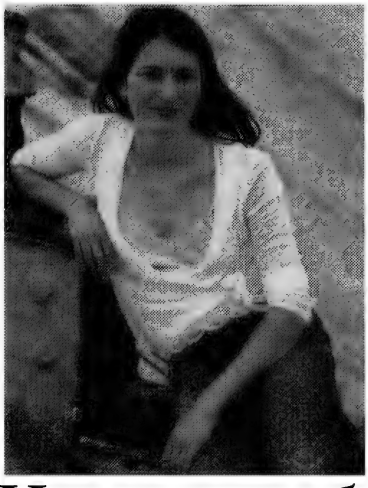
Октябрь

О лиственный желток, в аллеях парка
Ты, собираясь тлеть, предал огласке
Бессрочность бытия. Пускай насмарку
Идет мой век — я вечностью обласкан.
Похожий бриз, теплынь такую память
Удерживает с юности, как будто
Мне к жизни больше нечего прибавить,
Как бы она ни повернулась круто.
Я лучше припаду к асфальту, лишь бы
С землей делить ее дары и долю.
Октябрь пылает, как когда-то, рыжий,
Он грел меня у лисьих нор на поле.
Посев озимых. Плуга рыхлый след.
На плечи давят девятнадцать лет.

Зима

Рождество, говорят, на подходе, и зрелище серой,
Как шинель у солдата, земли подтверждает прогнозы.
Этот стих вписан набело в свитки коры на шпалерах
И зачитан до дыр между просинью неба и прозой
Заоконных проселков, где гравий скулит от напора
Устремленных куда-то людей, но другою дорогой
Я пройду — мимо баров, ведущихся в них разговоров.
Где набито битком, не нужна там поэта подмога.
Случившийся раньше, чем нам напророчили, холод
Вернул мне надежду, из душного вызволив плена:
Еще можно многое сделать — возьму и навстречу
Пущусь приключеньям, по-прежнему буен и молод,
А то и влюблюсь или выращу сына — мне жизнь по колено,
И две мировые не смогут меня искалечить.

Николь Краусс



История любви

Роман

Перевод с английского Е. Левенсон

Моим дедушкам и бабушкам,
которые научили меня, как не
исчезнуть, и моему Джонатану

Последние слова на земле

Когда появится сообщение о моей смерти. Завтра. Или послезавтра. Там будет написано: Лео Гурски умер, оставив после себя... никого и ничего, только захламленную квартиру. Странно, что меня не похоронили заживо. Квартирка небольшая. Я все время стараюсь, чтобы проход от кровати к туалету был свободным; и от туалета — к кухонному столу, и от стола — к входной двери. Если надо пройти от туалета к входной двери, невозможно миновать кухонный стол. Мне нравится представлять свою квартиру чем-то вроде бейсбольной площадки. Кровать — база, туалет — номер первый, кухонный стол — номер второй, входная дверь — номер третий. Если я лежу в постели и слышу звонок в дверь, чтобы открыть ее, нужно пройти мимо туалета и кухонного стола. Если это звонит Бруно, я его впускаю и, не говоря ни слова, бегу назад к кровати, и в моих ушах стоит рев невидимой толпы зрителей.

© 2005 by Nicole Krauss
© Е. Левенсон. Перевод, 2006
Отдельным изданием в другом переводе роман выйдет в издательстве "Астрель".

Я часто думаю, кто же будет последним человеком, видевшим меня живым. Если б я держал пари, я поставил бы на мальчика-разносчика из китайской закусочной. Я заказываю там еду четыре раза в неделю. Когда бы он ни пришел, я всегда долго ищу кошелек. Он стоит у двери со своей замасленной сумкой, а я думаю о том, что, может быть, этой самой ночью, когда я съем свои китайские блинчики с овощами и заберусь в постель, меня во сне хватит инфаркт.

Я стараюсь все время быть у людей на виду. Часто покупаю сок, хотя мне не хочется пить. Если в магазине много народу, я иногда нарочно рассыпаю мелочь так, чтобы монетки раскатились по всему полу. Я опускаюсь на колени. Мне довольно трудно опуститься на колени и еще труднее подняться. И все-таки. Возможно, я кажусь идиотом. Я захожу в магазин спортивной обуви и спрашиваю, какие у них есть кроссовки. Продавец смотрит на меня как на последнего дурака (и он прав) и дает мне пару "рокпортов"[1] какого-то нахального белого цвета. "Не-ет, – говорю я. – Такие у меня уже есть". Затем я иду туда, где стоят "рибоки", выбираю что-то совсем не похожее на ботинки, какие-то водонепроницаемые бахилы, и прошу 41-й размер. Продавец снова смотрит на меня, на этот раз более внимательно. Смотрит долго и пристально. "Сорок первый", – повторяю я, выдерживая его взгляд. Моя рука сжимает этот пластиковый башмак. Продавец качает головой и уходит куда-то на склад. Тем временем я стаскиваю носки, закатываю штанины и смотрю на свои изношенные старые ноги. Он возвращается – минутное замешательство, пока до него не доходит, что я жду, чтобы он помог мне надеть эти бахилы. В действительности же я никогда ничего не покупаю. Все, чего я хочу, – не умереть в тот день, когда меня никто не видел.

Несколько месяцев назад я наткнулся в газете на объявление: "Требуется обнаженная модель для класса рисования. 15 долларов в час". Слишком хорошо, чтобы в это поверить. Слишком заманчиво. Да и не для одного меня. Звоню по указанному номеру. Женский голос предлагает мне прийти в следующий вторник. Я пытаюсь описать себя, но ее это не интересует. "Все сгодится", – говорит она.

Дни тянулись медленно. Я рассказал об этом Бруно, но он меня не понял. Он решил, я записываюсь в класс рисования, чтобы смотреть на голых женщин. Ему не хотелось, чтобы я его разубедил. "Сиськи показывают?" – спросил он. Я пожал плечами. "И еще ниже?"

После того как умерла миссис Фрейд с четвертого этажа и никто не вспомнил о ней целых три дня, у нас с Бруно появилась привычка справляться друг о друге. Мы придумываем разные поводы. "У меня кончилась туалетная бумага", – говорю я, когда Бруно открывает дверь. Проходит день. Стук в мою дверь. "Я потерял программу телевидения", – объясняет он. Я иду и приношу ему свою, хотя знаю, что его программа лежит там же, где и всегда, – на кушетке. Однажды он спустился ко мне в воскресенье днем. "Мне нужен стакан муки", – сказал он. "Ты же не умеешь готовить", – это было невежливо, но я ничего не мог с собой поделать. Наступило молчание. Бруно посмотрел мне в глаза. "Что ты понимаешь, – сказал он. – Я пеку пирог".

1. "Рокпорт" и "Рибок" – фирмы, производящие спортивную обувь. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Когда я приехал в Америку, я никого здесь не знал, кроме своего троюродного брата, он был слесарем по замкам, и я стал работать с ним. Если бы он был сапожник, я бы тоже стал сапожником. Если бы он выгребал дерьмо, я тоже стал бы выгребать. Но он был слесарем по замкам, он научил меня этому ремеслу, и я стал тем, кем стал. У нас был маленький общий бизнес, а потом он заболел туберкулезом. Ему должны были оперировать печень, у него подскочила температура до сорока, и он умер, так что дело перешло ко мне. Я отдавал его вдове половину заработка, даже когда она вышла замуж за врача и переехала в Бей-сайд[1]. Я проработал в этом бизнесе пятьдесят с лишним лет. Это было не то, о чем я когда-то мечтал. И все-таки. Честно говоря, я полюбил свою работу. Я помогал тем, кто захлопнул дверь и остался снаружи. Я помогал не пускать в дом тех, кого не следовало пускать, чтобы хозяева спали спокойно, без кошмаров.

Однажды я стоял и смотрел в окно. Возможно, я созерцал небо. Поставь даже дурака перед окном, и получишь Спинозу. Дело шло к вечеру, сгущались сумерки, я потянулся к шнурку выключателя, и вдруг какая-то слоновья тяжесть навалилась мне на грудь. Я упал на колени. Подумал, что теперь мне уже не жить. Прошла минута. Потом другая. Еще одна. Я уперся в пол и пополз к телефону.

Четвертая часть моей сердечной мышцы погибла. Я поправлялся медленно и уже никогда больше не вернулся к работе. Прошел год. Я следил, как само по себе бежит время. Смотрел в окно. Наблюдал, как осень сменяется зимой, зима — весной. Иногда Бруно спускался, чтобы посидеть со мной. Мы с Бруно дружили, когда были мальчишками, вместе ходили в школу. Он был одним из самых близких моих друзей — Бруно, со своими очками с толстыми стеклами, с рыжеватыми волосами, которые он ненавидел, и голосом, который от волнения срывался. Я не знал, что он остался жив. И вот однажды я шел по Восточному Бродвею и услышал его голос. Я обернулся. Он стоял спиной ко мне около лотка и выяснял, сколько стоят какие-то фрукты. Я подумал: у тебя слуховые галлюцинации, ты фантазер, ну чем он похож на твоего старого друга? И застыл как вкопанный на тротуаре. Он давно в могиле, говорил я себе. А ты в Соединенных Штатах Америки, смотри — вон там "Макдоналдс", опомнись. Я ждал — просто чтобы убедиться. Я бы не смог узнать его в лицо. Но... Его походка — тут нельзя было ошибиться. Он почти поравнялся со мной, и я протянул руку. Я не соображал, что делаю, может быть, это было какое-то наваждение. Я схватил его за рукав. Сказал: "Бруно". Он остановился, обернулся. Казалось, сначала он испугался, потом растерялся. "Бруно". Он смотрел на меня, и на глаза у него наворачивались слезы. Я схватил его за другую руку, в одной руке у меня был его рукав, в другой — рука. "Бруно". Его затрясло. Потом он коснулся пальцами моей щеки. Мы стояли посреди тротуара, мимо шли люди, был теплый июньский день. Волосы у него были поредевшие и седые. Он выронил свои фрукты. "Бруно".

Через пару лет умерла его жена. Жить без нее в прежней квартире оказалось ему не по силам. Все там напоминало о ней. И когда в нашем доме освободилась квартира этажом выше, он в нее переехал. Мы часто

1. Богатый район Бруклина.

сидели вместе за моим кухонным столом. Иногда по полдня, до вечера, и молчали, а если и говорили, то только не на идише. Язык нашего детства давно стал нам чужим, мы не могли говорить так, как раньше, и предпочитали вообще им не пользоваться. Жизнь требовала другого языка.

Бруно, мой верный старый друг. Я плохо описал его. Может быть, надо просто сказать, что он не поддается описанию? Нет. Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не пытаться вовсе. Твоя голова, покрытая мягким белым пухом, напоминала наполовину облетевший одуванчик. Много раз, Бруно, мне хотелось подуть на твою голову и загадать желание. Только необходимость соблюдать приличия меня удерживала. А может быть, следовало начать с описания твоего роста, очень маленького. В лучшие времена ты едва доставал мне до груди. Или с очков, которые ты извлекал из футляра, утверждая, что это твои собственные. Огромные круглые стекла невероятно увеличивали твои глаза. Это были женские очки, Бруно! Я не мог решиться сказать тебе об этом. Хотя много раз собирался. И еще одно. Когда мы были юнцами, ты был замечательный писатель, гораздо лучше, чем я. Я был слишком горд, чтобы признаться тебе в этом. Но. Я знал. Поверь мне. Знал тогда и знаю сейчас. Мне больно, что я никогда тебе этого не говорил, и больно думать, кем бы ты мог стать. Прости меня, Бруно. Мой самый старый друг. Мой лучший друг. Я был несправедлив к тебе. Ты скрасил мне последние годы жизни. Ты, именно ты, мог найти слова для всего на свете.

Однажды, это было очень давно, я обнаружил Бруно лежащим посреди комнаты; рядом валялся пустой пузырек от таблеток. Он решил, что с него хватит. И захотел уснуть навсегда. На его груди была приколота записка: *Прощайте, мои любимые.* Я закричал. НЕТ, БРУНО, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ! Я ударил его по лицу. Наконец его глаза приоткрылись. Взгляд был пустым, бессмысленным. ПРОСНИСЬ, ТЫ, ДУМКОП![1] – кричал я. – СЛУШАЙ МЕНЯ: ТЫ ДОЛЖЕН ПРОСНУТЬСЯ! Его глаза снова закрылись. Я позвонил 911. Потом набрал в миску холодной воды и выплеснул на него. Приложил ухо к его груди. Неясный шорох, где-то далеко. Приехала "скорая". В больнице ему промыли желудок. "Зачем вы выпили все эти таблетки?" – спросил доктор. Бруно, слабый, измученный, слегка приоткрыл глаза. "Как вы думаете, зачем я это сделал?!" – крикнул он. Палата затихла, все уставились на него. Бруно застонал и отвернулся к стене. В ту ночь я уложил его в постель. "Бруно", – сказал я. "Прости меня, – сказал он. – Я такой эгоист". Я вздохнул и хотел уйти. "Останься со мной!" – закричал он.

Мы с ним никогда об этом не вспоминали. Так же как никогда не говорили о детстве, о наших общих мечтах, которые не сбылись, о том, что случилось и чего не случилось. Однажды мы сидели с ним и молчали. Вдруг один из нас засмеялся. Смех заразителен. Никакой причины для смеха не было, но мы начали хихикать, а чуть погодя уже подпрыгивали на стульях и выли от смеха, буквально выли, и слезы катились у нас из глаз. В паху у меня расплылось мокрое пятно, и от этого мы стали смеяться еще больше, я колотил кулаком по столу, жадно хватал воздух и думал: может быть, так я и уйду, в приступе смеха, может, так оно и луч-

1. Дурак (*идиш*).

ше — уходя, смеяться и плакать, смеяться и петь, смеяться, чтобы забыть, что я один, что это конец моей жизни, что смерть поджидает меня за дверью.

Когда я был мальчиком, я любил писать. Это было единственное, чем мне хотелось бы заниматься всю жизнь. Я заполнял тетради разными историями про придуманных мною людей. Я написал о мальчике, который вырос и стал таким волосатым, что за ним охотились из-за его меха. Он прятался от людей на деревьях и полюбил птицу, которая воображала себя гориллой весом в триста фунтов. Я писал о сиамских сестрах-близнецах, одна из которых влюбилась в меня. Я считал, что сцены секса у меня получаются исключительно оригинальными. И все-таки. Когда я стал старше, мне захотелось стать настоящим писателем. Я старался писать о том, что существует на самом деле. Я хотел описывать наш реальный мир, потому что жить в мире, который не описан, очень одиноко. Мне не исполнилось еще и двадцати одного года, а я уже написал три книжки. Первая книжка была про Слоним, городок, где я жил, который временами принадлежал Польше, а временами России. На обложке я нарисовал карту, отметив все дома и все мастерские: здесь была лавка Кипниса, мясника, здесь жил Гродзенский, портной, а здесь — Фишл Шапиро, который был то ли великим цадиком[1], то ли идиотом, никто так и не мог решить, а там была рыночная площадь и поле, где мы играли, а здесь — река, тут широкая, а там узкая, а дальше, где начинался лес, стояло дерево, на котором повесилась Бейла Аш, а тут, а тут... И все-таки. Когда я дал эту книжку единственному человеку в Слониме, чьим мнением дорожил, она пожала плечами и сказала, что было бы лучше, если бы я что-нибудь придумывал. И тогда я написал вторую книгу и населил ее мужчинами, у которых были крылья, и деревьями, у которых корни росли в небо, и людьми, которые забыли собственные имена, и людьми, которые не могли забыть ничего; я даже выдумывал новые слова. Едва закончив, я сразу помчался к ее дому. Я влетел в дверь, бегом поднялся по лестнице и вручил книжку единственному человеку в Слониме, чьим мнением дорожил. Я стоял, прислонившись к стене, и смотрел на ее лицо, пока она читала. На улице уже стемнело, а она все читала. Проходил час за часом. Я сел на пол. Она все читала. Когда кончила, подняла на меня глаза. Сначала долго молчала. Потом сказала, что, наверное, было бы лучше, если бы я не *все* придумывал, поскольку так трудно хоть во *что-нибудь* поверить.

Другой бы сдался, но я взялся за новую книгу. На этот раз я не стал писать о реальных вещах, и о выдуманных вещах писать тоже не стал. Я писал о том единственном, что твердо знал. Исписал кипу страниц. Даже после того, как она, единственный человек, чьим мнением я дорожил, уехала на пароходе в Америку, я продолжал заполнять страницы ее именем.

После того как она уехала, все рассыпалось в пух и прах. Никто из евреев не чувствовал себя в безопасности. Поползли слухи о вещах невообразимых, и поскольку этого нельзя было вообразить, мы не смогли в это поверить, — а потом у нас уже не осталось выбора, было слишком поздно. Я работал в Минске, но потерял работу и вернулся домой в Сло-

1. Цадик — праведник, глубоко набожный и благочестивый человек (*иврит*); у хасидов — духовный глава общины.

ним. Немцы двигались на восток. Они подходили все ближе и ближе. В то утро, когда мы услышали, что приближаются танки, мама велела мне уйти и спрятаться в лесу. Я хотел взять с собой младшего брата, ему было только тринадцать лет, но она сказала, что возьмет его сама. Почему я ее послушался? Потому, что так было проще? Я убежал в лес. Тихо лежал на земле. Вдалеке лаяли собаки. Прошло несколько часов. А потом — выстрелы. Много выстрелов. Почему-то никто не кричал. Или, может быть, я не слышал криков. А потом — тишина. Руки и ноги у меня затекли. Помню, я чувствовал вкус крови на губах. Не знаю, сколько времени прошло. Сколько дней. Обратно я не вернулся. Когда я поднялся, я уже потерял ту часть себя, которая когда-то считала, что можно найти слова для всех, даже самых пустяковых событий в жизни.

И все-таки.

Через пару месяцев после моего инфаркта, через пятьдесят семь лет после того, как я бросил все это, я начал писать снова. Теперь я писал только для самого себя, и это было совсем другое. Мне было не важно, найду ли я нужные слова, больше того, я знал, что это невозможно. Но я уже понял: то, что я считал возможным, на самом деле невозможно. Кроме того, я знал, что никому никогда не покажу ни одной страницы написанного. И потому я написал:

Когда-то жил-был мальчик.

Эти слова долго оставались одни на пустой странице и смотрели на меня. Через неделю я прибавил к ним еще фразу. Вскоре заполнилась вся страница. И я был счастлив, как будто говорил вслух сам с собой, что со мной иногда случается.

Однажды я сказал Бруно:

— Попробуй догадаться, сколько у меня написано страниц?

— Понятия не имею, — сказал Бруно.

— Напиши число, — сказал я. — И передай мне через стол.

Он пожал плечами и достал из кармана ручку. Минуту-другую думал, внимательно на меня глядя.

— Ну примерно, — сказал я. Он взял салфетку, нацарапал какую-то цифру и перевернул салфетку. Я написал на своей настоящее число — 301. Мы обменялись салфетками. Не знаю, что ему пришло в голову, но он написал 200 000. Когда Бруно перевернул мою салфетку, лицо у него вытянулось.

Порой мне кажется, что последняя страница моей книги и последняя страница моей жизни — это одно и то же, и когда я закончу книгу, сильный ветер ворвется в комнату и унесет исписанные страницы, когда же все эти белые порхающие листки исчезнут, в комнате станет тихо, а стул, на котором я сидел, окажется пустым.

Я писал понемногу каждое утро. Триста одна страница — не так уж мало. Время от времени, закончив писать, я отправлялся в кино. Это всегда для меня большое событие. Иногда я покупаю воздушную кукурузу и, если вокруг есть люди, которые могут обратить на меня внимание, просыпаю ее на пол. Я люблю сидеть впереди. Я люблю, чтобы экран заполнял все пространство передо мной, чтобы ничто меня не отвлекало. И хочу, чтобы так продолжалось вечно. Не могу передать, как я счастлив, когда смотрю на то, что происходит наверху, в увеличенном размере. Я сказал бы, что это "больше, чем жизнь", но я никогда не понимал этого выражения. Что может быть больше жизни? Сидеть в первом ря-

ду и смотреть на лицо прекрасной девушки на высоте двухэтажного дома, когда вибрации ее голоса массируют тебе ноги и напоминают о границах жизни? Так вот, я сажусь в первый ряд. И если, уходя, чувствую, как устали мышцы шеи и как спадает напряжение в паху, это значит, что я выбрал правильное место. Я не похотливый старик. Я человек, который хотел бы быть таким же большим, как жизнь.

Есть в моей книге места, особенно близкие сердцу, — я знаю их наизусть. Вообще-то о сердце я не люблю говорить. Оно у меня слабое и ненадежное. Я стараюсь как можно меньше его нагружать. Если я чувствую, что моему сердцу что-то угрожает, я норовлю направить удар в другое место. Например, в желудок или в легкие, которые могут замереть на секунду, но всегда готовы позволить перевести дух. Когда я прохожу мимо зеркала и бросаю взгляд на свое отражение или когда на автобусной остановке ребятишки подходят ко мне сзади и говорят: "От кого это так воняет?" — привычные мелкие унижения! — я, как правило, подставляю печень. Другие удары я принимаю в другие места. Поджелудочная железа пусть получает все то, что я потерял. По правде говоря, этого так много, а орган такой маленький... Но. Вы не поверите, как много он может вместить: я чувствую лишь короткую острую боль, и все проходит. Иногда я воображаю вскрытие моего собственного тела. Разочарование в самом себе: правая почка. Разочарование в других: левая почка. Личные неудачи: кишки. Я не хочу, чтобы это воспринималось как научное исследование. Недостаточно продумано. Просто я заметил некоторые закономерности. Когда время идет слишком быстро и темнота наступает раньше, чем я ожидал, то, по непонятным мне причинам, я ощущаю это запястьями. Когда я просыпаюсь и пальцы мои не сгибаются — это почти наверняка означает, что мне снилось детство. Поле, где мы играли, поле, где были сделаны все открытия и все было возможным. (Мы бегали так быстро, что казалось, сейчас начнем харкать кровью: для меня это звуки детства — тяжелое дыхание и отголосок царапающих твердую почву подошв.) Онемение пальцев — это сон о детстве, вернувшемся ко мне в конце жизни. Приходится согревать пальцы под струей горячей воды: пар затуманивает зеркало, а снаружи воркуют голуби. Вчера я увидел, как хозяин бьет свою собаку, и почувствовал что-то в глубине глаз. Не знаю, как назвать то место, где рождаются слезы. Боль от забытого — в позвоночнике. И боль воспоминаний — тоже в позвоночнике. Когда я вдруг вспоминаю, что мои родители умерли, что-то происходит с моими коленями. Даже сейчас я удивляюсь, что все еще существую, а тех, кто дал мне жизнь, нет на свете. Чтоб колени сгибались, нужно втереть в них полтюбика обезболивающей мази "Бен-гей". Всему свое время. Геморрой дает себя знать, когда, проснувшись, я по ошибке думаю, что рядом со мной кто-то спит. А что касается одиночества — нет такого органа, который мог бы вместить его целиком.

Каждое утро добавляет что-то свое.

Когда-то жил-был мальчик. Он жил в местечке, которого больше нет, в доме, которого больше нет, на краю поля, которого больше нет, поля, где были сделаны все открытия и где все было возможным. Палка могла превратиться в меч, камушки — в бриллианты, дерево — в за́мок.

Когда-то жил-был мальчик, а на другом краю поля жила девочка, которой больше нет. Они придумывали тысячи игр. Она была Королевой,

а он Королем. В лучах осеннего солнца ее волосы сверкали как корона. Они собирали мир в свои маленькие ладошки. Вечерами, когда небо темнело, они расходились по домам с листьями в волосах.

Когда-то жил-был мальчик, который любил девочку, и ее смех был для него вопросом, на который он хотел отвечать всю жизнь. Когда им было десять, он попросил ее выйти за него замуж. Когда им было одиннадцать, он первый раз ее поцеловал. Когда им было тринадцать, они поссорились и три недели не разговаривали. Когда им было пятнадцать, она показала ему рубец у себя на левой груди. Их любовь была тайной, никто ничего не знал. Он обещал ей, что никогда в жизни не полюбит другую девочку. "А если я умру?" — спросила она. "Даже тогда", — сказал он. Когда ей исполнилось шестнадцать, он подарил ей на день рождения английский словарь, и они вместе учили слова. "Как это называется?" — спрашивал он, гладя ее щиколотку указательным пальцем. И она смотрела в словарь. "А это?" — спрашивал он, целуя ее локоть. "Elbow! Какое странное слово!" А потом он лизнул ее локоть, и она засмеялась. "А это?" — спрашивал он, дотрагиваясь до гладкой кожи у нее за ухом. "Не знаю", — отвечала она, погасив фонарик и переворачиваясь на спину. Когда им было семнадцать, они впервые любили друг дружку на соломенной подстилке в сарае ее отца. А потом — когда случилось то, чего они не могли даже вообразить, — она написала ему письмо: "Когда же ты поймешь, что не все можно выразить словами?"

Когда-то жил-был мальчик, который любил девочку, а у ее отца хватило смекалки, чтобы собрать все злотые, какие у него были, и отправить младшую дочь на пароходе в Америку. Сначала она отказалась ехать, но мальчик уже тоже знал достаточно, и он настаивал, и клялся своей жизнью, что заработает денег и приедет к ней. И она уехала. Он нашел работу в ближайшем городе — уборщиком в больнице. Ночами он писал свою книгу. Он послал ей письмо и вложил туда одиннадцать глав книги, написанных мелким почерком. Он не был уверен, дойдет ли до нее письмо. Все заработанные деньги он откладывал. Но однажды его уволили — не объяснив почему. Он вернулся домой. Но летом 1941 года Einsatzgruppen[1] двинулись на восток, убивая сотни тысяч евреев. И однажды солнечным жарким июльским днем они вошли в Слоним. Случилось так, что в то утро мальчик лежал в лесу и думал о своей девочке. Можно сказать, что любовь к ней спасла его. Мальчик стал человеком-невидимкой. И так избежал гибели.

А потом человек-невидимка приехал в Америку. До того он три с половиной года прятался — большей частью в лесу, но и в подвалах, и в ямах тоже. Потом вошли русские танки. Шесть месяцев он провел в лагере для перемещенных лиц. Он получил письмо от своего троюродного брата, который был слесарем по замкам в Америке. В мыслях он снова и снова повторял те несколько английских слов, которые знал. Knee. Elbow. Ear. Наконец пришли его бумаги. Он ехал на поезде, потом на пароходе и через неделю, в прохладный ноябрьский день, приехал в Нью-Йорк. В руке у него была зажата бумажка с адресом девочки. Он провел бессонную ночь на полу в комнате троюродного брата. Радиатор шипел

1. Оперативные группы особого назначения, в годы Второй мировой войны действовавшие на оккупированных территориях с целью подавления сопротивления местного населения (*нем.*).

и потрескивал, но ему было хорошо в тепле. Утром брат трижды объяснил ему, как проехать на метро в Бруклин. Он купил букет роз, но они завяли, потому что, хотя брат и объяснял ему три раза, как ехать, он все равно запутался. Наконец он нашел нужный адрес. Уже нажав кнопку звонка, он подумал, что надо было бы сначала позвонить ей по телефону. Она открыла дверь. На голове у нее был голубой шарф. За стеной у соседей играло радио — шла спортивная передача.

Когда-то жила-была женщина, которая девочкой уехала на пароходе в Америку. По дороге ее все время тошнило, но не из-за морской болезни, а потому, что она была беременна. Когда она это поняла, она написала мальчику письмо. Каждый день она ждала ответа, но не дождалась. Она делалась все толще и толще и скрывала это, чтобы не потерять работу на фабрике, где шили одежду. За несколько недель до родов она от кого-то узнала, что в Польше немцы убивают евреев. "Где?" — спросила она, но никто не знал, где именно. Больше она на работу не ходила. Не могла заставить себя встать с постели. Через неделю ее навестил сын хозяина фабрики. Он принес еду и букет цветов, который поставил в вазу рядом с ее кроватью. Когда он узнал, что она беременна, он позвал акушерку. Родился мальчик. Однажды она села в постели и увидела, как в залитой солнцем комнате сын ее хозяина качает колыбель ее малыша. Через год она согласилась выйти за него замуж. Еще через два года у нее родился второй сын.

Человек, ставший невидимкой, стоял у нее в гостиной и слушал ее рассказ. Ему было двадцать пять лет. Он так изменился с тех пор, как они виделись в последний раз, что какая-то его часть внутри хотела рассмеяться жестким, холодным смехом. Она дала ему маленькую фотографию мальчика, которому теперь было пять лет. Ее рука дрожала. Она сказала: "Ты не писал. Я думала, тебя нет в живых". Он смотрел на фотографию мальчика, который вырастет и станет похожим на него, который — хотя тогда он этого не знал — поступит в колледж, влюбится, потом разлюбит и станет знаменитым писателем. "Как его зовут?" — спросил он. "Я назвала его Исааком", — ответила она. Они долго стояли и молчали, а он смотрел на фотографию. Наконец он произнес три слова: "Пойдем со мной". Снизу, с улицы, доносились крики детей. Она закрыла глаза. "Пойдем со мной", — повторил он и протянул ей руку. По ее лицу катились слезы. Он три раза повторил эти слова. Она покачала головой: "Я не могу". И опустила глаза. И добавила: "Прошу тебя". Тогда он сделал самое трудное из того, что ему приходилось делать в жизни. Взял шляпу и ушел.

Когда-то жил-был человек, который еще мальчиком обещал, что никогда в жизни не полюбит другую девочку. И если он сдержал свое слово, то не потому, что был упрям, и не потому даже, что был так уж ей предан. Он просто не мог иначе. Он сам скрывался три с половиной года, и скрывать любовь к своему сыну, который даже не знал о его существовании, не казалось ему таким уж сложным. Не только потому, что единственная женщина, которую он любил, попросила его об этом. В конце концов, не так уж и трудно ему было скрывать еще одно чувство — ведь сам он уже перестал существовать.

Вечером накануне того дня, когда мне надо было идти в класс рисования, я очень нервничал. Я расстегнул пуговицы на рубашке, снял ее, по-

том расстегнул и снял брюки. Потом снял нижнее белье. Я стоял в прихожей перед зеркалом в одних носках. Слышно было, как кричат ребята на детской площадке через дорогу. Шнурок от выключателя висел прямо надо мной, но я не зажигал лампу. Я стоял и смотрел на себя при слабом свете, падающем из окна.

Я никогда не считал себя красивым. В детстве моя мать и тетки часто мне говорили, что я вырасту и *стану* красивым. Я понимал, что выгляжу так себе, но верил, что в конце концов что-то красивое во мне появится. Не знаю, как я себе это представлял. Что мои уши, безобразно торчащие в стороны, прижмутся к голове? Что голова вырастет и будет больше соответствовать ушам? Что волосы, напоминающие туалетную щетку, со временем станут прямыми и блестящими? Что мое лицо, не внушающее больших надежд — веки тяжелые, как у лягушки, губы, наоборот, тонкие, — приобретет менее жалкий вид? Много лет я просыпался и шел к зеркалу с надеждой. Уже поздно было на что-то надеяться, но я все еще смотрелся в зеркало. Я становился старше, но никакого улучшения не происходило. Напротив, взрослея, я только утрачивал ту приятную привлекательность, которой обладают все дети. В год бар-мицвы[1] на лице у меня высыпали прыщи и не проходили четыре года. Но я продолжал надеяться. Когда исчезли прыщи, граница волос начала отступать, как будто волосы отказывались иметь что-либо общее с таким лицом. Зато уши, довольные тем, что теперь привлекают больше внимания, вытягивались, стремясь стать еще заметнее. Веки опустились — видно, мышцы потратили все силы, поддерживая борьбу ушей, — а брови зажили отдельной жизнью, на короткий период достигнув того, чего от них можно было ждать, а затем превзошли все ожидания и стали как у неандертальца. Годами я надеялся, что моя внешность хоть чуточку изменится, но, глядя в зеркало, всегда видел только то, что было на самом деле. Шло время, и я думал об этом все меньше и меньше. А потом и совсем почти перестал думать. И все-таки. Возможно, какая-то малая часть во мне никогда не переставала надеяться. И даже сейчас бывают минуты, когда я стою голый перед зеркалом, держа в руке свой морщинистый *пишер*[1], и верю, что моя красота еще придет.

Утром в тот день, когда надо было идти в класс рисования, 19 сентября, я проснулся в большом волнении. Я оделся, принял утреннюю порцию слабительного, пошел в туалет и сел там, с нетерпением ожидая эффекта. Полчаса — и ничего, но мой оптимизм не исчез. Наконец мне удалось выдавить из себя несколько катышков. Полный надежды, я подождал еще немного. Вполне возможно, что я так и умру, сидя на унитазе со спущенными штанами. В конце концов, я провожу здесь так много времени, что возникает второй вопрос, а именно: кто же первым увидит меня мертвым?

Я обтерся мокрой губкой и оделся. Время еле ползло. Я подождал, сколько хватило терпения, и поехал на автобусе в город. Объявление из газеты, сложенное вчетверо, лежало у меня в кармане. Я несколько раз вынимал листок и смотрел на адрес, хотя помнил его наизусть. Нужный дом мне удалось найти не сразу — я трижды прошел мимо него, прежде чем понял, что это он и есть. Это был старый склад. Ободранная вход-

1. Бар-мицва — обряд совершеннолетия мальчиков, достигших 13 лет.
2. Мужской член (*идиш*).

ная дверь была приоткрыта и заложена картонной коробкой, чтоб не захлопнулась. В какой-то момент я позволил себе вообразить, что меня заманили сюда, чтобы ограбить и убить. Я представил себе свое тело на полу в луже крови.

На улице потемнело, начал накрапывать дождь. Но я был благодарен и ветру, и каплям дождя на лице и думал о том, как мало мне осталось жить. Так я и стоял, не в силах двинуться ни вперед, ни назад. Наконец я услышал доносившийся из здания смех. Слушай, ты становишься смешон, подумал я. Взялся за ручку двери, и в эту секунду дверь распахнулась. Вышла девочка в большом, не по росту, свитере с засученными рукавами. Руки у нее были худые и бледные. "Вам что-то нужно?" — спросила она. В ее свитере были маленькие дырочки. Он доходил ей до колен, а под ним была юбка. "Я ищу класс рисования. В газете было объявление. — Я полез в карман. — Может быть, я не туда попал..." Она показала наверх: "Второй этаж, первая комната справа. Но занятия начнутся только через час". — "Я боялся, что не сразу найду дом, поэтому пришел заранее", — сказал я. Она дрожала от холода. Я снял плащ. "Вот, надень. Простудишься". Она пожала плечами, но не пошевелилась. Я держал плащ в протянутой руке, пока не понял, что она и не собирается его брать.

Больше говорить было не о чем. Я увидел лестницу и пошел наверх. Сердце мое стучало. Я подумал, не повернуть ли назад — мимо девочки, на эту заваленную мусором улицу, через город, в свою квартиру, где у меня есть кое-какие дела. Какой же я был дурак — мог подумать, что они не отшатнутся, когда я сниму рубашку и штаны и окажусь перед ними голым. Мог подумать, что они увидят мои ноги с варикозными венами, мой волосатый обвисший *кнеделах*[1] — и что? Начнут рисовать? И все-таки. Я не повернул обратно. Крепче ухватился за перила и пошел дальше. Я слышал, как дождь стучит по крыше. Свет едва проникал через грязное потолочное окно. Наверху начинался коридор. В комнате слева какой-то человек рисовал на большом холсте. Комната справа была пуста. Там было покрытое черным бархатом возвышение, а вокруг в беспорядке стояли стулья и мольберты. Я вошел, сел и стал ждать.

Через полчаса народ начал понемногу собираться. Вошла женщина, спросила, кто я такой. "Я здесь по объявлению, — ответил я. — Я звонил и говорил с кем-то". К моему облегчению, она, по-видимому, меня поняла. Показала мне, где раздеться — в углу, за занавеской. Я зашел туда, и она задернула занавеску. Я услышал удаляющиеся шаги. Постояв минуту, снял ботинки и аккуратно поставил их рядом. Потом снял носки и засунул в ботинки. Расстегнул рубашку, снял. Там были плечики, и я повесил на них рубашку. Я слышал, как в комнате двигали стулья, слышал чей-то смех. И вдруг почувствовал, что мне все равно, пускай смотрят. Схватить бы ботинки, выбежать из комнаты, и — вниз по лестнице и прочь отсюда. И все-таки. Я расстегнул штаны. И вдруг подумал: что имелось в виду под словом "обнаженный"?

Даже без трусов? Я заколебался. Вдруг это не значит, что без трусов, а я предстану перед ними с болтающимся между ног сами-знаете-чем? Я вытащил из кармана объявление. Там было написано: "Обнаженная мо-

1. Букв.: клецки из мацы (*идиш*).

дель". Не будь идиотом, сказал я себе. Они здесь профессионалы. Я уже снимал трусы, когда услышал шаги женщины. "Вы готовы?" Кто-то открыл окно, по улице, с шумом расплескивая лужи, проехала машина. "Да, да, я сейчас выйду". Я взглянул вниз. Трусы были слегка испачканы. Мой кишечник, как всегда, меня подвел. Я снял трусы и скомкал.

Я думал: может быть, я пришел сюда умереть. Ведь я никогда раньше не видел этот склад. Может быть, здесь меня и ждут те, кого называют ангелами? Эта девочка внизу, ну конечно, как я мог не заметить, она была такая бледная.

Я стоял не шевелясь. Становилось холодно. Я подумал: вот так приходит смерть — к голому, в заброшенном старом складе. Завтра Бруно спустится ко мне, постучит в дверь, а ответа не дождется. Прости меня, Бруно. Я хотел бы попрощаться с тобой как полагается. Мне жаль, что я разочаровал тебя, написав всего триста страниц. А потом я подумал: моя книга. Кто ее найдет? Неужели ее выбросят вместе с остатками моих вещей? Хотя я и думал, что пишу ее для себя, но мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь ее прочитал.

Я закрыл глаза и глубоко вдохнул воздух. Кто будет меня обмывать? Кто произнесет поминальную молитву? Я вспомнил руки моей матери. Потом отдернул занавеску. Сердце билось где-то в глотке. Я шагнул вперед. И остановился перед ними, щурясь от света.

У меня никогда не было больших амбиций.

Я слишком легко мог расплакаться.

У меня не было способностей к наукам.

Слова часто подводили меня.

Когда другие молились, я только шевелил губами.

— Прошу вас.

Женщина, которая показала мне, где раздеться, указала на возвышение, затянутое бархатом.

— Станьте здесь.

Я пересек комнату. Там было, наверное, человек двенадцать, они сидели на стульях и держали на коленях альбомы. Среди них была девочка в большом свитере.

— Примите удобную позу.

Я не знал, в какую сторону повернуться. Они сидели кругом. Как ни стой, а к кому-то я окажусь задом. Я опустил руки и уставился на пятно на полу. Они взялись за карандаши.

Ничего не случилось. Мои босые ступни ощущали мягкую ткань, волосы на руках встали дыбом, пальцы висели, точно десять маленьких гирек, тянувших меня вниз. Я чувствовал, как двенадцать пар глаз изучают мое тело. Я поднял голову.

— Старайтесь не шевелиться, — сказала женщина.

Я глядел на трещину в каменном полу. Я слышал, как шуршат по бумаге их карандаши. Мне хотелось улыбнуться. Тело мое уже начинало бунтовать, колени подрагивали, мышцы спины напряглись, но мне было все равно. Если нужно, я простоял бы так целый день. Прошло пятнадцать, двадцать минут. Затем женщина сказала:

– Может быть, устроим маленький перерыв? А затем начнем снова, в другой позе.

Я сидел. Я стоял. Я поворачивался так, чтобы те, кто не видел моей задницы, теперь ее получили. Шелестели страницы. Не знаю, сколько

времени это продолжалось. В какой-то момент я подумал, что могу потерять сознание. Тело свое я то чувствовал, то переставал чувствовать. Глаза слезились.

Каким-то образом я вновь оказался одетым. Я не мог найти трусы, но слишком устал, чтобы их искать. Крепко держась за перила, я пошел вниз по лестнице. Женщина спустилась следом за мною: "Подождите, вы забыли свои пятнадцать долларов". Я взял деньги и, когда клал их в карман, нащупал там скомканные трусы. "Спасибо". Я действительно был ей благодарен. Я был совершенно измотан. Но счастлив.

Хочу объяснить: я старался быть добрым. И все-таки. Были в моей жизни времена, целые годы, когда злоба душила все лучшее во мне. Что-то гадкое выворачивало меня наизнанку. От горечи я получал некое удовлетворение. Я культивировал это чувство. Оно было где-то снаружи, но я приглашал его к себе. Я ненавидел мир. И мир в ответ ненавидел меня. Мы с отвращением смотрели друг на друга. Я захлопывал дверь перед носом входящих. Я портил воздух где хотел. Я обвинял кассира в том, что он не додал мне цента, хотя сжимал этот самый цент в кулаке. Но однажды я вдруг понял, что становлюсь похожим на того *шмока*[1], который травит голубей. Прохожие на улице переходили на другую сторону, чтобы не столкнуться со мной. Я превратился в раковую опухоль. И при этом, признаюсь честно, я не чувствовал злобы. Перестал чувствовать. Я уже давно где-то ее оставил. Положил на скамейку в парке и ушел. И все-таки. Это продолжалось так долго, что я уже забыл, как можно жить иначе. Но в один прекрасный день я проснулся и сказал себе: еще не поздно. Первые дни были очень странными. Я учился улыбаться перед зеркалом. И все-таки прежнее состояние вернулось ко мне. Словно какая-то тяжесть свалилась с плеч. Я внутренне освободился, и на меня уже больше ничего не давило. А через пару месяцев я встретил Бруно.

Когда я пришел домой после рисовального класса, на двери меня ждала записка от Бруно: *Хде ты?* Но я так устал, что не мог подняться к нему. В квартире было темно, я потянул шнурок и зажег свет в прихожей. И увидел себя в зеркале. Волосы, вернее, то, что от них осталось, стояли дыбом на макушке, как гребешок волны, а лицо скукожилось, словно долго лежало под холодным дождем.

Я упал на постель, не раздеваясь. А потом, уже поздно, после полуночи, зазвонил телефон. Звонок прервал сон, в котором я учил брата Иосифа мочиться, чтобы струя изгибалась дугой. Иногда у меня бывают ночные кошмары, но не в этот раз. Мы были в лесу, холодный ветер дул нам в спину. Иосиф повернулся ко мне и улыбнулся. Красивый мальчик, блондин с серыми глазами. Серыми, как океан в туманный день, или как слон, которого я увидел на рыночной площади, когда был мальчишкой. Я видел слона очень ясно, он стоял в пыльном солнечном луче. Потом никто не мог припомнить слона в нашем городке, и вообще невозможно было понять, как слон попал в Слоним, и ни одна душа мне не верила. Но я видел его.

Издалека донесся вой сирены. И как раз в ту секунду, когда мой брат открыл рот, сон растаял, и я проснулся в темной спальне. Дождь бара-

1. Болван (*идиш*).

банил в окно. Телефон продолжал звонить. Бруно, нет сомнения. Я бы не подошел к телефону, если бы не подумал, что он может позвонить в полицию. Ну почему бы ему просто не постучать по радиатору палкой, как мы делали всегда. Три раза – ты живой? Два раза – да. Один раз – нет. Мы стучим только ночью, днем слишком много других звуков, и в любом случае это не гарантия, потому что Бруно часто засыпает, не вынув из ушей плеер.

Я скинул одеяло и заковылял к телефону, стукнувшись о ножку стола. "Алло!" – крикнул я в трубку, но она молчала. Я повесил ее, прошел в кухню, взял с полки стакан. Вода долго булькала в трубах и наконец вырвалась фонтаном. Я отпил глоток и тут вспомнил про свое растение. Оно у меня уже больше десяти лет. Едва живое, но все-таки живое. Скорее коричневое, чем зеленое. Частично засохшее. Но еще живет, всегда клонясь влево. Даже когда я поворачиваю его так, чтобы сторона, обращенная к солнцу, оказалась в тени, оно все равно упорно наклоняется влево, не подчиняясь физической необходимости, предпочитая действовать творчески. Оставшуюся воду я вылил в цветочный горшок. Кстати, что все же это означает – *процветать*?

Минутой позже телефон зазвонил снова. "О'кей, о'кей, – сказал я в трубку. – Только зачем будить весь дом?" Трубка молчала.

– Бруно? – сказал я.

– Это мистер Леопольд Гурски?

Я решил, что мне хотят что-то продать. Они вечно звонят и предлагают что-нибудь купить. Однажды предложили, чтобы я заплатил 99 долларов, и тогда мне будет гарантировано получение кредитной карты, а я ответил: "Конечно, совершенно верно, а если надо мной пролетает голубь, мне гарантирована порция дерьма".

Но человек на том конце провода сказал, что не собирается ничего мне продавать. Он захлопнул дверь в дом, а сам остался снаружи. Он звонил в справочную узнать телефон какого-нибудь слесаря по замкам. Я ответил, что уже на пенсии. Он помолчал. Мне показалось, что он просто не может поверить в свое невезение. Он уже звонил по трем телефонам, но никто не ответил. "А тут льет как из ведра", – добавил он.

– А вы не можете где-нибудь переночевать? Утром проще будет найти слесаря. Их здесь полным-полно.

– Нет, не могу, – ответил он и продолжал: – Да. Я понимаю, это уж слишком... – Он замолчал, ожидая, что я скажу. Но я молчал. – Ну что ж, ладно... – Я услышал в его голосе разочарование. – Простите, что побеспокоил.

И все-таки. Он не повесил трубку, и я тоже не повесил. Я чувствовал себя кругом виноватым. Я подумал: ну и что, если я не высплюсь? Для этого еще будет время. Завтра. Или послезавтра.

– Хорошо, хорошо, – сказал я, хотя и не собирался ничего подобного говорить. Мне надо было еще отыскать свои инструменты. А это все равно что искать иголку в стоге сена или еврея в Польше. – Подождите минутку, я возьму ручку.

Он назвал свой адрес – на другом конце города. Только уже повесив трубку, я сообразил, что в это время мне не дождаться автобуса. В ящике кухонного стола у меня лежала карточка службы такси "Голдстар", хотя я, кажется, никогда не вызывал такси. И все-таки. Никогда не знаешь, что тебе может понадобиться. Я заказал машину и принялся рыться в

кладовке, искать инструменты. Вместо инструментов нашел коробку со старыми очками. Не знаю, откуда они у меня. Наверное, кто-то продавал на улице вместе с разнокалиберными чашками и куклой без головы. Время от времени я пробую надеть ту или другую пару. Однажды я делал омлет, нацепив женские очки для чтения. Омлет получился жуткой величины, страшно было даже на него глядеть. Я пошарил в коробке, вытащил какие-то очки. Квадратные, в розовой оправе, с линзами толщиной в полдюйма. Надел их. Пол ушел у меня из-под ног, а когда я попытался шагнуть, вздыбился. Я проковылял к зеркалу. Чтобы лучше рассмотреть себя, подошел поближе, но не рассчитал и врезался головой в стекло. В это время зазвонил домофон. Вот так всегда — только снимешь штаны, и немедленно кто-то является. "Я сию минуту спущусь", — закричал я в трубку. Сняв очки, я сразу увидел ящик с инструментами, прямо у себя под носом. Я провел рукой по его видавшей виды крышке. Потом схватил плащ, пригладил перед зеркалом волосы и вышел на улицу. Записка Бруно все еще висела на двери. Я скомкал ее и сунул в карман.

Перед домом стоял черный лимузин, дождь лупил по фарам. Кроме него было еще несколько пустых запаркованных машин. Я уже хотел повернуть обратно, но водитель лимузина опустил стекло и назвал мою фамилию. На голове у него был лиловый тюрбан. Я подошел к водителю.

— Тут какая-то ошибка, — сказал я. — Я заказывал такси.

— О'кей, — сказал он.

— Но это лимузин, — возразил я.

— О'кей, — повторил он и жестом показал, чтобы я садился.

— Но я не смогу ничего заплатить сверх.

Тюрбан заколыхался.

— Садитесь, пока не промокли насквозь.

Я забрался в машину. Внутри были кожаные сиденья, стояли за стеклом хрустальные бутылки со спиртным. Лимузин оказался больше, чем я себе представлял. Тихая экзотическая музыка спереди и мягкое шуршание дворников едва до меня доносились. Водитель развернулся, и мы выехали в ночь. Свет фар красными пятнами отражался в лужах. Передо мной была вазочка с мятными леденцами, и я набил себе карманы. Взглянув вниз, я увидел, что у меня не застегнута ширинка.

Я выпрямился и прокашлялся.

Леди и джентльмены, я постараюсь быть кратким, чтобы не злоупотреблять вашим великодушным терпением. По правде говоря, я в шоке, я готов себя ущипнуть. О такой чести можно только мечтать, премия "Голдстар" за жизненный успех, я просто теряю дар речи... Это действительно так? Да, это так. Все свидетельствует именно об этом. За жизненный успех.

Мы проехали через весь город. Сколько я тут ходил — этого требовала моя работа. Меня знали даже в Бруклине, я везде бывал. Подбирал замки для хасидов. Замки для черных. Иногда бродил по улицам ради удовольствия, мог целое воскресенье провести, просто гуляя. Однажды, много лет назад, я оказался перед Ботаническим садом и зашел туда посмотреть на цветущие вишни. Я купил себе сладкой воздушной кукурузы и наблюдал, как в своем пруду плавали жирные ленивые золотые рыбки. Там праздновали свадьбу, фотографировались под цветущей вишней,

дерево казалось покрытым снегом. Я прошел к оранжерее с тропическими растениями. Внутри был другой мир, теплый и влажный, как будто там скопилось дыхание людей, занимающихся любовью. На запотевшем стекле я написал пальцем: Лео Гурски.

Лимузин наконец остановился. Я прильнул к окну. "Который из них?" Водитель показал на таунхаус. Дом был очень красивый, к входной двери вели ступеньки, каменная стена была украшена резьбой — орнаментом из листьев. "Семнадцать долларов", — сказал водитель. Я полез в карман за кошельком — пусто. Полез в другой карман. Записка Бруно, скомканные трусы, но кошелька нет. Видно, забыл захватить в спешке. Тут я вспомнил про деньги, заработанные в рисовальном классе. Они и правда лежали на дне кармана, под запиской, трусами и леденцами. "Простите, — сказал я, — мне, право, очень неловко, но у меня с собой только пятнадцать". Сознáюсь, мне было жаль расставаться с этими бумажками. Не то чтоб они были с трудом заработаны, нет, тут было что-то другое, что-то одновременно горькое и радостное. Помешкав, тюрбан кивнул и принял деньги.

Мужчина стоял у двери, под карнизом. Конечно, он не ждал, что я прикачу к нему на лимузине. Я появился перед ним как Мистер Слесарь для Избранных. Я начал было смущенно объяснять: "Поверьте, я вовсе не считаю себя каким-то особенным..." Но дождь не унимался, и я подумал, что он больше нуждается в моей работе, чем в объяснениях. Его волосы висели спутанными мокрыми прядями. Он трижды поблагодарил меня за то, что я пришел. "Пустяки", — сказал я. И все-таки. Я-то знал, что едва не отказался прийти.

Это был сложный замок. Мужчина светил мне фонариком. Струйки воды заливали за шиворот. Я чувствовал, как много зависит от того, сумею ли я справиться с замком. Пробовал и так и эдак — ничего не получалось. И вдруг сердце мое заколотилось: я нажал на ручку, и дверь отворилась.

Мы стояли в прихожей, с нас текла вода. Он снял ботинки, и я тоже. Он опять поблагодарил меня и пошел переодеться и вызвать мне машину. Я отказывался, я говорил, что могу поехать на автобусе или поймать такси. Он и слышать не хотел — в такой ливень! Оставил меня в гостиной, я прошел в столовую и оттуда увидел комнату, полную книг. Я никогда не видел столько книг в одном месте, к тому же не в библиотеке. И я переступил порог.

Я ведь и сам люблю читать. Раз в месяц отправляюсь в местную библиотеку. Беру роман для себя, а для Бруно с его катарактами аудиокассеты. Вначале Бруно сомневался. "Что я должен с этим делать?" — сказал он, увидев набор пленок с "Анной Карениной". И все-таки. Через пару дней, выходя из квартиры, я вздрогнул, услышав сверху громогласное: *Все счастливые семьи похожи друг на друга.* После этого он, включая звук на полную мощность, прослушивал все, что я ему приносил, и возвращал, не говоря ни слова. Однажды я взял для него в библиотеке "Улисса". На следующее утро я был в ванной, когда над моей головой раздалось: *Сановитый, жирный Бык Маллиган...* Целый месяц он непрерывно слушал. Завел себе привычку: если он чего-то не понимал, останавливал пленку, перематывал и начинал сначала. *Неизбежная модальность видимого: по крайней мере так.* Пауза, перемотка. *Неизбежная модальность видимого.* Пауза, перемотка. *Неизбежная модальность.* Пауза, перемотка. *Модал...* Ког-

да пришла пора сдавать кассеты, он заявил, что хочет продлить. К тому времени он так надоел мне со своими паузами и перемотками, что я пошел в магазин и купил ему маленький плеер "Сони", он прицепил его к поясу и теперь везде с ним ходит. Мне кажется, ему просто нравится слушать голос с ирландским акцентом.

Я начал просматривать книги на полках. По привычке поглядел, нет ли чего-нибудь, написанного моим сыном, Исааком. Ну и конечно, там были его книги. И не одна, а целых четыре. Я пробежал пальцами по корешкам, остановился на "Стеклянных домах" и снял их с полки. Чудесная книга. Рассказы. Не знаю, сколько раз я ее перечитывал. Там есть один рассказ, по которому назван сборник. Мой любимый, хотя и все другие мне тоже очень нравятся. Но этот рассказ — особый. Он короткий, но всякий раз, читая его, я плачу. Это история ангела, который жил на Ладлоу-стрит. Недалеко от меня, прямо напротив Дэлансистрит. Он жил там так долго, что забыл, зачем Бог послал его на землю. Каждый вечер ангел громко взывал к Богу и каждый день ждал, что Бог скажет ему хотя бы слово. Чтобы убить время, он гулял по городу. Вначале он всем восхищался. Он стал коллекционировать камушки. Изучал сложную математику. И все-таки. С каждым днем мир все меньше и меньше его восхищал. Ночью он лежал без сна и прислушивался к шагам вдовы, живущей наверху, и каждое утро встречал на лестнице старого мистера Гроссмарка, который все ходил вверх и вниз и бормотал: "Кто там?" Ангелу казалось, это единственное, что тот может сказать. Но однажды, совершенно неожиданно, мистер Гроссмарк повернулся к ангелу, проходившему мимо него по лестнице, и спросил: "Кто я такой?", и это поразило ангела, который никогда ни с кем не заговаривал, и к нему тоже никто не обращался. Поэтому ангел ничего не ответил, не сказал даже: "Вы — Гроссмарк, человек". Чем больше печали он видел, тем больше его сердце отвращалось от Бога. Он стал ночами бродить по улицам и останавливаться около тех, кто, как казалось ангелу, хотел, чтобы его выслушали. То, что он слышал, было ужасно. Он не мог этого понять. Когда он спрашивал Бога, почему Бог сделал его таким бесполезным, его голос дрожал, и он едва сдерживал злые слезы. В конце концов он совсем перестал говорить с Богом. Как-то ночью под мостом он встретил человека. Человек угостил его водкой, которая была у него в коричневом пакете. Ангел опьянел. А поскольку он был одинок и сердился на Бога, то, подобно людям, почувствовал — даже не осознавая этого — потребность с кем-нибудь поделиться. И рассказал человеку правду: что он — ангел. Человек ему не поверил, но ангел настаивал. Человек попросил его это доказать. И тогда ангел, несмотря на холод, задрал рубашку и показал правильный круг у себя на груди, что было признаком ангела. Но для человека, которому неведомы признаки ангелов, круг ничего не означал, и он сказал: "Покажи мне что-нибудь, что может сделать Бог". И ангел, наивный, как все ангелы, указал на этого человека. А человек подумал, что он лжет, и ударил ангела в живот так, что тот опрокинулся навзничь и упал с пирса в темную реку. Где и утонул, потому что, как известно, ангелы не умеют плавать.

Я сидел один в комнате, полной книг, и держал в руках книгу своего сына. Была уже полночь. Даже позднее. Я думал: бедный Бруно. Он, наверное, звонил в морг и узнавал, не доставили ли туда труп старика с карточкой в бумажнике, на которой написано: *Меня зовут Лео Гурски. У*

меня нет родных. Пожалуйста, позвоните на кладбище "Сосновая поляна". У меня есть место в еврейской части кладбища. Благодарю за участие.

Я перевернул книгу, чтобы посмотреть на фотографию Исаака. Однажды мы с ним встретились. Не встретились, а стояли лицом к лицу. Это было на его встрече с читателями в еврейском клубе на 92-й улице. Билет я купил заранее, за четыре месяца. Много раз в жизни я представлял себе нашу встречу. Встречу отца с сыном. Я знал, что такая встреча, о какой я мечтал, невозможна. Внутренне я давно примирился с тем, что в лучшем случае могу рассчитывать на место в зале. Но во время чтения на меня что-то нашло. Потом я осознал, что стою в очереди желающих получить автограф, а в руке у меня бумажка, где я написал свое имя. Он взглянул на бумажку и переписал имя на первую страницу книги. Я пытался что-то сказать, но не мог выдавить из себя ни звука. Он улыбнулся мне и поблагодарил. И все-таки. Я не мог сдвинуться с места. "Вы хотите что-то еще?" – спросил он. Я замахал руками. Женщина, стоявшая за мной, бросила на меня недовольный взгляд и подошла к нему. Я стоял как идиот и махал руками. Что он мог сделать? Он подписал женщине книгу. Наверное, всем вокруг стало неловко. Мои руки плясали в воздухе. Очередь двигалась вперед, обтекая меня. Иногда он в недоумении на меня поглядывал. Один раз даже улыбнулся – так улыбаются идиоту. И все-таки. Мои руки хотели все ему рассказать. Или, по крайней мере, все то, что могли рассказать. Потом один из дежурных взял меня за локоть и выставил за дверь.

Была зима. В свете уличных фонарей кружили крупные белые хлопья. Я ждал, что он выйдет, но он не вышел. Возможно, там был еще другой выход, не знаю. Я сел в автобус и поехал домой. Когда шел по своей заснеженной улице, вопреки обыкновению обернулся и проверил, оставляю ли я следы. Подойдя к дому, посмотрел, есть ли мое имя в списке жильцов. И поскольку я знаю, что иногда вижу вещи, которых на самом деле нет, после обеда позвонил в справочную и спросил, значится ли у них мое имя. Вечером, ложась спать, я открыл книгу, которая лежала у меня на столике около кровати. Там было написано: "Леону Гурски".

Я еще держал книгу в руках, когда хозяин дома подошел ко мне сзади и спросил: "Вы знаете этого автора?" Я выронил книгу, она шлепнулась на пол и открылась. Лицо моего сына смотрело на меня. Я сам не понимал, что делаю. Мне захотелось что-то объяснить. "Я его отец", – сказал я. Или, может быть, сказал: "Он мой сын". Но что бы я ни сказал, эти слова я произнес очень отчетливо. Хозяин был явно в шоке. Он смотрел на меня с изумлением, и я видел, что он мне не верит. Да это и было понятно: кто я такой на самом-то деле? Приехал на лимузине, открыл замок, а теперь похваляюсь, что я отец знаменитого писателя.

Внезапно я почувствовал, что устал, устал больше, чем когда бы то ни было. Наклонился, поднял книгу, поставил ее обратно на полку. Хозяин все смотрел на меня, но тут с улицы послышался гудок машины. И слава богу. Сегодня на меня и так уже достаточно много смотрели. "Ну что ж, – сказал я, направляясь к выходу. – Я, пожалуй, пойду". Хозяин достал кошелек, вынул стодолларовую купюру и протянул мне. "Вы его отец?" – спросил он недоверчиво. Я положил деньги в карман, дал ему мятный леденец и сунул ноги в мокрые ботинки. "Не то чтобы отец, – сказал я и, не зная, что еще добавить, произнес: – Скорее дядя". Он смешался еще больше, и я на всякий случай прибавил: "Не то чтобы дядя..."

Брови у него поползли вверх. Я взял ящик с инструментами и вышел на улицу, в дождь. Он опять стал меня благодарить, но я уже спускался по ступенькам. Когда я влез в машину, он еще стоял в дверях, глядя мне вслед. И тогда, чтобы доказать, что я действительно не в своем уме, я поднял руку, словно монарх, приветствующий толпу.

Когда я добрался домой, было уже три часа ночи. Я залез в постель. Но заснуть не мог. Я был совершенно измотан. Лежал в постели, слушал, как стучит дождь, и думал о своей книге. Я не дал ей названия, потому что зачем книге название, если ее никто не будет читать?

Потом я встал и пошел на кухню. Свою рукопись я держу в картонной коробке в духовке. Я достал ее оттуда, положил на кухонный стол и заправил в машинку лист бумаги. И долго сидел, глядя на чистую страницу. Потом двумя пальцами напечатал заглавие:

СМЕЮСЬ И ПЛАЧУ

Я смотрел на него несколько минут. Нет, не то. Добавил еще два слова:

СМЕЮСЬ, И ПЛАЧУ, И ПИШУ

Потом еще два:

СМЕЮСЬ, И ПЛАЧУ, И ПИШУ, И ЖДУ

Я скомкал бумагу и бросил на пол. Потом поставил вскипятить воду. Дождь за окном перестал. На карнизе сидел и ворковал голубь. Распушил перья, прошелся туда-сюда по карнизу и улетел. Правильно говорят: свободный как птица. Я вставил в машинку чистый лист и написал:

СЛОВА ДЛЯ ВСЕГО НА СВЕТЕ

И, не давая себе передумать, вынул лист, положил его поверх рукописи и закрыл коробку крышкой. Потом нашел оберточную бумагу, завернул в нее коробку и сверху надписал адрес Исаака — я знал его на память.

Я ждал: вот сейчас что-нибудь случится. Но ничего не случилось. Не было ветра, чтобы унести все это. Не было сердечного приступа. Не было ангела у дверей.

До открытия почты оставалось еще несколько часов — было только пять утра. Чтобы убить время, я вытащил из-под дивана проектор для слайдов. Я делаю это лишь в особых случаях — например, в свой день рождения. Я поставил проектор на коробку из-под ботинок, воткнул штепсель в розетку и повернул выключатель. Пыльный луч осветил стену. Слайд я держу в банке на кухонной полке. Я подул на него, вставил в рамку, продвинул вперед. Картинка попала в фокус. Дом с желтой дверью на краю поля. Поздняя осень. Между черными ветвями небо окрашено в оранжевый цвет, а дальше — в темно-синий. Дым поднимается из трубы, и через оконное стекло я почти вижу маму, наклонившуюся над столом. Я бегу к дому. Я чувствую холодный ветер на лице. Я протягиваю руку. И поскольку моя голова полна фантазий, секунду мне кажется, что я могу открыть дверь и войти внутрь.

Снаружи понемногу светало. Дом моего детства на стене почти растаял. Я выключил проектор, принял слабительное и пошел в туалет. Сделав все, что собирался сделать, я обтерся мокрой губкой и стал шарить в кладовке в поисках костюма. Я нашел галоши, которые искал раньше, старый радиоприемник и, наконец, вытащил валявшийся на полу светлый летний костюм, еще вполне пригодный, если не обращать внимания на коричневатое пятно спереди. Я оделся, поплевал на ладонь и попытался пригладить волосы. А потом сел. Сидел, держа на коленях пакет в оберточной бумаге. Снова и снова проверял адрес. В восемь сорок пять я надел плащ, сунул сверток под мышку и последний раз посмотрел на себя в зеркало. Затем открыл дверь и вышел в утренний город.

Печаль *моей матери*

1. *Меня зовут* Альма Зингер

Когда я родилась, мама назвала меня в честь девочки из книги "История любви", которую ей подарил мой отец. Моего брата она назвала Эммануил Хаим в честь еврейского историка Эммануила Рингельблюма, который зарыл в землю бутылки из-под молока со свидетельствами о жизни варшавского гетто, и еще в честь еврейского виолончелиста Эммануила Фейермана, одного из величайших музыкантов двадцатого века, и в честь еврейского писателя Исаака Эммануиловича Бабеля, и в честь своего дяди Хаима, большого шутника, настоящего клоуна, который заставлял всех смеяться как ненормальных; его убили фашисты. Но мой брат отказывался от этих имен. Когда у него спрашивали, как его зовут, он всегда что-то придумывал. Таких имен у него было пятнадцать или двадцать. Однажды он целый месяц называл себя в третьем лице – мистер Фрукт. В свой день рождения, когда ему исполнилось шесть лет, он выпрыгнул из окна второго этажа – думал, что полетит. Он сломал руку, получил на всю жизнь шрам на лбу, но с тех пор никто не звал его иначе как Бёрд[1].

2. *Я не...*

Мы с братом часто играли в нашу собственную игру. Я показывала на стул. "Это не стул", – говорила я. Бёрд показывал на стол: "Это не стол". – "Это не стена", – говорила я. "Это не пол". – "Это не потолок". И так далее. "На улице нет дождя". – "Мой ботинок не развязался!" – вопил Бёрд. Я показывала на свой локоть: "Это не царапина". Бёрд поднимал колено: "Это тоже не царапина". – "Это не чайник!" – "Это не чашка!" – "Не ложка!" – "Не грязные тарелки!" Мы отрицали всё: место, время, погоду. Однажды, когда мы страшно разорались, Бёрд глубоко вдохнул и закричал во всю силу своих легких: "Я! Не был! Несчастным! Ни разу! В жизни!" – "Но тебе всего только семь лет", – сказала я.

1. Птица (*англ.*).

3. *Мой брат верит в* Бога

Когда ему было девять с половиной, он нашел маленький красный томик под названием "Книга еврейских мыслей", подаренный нашему папе, Давиду Зингеру, по случаю его бар-мицвы. В этой книге еврейские мысли были собраны группами с подзаголовками, например: "Каждый еврей отвечает за честь всего своего народа", "Под властью Романовых", "Бессмертие". Прочитав эту книгу, Бёрд начал везде и всюду носить черную бархатную кипу, не заботясь о том, что она ему не по размеру, сползает на затылок и придает дурацкий вид. К тому же у него появилась привычка ходить по пятам за мистером Голдштейном, уборщиком в еврейской школе, который вечно бормотал что-то на трех языках и после уборки оставлял грязи больше, чем было до уборки. Ходили слухи, что мистер Голдштейн спит ночью только один час, в подвале школы, что он сидел в лагере в Сибири, что у него слабое сердце, что громкий шум может его убить и что вид снега заставляет его плакать. Бёрд очень привязался к нему. Он ходил за ним по всей школе, пока тот пылесосил пол между рядами сидений, мыл туалеты и стирал ругательства с классной доски. Обязанностью мистера Голдштейна было выкидывать старые молитвенники, порванные или испачканные, и однажды вечером, на глазах двух ворон, крупных как собаки, которые наблюдали за ним с ветки, он повез полную тачку молитвенников, подпрыгивавшую на камнях и корнях деревьев, на задворки синагоги, вырыл яму, прочитал молитву и закопал все до единого. "Не могу просто их выбросить, — сказал он Бёрду. — На них написано имя Бога. Они должны быть похоронены как полагается".

На следующей неделе Бёрд начал писать в тетради для домашних работ четыре буквы на иврите — имя Бога, которое запрещено произносить и запрещено выбрасывать. Спустя несколько дней я открыла корзину с бельем и нашла те же четыре буквы, написанные несмывающимся фломастером на его трусах и майках. Эти же буквы он начертил мелом на наружной двери, нацарапал на фотографии своего класса, на стене в ванной и под конец вырезал моим швейцарским перочинным ножом на дереве перед нашим домом — так высоко, как только смог.

Возможно, из-за этого, или из-за его привычки закрывать лицо рукой и ковырять в носу, как будто никто не замечает, что он делает, или из-за его манеры издавать иногда странные звуки, словно сопровождающие видеоигру, но в тот год его друзья перестали приходить к нему играть.

Каждое утро он просыпался рано, чтобы помолиться во дворе, лицом к Иерусалиму. Глядя на него из окна, я жалела, что научила его произносить ивритские буквы, когда ему было всего пять лет. Мне становилось грустно, потому что я знала: добром это не кончится.

4. *Мой отец умер, когда мне было семь лет*

То, что я помню, я помню обрывочно. Его уши. Морщинистую кожу на локтях. Истории из его детства в Израиле, которые он мне рассказывал. Как ему нравилось сидеть в своем любимом кресле и слушать музыку и как он любил петь. Он говорил со мной на иврите, и я звала его

Абба[1]. Я забыла почти все, но иногда слова возвращаются ко мне — *кумкум, шемеш, хол, ям, ец, нешика, мотек*[2]; их значение стерто, как поверхность старых монет. Моя мать, англичанка, познакомилась с отцом, когда летом, перед началом занятий в Оксфорде, работала в кибуце[3] недалеко от Ашдода. Отец был на десять лет старше мамы. Он отслужил в армии, потом путешествовал по Южной Америке. Потом пошел учиться и стал инженером. Он любил ночевать в диких местах, в его багажнике всегда был спальный мешок и два галлона воды, он мог, если надо, разжечь костер с помощью кремня. Он увозил с собой маму в пятницу вечером, когда другие кибуцники лежали на одеялах на траве перед огромным киноэкраном, возились с собаками и вообще развлекались. Они с мамой ездили на Мертвое море, где плавали очень странным образом.

5. *Мертвое море – самое низкое место на земле*

6. *Не было на свете менее похожих людей, чем мои мама и папа*

Когда кожа у мамы стала коричневой от загара и отец смеялся и говорил, что она с каждым днем становится все больше на него похожей, это была шутка, потому что он был ростом шесть футов и три дюйма, черноволосый, с яркими зелеными глазами, а мама была бледная и такая маленькая, что даже сейчас, когда ей сорок один год, издалека ее можно принять за девочку. Бёрд тоже маленький и светлый, как она, а я высокая, как отец, худая до безобразия, волосы у меня черные, а между передними зубами щель. Мне пятнадцать лет.

7. *У мамы есть ее фотография, которую никто никогда не видел*

Осенью мама вернулась к началу занятий в Англию. В карманах у нее было полно песка с самого низкого места на земле. Она весила 104 фунта. Иногда она рассказывает историю, которая приключилась с ней на пути между Пэддингтон-стейшн и Оксфордом. Она встретила в поезде фотографа, который был почти совсем слепой. У него были темные очки, он рассказал, что повредил сетчатку десять лет назад во время путешествия в Антарктику. Его костюм был идеально отглажен, камеру он держал на коленях. Он сказал, что теперь видит мир иначе, чем раньше, и это не так уж плохо. Он попросил у мамы разрешения ее сфотографировать. Когда он поднял объектив, она спросила, что же он видит. "То же, что и всегда", — ответил он. "Что именно?" — "Мутное пятно". — "Тогда зачем вы снимаете?" — спросила она. "Если ко мне вернется зрение, — сказал он, — я буду знать, на что смотрел". У мамы на коленях был сверток в коричневой бумаге, а в нем бутерброды с печеночным паштетом, которые ей дала бабушка. Она предложила бутерброд этому почти слепому фотографу. "А вы сами не голодны?" — спросил он. Она сказала, что да, голодна, но она никогда не говорила матери, что терпеть не может печеночный паштет, и так продолжалось годы, а теперь уже слиш-

1. Отец (*иврит*).
2. Чайник, солнце, песок, море, дерево, поцелуй, голубчик (*иврит*).
3. Кибуц – израильское сельскохозяйственное поселение с коллективной формой собственности на землю и все имущество.

ком поздно ей в этом признаваться. Поезд приближался к Оксфорду. Мама сошла на станции и пошла, оставляя следы на песке. Я знаю, что в этой истории есть какая-то мораль, но не знаю, какая.

8. *Моя мама – самый упрямый человек из всех, кого я знаю*

Через пять минут мама решила, что ненавидит Оксфорд. Первую неделю после начала занятий она ничего не делала, только сидела у себя в комнате в каменном доме, где гуляли сквозняки, смотрела, как дождь льет на коров, бродящих по лугу в Крайст-Черч[1], и жалела себя. Воду для чая ей приходилось греть на электроплитке. Чтобы увидеться с руководителем их группы, она вынуждена была подыматься на пятьдесят шесть каменных ступенек и стучать к нему в дверь, пока он не просыпался и не вставал с раскладушки в своем кабинете, где спал под грудой бумаг. Она писала моему отцу в Израиль почти каждый день на дорогой французской писчей бумаге, а когда бумага кончалась – на разлинованных страницах, вырванных из тетради. В одном из писем (я нашла его в старой жестяной коробке из-под шоколадных конфет под диваном в ее кабинете) мама писала: *Книга, которую ты мне дал, лежит у меня на столе, и я каждый день понемногу учусь читать.* Она училась читать, потому что книга была на испанском. Она следила в зеркале, как ее тело теряет загар. На вторую неделю семестра она купила старый велосипед и поехала на нем расклеивать объявления: "Требуется учитель иврита". Языки давались ей легко, а она хотела понимать моего отца. На объявление отозвалось несколько человек, но, когда она объяснила, что не может платить, остался только один – прыщавый паренек по имени Нехемия из Хайфы, который был в Оксфорде первый год и чувствовал себя таким же несчастным, как и моя мама. Судя по письму, которое мама написала моему отцу, Нехемия решил, что общество девушки – достаточное основание, чтобы встречаться дважды в неделю в кафе "Кингс армс" за деньги, которых хватает на кружку пива. Мама, кроме того, учила испанский по самоучителю. Она проводила целые дни в Бодлианской библиотеке[2], и у нее совсем не оставалось времени заводить друзей. Она заказывала столько книг, что сотрудник библиотеки, выдававший книги, норовил спрятаться при ее приближении. В конце года она сдала экзамены на "отлично" и, несмотря на протесты родителей, бросила университет и уехала к моему отцу в Тель-Авив.

9. *Дальше были самые счастливые годы их жизни*

Они жили в Рамат-Гане, в солнечном доме, увитом бугенвиллеей. Мой отец посадил в саду оливковое дерево́ и лимонное дерево и вокруг каждого выкопал канавку, где могла собираться вода. Ночью они слушали американскую музыку по коротковолновому приемнику. Когда окна были открыты и ветер дул в нужном направлении, они чувствовали запах моря. В конце концов они поженились на набережной в Тель-Авиве и провели медовый месяц – а вернее, два месяца, – путешествуя по Юж-

1. Крайст-Черч – один из колледжей Оксфордского университета.
2. Библиотека в Оксфорде, названная в честь ее основателя – Томаса Бодли (1545–1613), ученого и дипломата.

ной Америке. Когда они вернулись, мама начала переводить книги на английский язык – сначала с испанского, а потом и с иврита. Так они прожили пять лет, а потом папа получил предложение от американской компании, работавшей в области аэрокосмической промышленности, – предложение, от которого он не мог отказаться.

10. *Они переехали в Нью-Йорк и родили меня*

Пока мама была беременна мной, она прочитала уйму книг из разных областей. Америку она не полюбила, но и не возненавидела. Через два с половиной года, прочитав еще уйму книг, в три раза большую, она родила Бёрда. Тогда мы переехали в Бруклин.

11. *Мне было шесть лет, когда у отца обнаружили рак поджелудочной железы*

В тот год мы с мамой ехали куда-то в машине. Она попросила меня передать ей сумку. "У меня ее нет", – сказала я. "Может быть, она сзади", – сказала мама. Но сзади ее тоже не было. Мама обыскала всю машину, но сумки так и не нашла. Тогда она обхватила голову руками и стала вспоминать, где могла ее оставить. Она постоянно теряла свои вещи. "В один прекрасный день, – сказала она, – я потеряю голову". Я попыталась себе представить, что будет, если она потеряет голову. Однако в конце концов все потерял отец: вес, волосы, разные внутренние органы.

12. *Он любил готовить, и смеяться, и петь, он мог своими руками разжечь костер, починить сломанную вещь, объяснить, как запускают предметы в космос, но через девять месяцев он умер*

13. *Мой отец не был знаменитым русским писателем*

Сначала мама сохраняла все в точности так, как он оставил. По словам Миши Шкловски, в России так делают в домах знаменитых писателей. Но мой отец не был знаменитым писателем. И даже русским не был. Однажды я пришла домой из школы и увидела, что от отцовских вещей не осталось и следа. Из шкафов исчезла его одежда, в прихожей у двери не было его ботинок, а старое кресло стояло на улице, возле груды пакетов с мусором. Я поднялась к себе в спальню и стала смотреть в окно. Ветер гнал листья по тротуару перед креслом. Мимо проходил старик и сел в кресло. Я вышла на улицу и вытащила отцовский свитер из мусорного ящика.

14. *Конец света*

После смерти отца дядя Джулиан, мамин брат, специалист по истории искусств, прислал мне из Лондона швейцарский нож, который, по его словам, принадлежал моему папе. Там было три разных лезвия, штопор, маленькие ножницы, пара щипчиков и зубочистка. В письме, которое дядя Джулиан прислал вместе с ножом, он рассказал, что папа однажды одолжил ему этот нож, когда он путешествовал по Пиренеям, и что он совсем об этом забыл, вспомнил только сейчас и подумал, что мне, мо-

жет быть, захочется его иметь. *Будь очень осторожна,* писал он, *потому что лезвия острые. Нож сделан для того, чтобы помочь тебе выжить в диком месте. Я в этом плохо разбираюсь, потому что мы с твоей тетей Фрэнсис, проведя первую же ночь под дождем и вымокнув до нитки, перебрались в гостиницу. Твой папа на природе чувствовал себя гораздо лучше, чем я. Однажды я видел, как в пустыне Негев он собирал воду с помощью воронки и куска брезента. К тому же он знал названия всех растений и какие из них съедобные. Я понимаю, это небольшое утешение, но, если ты приедешь в Лондон, я перечислю тебе все индийские рестораны в северо-западном Лондоне и скажу, что из того, что там подают, съедобно. С любовью, дядя Джулиан. P. S. Не говори маме, что я послал тебе нож, иначе она может на меня рассердиться и сказать, что ты еще слишком мала.* Я проверила все части ножа, открывая каждую ногтем большого пальца и пробуя лезвия пальцем.

Я решила, что буду учиться выживать в диком месте, как мой отец. Это пригодится, если с мамой что-нибудь случится и мы с Бёрдом останемся одни. Я не рассказала маме про нож, потому что дядя Джулиан хотел, чтобы это был секрет, а кроме того, мама ни за что не разрешила бы мне одной жить в палатке в лесу — она и от дома-то далеко отходить не разрешает.

15. *Когда бы я ни уходила куда-нибудь поиграть, мама всегда хотела точно знать, где я буду*

Когда я приходила домой, мама звала меня к себе в спальню, обнимала и целовала. Она гладила мои волосы и говорила: "Я тебя так люблю", а когда я чихала, говорила: "Будь здорова, ты ведь знаешь, как я тебя люблю, правда?", и если я хотела взять носовой платок, говорила: "Дай я тебе достану, я так тебя люблю", и когда я искала ручку, говорила: "Возьми мою, все мое — твое", и когда у меня чесалась нога, говорила: "Где чешется, здесь? Дай я тебя обниму", и когда я шла к себе в комнату, говорила мне вслед: "Что я могу для тебя сделать, я так сильно тебя люблю", и мне всегда хотелось сказать: "Люби меня не так сильно", но я никогда этого не говорила.

16. *Все изменилось*

Наконец моя мама встала с постели, где пролежала почти целый год. Кажется, мы в первый раз увидели ее не сквозь стаканы с водой, которые стояли вокруг кровати и которые Бёрд, просто от скуки, иногда заставлял петь, проводя мокрым пальцем по краю. Мама накормила нас макаронами с сыром, это было одно из немногих блюд, которые она умела готовить. Мы притворились, что ничего вкуснее в жизни не ели. Однажды утром она отвела меня в сторону. "С сегодняшнего дня, — сказала она, — я буду вести себя с тобой как со взрослой". Мне только восемь лет, хотела я сказать, но не сказала. Она снова начала работать. Бродила по дому в своем кимоно, разрисованном красными цветами, и везде за ней на полу оставались скомканные листы бумаги. Когда папа был жив, она была аккуратней. Но теперь ее легко можно было найти по следам из разбросанных страниц с вычеркнутыми словами. Всегда эти следы приводили к ней: она смотрела в окно или в стакан с водой, как будто в стакане была рыбка, которую только она одна могла видеть.

На свои карманные деньги я купила книгу "Съедобные растения и цветы Северной Америки". Я узнала, что из желудей можно удалить горечь, если их прокипятить в воде, что дикие розы съедобны и что надо избегать всего, что пахнет миндалем и содержит в стебле млечный сок. Я старалась определить как можно больше растений в Проспект-парке. Но поскольку я знала, что пройдет очень много времени, прежде чем я научусь распознавать все растения, и поскольку всегда может так случиться, что мне придется выживать в каком-нибудь другом месте, а не в Северной Америке, я также запомнила, как делается "Универсальный тест на съедобность". И вправду необходимо знать, что некоторые ядовитые растения, например болиголов, могут быть очень похожи на съедобные – например, на дикую морковь или пастернак. Чтобы определить съедобность, надо, во-первых, ничего не есть в течение восьми часов. Затем надо разделить растение на части – корни, листья, стебель, бутон и цветок – и прикладывать маленькие кусочки к запястью. Если ничего не случится, приложить те же кусочки к внутренней поверхности губы и подержать три минуты. Если и после этого ничего не случится, надо пятнадцать минут подержать кусочек на языке. Если опять-таки ничего не случится – разжевать его, но не глотать и подержать во рту еще пятнадцать минут, и если снова ничего не случится, проглотить и подождать восемь часов. Если и тогда ничего не случится, надо съесть четверть чашки, ну а если и после этого ничего не случится, значит, растение съедобное.

Я держала книгу "Съедобные растения и цветы Северной Америки" у себя под кроватью, в рюкзаке, где были также швейцарский нож, фонарик, полиэтиленовая пленка, компас, несколько плиток шоколада с орехами, два пакетика M&M с арахисом, три банки консервированного тунца, консервный нож, пластырь, набор против змеиных укусов, смена белья и схема метро Нью-Йорка. На самом деле там еще должен был быть кусок кремня, но в магазине хозяйственных товаров мне его продать отказались – то ли потому, что я слишком маленькая, то ли они подумали, что я маньяк-поджигатель. В случае необходимости искру можно высечь с помощью охотничьего ножа и куска яшмы, агата или нефрита, но я не знала, где взять яшму, агат или нефрит. Вместо этого я взяла спички в кафе на 22-й улице и положила их в пластиковый пакет на молнии, чтобы защитить от дождя.

На Хануку[1] я попросила подарить мне спальный мешок. Тот, что мне подарила мама, был расписан розовыми сердечками и сшит из фланели, при температуре ниже нуля я прожила бы в нем несколько секунд и умерла от гипотермии. Я спросила, нельзя ли обменять его на тяжелый пуховый мешок. "Где ты собираешься спать, за Полярным кругом?" – поинтересовалась мама. Да, там, а возможно, и в Андах, в Перу, поскольку там мой папа путешествовал, подумала я. Чтобы переменить тему, я рассказала маме про болиголов, про морковь и пастернак, но это оказалась плохая идея, потому что у мамы на глаза навернулись слезы, а

1. Ханука – зимний еврейский праздник в честь победы еврейских повстанцев над греко-сирийскими завоевателями в 164 г. до н. э., когда был отвоеван и заново освящен Иерусалимский храм.

когда я спросила ее, что случилось, она ответила: ничего, просто она вспомнила про морковь, которую папа сажал в Рамат-Гане. Я хотела спросить, что еще он посадил, кроме оливкового дерева, лимонного дерева и моркови, но не хотела огорчать ее еще больше.

Я завела тетрадь под названием "Как выжить в диком месте".

18. Моя *мама так никогда и не разлюбила моего отца*

Мама продолжала любить его как живого, так же, как тем летом, когда они впервые встретились. Чтобы сохранить свою любовь, она сама отвернулась от жизни. Иногда она целыми днями жила водой и воздухом.

Однажды дядя Джулиан рассказал мне, как скульптор и художник Альберто Джакометти говорил, что иногда, чтобы нарисовать голову, ты должен пренебречь всей фигурой. Чтобы нарисовать листок, ты должен принести в жертву весь пейзаж. Может показаться, что этим ты себя ограничиваешь, но через некоторое время становится ясно, что изображение какой-то одной детали позволяет лучше передать ощущение вселенной, чем если б ты пытался нарисовать небо целиком.

Моя мама не выбирала ни голову, ни листок. Она выбрала моего отца и упрямо держалась за свое чувство, жертвуя всем остальным миром.

19. *Стена из словарей между моей мамой и миром с каждым годом становится все выше*

Иногда из словарей выпадали страницы и собирались у ее ног, словно лепестки огромного цветка. Когда я была маленькой, я думала, что страницы на полу — это слова, которые мама никогда больше не сможет использовать, и старалась снова вклеить их туда, где им место, потому что я боялась, что в какой-то момент она останется совсем без слов.

20. С *тех пор как умер мой отец, мама только два раза ходила на свидания*

Первый раз — пять лет назад, мне тогда было десять лет. Мама пошла на свидание с толстым англичанином, редактором из издательства, где печатали ее переводы. На левом мизинце у него было кольцо с фамильным гербом — может, это был его герб, а может, и нет. Когда бы он ни рассказывал о себе, он всегда размахивал этой рукой. Как-то в разговоре выяснилось, что этот человек — его звали Лил — и моя мама учились в Оксфорде в одно и то же время. По этому поводу он пригласил ее в ресторан. Многие пытались приглашать маму, но она всегда отвечала "нет". По какой-то причине на этот раз она согласилась. В субботу вечером она вышла в гостиную с волосами, зачесанными наверх, и в красной шали, которую мой отец купил ей в Перу. "Как я выгляжу?" — спросила она. Выглядела она прекрасно, но я почему-то подумала, что зря она надела эту шаль. Времени это обсуждать не было, потому что как раз вошел запыхавшийся Лил. Он развалился на диване. Я спросила, знает ли он что-нибудь о том, как выжить в диком месте, и он ответил: "Конечно!" Я спросила, знает ли он, чем отличается болиголов от дикой моркови, а он рассказал мне со всеми подробностями, как закончилась Оксфордская регата, во время которой его лодка в последние три секунды

вырвалась вперед и пришла к финишу первой. "О боже!" – сказала я, причем так, что это можно было принять за насмешку. Лил и дальше продолжал вспоминать лодочные соревнования на Черелл. Мама сказала, что ничего об этом не знает, потому что никогда не плавала по этой реке. "И неудивительно", – подумала я.

Когда они ушли, я стала смотреть телевизор – про альбатросов в Антарктике. Они могут годами не ступать на землю, спать на лету, в небе, пить морскую воду, выделять соль со слезами, каждый год возвращаться в одно и то же место и заводить детей с одним и тем же партнером. Я, наверное, заснула, потому что когда услышала, как поворачивается в замке мамин ключ, было уже около часа ночи. У мамы несколько прядей выбились из прически, тушь на ресницах размазалась, но когда я спросила ее, как прошла встреча, она ответила, что знавала орангутангов, с которыми можно было вести более интересные беседы.

Спустя год Бёрд сломал запястье, пытаясь взлететь с соседского балкона, и высокий сутулый доктор из отделения неотложной помощи пригласил маму в ресторан. И мама второй раз после смерти моего отца сказала "да", возможно, потому, что доктору удалось заставить Бёрда улыбаться, хотя его рука была изогнута под каким-то ужасным углом. Доктора звали Генри Лавендер, и я подумала, что Альма Лавендер звучит неплохо. Когда раздался звонок в дверь, Бёрд пулей слетел с лестницы, совершенно голый (если не считать гипсовой повязки), поставил пластинку "Это любовь" и убежал обратно. Мама быстро спустилась вниз, не надев своей красной шали, и сняла иглу с пластинки. Пластинка заскрежетала, потом продолжала крутиться бесшумно, а тем временем Генри Лавендер вошел, выпил бокал холодного белого вина и рассказал нам о своей коллекции морских раковин, многие из которых он добыл из моря сам на Филиппинах. Я вообразила нашу совместную жизнь, как он будет брать нас с собой и мы будем нырять, все четверо, и улыбаться друг другу под водой через маски. На следующий день я спросила маму, как прошла встреча. Мама сказала, что он очень симпатичный. Я восприняла это как положительный ответ, но когда Генри Лавендер позвонил на следующий день, мама была в супермаркете, и она ему не перезвонила. Два дня спустя он сделал новую попытку. На этот раз мама собиралась на прогулку в парк. Я сказала: "Но ты ему перезвонишь, да?", а она сказала: "Нет". Когда Генри Лавендер позвонил в третий раз, мама была поглощена какой-то книгой рассказов и все время восклицала, что автор должен посмертно получить Нобелевскую премию. Моя мама все время раздает посмертно Нобелевские премии. Я проскользнула в кухню с телефонной трубкой. "Доктор Лавендер?" – сказала я. И потом сказала, что, я думаю, маме он нравится, и нормальный человек с удовольствием согласился бы с ним поболтать и даже пойти куда-нибудь вместе, но свою маму я знаю уже одиннадцать с половиной лет, и она еще никогда ничего нормального не делала.

21. Я *думала, все дело в том, что она не встретила подходящего человека*

Она все время проводила дома, в пижаме, и занималась переводом книг, написанных большей частью уже умершими авторами, и это не могло помочь делу. Иногда она застревала на каком-нибудь предложении, часами

ходила кругами, как собака с костью, а потом вскрикивала ЗНАЮ! и бежала к своему столу, чтобы выкопать ямку и спрятать кость. И я решила взять все в свои руки. Однажды в наш шестой класс пришел, чтобы провести беседу, ветеринар, доктор Фрэнк Туччи. У него был приятный голос и зеленый попугай Гордо, который сидел на плече и печально смотрел в окно. Еще у него были игуана, два хорька, черепаха, три лягушки, утка со сломанным крылом и боа констриктор по имени Махатма, недавно сбросивший кожу. У себя на заднем дворе он держал двух лам. После занятий, когда все ребята возились с Махатмой, я спросила его, женат ли он, и когда он с удивлением ответил "нет", я попросила у него визитную карточку. На карточке была картинка с обезьянкой, и сразу несколько ребят потеряли интерес к змее и стали требовать карточки тоже.

В тот вечер я нашла очень хорошую фотографию мамы в купальнике, вполне подходящую, чтобы послать доктору Туччи вместе с перечнем лучших маминых качеств, а именно: высокий интеллект, любовь к чтению, приятная внешность (см. фото), чувство юмора. Бёрд посмотрел на список и, подумав, предложил включить еще самоуверенность и строптивость (этому слову я его научила). Когда я сказала, что вряд ли эти качества можно считать лучшими или даже просто хорошими, Бёрд возразил, что в списке они могут *выглядеть* хорошими, и тогда, если доктор Туччи согласится с мамой встретиться, это его уже не отпугнет. Такой довод показался мне убедительным, и я добавила в список самоуверенность и строптивость. Внизу я приписала наш номер телефона. И послала доктору по почте.

Прошла неделя, и он не позвонил. Прошло еще три дня, и я подумала, что, может быть, мне не следовало упоминать самоуверенность и строптивость.

Но на следующий день зазвонил телефон, и я услышала, как мама сказала: "Фрэнк... какой Фрэнк?" Потом наступило долгое молчание. "Простите?" — и опять молчание. Затем послышался мамин истерический хохот. Она положила трубку и вошла ко мне в комнату, и я спросила ее с невинным видом: "Что это такое было?" — "Что это было?" — спросила мама еще более невинно. "Ну, кто сейчас звонил?" — сказала я. "Ах, вот оно что! — сказала она. — Я договорилась о двойном свидании: я с этим заклинателем змей и ты с Германом Купером. Надеюсь, ты не будешь против".

Герман Купер — восьмиклассник, который живет в нашем квартале, кошмарный тип, всех называет Пенис и каждому сообщает, какие огромные яйца у соседского пса.

— Я лучше вылижу языком тротуар, — сказала я.

22. В *тот год я носила свитер моего отца сорок два дня подряд*

На двенадцатый день я проходила по коридору мимо Шарон Ньюмен и ее друзей. "Чего это ты все время носишь этот отвратительный свитер?" — сказала она. Поди и съешь кусочек болиголова, подумала я. И решила, что буду носить отцовский свитер до конца жизни. И носила — почти до конца учебного года. Свитер был из альпаки, и в середине мая носить его стало невозможно. Мама решила, что это у меня запоздалый траур. Но я вовсе не собиралась устанавливать какой-то рекорд. Я просто хорошо себя чувствовала в этом свитере.

23. На *стене около маминого стола висит фотография моего отца*

Раз или два я проходила мимо ее кабинета и слышала, как она громко разговаривает с этой фотографией. Моя мама очень одинока, даже когда мы рядом. Иногда я думаю, что с ней будет, когда я вырасту и уйду начинать свою собственную жизнь. От таких мыслей у меня просто болит живот. Но чаще я думаю, что никогда не смогу ее бросить.

24. У *меня совсем не осталось друзей*

В мой четырнадцатый день рождения Бёрд разбудил меня, прыгая на моей постели и распевая "Где еще найдешь таких детей на свете". Он дал мне растаявшую плитку шоколада и красную шерстяную шапочку, которую раздобыл в магазине Армии спасения[1]. Я сняла с нее кудрявые светлые волоски и носила весь день. Мама подарила мне анорак, опробованный Норгэем Тенцингом, тем самым шерпа, который с сэром Эдмундом Хиллари поднялся на Эверест, и старый кожаный летный шлем, похожий на тот, что носил мой герой, Антуан де Сент-Экзюпери. Отец читал мне его книгу "Маленький принц", когда мне было шесть лет, и рассказывал, что Сент-Экз был великим летчиком, который рисковал жизнью, чтобы проложить почтовые пути в отдаленные места. В конце концов его сбил немецкий истребитель, и он со своим самолетом исчез навсегда в Средиземном море.

Вместе с курткой и шлемом мама дала мне также книгу некоего Дэниела Элдриджа, который, по ее словам, получил бы Нобелевскую премию, если бы их давали палеонтологам. "Он умер?" — спросила я. "Почему ты спрашиваешь?" — "Просто так", — ответила я. Бёрд спросил, кто такие палеонтологи, и мама сказала, что, если бы он взял полный иллюстрированный каталог музея "Метрополитен", разрезал его на сотню кусков, разбросал со ступеней музея, а потом, спустя несколько недель, ходил бы по Пятой авеню и Центральному парку, собирая уцелевшие обрывки, и затем постарался бы воссоздать по этим обрывкам историю живописи, включая школы, стили, жанры, имена художников, — вот это было бы похоже на то, что делает палеонтолог. Только палеонтологи изучают ископаемых, чтобы выяснить происхождение и эволюцию жизни. Каждый четырнадцатилетний человек должен хотя бы приблизительно знать, откуда произошел, сказала мама. Плохо, если он не имеет понятия о том, как возникла жизнь. И потом очень быстро, как будто это вовсе не было самым важным, она добавила, что книга принадлежала папе. Бёрд подскочил и потрогал обложку.

Книга называлась "Жизнь, какой мы ее не знаем". На обратной стороне обложки был портрет Элдриджа. У него были черные глаза, густые ресницы и борода, и в руке он держал окаменелость с отпечатком какой-то страшной рыбы. Внизу было написано, что он профессор Колумбийского университета. В тот вечер я начала читать книгу. Я подумала, что папа мог сделать какие-нибудь заметки на полях, но ничего тако-

1. Армия спасения — созданная в 1865 г. евангелистская организация, одна из форм деятельности которой — оказание социальной и медицинской помощи.

го не нашла. Единственное, что там от него осталось, — его имя на обороте обложки. Книга была о том, как Элдридж и другие ученые опустились на дно океана в специальном аппарате и обнаружили гидротермальные отверстия в тех местах, где сходятся тектонические плиты, и через эти отверстия выделялись богатые минералами газы с температурой, достигающей 700 градусов. До этого открытия ученые полагали, что дно океана представляет собой безжизненное пространство. Элдридж и его коллеги обнаружили в лучах света своего аппарата сотни организмов, никогда раньше не виданных человеческим глазом, целую экосистему, очень-очень, как они поняли, древнюю. Они назвали ее темной биосферой. Там, внизу, было много гидротермальных отверстий, и довольно скоро ученые убедились, что вокруг отверстий живут микроорганизмы, и им нипочем температура, при которой плавится свинец. Когда эти микроорганизмы подняли на поверхность, от них пахло тухлыми яйцами. Ученые поняли, что эти странные организмы питаются сероводородом, выделяющимся из отверстий, и выдыхают серу, подобно тому, как растения выдыхают кислород. Судя по книге Элдриджа, это открытие — путь к пониманию химических процессов, которые миллиарды лет назад привели к началу эволюции.

Сама мысль об эволюции так прекрасна и так печальна. С самого начала при возникновении жизни на Земле было что-то между пятью и пятьюдесятью миллиардами видов, из которых сейчас осталось только от пяти до пятидесяти миллионов. То есть девяносто пять процентов видов, которые когда-то жили на Земле, исчезли.

25. *Мой брат* Мессия

В тот вечер, когда я читала у себя в комнате, пришел Бёрд и залез ко мне в кровать. Ему было одиннадцать с половиной, но для своих лет он был очень маленьким. Положив на мою ногу свои холодные ступни, он прошептал: "Расскажи мне что-нибудь про папу". — "Ты забыл постричь ногти на ногах", — сказала я. Он уперся в мою голень пятками. "Ну, пожалуйста". Ничего нового, что бы я ему уже сто раз не рассказывала, я, как ни старалась, не могла вспомнить и решила придумать. "Он любил лазать по скалам, — сказала я. — Он был хороший скалолаз. Однажды он залез на гору высотой примерно двести футов. Где-то в Негеве, я думаю". Горячее дыхание Бёрда обжигало мне шею. "Масада?[1]" — спросил он. "Возможно, — сказала я. — Он просто это любил. Это было его хобби". — "А танцевать он любил?" — спросил Бёрд. Я понятия не имела, любил или нет, но сказала: "Да, любил. Он даже танцевал танго. Научился в Буэнос-Айресе. Они с мамой все время танцевали. Папа отодвигал кофейный столик к стене, и вся комната была свободна. Он поднимал и опускал маму и пел ей на ухо". — "А я там был?" — "Конечно, был, — сказала я. — Он обычно подбрасывал тебя в воздух и ловил". — "Откуда он знал, что не уронит меня?" — "Просто знал". — "А как он меня называл?" — "По-разному. Дружок, Малыш, Кнопка". На Бёрда это не произвело впечатления. Я продолжала придумывать. "Иуда Маккавей, — сказала я. — Просто Маккавей. Мак". — "А *чаще всего* как

1. Крепость на одноименной горе в Израиле, известная тем, что во время Иудейской войны (66–73) — антиримского восстания в провинции Иудея — защищавшие ее повстанцы, не желая сдаваться легионерам, покончили с собой; это и стало концом войны.

он меня называл?" – "Кажется, Эммануил, – я сделала вид, что вспоминаю. – Нет, подожди. Он говорил: Манни. Чаще всего он называл тебя Манни". – "Манни", – Бёрд задумался. Пододвинулся поближе ко мне. "Я хочу рассказать тебе секрет, – прошептал он. – Потому что сегодня твой день рождения". – "Какой секрет?" – "Сначала пообещай, что ты мне поверишь". – "О'кей". – "Скажи: обещаю". – "Обещаю". Он глубоко вздохнул. "Я думаю, что, возможно, я – *ламедвовник*[1]". – "Кто-кто?" – "Один из них, – прошептал он. – Один из тридцати шести праведников". – "Каких еще тридцати шести праведников?" – "Тех, от которых зависит существование мира". – "А, *этих*. Не будь..." – "Ты обещала", – сказал Бёрд. Я промолчала. "Их всегда тридцать шесть, в любое время, – шептал он. – Никто не знает, кто они. Только их молитвы доходят до Бога. Так говорит мистер Голдштейн". – "И, по-твоему, ты, возможно, один из них, – сказала я. – Что еще говорит мистер Голдштейн?" – "Он говорит, что, когда придет Мессия, он тоже будет *ламедвовником*, одним из них. В каждом поколении есть один человек, у которого имеется все для того, чтобы стать Мессией. Может, он доживет до этого, а может, и нет. Может быть, мир готов к этому, а может, и нет. Вот и все". Я лежала в темноте, стараясь найти правильные слова. У меня начал болеть живот.

26. *Ситуация становится критической*

В следующую субботу я положила книгу "Жизнь, какой мы ее не знаем" в рюкзак и поехала на метро в Колумбийский университет. Я бродила по кампусу сорок пять минут, пока не нашла корпус, где был офис доктора Элдриджа. Когда я туда вошла, секретарь завтракал. Он сказал, что доктора Элдриджа сейчас нет. Я сказала, что подожду его, а он сказал, что мне лучше зайти в другой раз, так как доктор Элдридж раньше чем через несколько часов не придет. Я сказала, что могу подождать. Он опять принялся за еду. Пока я ждала, я прочитала статью в журнале "Ископаемые". Затем я спросила секретаря, который громко смеялся над чем-то в своем компьютере, как он думает, скоро ли доктор Элдридж придет. Он перестал смеяться и посмотрел на меня так, словно я испортила самый важный момент в его жизни. Я вернулась на свое место и прочитала еще одну статью в журнале "Палеонтолог сегодня".

Я проголодалась, спустилась в вестибюль и взяла в автомате пакет печенья с кремом. Потом я заснула. Когда я проснулась, секретаря уже не было. Дверь в кабинет Элдриджа была открыта, и там горел свет. Внутри, около полки с папками, стоял очень старый человек с седыми волосами. Над ним висел плакат с надписью: "Таким образом, без родителей, спонтанно, возникли первые частички жизни на земле. Эразм Дарвин[2]".

"Честно говоря, я не подумал о такой возможности, – говорил старик в телефонную трубку. – Я даже не уверен, что он хочет подавать на эту должность. В любом случае, у нас ведь, кажется, уже есть свой кандидат. Я еще поговорю с коллегами, но давайте скажем, что пока все в порядке". Он увидел, что я стою у двери, и знаком показал, что сейчас освободится. Я собиралась сказать, чтобы он не беспокоился, я жду

1. Праведник (*иврит*). Согласно иудейской религии, в мире живут тридцать шесть праведников; их имена неизвестны.
2. Эразм Дарвин (1731–1802) – английский врач, натуралист и поэт, дед Чарльза Дарвина.

доктора Элдриджа, но он повернулся ко мне спиной и стал смотреть в окно. "Хорошо, рад это слышать. Я убегаю. Прямо сейчас. Всего доброго. Пока. – Он повернулся ко мне. – Простите. Чем могу быть полезен?" Я почесала руку и увидела грязь под ногтями. "Вы ведь не доктор Элдридж, да?" – "Нет, это я", – сказал он. У меня упало сердце. Должно быть, с тех пор, когда был сделан снимок на обложке книги, прошло не меньше тридцати лет. Мне не понадобилось долго думать, чтобы сообразить, что с тем делом, по какому я пришла, он мне помочь не сможет, потому что, если он заслужил Нобелевскую премию как самый великий палеонтолог, он ее также заслужил и как самый старый палеонтолог.

Я не знала, что сказать. "Я прочла вашу книгу, – наконец решилась я. – И собираюсь стать палеонтологом". Он сказал: "Отлично, но почему у вас такой разочарованный вид?"

27. То, *чего я ни за что не стану делать, когда вырасту*

Я не буду влюбляться, бросать колледж, питаться только водой и воздухом, стремиться, чтобы что-то назвали в мою честь, и ломать свою жизнь. Когда я была маленькая, мама иногда, как-то странно на меня глядя, говорила: "В один прекрасный день ты влюбишься". Я хотела сказать, но не сказала: ни за что на свете.

Единственный мальчик, с которым я целовалась, – Миша Шкловски. Его научила целоваться двоюродная сестра в России, где он жил до переезда в Бруклин, а он научил меня. "Поменьше работай языком", – вот все, что он сказал.

28. Сотни *вещей могут изменить твою жизнь; и одна из них – письмо*

Прошло пять месяцев, и я почти отчаялась найти кого-нибудь, кто мог бы сделать мою маму счастливой. И вдруг это случилось: в середине прошлого февраля пришло письмо со штемпелем Венеции, напечатанное на голубой бумаге авиапочты. Письмо переслал маме ее издатель. Бёрд первый увидел его и принес маме спросить, нельзя ли ему взять марку. Мы все были на кухне. Мама открыла письмо и прочла его стоя. Потом села и перечитала еще раз. "Это поразительно", – сказала она. "Что?" – спросила я. "Какой-то человек написал мне по поводу 'Истории любви'. Мы с папой назвали тебя в честь героини этой книги". Мама прочитала письмо нам вслух:

Дорогая миссис Зингер,

я только что закончил читать переведенные Вами стихи Никанора Парра[1]*, который, как Вы говорите, "носил на лацкане маленького русского космонавта, а в карманах – письма женщины, которая бросила его и ушла к другому". Ваш перевод лежит передо мной на столе, в моей комнате в пансионе, выходящем на Большой канал. Не знаю, что сказать о стихах, кроме того, что они потрясли меня так, как только может потрясти книга. В каком-то смысле – это почти невозможно объяснить – они меня изменили. Но я не стану об этом гово-*

1. Никанор Парра (р. 1914) – известный чилийский поэт, физик и математик, друг Пабло Неруды.

рить. Признаться, я пишу Вам не для того, чтобы Вас поблагодарить. Я обращаюсь к Вам с просьбой, которая может показаться странной. В своем вступлении Вы мельком упоминаете о малоизвестном писателе Цви Литвинове, который в 1941 году бежал из Польши в Чили. Единственная опубликованная им книга, написанная на испанском языке, называется "История любви". Моя просьба состоит в следующем: не согласились ли бы ее Вы перевести? Исключительно для меня одного; я не собираюсь ее публиковать, и все права на нее останутся Вашими, если Вы этого захотите. Я готов заплатить за Ваш труд любую цену, которую Вы сочтете подобающей. В подобных делах я всегда испытываю неловкость. Ну, скажем, сто тысяч долларов? Вот так. Если Вам покажется, что этого мало, пожалуйста, дайте мне знать.

Я представляю себе Вашу реакцию на мое письмо – которое к тому времени проваляется неделю или две у этой лагуны, потом месяц будет преодолевать хаос итальянской почтовой системы, а когда наконец пересечет Атлантический океан и попадет в Почтовую службу США, его кинут в мешок почтальона, и тот потащит свою тележку под дождем или снегом, чтобы бросить письмо в прорезь на Вашей двери, где оно будет лежать на полу и ждать, пока Вы его обнаружите. Представляя себе все это, я приготовился к худшему – к тому, что Вы сочтете меня ненормальным. Но, может быть, этого все-таки не случится. Может быть, Вы поймете меня, если я Вам расскажу, что очень, очень давно, когда я уже засыпал, один человек прочитал мне несколько страниц из книги под названием "История любви", и за все эти долгие годы я не забыл ни тот вечер, ни те страницы.

Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы написали мне сюда, по вышеуказанному адресу. Если я к тому времени уже уеду, консьержка перешлет мне письмо.

Искренне Ваш
Джейкоб Маркус

Я подумала: боже мой! Я едва могла поверить в нашу удачу, я уже прикидывала, не написать ли мне этому Джейкобу Маркусу самой, как бы для того, чтобы объяснить, что именно благодаря Сент-Экзюпери в 1929 году был введен в действие последний, южный, отрезок почтового пути в Южной Америке, до самого конца континента. Джейкоб Маркус, похоже, интересуется почтовыми службами, да и мама рассказывала, что отчасти благодаря отваге Сент-Экза автор "Истории любви", Цви Литвинов, смог получить последние письма от своих родных и друзей в Польше. И в конце письма я бы добавила что-нибудь насчет того, что моя мама не замужем. Но потом я еще хорошенько подумала и решила, что, если мама это каким-то образом обнаружит, будет испорчено то, что началось так хорошо и без постороннего вмешательства. Сто тысяч долларов – это же огромные деньги. И кроме того, я знала, что, если бы Джейкоб Маркус не предложил практически ничего, мама все равно согласилась бы перевести книгу.

29. *Моя мама часто читала мне из* "*Истории любви*"

"Первая женщина могла быть Евой, но первая девочка всегда будет Альмой", – читала мама. Я лежала в постели, а она сидела рядом, держа на коленях раскрытую книгу на испанском языке. Мне тогда было четыре или пять лет, папа еще не заболел, и книгу еще не убрали на полку. "Возможно, ты увидел ее впервые, когда тебе было десять лет. Она сто-

яла на солнце, почесывая ноги. Или рисуя палочкой на земле буквы. Кто-то дергал ее за волосы. Или она кого-то дергала за волосы. И тогда одна твоя половина потянулась к ней, а другая половина сопротивлялась — хотела уехать на велосипеде, наподдать ногой камень, не связываться. Ты одновременно ощутил в себе силу мужчины — и жалость к себе самому, маленькому и несчастному. Одна твоя половина думала: пожалуйста, не смотри на меня; если ты не будешь смотреть, я еще смогу уйти. А другая половина просила: посмотри на меня.

Если ты помнишь первый момент, когда ты увидел Альму, то помнишь и последний. Она качала головой. Или уходила по полю. Или — вылезала из твоего окна. 'Альма, вернись! — кричал ты. — Вернись! Вернись!'

Но она не вернулась.

И хотя к тому времени ты стал взрослым, ты чувствовал себя потерянным ребенком. И хотя гордость твоя была сломлена, ты чувствовал себя таким же громадным, как твоя любовь к ней. Она исчезла, и осталось только пустое пространство, где ты рос возле нее, как растет дерево возле забора.

Долго, очень долго это пространство оставалось пустым. Может быть, годы. И когда наконец оно заполнилось снова, ты понял, что новая любовь к женщине была бы невозможна без Альмы. Если бы не любовь к ней, никогда не возникло бы это пустое пространство, не понадобилось бы его заполнять.

Конечно, в некоторых случаях этот мальчик отказывается молчать и продолжает звать Альму во всю мощь своих легких. Устраивает голодную забастовку. Умоляет. Заполняет книгу своей любовью. Так продолжается до тех пор, пока у нее не остается иного выбора, кроме как вернуться. Всякий раз, когда она пытается уйти, зная, что именно так надо поступить, мальчик останавливает ее и умоляет, как дурачок. И она всегда возвращается, и не важно, как часто и как далеко она уходит. Появляется беззвучно сзади, закрывает ему глаза ладонями и близко не подпускает никакую другую, которая могла бы прийти после нее".

30. *Итальянская почта такая нерасторопная; вещи теряются, и судьбы ломаются навсегда*

Еще несколько недель должно было пройти, чтобы мамин ответ пришел в Венецию, а к тому времени Джейкоб Маркус, вернее всего, уже уехал, оставив инструкции по пересылке его почты. Вначале я воображала его очень высоким и худым, с хроническим кашлем, знающим всего несколько итальянских слов и произносящим их с ужасным акцентом, — одним из тех печальных людей, которые нигде не чувствуют себя дома. Бёрд представлял его себе похожим на Джона Траволту, в автомобиле, с чемоданом, набитым деньгами. Мама, даже если вообще как-то себе его представляла, об этом не говорила.

Но в конце марта, через шесть недель после первого, от него пришло второе письмо с нью-йоркским штемпелем, написанное от руки на обратной стороне старой черно-белой открытки с изображением дирижабля. Мое представление о нем изменилось. Вместо кашля я снабдила его тростью, без которой он не мог обходиться после автомобильной аварии в начале двадцатых годов. И я решила, что печален он потому, что родители бросили его в раннем детстве, а потом умерли, оставив ему все свои деньги. На открытке он написал:

Дорогая миссис Зингер,

я несказанно обрадовался, получив Ваш ответ и узнав, что Вы готовы приступить к переводу. Пожалуйста, сообщите мне Ваш банковский счет, и я немедленно вышлю телеграфом 25 тысяч долларов. Не согласитесь ли Вы посылать мне книгу частями? Надеюсь, Вы простите мое нетерпение и объясните его моим волнением в ожидании возможности наконец-то прочитать книгу Литвинова – и Вашу. Я очень люблю получать почту, а тут еще мне хочется как можно больше растянуть удовольствие от чтения, которое, как я ожидаю, глубоко меня взволнует.

Искренне Ваш
Дж. М.

31. *Каждый еврей отвечает за честь всего своего народа*

Деньги пришли неделей позже. Чтобы отпраздновать это событие, мама повела нас на французский фильм (с субтитрами) про двух девочек, которые убежали из дома. В кинотеатре было пусто – кроме нас всего три человека, один из них – билетер. Бёрд доел свою шоколадку еще до начала фильма, пока шли титры, потом носился по проходу как угорелый и наконец уселся в первый ряд и уснул.

Вскоре после этого, в первых числах апреля, он залез на крышу еврейской школы, упал и растянул связки на запястье. Потом, чтобы утешиться, вытащил из дома наружу карточный столик и написал объявление: "Свежий лемонад 50 центов пожалуйста наливайте сами (повреждена рука)". Дождь ли, солнце ли, он сидел перед домом со своим кувшином лимонада и коробкой из-под ботинок для сбора денег. Обслужив всех клиентов на нашей улице, переместился на несколько кварталов и расположился напротив пустого участка. Он проводил там все больше и больше времени. Когда клиентов не было, отходил от столика и развлекался на пустыре. Каждый раз, проходя мимо, я видела, что он пытается навести там порядок: оттаскивает в сторону ржавую изгородь, вырывает сорняки, собирает мусор в пакеты. Когда становилось темно, он возвращался домой с исцарапанными ногами, в сбившейся набок кипе. "Просто безобразие", – говорил он. Но когда я спросила, что он там собирается делать, он пожал плечами. "Место принадлежит тому, кто может его использовать", – сказал он. "Спасибо за разъяснение, мистер Далай-лама. Или мистер Ламедвовник. Это тебе сказал мистер Голдштейн?" – "Нет". – "Хорошо, но тебе-то какая от этого будет польза?" – закричала я. Вместо ответа он подошел к двери, дотронулся до чего-то наверху, поцеловал свою руку и ушел наверх. Это была пластмассовая мезуза[1] – он развесил их на всех дверных косяках в доме. Одну даже прилепил к двери ванной.

На следующий день я нашла третью тетрадь "Как выжить в диком месте" в комнате Бёрда. Вверху каждой страницы он написал несмывающимся фломастером имя Бога. "Что ты сделал с моей тетрадью?" – закричала я. Он молчал. "Ты все испортил". – "Нет, не испортил. Я аккуратно..." – "Аккуратно? *Аккуратно?* Кто сказал, что ты вообще имеешь право это *трогать*? Ты когда-нибудь слышал слово *личное*?" – Бёрд смотрел на тетрадь у меня в руке. – Когда ты начнешь вести себя как нормальный человек?" –

1. Специальный продолговатый футляр, содержащий кусочек пергамента с текстом из Торы. Верующие иудеи прикрепляют мезузы ко всем дверным косякам в доме.

"Что там у вас внизу происходит?" Мама стояла на верхней ступеньке лестницы. "Ничего!" – сказали мы хором. Через минуту мы услышали, что она вошла к себе в кабинет. Бёрд закрыл лицо рукой и стал ковырять в носу. "Черт возьми, Бёрд, – прошипела я сквозь зубы. – По крайней мере, постарайся быть нормальным. Ты должен хотя бы *постараться*".

32. *Два месяца мама почти не выходила из дома*

Однажды, на последней неделе занятий перед летними каникулами, я пришла домой из школы и увидела маму на кухне; в руках у нее был пакет, адресованный Джейкобу Маркусу в Коннектикут. Она закончила переводить первую четверть "Истории любви" и попросила меня отнести пакет на почту. "Конечно", – сказала я и сунула пакет под мышку. Но вместо почты я пошла в парк и ногтем расклеила конверт. Сверху лежало письмо, написанное маминым мелким английским почерком:

Уважаемый мистер Маркус,
надеюсь, в этих главах есть именно то, чего Вы ждали. Если что-то не так – это целиком и полностью моя вина.
Ваша Шарлотта Зингер

У меня упало сердце. Два десятка скучных слов и ни намека на флирт! Я знала, что должна отправить пакет, что я не имею права и вообще нехорошо вмешиваться в чужие дела. Но на свете столько всего нехорошего.

33. "*История Любви*", *глава 10*

Во времена Стеклянного Века все люди верили, что какая-то часть в них исключительно хрупкая. Для одних это была рука, для других – бедро, а иные считали, что у них носы сделаны из стекла. Стеклянный Век последовал за Каменным Веком, и это было достижением эволюции: в человеческие отношения вносилось новое ощущение хрупкости, приучавшее людей к сочувствию.

Этот период в истории любви продолжался сравнительно недолго – примерно сто лет, – пока доктор по имени Игнасио да Сильва не придумал способ лечения: человеку предлагали прилечь на кушетку и отвешивали ему бодрящий шлепок по якобы хрупкой части тела, доказывая тем самым, что это вовсе не так. Анатомический мираж, казавшийся столь реальным, постепенно рассеивался, и особая часть тела – подобно многим вещам, в которых мы больше не нуждаемся, но от которых не можем избавиться, – становилась рудиментом. Однако время от времени, по причинам не всегда объяснимым, это явление снова давало о себе знать, заставляя считать, что Стеклянный Век, так же как и Век Молчания, никогда полностью не заканчивался.

Возьмите, например, вон того человека, который идет по улице. Вы не обязательно обратите на него внимание, он не из тех людей, которых замечают. В его одежде, в его поведении все направлено на то, чтобы не выделяться из толпы. Обычно – он бы сам вам это сказал – он не привлекает внимания. В руках у него ничего нет. По край-

ней мере, так кажется: у него нет даже зонтика, хотя, похоже, собирается дождь, нет портфеля, хотя это час пик, и встречающиеся ему люди, пряча лицо от ветра, спешат домой, в свои теплые жилища на окраине города, где их дети сидят за кухонным столом, склонившись над домашним заданием, где в воздухе витает запах обеда, где, вероятно, есть собака, потому что в таких домах всегда есть собаки.

Однажды, когда этот человек был еще молодым, он решил пойти на вечеринку. Там он встретил девушку, с которой учился в начальной школе и в которую всегда был немного влюблен, хотя полагал, что она и не подозревает о его существовании. У нее было самое прекрасное имя из всех, какие он слышал: Альма. Когда она увидела его стоящим в дверях, ее лицо вспыхнуло, она пересекла комнату и подошла, чтобы поговорить с ним. Он не мог этому поверить.

Прошел час или два. Должно быть, они хорошо говорили; так или иначе следующее, что он запомнил: Альма велела ему закрыть глаза. Затем она его поцеловала. Ее поцелуй был вопросом, на который он хотел бы отвечать всю жизнь. Он почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Он боялся потерять власть над своими мышцами. Любого другого это бы не смутило, но только не его, потому что он верил — и верил всегда, сколько себя помнил, — что часть его сделана из стекла. Он представил себе: одно неверное движение, и он упадет и разобьется прямо перед ней. Он отстранился, хотя этого не хотел. Он улыбался, глядя на Альмины ноги, надеясь, что она его поймет. Они проговорили несколько часов.

В ту ночь он вернулся домой сам не свой от счастья. Он не мог спать от возбуждения в ожидании следующего дня — они с Альмой договорились назавтра пойти в кино. Он зашел за ней на следующий вечер с букетом желтых нарциссов. В кино он боролся с опасностью, которая ему грозила, если он неправильно сядет, — и победил! От начала и до конца сеанса просидел, наклонившись вперед, чтобы тяжесть тела приходилась на бедра, а не на ту часть, которая была сделана из стекла. Если Альма и заметила что-то, она ничего не сказала. Он подвинул немного свое колено, потом еще немного, и еще, пока не коснулся ее коленки. Он вспотел. Когда сеанс окончился, он понятия не имел, о чем был фильм. Он предложил пройтись по парку. На этот раз он первый остановился, обнял Альму и поцеловал. Колени его задрожали, он представил себе, как лежит среди осколков стекла, но поборол стремление отодвинуться. Его пальцы пробежали сверху вниз по ее позвонкам под тонкой тканью блузки, и в какой-то момент он забыл о грозящей ему опасности, благодарный миру, который намеренно воздвигает барьеры, чтобы мы могли их преодолевать, ощущая радость сближения, — даже если в глубине души нас грызет печаль от непреодолимых различий. Но прежде, чем он это понял, его всего затрясло. Он напряг мышцы, стараясь остановить дрожь. Альма почувствовала его нерешительность. Она отстранилась и посмотрела на него так, будто он сделал ей больно, и тогда он чуть не произнес две фразы, которые собирался сказать годы назад: "Часть меня сделана из стекла", и еще: "Я люблю тебя". Но не произнес.

Пришел день, когда он видел Альму в последний раз. Он не думал, что это будет последний раз. Он думал, что все только начина-

ется. Днем он делал для нее ожерелье, нанизывая на нитку маленьких бумажных птичек. Перед тем как выйти из дома, он схватил с материнской кушетки подушечку для иголок и сунул сзади в штаны, как меру предосторожности. И сам удивился, почему это не пришло ему в голову раньше.

В тот вечер, после того, как он вручил Альме ожерелье и нежно завязал нитку на ее шее, а она поцеловала его, он почувствовал только легкую дрожь, ничего ужасного, когда *ее* пальцы пробежали вдоль *его* позвоночника и, на секунду остановившись, проскользнули сзади в брюки, но тут же отступили, и во взгляде ее мешались смех и страх, и этот взгляд напомнил ему о той боли, которая никогда не оставляла его. В тот вечер он сказал ей правду. По крайней мере, попытался сказать правду, но получилась только полуправда. Позже, много позже он обнаружил, что не перестает сожалеть о двух вещах: о том, что, когда она отклонилась, он увидел при свете лампы, что сделанное им ожерелье поцарапало ей шею, — и о том, что в самый важный момент своей жизни он выбрал неправильные слова.

Я долго сидела в парке, читая главы, которые перевела моя мать. Закончив десятую, я поняла, что нужно делать.

34. *Терять было нечего*

Я скомкала мамино письмо и выбросила в урну. Побежала домой, поднялась к себе в спальню и стала писать письмо единственному человеку, который, я верила, мог заставить мою мать измениться. Я трудилась над ним несколько часов. Поздно ночью, когда мама и Бёрд уже спали, я вылезла из постели, спустилась на цыпочках в гостиную и перенесла в свою комнату мамину пишущую машинку — ту самую, на которой она печатала письма, если там было больше двух десятков слов. Я перепечатывала письмо много раз, прежде чем сумела напечатать все без ошибок. Прочитала его в последний раз. Потом подписалась маминым именем и легла спать.

Прости меня

Почти все, что известно о Цви Литвинове, известно из предисловия к книге "История любви", которая была переиздана через несколько лет после его смерти. Предисловие написано его женой. Весь тон ее слов окрашен нежностью и стремлением самой остаться в тени и говорит о преданности человека, посвятившего себя искусству другого.

Начинается это так:

Я встретила Цви в Вальпараисо осенью 1951 года, мне тогда едва исполнилось двадцать лет. Я часто видела его в кафе на набережной, куда ходила со своими друзьями. Он всегда был в пальто, даже в самые теплые месяцы, и обычно угрюмо смотрел в окно на океан. Он был почти на двенадцать лет старше, но что-то в нем меня притягивало. Я поняла, что он беженец, по его акценту – несколько раз, когда кто-нибудь из его знакомых, тоже из того, другого, мира, останавливался на минутку у его столика, я слышала, как он с ними говорит. Мои родители эмигрировали в Чили из Кракова, когда я была еще маленькой, и

поэтому я чувствовала в нем что-то знакомое и волнующее. Я старалась подольше пить кофе, наблюдая, как он читает газету. Друзья смеялись надо мной, называя его viejon[1]*, а однажды девушка по имени Грация Штюрмер уговорила меня подойти и поговорить с ним.*

И Роза подошла. В тот день она говорила с ним почти три часа, пока не наступил вечер и от воды потянуло прохладным ветерком. И Литвинов — польщенный вниманием этой молодой женщины с бледным лицом и темными волосами, обрадовавшийся, что она немного понимает идиш, неожиданно ощутивший сильное желание, которое он, сам того не подозревая, годами носил в себе, — ожил и стал развлекать ее рассказами и стихами, которые читал наизусть. В тот вечер Роза вернулась домой вне себя от радости. Среди нахальных, самовлюбленных студентов университета с их напомаженными волосами и пустой болтовней на философские темы, среди нескольких склонных к мелодраматизму юнцов, признававшихся ей в любви при виде ее обнаженного тела, не было никого с таким большим жизненным опытом, как у Литвинова. На следующий день после занятий Роза поспешила в кафе. Литвинов ждал ее там, и они опять возбужденно проговорили несколько часов: о звучании виолончели, о немых фильмах, о воспоминаниях, которые у обоих ассоциировались с запахом соленой воды. Так прошли две недели. У них было много общего, но разделяло что-то темное и тяжелое, лежавшее у Литвинова на душе, и это притягивало Розу, ей хотелось взять на себя хотя бы малую толику этого груза. Однако Литвинов редко говорил о своем прошлом и своих потерях. И ни разу не упомянул о том, над чем начал работать по вечерам на старом чертежном столе в комнате, которую снимал, — о книге, которой суждено будет стать шедевром. Он только сказал, что преподает неполный день в еврейской школе. Розе трудно было представить сидящего напротив нее человека, черного как ворон в своем пальто, немного торжественного, как на старой фотографии, в классе среди смеющихся, непоседливых детей. *Только спустя два месяца,* — пишет Роза, — *в первые минуты печали, которая словно просачивалась незаметно для нас в открытое окно и нарушала трепетную атмосферу зарождающейся любви, — только тогда Литвинов прочитал мне первые страницы "Истории..."*

Книга была написана на идише. Позднее, с помощью Розы, Литвинов перевел ее на испанский. Оригинал на идише погиб, когда дом Литвинова затопило, — они в это время были в горах. От рукописи осталась только одна страница, которую Роза выловила из воды, залившей кабинет Литвинова. Страничка плавала на поверхности, а уровень воды достигал двух футов. *Я заметила на дне золотой колпачок от ручки, которую он всегда носил в кармане,* — пишет Роза. — *Чтобы достать его, пришлось опустить руку в воду по плечо.* Чернила расплылись, и в некоторых местах текст был неразборчив. Но имя, которое он дал ей в своей книге, имя, которое носили все женщины в "Истории...", можно было разобрать внизу страницы, исписанной наклонным почерком Литвинова.

Роза не была писателем, как ее муж, но предисловие явно принадлежит перу человека, обладающего природным умом, и от начала и до конца словно бы — почти интуитивно — завуалировано паузами, предположениями, недоговорками, отчего создается общий эффект неполной

1. Старикан (*исп.*).

освещенности, позволяющей читателю дать волю своему воображению. Роза описывает открытое окно и описывает, как задрожал от волнения голос Литвинова, когда он начал читать, но ничего не говорит о самой комнате. Нам предоставлена возможность додумать, что это была комната Литвинова, где стоял принадлежавший когда-то сыну его хозяйки чертежный стол, на краю которого были вырезаны слова самой главной еврейской молитвы, *Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый,* так что каждый раз, когда Литвинов садился за стол писать на его покатой поверхности, он сознательно или неосознанно повторял молитву. Ничего не сказано и об узкой кровати, на которой он спал, или о носках, которые он постирал и отжал накануне, и теперь они висели, будто два измученных зверька, на спинке стула; ничего не говорится и о единственной фотографии в рамке, повернутой так, что она смотрела на отстающие от стены обои. Роза смогла взглянуть на фотографию, только когда Литвинов, извинившись, пошел по коридору в ванную. На фотографии стояли, крепко взявшись за руки, мальчик и девочка с голыми коленками, стояли неподвижно, словно застыв на месте, а в окне, видневшемся в углу фотографии, медленно угасал день. И хотя Роза описывает, как потом вышла замуж за своего черного ворона, как умер ее отец, как был продан большой дом ее детства с его сладко благоухающим садом и у них появились деньги, как они купили небольшое белое бунгало за городом, на обрыве над океаном, и Литвинов мог на некоторое время оставить работу в школе и писать почти все дни и вечера, она ничего не говорит о его неотступном кашле, из-за которого он вставал среди ночи, уходил на террасу и стоял там, глядя на черную воду, ничего не говорит о его затяжных периодах молчания, или о том, как у него иногда дрожали руки, или о том, как он старел у нее на глазах, будто для него время бежало быстрее, чем для всех остальных.

Что же касается самого Литвинова, мы знаем только то, что есть на страницах его единственной книги. Он не вел дневника и очень редко писал письма. Все, что он написал, было или потеряно, или уничтожено. Кроме нескольких списков покупок и личных заметок да странички на идише, которую Роза сумела спасти от наводнения, сохранилось лишь одно его письмо, вернее, открытка от 1964 года, адресованная племяннику в Лондон. К тому времени "История..." была опубликована скромным тиражом в две тысячи экземпляров, и Литвинов снова начал преподавать: на этот раз ему — благодаря некоторой известности как автору книги — предложили читать курс литературы в университете. Открытку можно увидеть на пыльном синем бархате в витрине Музея истории Вальпараисо; музей этот почти всегда оказывается закрыт, когда кто-нибудь намеревается его посетить. На обороте ее написано:

Дорогой Борис,

я был счастлив, когда услышал, что ты сдал экзамены. Твоя мать, да будет благословенна ее память, гордилась бы тобой. Настоящий врач! Теперь ты будешь занят больше, чем когда-либо, но если соберешься приехать, у тебя всегда будет отдельная комната. Живи столько, сколько захочешь. Роза хорошо готовит. Ты сможешь сидеть у моря и, надеюсь, как следует отдохнешь. А как насчет девочек? Это просто вопрос. На них должно всегда хватать времени.

Шлю тебе свою любовь и поздравления.

Цви

Лицевая сторона открытки – от руки раскрашенная фотография моря – была воспроизведена на висящем на стене плакате, и под ней было написано: *Цви Литвинов, автор "Истории любви", родился в Польше и прожил в Вальпараисо тридцать семь лет до самой своей кончины в 1978 году. Эта открытка адресована сыну его старшей сестры Борису Перлштейну.* В левом нижнем углу маленькими буквами стояло: *Дар Розы Литвинов.* Там не говорится, что его сестра Мириам была убита в варшавском гетто нацистским офицером, выстрелившим ей в голову, и что у Литвинова не осталось других родственников, кроме Бориса, который убежал из Kindertransport[1] и провел оставшиеся годы войны и своего детства в сиротском приюте в Суррее, и что впоследствии детей Бориса порой тяготила и пугала отцовская любовь. Там также не указано, что открытка эта никогда не была отправлена, но внимательный посетитель может заметить непогашенную почтовую марку.

То, что осталось *неизвестным* о Цви Литвинове, поистине беспредельно. Осталось неизвестным, например, что во время своей первой и последней поездки в Нью-Йорк осенью 1954 года (когда Роза настояла, чтобы они поехали показать рукопись издателям) он притворился, что потерял жену в битком набитом людьми универмаге, вышел наружу, перешел улицу и долго стоял в Центральном парке, щурясь от солнца. И пока она искала его среди полок с брюками и кожаными перчатками, он гулял по обсаженной вязами аллее. Когда Роза нашла управляющего и по радио объявили: "Мистер Литвинов, мистер Литвинов, подойдите, пожалуйста, к отделу женской обуви, вас ждет жена", – как раз в это время он подошел к пруду и наблюдал, как молодая пара на лодке направлялась к тростниковым зарослям, за которыми он стоял, и девушка, думая, что ее никто не видит, расстегнула кофточку, обнажив белую грудь. Вид этой груди наполнил Литвинова грустью, и он пошел через парк обратно к универмагу, отыскал Розу, с раскрасневшимся лицом и взмокшими на затылке волосами разговаривающую с двумя полицейскими. Когда она вскинула руки, и обняла его, и сказала, что он до полусмерти ее напугал, и спросила, где же он все-таки был, Литвинов ответил, что был в туалете и не мог выйти, потому что в кабинке заело замок. А позднее, в баре отеля, Литвиновы встретились с единственным издателем, который согласился с ними увидеться, – нервным, с неприятным смехом и темными от никотина пальцами человеком, который сказал им, что книга ему очень нравится, но он не может ее опубликовать, потому что ее никто не купит. В знак своего уважения он подарил им книжку, только что выпущенную его издательством. Через час он извинился, сказав, что опаздывает на званый обед, и поспешно ушел, предоставив им расплатиться по счету.

В тот вечер, когда Роза заснула, Литвинов заперся в туалете – на этот раз уже по-настоящему. Он поступал так почти каждую ночь из опасения, что жена застанет его за этим занятием. Сидя в туалете, он читал книгу, которую дал им издатель. Читал и плакал.

Осталось неизвестным также, что любимыми цветами Литвинова были пионы. Что из всех знаков пунктуации больше всего он любил вопросительный знак. Что у него бывали кошмарные сны, и он засыпал – если вообще мог заснуть, – только выпив стакан теплого молока. Что

1. Детский эшелон (*нем.*).

он часто представлял себе собственную смерть. Что он думал, что женщина, полюбившая его, совершила ошибку. Что у него было плоскостопие. Что любимой его едой была картошка. Что ему нравилось считать себя философом. Что он подвергал сомнению все на свете, даже самые простые вещи; доходило до того, что если прохожий на улице, поравнявшись с ним, приподымал шляпу и говорил: "Добрый день", Литвинов раздумывал так долго, что, когда наконец решался ответить, тот был уже далеко. Все эти детали ушли в небытие — как многое о многих, кто родился и умер, и ни у кого не нашлось времени те или иные подробности о них записать. Честно говоря, о Литвинове хоть что-то стало известно только потому, что у него была такая преданная жена.

Через несколько месяцев после того, как маленькое издательство в Сантьяго выпустило "Историю любви", Литвинов получил по почте пакет. В тот момент, когда почтальон позвонил в дверь, Литвинов сидел над чистым листом бумаги с глазами, влажными от предчувствия прозрения: ему казалось, что вот-вот он поймет что-то очень существенное. Но когда раздался звонок, мысль ушла, и Литвинов, снова обычный человек, потащился к двери, за которой стоял освещенный солнцем почтальон. "Здрасте", — сказал почтальон, вручая Литвинову большой тщательно заклеенный коричневый пакет. И Литвинов сразу почувствовал, что день, который минуту назад обещал стать невообразимо прекрасным, внезапно изменился, как меняет направление шквал на горизонте. Это ощущение подтвердилось, когда Литвинов вскрыл пакет и увидел напечатанный текст "Истории любви" с сопроводительной запиской издателя: "*В пакете находится отработанный материал, который нам больше не нужен и возвращается Вам*". Литвинов сморщился как от боли — он не знал, что по существующим правилам издательство возвращает верстку автору. Первое, что он подумал: не заставит ли это Розу изменить свое мнение о книге. И, не желая в этом убеждаться, сжег и записку, и текст в камине, наблюдая, как шипят и рассыпаются в золу угольки. Когда жена вернулась с покупками, она открыла окна, впуская свежий воздух и свет, и спросила, зачем он затопил камин в такой чудесный день. Литвинов пожал плечами и пожаловался на озноб.

Из двух тысяч напечатанных экземпляров "Истории любви" некоторые были куплены и прочитаны, многие куплены и не прочитаны, некоторые использованы для подарков, часть залежалась в витринах книжных магазинов, служа пристанищем для мух, кое-какис были исчерканы карандашом, а изрядное количество попало в макулатуру вместе с другими нечитанными или ненужными книгами, и все фразы были расчленены и растерты в порошок вращающимися зубьями машины. Глядя в окно, Литвинов представлял себе две тысячи экземпляров книги в виде стаи из двух тысяч почтовых голубей, которые могут, хлопая крыльями, возвратиться к нему и сообщить, сколько слез было пролито над книгой, сколько человек смеялись, сколько отрывков было прочитано вслух, как часто жестокие читатели захлопывали книгу, едва прочтя одну страницу, и сколько человек не открыли ее вовсе.

Он не мог знать, что из всего первого тиража "Истории любви" (после смерти Литвинова вновь вспыхнул интерес к его книге, и короткое время ее переиздавали с предисловием Розы) по крайней мере одной книге было предназначено изменить человеческую жизнь — и не одну жизнь. Именно этот экземпляр был напечатан в числе последних в

двухтысячном тираже и дольше других пролежал на сыром складе в пригороде Сантьяго. Оттуда книга была в конце концов отправлена в книжный магазин в Буэнос-Айресе. Беспечный хозяин, скорее всего, не обратил на нее внимания, несколько лет она провалялась в магазине, и плесень изрисовала узорами обложку. Это был тоненький томик, и его место на полке было не из лучших: слева книгу загораживала толстенная биография посредственной актрисы, а справа — бывший бестселлер давно забытого автора. При таком раскладе даже самый рьяный книголюб вряд ли мог заметить узенький корешок. Когда магазин перешел к другому владельцу, книга стала жертвой большой чистки и была увезена на другой склад, грязный, вонючий, кишащий пауками, где лежала в темноте и сырости, пока, наконец, ее не отправили в маленький букинистический магазин, расположенный неподалеку от дома писателя Хорхе Луиса Борхеса. К тому времени Борхес совершенно ослеп, и ему незачем было ходить по книжным магазинам — во-первых, он не мог читать и, во-вторых, за свою жизнь прочитал так много, что помнил наизусть большие куски из произведений Сервантеса, Гёте и Шекспира, так что ему оставалось только сидеть в темноте и размышлять. Часто поклонники творчества писателя Борхеса, разузнав его адрес, стучались к нему в дверь, но когда их впускали в дом, они видели *читателя* Борхеса, который перебирал пальцами корешки своих книг, пока не находил ту, которую хотел бы услышать, и вручал ее посетителю, и у того не было иного выхода, кроме как сесть и начать читать ему вслух. Порой он покидал Буэнос-Айрес и отправлялся путешествовать со своим другом Марией Кодама, диктуя ей свои мысли о пленительном полете на воздушном шаре или о красоте тигра. Но в букинистический он не заглядывал, хотя в те времена, когда у него еще сохранялись остатки зрения, был в дружеских отношениях с хозяйкой магазина.

Хозяйка постепенно распаковывала книги, которые купила оптом по дешевке на складе. Как-то утром, разбирая коробки, она обнаружила покрытый плесенью экземпляр "Истории любви". Она никогда не слышала об этой книге, но ее привлекло название. Она отложила книгу в сторону и, пока в магазине не было посетителей, прочитала первую главу "Век Молчания":

> Первым языком человека был язык жестов. Его никак нельзя назвать примитивным: он был творением человеческих рук, и все то, что мы говорим теперь, могло быть передано бесконечным множеством движений, на которые только способны мелкие косточки пальцев и запястий. Жесты были сложными и тонкими, их изысканность с той поры полностью утрачена.
>
> В Век Молчания люди общались между собой больше, а не меньше, чем сейчас. Условия выживания требовали, чтобы руки почти никогда не оставались в покое, и таким образом люди молчали только во время сна (а иногда и во сне не молчали). Не было различий между движениями языка и движениями жизни. Работа по строительству дома, например, или по приготовлению пищи была столь же выразительна, как и знак, обозначающий "я тебя люблю" либо "я совершенно серьезен". Если человек, испугавшись громкого звука, закрывал лицо рукой, он этим что-то сообщал, и когда пускал в ход пальцы, чтобы поднять то, что другой уронил, тоже со-

общал что-то. И даже когда руки лежали спокойно, это тоже о чем-то говорило. Естественно, не обходилось без недоразумений. Иногда человек поднимал палец, просто чтобы почесать нос, но если в этот момент он случайно встречался взглядом со своей любимой, она могла ошибочно понять это как "теперь мне ясно, что я напрасно тебя полюбил". Такие ошибки могли и разбить сердце. Однако, поскольку люди знали, как легко совершаются подобные ошибки, поскольку у них не было иллюзий, будто они прекрасно понимают все, что им говорят, они обычно прерывали друг друга, чтобы спросить, верно ли поняли сказанное. Иногда такие недоразумения были даже желательны, ибо давали повод сказать: "Прости, я только хотел почесать нос. Конечно, я знаю, что поступил правильно, полюбив тебя". Из-за частоты подобных ошибок со временем жест, означающий просьбу о прощении, принял простейшую форму. Раскрыть ладонь означало сказать: "Прости меня".

Свидетельств об этом первом языке – за одним исключением – не сохранилось. Исключение, на котором основано все знание о языке жестов, представляет собой собрание семидесяти девяти ископаемых отпечатков человеческих рук, замерших на полуслове. Это собрание хранится в музее Буэнос-Айреса. Там есть жест, означающий "Иногда во время дождя...", и жест "Спустя все эти годы...", и жест "Неужели я ошибся, полюбив тебя?" Отпечатки эти были найдены в Марокко в 1903 году аргентинским врачом по имени Антонио Альберто де Биедма. Путешествуя по горному хребту Высокий Атлас, он обнаружил пещеру, где было семьдесят девять запечатленных в сланце жестов. Он изучал их много лет, но так и не приблизился к разгадке, пока однажды, уже страдая от лихорадки и дизентерии, которая потом и погубила его, вдруг обнаружил, что может расшифровать значение изящных движений кистей рук и пальцев, увековеченных в камне. Вскоре после этого его забрали в больницу в городе Фес, и когда он, умирающий, лежал там, его руки летали, как птицы, производя тысячу жестов, которые не находили применения долгие годы.

Если на многолюдном сборище, или на вечеринке, или среди малознакомых людей твои руки неловко висят, и ты не знаешь, что с ними делать, и тебя охватывает печаль от сознания чужеродности собственного тела, это происходит потому, что твои руки помнят время, когда граница между сознанием и телом, между мозгом и сердцем, между тем, что внутри, и тем, что снаружи, была гораздо менее ощутима. Разумеется, мы не полностью забыли язык жестов. Привычка жестикулировать, когда мы что-то рассказываем, осталась от тех давних времен. Похлопывание, указывание, поднимание большого пальца – все это артефакты древних жестов. Держаться за руки, например, означает: нам хорошо быть вместе и молчать. И ночью, когда слишком темно и ничего не видно, движения наших тел необходимы, чтобы понимать друг друга.

Хозяйка букинистического магазина уменьшила громкость радио. Она взглянула на последнюю страницу обложки, чтобы хоть что-нибудь узнать об авторе. Но узнала только, что Цви Литвинов родился в Польше и переехал в Чили в 1941 году, где и живет по сей день. Фотографии автора на обложке не было. В тот день, в промежутках между обслужи-

ванием покупателей, она дочитала книгу до конца. И, перед тем как запереть вечером магазин, поставила на витрину, немного сожалея, что вынуждена с нею расстаться.

На следующее утро первые лучи солнца упали на обложку "Истории любви". Первая из множества мух на нее уселась. Покрытые плесенью страницы только-только начали высыхать, когда серо-голубая персидская кошка, настоящая хозяйка магазина, прокралась мимо книги к островку солнечного света. Спустя несколько часов первый из многочисленных прохожих, поравнявшись с витриной, бросил беглый взгляд на книгу.

Хозяйка магазина не предлагала книгу никому из своих клиентов. Она понимала, что, если "История любви" попадет в неподходящие руки, ее не оценят или, хуже того, просто отложат, не читая. И оставила книгу там, где она лежала, в надежде, что нужный читатель сам ее обнаружит.

Именно так и случилось. Однажды высокий молодой человек увидел "Историю любви" на витрине. Он зашел в магазин, взял книгу, прочел несколько страниц и подошел с нею к кассе. Когда он заговорил с хозяйкой, она не смогла понять, какой у него акцент, и спросила, откуда он — ей хотелось знать, кто уносит с собой эту книгу. Из Израиля, сказал он ей, и объяснил, что отслужил в армии и вот уже несколько месяцев путешествует по Южной Америке. Хозяйка хотела положить книгу в пакет, но молодой человек сказал, что пакет ему не нужен, и сунул книгу в рюкзак. Колокольчики на двери еще звенели, пока она провожала взглядом удаляющуюся фигуру, слушая, как шлепают сандалии по горячему, залитому солнцем тротуару.

В ту ночь молодой человек, сидевший без рубашки в комнате, которую он снимал, под лениво гоняющим горячий воздух вентилятором, открыл книгу и поставил на первой странице витиеватый, отрабатывавшийся годами автограф: Давид Зингер.

Затем, одолеваемый страстным нетерпением, начал читать.

Вечная радость

Не знаю, чего я ждал, но чего-то ждал точно. Каждый раз, когда я открывал почтовый ящик, мои пальцы дрожали. Понедельник — ничего. Вторник, среда — ничего. В четверг — тоже ничего. Через две с половиной недели после того, как я отправил свою книгу, зазвонил телефон. Я был уверен, что это мой сын. Я дремал, сидя в кресле; изо рта у меня тянулась ниточка слюны. Услышав звонок, я вскочил. "Алло?" Но. Это была всего лишь учительница из класса рисования. Она искала людей для участия в проекте, который подготавливала для галереи, и вспомнила обо мне, поскольку в прошлый раз я оставил о себе самое лучшее впечатление. Естественно, я был польщен. В другое время этого было бы достаточно, чтобы отпраздновать событие каким-нибудь дорогим деликатесом. И все-таки. Я спросил, что это за проект. Она сказала, что мне надо будет всего лишь сидеть обнаженным на железной табуретке посреди комнаты, а потом, если я не против — а она надеется, что я соглашусь, — погрузиться в бочку с кошерной говяжьей кровью и затем лечь и покататься по большим листам белой бумаги.

Возможно, я и дурак, но не безумец и до такого еще не дошел. Я вежливо поблагодарил за предложение, но сказал, что вынужден отказаться,

поскольку уже спланировал сидеть на своем большом пальце и вращаться в соответствии с движением Земли вокруг Солнца. Она была разочарована. Но, кажется, меня поняла. Она даже сказала, что, если я захочу посмотреть рисунки, сделанные с меня в классе, я смогу прийти на выставку, которую они устраивают через месяц. Я записал дату и повесил трубку.

Весь день я сидел дома, а когда начало смеркаться, решил пройтись. Я старик, но еще в состоянии погулять по городу. Я миновал закусочную Зафи, мужскую парикмахерскую и "Беляши" Коссара, куда я захожу иногда в субботу вечером съесть горячий бублик. Вообще-то там редко бывают бублики. Зачем они им? Заведение называется "Беляши", значит, надо торговать беляшами. И все-таки.

Я продолжил прогулку. Зашел в аптеку, где была выставка-продажа презервативов. Ну и пусть. Мне они не требуются. Над входом в концертный зал висел большой плакат: "Дуду Фишер[1]. В ближайшее воскресенье. Билеты покупайте сейчас". Я подумал — почему нет? Сам я не хожу на такие представления, но Бруно любит Дуду Фишера. Я зашел и купил два билета.

У меня не было определенной цели. Уже темнело, но я упрямо продолжал бродить по улицам. Увидел "Старбакс"[2] и зашел туда выпить кофе, потому что я люблю кофе, а не потому, что хотел, чтобы меня заметили. Обычно я устраиваю целое представление: "Дайте мне 'Гранде Венте', то есть я имею в виду 'Большой Гранде Венте', или нет, дайте лучше 'Чаи-Супер-Венте Гранде', или нет, пожалуй, 'Шорт Фрэп'[3] — а затем, для большего впечатления, мог бы еще закатить скандальчик у стойки с молочными коктейлями. Но в этот раз все было иначе. Я налил себе молока, как нормальный человек, гражданин мира, сел в легкое креслице напротив мужчины, читавшего газету, и обхватил руками стаканчик с кофе. Рукам было тепло и приятно. За соседним столиком сидела девушка с голубыми волосами. Она склонилась над блокнотом и грызла шариковую ручку. А за следующим столиком сидел маленький мальчик в футбольной форме со своей мамой. Мама говорила ему: "Множественное число от *эльф* — *эльфы*". Меня словно окатило волной счастья. Даже голова закружилась от сознания, что я — частица этого мира. Я сижу здесь и как нормальный человек пью кофе. И мне захотелось закричать в полный голос: "Множественное от *эльф* — *эльфы*! Боже, что за язык! Что за мир!"

Около туалета стоял телефон-автомат. Я нащупал в кармане двадцатицентовую монету и набрал номер Бруно. Телефон прозвонил девять раз. Мимо меня прошла в туалет девушка с голубыми волосами. Я улыбнулся ей. И — что за чудо — она улыбнулась мне в ответ! На десятом звонке Бруно снял трубку.

— Бруно?

— Да?

— Хорошо жить на свете, верно?

— Нет, спасибо, я ничего не хочу покупать.

— Да я не собираюсь тебе ничего продавать! Это Лео. Послушай. Я сидел в "Старбаксе" и пил кофе, и вдруг меня будто что-то ударило.

1. Дуду Фишер (р. 1955) — известный исполнитель еврейских песен, живет в Израиле, выступает с концертами по всему миру.
2. Сеть небольших кафе, специализирующихся на разных способах приготовления кофе.
3. "Гранде Венте" (*итал.*) — большая порция кофе; чаи — напиток, приготовленный из чая, меда и молока; фрэп — молочный коктейль. Герой путает общепринятые названия.

– Кто тебя ударил?

– Да послушай же! Меня словно ударило: как хорошо жить на свете! *Жить!* И мне захотелось сказать тебе об этом. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я говорю, что жизнь прекрасна, Бруно! Жизнь – это красота и вечная радость!

Наступило молчание.

– Ну конечно, Лео, если ты так считаешь. Жизнь – это красота.

– И вечная радость, – повторил я.

– Пусть так, – сказал Бруно. – И радость.

Я подождал.

– Вечная.

Я уже хотел повесить трубку, но Бруно сказал:

– Лео?

– Да?

– Ты имеешь в виду человеческую жизнь?

Я сидел со своим кофе добрых полчаса и уже почти его допил. Девушка закрыла блокнот и собралась уходить. Мужчина напротив меня дочитывал газету. Я читал заголовки. Я чувствовал себя маленькой частицей чего-то очень большого. Да, *человеческая жизнь*. Человеческая! Жизнь! Тут мужчина перевернул страницу, и сердце у меня остановилось.

Там была фотография Исаака. Эту я никогда раньше не видел. Я собираю все газетные вырезки с его портретами, как будто я президент клуба его поклонников – если бы таковой существовал. Двадцать лет я выписываю журнал, где он иногда печатается. Мне казалось, я знаю все его фотографии. Я их разглядывал тысячу раз. И все-таки. Этой я не знал. Он стоял у окна, опустив подбородок, слегка склонив набок голову. Возможно, он о чем-то задумался. Но глаза его смотрели вверх, словно кто-то окликнул его как раз в тот момент, когда щелкнул затвор. Мне захотелось позвать его. Это была всего лишь газета, но мне захотелось громко крикнуть: "Исаак! Я здесь! Ты слышишь меня, сынок?!" Я хотел, чтобы он взглянул на меня так, как взглянул бы на любого, кто вырвал его из задумчивости. Но. Он не мог. Заголовок гласил: "Исаак Мориц, писатель, скончался в возрасте 60 лет".

Исаак Мориц, знаменитый автор шести романов, в том числе романа "Средство исцеления", лауреат Национальной книжной премии, скончался во вторник вечером. Причина смерти – болезнь Ходжкина. Ему было 60 лет.

Романы мистера Морица отличаются юмором, состраданием к людям и вселяют в отчаявшиеся сердца надежду. С самого начала у него были горячие поклонники. Среди них – Филип Рот, один из членов жюри, в 1972 году присудившего мистеру Морицу Национальную книжную премию за его первый роман. "В центре романа 'Средство исцеления' – живое человеческое сердце, неистовое и умоляющее", – эти слова произнес Рот, объявляя журналистам имя лауреата премии. Другой поклонник мистера Морица, Леон Визельтер, сегодня утром по телефону из вашингтонской редакции "Нью рипаблик"[1] назвал Исаака Морица "одним из наиболее значимых и недооцененных писателей конца XX века. Назвать его еврейским писателем, – добавил он, – или, того хуже, писателем-

1. Еженедельный литературно-политический журнал.

экспериментатором означает совершенно не увидеть главного – его человечности, а это вообще не укладывается ни в какую категорию".

Исаак Мориц родился в 1940 году в семье иммигрантов. Спокойный и серьезный мальчик, он заполнял тетради подробным описанием сцен из собственной жизни. Один из таких эпизодов, описанный им в возрасте двенадцати лет, – о собаке, избиваемой бандой подростков, – позднее вдохновил его на создание знаменитой сцены в романе "Средство исцеления", где главный герой, Джейкоб, выходит из квартиры женщины, с которой он только что впервые занимался любовью, стоит в тени уличного фонаря, на лютом морозе, и наблюдает, как два человека зверски убивают собаку. В этот момент, потрясенный жестокостью физического существования, терзаемый "неразрешимым противоречием: быть животным, одержимым стремлением к самоанализу, или быть носителем морали, одержимым животными инстинктами", Джейкоб изливает душу, произносит свой исступленный монолог размером в один абзац, растянувшийся на пять страниц, который журнал "Тайм" назвал одним из самых "накаленных, незабываемых текстов" в современной литературе.

Наряду с лавиной похвал и Национальной книжной премией, "Средство исцеления" принесло мистеру Морицу широкую известность. В первый же год после публикации роман разошелся тиражом в двести тысяч экземпляров и попал в список бестселлеров "Нью-Йорк таймс".

Его следующая работа ожидалась с жадным нетерпением, но когда через пять лет появился сборник рассказов "Стеклянные дома", рецензии оказались неоднозначными. Ряд критиков усмотрел в этих рассказах смелый новаторский подход, однако Мортон Леви, например, язвительно раскритиковал сборник в "Комментари"[1], назвав его неудачей автора. "Мистер Мориц, – писал Леви, – чей дебютный роман был интересен эсхатологическими рассуждениями, в этой книге переключил свое внимание целиком на чистую копрологию. Для рассказов в "Стеклянных домах" характерна фрагментарность и временами излишняя сюрреалистичность, а круг персонажей кого только не включает: от ангелов до сборщиков мусора".

Иначе зазвучал голос мистера Морица в его третьей книге, "Пой", которая написана языком лапидарным, без малейших излишеств, "напряженным, словно струна", как отмечает "Нью-Йорк таймс". И хотя в двух последних романах автор продолжал искать новые средства выражения, тематика оставалась прежней. Суть искусства мистера Морица – страстный гуманизм и бесстрашное исследование отношений человека с Богом.

Мистера Морица пережил его брат Бернард Мориц.

Я сидел оцепенев. Я думал о лице своего сына, когда ему было пять лет. О том времени, когда я, стоя на другой стороне улицы, следил, как он завязывает развязавшийся шнурок. В конце концов служащий кафе с кольцом, вдетым в бровь, подошел ко мне: "Мы закрываем". Я оглянулся. И правда – все уже ушли. Девушка с ярко накрашенными ногтями возила мокрой шваброй по полу. Я поднялся. Нет, не то. Я старался подняться, а ноги меня не слушались. Служащий смотрел на меня так, будто я был мухой, увязшей в банке варенья. Я смял стаканчик из-под кофе в мокрую лепешку, отдал ему и поплелся к выходу. И тут вспомнил про газету. Служащий уже выкинул ее в мусорный бачок, который он катил по

1. Ежемесячный политический журнал, издающийся Американским еврейским комитетом.

залу. Я выуживал оттуда газету, испачканную недоеденным плавленым сырком, а он за мной наблюдал. Мне не хотелось выглядеть нищим, и я отдал ему билеты на Дуду Фишера.

Не знаю, как я добрался домой. Бруно, должно быть, слышал, как я отпирал дверь, потому что минутой позже он спустился и постучал в дверь. Я не ответил. Я сидел в темноте в своем кресле около окна. Бруно продолжал стучать. Наконец я услышал, что он пошел обратно к себе наверх. Через час или больше я опять услышал его шаги на лестничной площадке. Он подсунул под дверь листок бумаги. Там было написано: *Жизн это красата.* Я вытолкнул бумагу к нему обратно. Он снова подвинул ее ко мне. Туда – обратно. Туда – обратно. Я снова прочитал: *Жизн это красата.* Что ж, подумал я, возможно, так оно и есть. Возможно, это правильное слово для жизни. Я слышал дыхание Бруно за дверью. Я взял карандаш и приписал: *И вечная насмешка.* И подсунул бумагу под дверь. Пока Бруно читал, за дверью было тихо. Затем, видимо удовлетворенный, он поднялся к себе.

Может быть, я плакал. Какая разница.

Заснул я только под утро. Мне снилось, что я стою на вокзале. Подъехал поезд, с него сошел мой отец. На нем было пальто из верблюжьей шерсти. Я подбежал к нему. Он меня не узнал. Я сказал ему, кто я. Он отрицательно покачал головой. Сказал: "У меня только дочери". Мне снилось, что у меня раскрошились зубы, что одеяло душит меня. Мне снились мои братья, повсюду была кровь. Хотелось бы сказать: мне снилось, что девочка, которую я любил, и я состарились вместе. Или что мне снилась желтая дверь и открытое поле. Хотелось бы сказать: мне снилось, что я умер, и мою книгу нашли среди моих вещей, и после смерти я стал знаменитым. И все-таки.

Я взял газету, вырезал фотографию моего Исаака. Она была смята, но я разгладил ее. И засунул в бумажник, в прозрачный пластиковый кармашек для фото. Несколько раз я закрывал и открывал бумажник и снова смотрел на его лицо. И вдруг заметил, что как раз в том месте, где я обрезал фотографию, внизу, было написано: "Поминальная служба состоится..." Дальше я не мог прочитать. Пришлось вынуть из бумажника фотографию и сложить два куска вместе. "Поминальная служба состоится завтра, 7 октября, в 10 часов утра в Центральной синагоге".

Была пятница. Я знал: дома мне оставаться нельзя, – и заставил себя выйти. Воздух был другим, мои легкие это почувствовали. И мир выглядел иначе. Ты меняешься, снова и снова. Становишься собакой, птицей, растением, всегда клонящимся влево. Только сейчас, когда мой сын умер, я понял, какое место он занимал в моей жизни. Утром я просыпался только потому, что он жил на свете, и еду себе заказывал только потому, что он жил на свете, и писал свою книгу тоже только потому, что он жил на свете и мог ее прочитать.

Я поехал на автобусе в город. Я сказал себе, что не могу пойти на похороны сына в измятом шматье, которое я называю костюмом. Я не хотел, чтобы он стыдился меня. Больше того, я хотел, чтобы он мной гордился. Я сошел на Мэдисон-авеню и пошел вперед, разглядывая витрины, сжимая в руке носовой платок, холодный и мокрый. Я не знал, в какой магазин зайти. Наконец выбрал один, который мне понравился, вошел, потрогал материю пиджака. Ко мне подошел чернокожий верзила в бежевом блестящем костюме. Я подумал, что он хочет выкинуть ме-

ня вон. "Я просто смотрю, какой материал", – сказал я. "Хотите примерить?" – спросил он. Я был польщен. Он спросил, какой у меня размер. Я не знал. Но он, похоже, все понял. Окинул меня взглядом, пригласил в примерочную и повесил костюм на крючок. Я разделся. Там было три зеркала. Я увидел те части своего тела, которые много лет не видел. Несмотря на свое горе, я с минуту разглядывал себя. Затем надел костюм. Брюки были жесткие и тесные, пиджак доходил почти до колен. Я был похож на клоуна. Чернокожий с улыбкой отдернул занавеску. Поправил на мне пиджак, застегнул пуговицы, повернул меня кругом. Мы оба смотрели в зеркало. "Сидит как влитой, – заявил он. – Если хотите, – добавил, заложив сзади складку, – мы можем здесь немного сузить, но это и не нужно. Сидит, будто на вас сшит". Я подумал: и правда, что я понимаю в моде? Спросил цену. Он залез сзади в брюки и поискал что-то около моей *тухес*[1]. "Этот... тысяча", – объявил он. Я посмотрел на него. "Тысяча чего?" – спросил я. Он вежливо засмеялся. Мы стояли перед тремя зеркалами. Я комкал и расправлял мокрый носовой платок. Потом собрался с духом и вытащил трусы, глубоко врезавшиеся мне в задницу. Для этого случая должно существовать какое-то слово. Но я его не знал.

Я вышел на улицу и пошел дальше. Я знал, что костюм не имеет значения. Но. Я должен был чем-то заняться. Как-то успокоить себя.

На Лексингтон есть лавочка, где делают фото на документы. Мне нравится иногда туда заходить. У меня есть альбом для фотографий. Большая часть снимков – мои, кроме одной, где снят пятилетний Исаак, и еще одной – моего троюродного брата, слесаря по замкам. Он был фотограф-любитель и однажды показал мне, как изготавливается камера с крошечным отверстием. Это было весной 1947 года. Я сидел в его маленькой мастерской и смотрел, как он прилаживает фотобумагу внутрь коробочки. Он велел мне не двигаться и осветил лампой мое лицо. Затем открыл дырочку. Я сидел не шевелясь, почти не дыша. Когда дело было сделано, мы пошли в темную комнату и опустили бумагу в кювету с проявителем. Стали ждать. Ничего. Там, где должен был появиться я, была только зернистая серая поверхность. Брат настаивал, что нужно повторить попытку, и мы повторили. Потом еще раз. Три раза он пытался получить мое изображение, и три раза ему это не удавалось. Он ничего не мог понять. Ругал человека, у которого он купил фотобумагу, решив, что тот всучил ему бракованную упаковку. Но я знал, что это не так. Я знал, что, подобно тому, как другие теряют руку или ногу, я потерял какое-то свойство, которое позволяет человеку быть запечатленным навечно. Я попросил брата сесть в кресло. Он колебался, но в конце концов согласился. Я сфотографировал его, и мы увидели, как в кювете появляется его лицо. Он смеялся. И я смеялся тоже. Поскольку это я его снял, фотография доказывала не только существование моего брата, но и мое. Он разрешил мне взять этот снимок. Всякий раз, когда я вынимал его из бумажника и глядел на брата, я знал, что в действительности смотрю на себя. Я купил альбом и приклеил фотографию на второй странице. На первой я поместил фотографию моего сына. Спустя несколько недель я проходил мимо лавочки с фотокабинкой. Я зашел туда. И с тех пор заходил регулярно, когда у меня оказывались лиш-

1. Задница (*идиш*).

ние деньги. Вначале история повторялась. Но. Я продолжал попытки. Однажды я невольно дернулся, когда щелкнул затвор. Появилась тень. На следующий раз я увидел контуры своего лица, а еще через несколько недель – само лицо. Это было нечто противоположное исчезновению.

Когда я открыл дверь магазинчика, звякнул колокольчик. Десятью минутами позже я стоял на тротуаре с четырьмя одинаковыми фотографиями. Я посмотрел на себя. Обо мне много чего можно сказать. Но. Красота в этот перечень не входит. Я вставил один снимок в бумажник рядом с фотографией Исаака, вырезанной из газеты. Остальные выкинул в урну.

Я огляделся. Через дорогу был "Блумингдейл"[1]. Я заходил туда раз или два – одна леди из отдела косметики побрызгала на меня духами. Что я могу сказать – это свободная страна. Я поездил на эскалаторе вверх и вниз, пока не нашел на нижнем этаже отдел мужской одежды. На этот раз я сначала посмотрел на цены. На вешалке висел темно-синий костюм за двести долларов – уцененный по случаю распродажи. С виду моего размера. Я взял его в примерочную и надел. Брюки, как и следовало ожидать, были мне длинны. Рукава тоже. Портной с сантиметром на шее велел мне встать на подставку. Когда я на нее поднялся, я вспомнил, как моя мать послала меня к портному забрать у него новые отцовские рубашки. Мне тогда было лет девять, может быть, десять. В темной комнате в углу сгрудились манекены, как будто толпа ожидающих поезда. Гродзенский, портной, сидел, согнувшись над своей машиной, нога на педали. Я с восхищением за ним наблюдал. Каждый день под его руками, в присутствии только манекенов, у серых кусков ткани вырастали воротники, обшлага, складки, карманы. "Хочешь попробовать?" – спросил он. Я сел на его место. Он показал, как включить машину. Я следил, как игла прыгает вверх и вниз, оставляя за собой чудесную тропинку голубых стежков. Пока я нажимал на педаль, Гродзенский вынес папины рубашки, завернутые в коричневатую бумагу. Потом он принес другой пакет в такой же бумаге. Осторожно извлек журнал, выпущенный несколько лет назад. Но в идеальном состоянии. Он держал его кончиками пальцев. Внутри были черные и серебристые фотографии женщин с мягкой белой кожей, будто светящихся изнутри. На них были платья, каких я никогда раньше не видел: платья из чистого жемчуга, из перьев и бахромы, платья, показывающие ноги, руки, форму груди. Одно только слово слетело с губ Гродзенского: "Париж". Он молча переворачивал страницы, а я молча смотрел. Пар от нашего дыхания оседал на глянцевых фотографиях. Возможно, Гродзенский со скрытой гордостью показывал мне все это, чтобы я понял, почему он всегда тихонько напевает за работой. Наконец он закрыл журнал и засунул обратно в бумагу. И вернулся к работе. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что Ева съела яблоко для того, чтобы Гродзенские могли существовать в этом мире, я бы поверил.

Жалкое подобие Гродзенского суетилось вокруг меня с мелом и булавками. Я спросил, можно ли подогнать костюм прямо сейчас – я подожду. Он посмотрел на меня так, будто у меня было две головы. "У меня тут сотня костюмов, которые надо подгонять, а вы хотите, чтобы ваш я сделал сейчас? – Он покачал головой. – Минимум две недели".

1. Один из крупнейших универсальных магазинов Нью-Йорка.

"Это для похорон, – сказал я. – Мой сын". Я старался держаться. Полез за носовым платком. Потом вспомнил, что платок в кармане брюк, валяется на полу примерочной. Я слез с подставки и поспешил обратно за занавеску. Я понимал, какой дурацкий у меня вид в этом шутовском наряде. Человек должен покупать костюм для жизни, а не для смерти. Не это ли говорил мне призрак Гродзенского? Я не могу опозорить Исаака и не могу заставить его мной гордиться. Потому что его больше нет.

И все-таки.

В тот вечер я вернулся домой с подогнанным костюмом в пластиковом пакете. Я сел за кухонный стол и в одном месте разрезал воротник[1]. Мне хотелось бы искромсать его весь, но я сдержался. Цадик Фишл, который, возможно, был идиот, однажды сказал: "Один разрез перенести труднее, чем сотню".

Я помылся. Как следует: не просто обтерся губкой, а принял ванну. Когда я стоял под душем, на темную тень от ванны на полу легла еще и моя тень. Я надел новый костюм, снял с полки бутылку водки. Я пил и вытирал рот тыльной стороной ладони, с полузакрытыми глазами повторяя сотни раз виденный жест моего отца, и его отца, и отца его отца. Алкогольный дурман притупил остроту горя. А потом, когда с бутылкой было покончено, я стал танцевать. Сначала медленно. Затем быстрее. Я притопывал, я задирал ноги так, что хрустели суставы. Я стучал подошвами по полу, и приседал, и выкидывал коленца в точности так, как это делал мой отец, и его отец, и слезы текли у меня по лицу. Я смеялся, и пел, и плясал, пока не отбил пятки и из-под ногтей не выступила кровь. Это была единственная пляска, которая была мне известна, – пляска жизни. Я переворачивал стулья, я кружился, пока не падал, и снова вставал, и плясал, и когда занялась утренняя заря, она застала меня распростертым на полу, так близко от смерти, что я мог плюнуть в нее и прошептать: *лехаим*[2].

Я пришел в себя, услыхав голубей, чистивших перышки за окном. Один рукав пиджака был разорван, голова гудела, на щеке засохла кровь. Но я сделан не из стекла.

Я подумал: Бруно. Почему он не пришел? Я мог не открыть ему, если он стучал. И все-таки. Он конечно же слышал шум, разве что нацепил наушники своего плеера. Даже и тогда. Лампа валялась на полу, все стулья перевернуты. Я уже решил было подняться к нему, но тут посмотрел на часы. Было уже четверть одиннадцатого. Мне бы хотелось думать, что этот мир не годится для меня, хотя, возможно, правда состоит в том, что я не гожусь для этого мира. В своей жизни я всегда опаздывал. И я побежал к автобусной остановке. Вернее, заковылял, подтягивая штанины, иногда пускаясь вприпрыжку, останавливаясь, чтобы перевести дух, снова подтягивая брюки, делая несколько шагов вперед, останавливаясь, ковыляя дальше, опять останавливаясь и опять делая несколько шагов... Так я добрался до остановки и сел в автобус, идущий в центр. Мы застряли в пробке. "Неужели эта колымага не может двигать-

1. На похоронах близких иудеи делают разрез на воротнике, что символизирует раздирание одежд в знак траура.
2. Зд.: привет (*идиш*).

ся быстрее?" – громко спросил я. Женщина рядом со мной встала и пересела на другое место. Может быть, от возбуждения я хлопнул ее по бедру, не знаю. Человек в оранжевой куртке и штанах, разрисованных под змеиную кожу, поднялся и запел песню. Все отвернулись и стали смотреть в окна, пока не поняли, что он не просит денег, а просто поет.

Когда я добрался до синагоги, служба уже закончилась, но там еще толпился народ. Мужчина в белом пиджаке с желтым галстуком-бабочкой, с прилизанными и закрепленными лаком остатками волос на голове сказал: "Разумеется, мы обо всем знали, но когда это наконец случилось, никто не был готов". Стоящая рядом с ним женщина возразила: "А как можно быть готовым?" Я стоял один около кадки с каким-то растением, ладони мои взмокли, голова кружилась. Наверное, не надо было мне сюда приходить.

Я хотел спросить, где его похоронили, в газете об этом ничего не говорилось. Внезапно я остро пожалел, что поспешил купить для себя место на кладбище. Знал бы, мог бы к нему присоединиться. Завтра. Или послезавтра. Я боялся, что меня оставят на съедение собакам. Я побывал на могиле миссис Фрейд на кладбище "Сосновая поляна", и мне там понравилось. Некий мистер Симчик поводил меня по кладбищу и дал буклет. Я представлял себе свое место где-нибудь под деревом, например под плакучей ивой; возможно, рядом будет небольшая скамеечка. Но. Когда он назвал цену, у меня упало сердце. Он показал мне несколько участков, но или слишком близко к дороге, или там, где не было травы. "А под деревом ничего нет?" – спросил я. Симчик покачал головой. "А под кустом?" Он послюнявил палец и начал листать страницы. Мекал, бекал, но в конце концов сдался. "Найдем что-нибудь. Это будет дороже, чем вы планировали, но можно вносить плату частями". Место было в дальнем конце, на краю еврейской части кладбища. Не прямо под деревом, но недалеко от дерева, так что осенью кое-какие листья слетят и на меня. Я задумался. Симчик сказал, чтобы я не спешил, и ушел в контору. Я постоял на солнце. Потом опустился на траву и лег на спину. Земля под моим плащом была твердая и холодная. Я смотрел на плывущие надо мной облака. Возможно, я задремал. Следующее, что я помню, – надо мной стоит Симчик: "Ну как? Берете?"

Краем глаза я видел Бернарда, единоутробного брата Исаака. Эдакий неуклюжий верзила, точная копия своего отца, да будет благословенна его память – да, даже его. Его звали Мордехай. Она звала его Морти. Морти! Он уже три года как в могиле. Я считаю своей маленькой победой то, что он отдал концы раньше меня. И все-таки. Если не забываю, я зажигаю в память о нем свечу в *йарцайт*[1]. Потому что если не я, то кто?

Мать моего сына, девочка, в которую я влюбился, когда мне было десять, умерла пять лет назад. Надеюсь, скоро я к ней присоединюсь, хотя бы так. Завтра. Или послезавтра. В этом я уверен. Я думал: странно будет жить, когда ее не станет. И все-таки. Я давно привык жить только с памятью о ней. Лишь в самом конце я снова ее увидел. Я прокрадывался к ней в палату и сидел рядом каждый день. В больнице была медсестра, молоденькая девушка, и я ей рассказал – не правду, нет. Но. Историю, похожую на правду. И сестричка разрешила мне приходить по

1. Годовщина смерти (*идиш*).

вечерам, когда я уже не мог бы ни с кем столкнуться. Она была присоединена к аппарату, из носу тянулись трубки. Одной ногой на том свете. Если я отворачивался, мне казалось: сейчас я обернусь, а ее уже нет. Худенькая, морщинистая и глухая как пень. Мне так много надо было ей рассказать. И все-таки. Я рассказывал ей смешные истории. Я был настоящим Джекки Мейсоном[1]. Иногда мне чудилось, что я вижу подобие улыбки. Я нес всякую чепуху. Говорил: "Ты не поверишь, но место, где сгибается твоя рука, здесь называют *элбоу*". Я говорил: "Два раввина заблудились в желтом лесу..." Я говорил: "Приходит Моше к доктору. Доктор, говорит он..." и так далее и тому подобное. Но многого я ей не сказал. Например. "Я так долго тебя ждал". Или другой пример. "Была ли ты счастлива? С этим *неббехом*[2], с этим тупым *шлемилем*[3], которого ты называешь мужем?" По правде говоря, я давно уже перестал чего-либо ждать. Время ушло, дверь между жизнью, которая могла бы быть у нас общей, и жизнями, которые мы называли своими, давно захлопнулась перед нашим носом. Лучше сказать – перед *моим* носом. Грамматика моей жизни: там, где хочется поставить множественное число, ставь единственное. Если я позволю себе когда-нибудь произнести королевское *мы*, немедленно прикончите меня ударом по голове.

– Вам нехорошо? Что-то вы побледнели.

Это сказал мужчина, на которого я уже обратил внимание раньше, тот самый, с желтой бабочкой. Всегда, стоит тебе спустить штаны, как кто-нибудь появляется, нет чтоб прийти минутой раньше, когда ты еще можешь принять нежданного гостя. Чтобы держаться прямо, я прислонился к кадке с растением, возле которой стоял.

– Нет, нет, все в порядке, – сказал я.

– Вы давно его знали? – спросил он, приглядываясь ко мне.

– Мы... – я сунул колено между стеной и кадкой, надеясь, что это придаст мне устойчивости, – мы родственники.

– Ах, родственники! Виноват, простите. Я считал, что знаю всю семью. – Он сказал *мишпуху*[4]. – Ну конечно, мне следовало бы догадаться. – Он осматривал меня с головы до ног, поглаживая макушку, дабы убедиться, что его прическа в порядке. – Я подумал, вы один из его почитателей, – он указал на редеющую толпу. – И с какой же стороны вы приходитесь ему родственником?

Я схватился рукой за самую толстую часть растения. К горлу подступила тошнота, комната поплыла перед глазами. Я старался сосредоточить взгляд на его бабочке.

– С обеих, – сказал я.

– С обеих? – удивленно переспросил он, глядя на корни растения, которые отчаянно пытались удержаться в земле.

– Вообще-то я... – начал я. Но тут растение внезапным рывком выскочило из земли. Я подался было вперед, но одну ногу заклинило между кадкой и стеной, так что свободной осталась только вторая нога, и край кадки ударил меня в пах, а моей руке ничего не осталось, кроме как влепить висевший на корнях ком земли прямо в физиономию мужчине с желтой бабочкой.

1. Джекки Мейсон – американский комический актер.
2. Неббех – растяпа (*идиш*).
3. Шлемиль – неудачник, шляпа (*идиш*).
4. Мишпуха – семья (*идиш*).

— Извините, — пробормотал я. Боль из паха выстрелила вверх, пронзая мои кишки. Я попробовал выпрямиться. Моя мама, да будет благословенна ее память, говорила: "Не сутулься". Грязь дождем стекала из ноздрей человека в бабочке. И последний штрих: я вытащил грязный носовой платок и сунул ему под нос. Он ударил меня по руке и достал собственный платок, свежевыстиранный, отглаженный и сложенный аккуратным квадратиком. Встряхнул его. Флаг капитуляции. Минута неловкости прошла, и, пока он утирался, я занялся своим нижним этажом.

Следующее, что я помнил: я стою лицом к лицу с единоутробным братом моего сына, мой рукав — в зубах у бульдога в бабочке. "Смотрите, кого я поймал, — пролаял он. Бернард поднял брови. — Он говорит, что он родственник".

Бернард увидел надрез у меня на воротнике и разорванный рукав и вежливо улыбнулся.

— Простите, — сказал он. — Я вас не помню. Мы встречались?

У бульдога изо рта текла слюна. В складке рубашки застряли комочки грязи. Я покосился на надпись "Выход". Я мог бы просто убежать, если бы не сильная боль в паху. Опять меня затошнило. И все-таки. Иногда, когда совершенно необходима гениальная идея, глядишь, тебя и осенит.

— *Де ретс идиш*[1]? — хрипло прошептал я.

— Простите?

Я схватил Бернарда за рукав. Бульдог держал мой рукав, я — Бернардов. Я вплотную приблизил свое лицо к лицу Бернарда. Глаза у него были красные. Может, он и увалень, но человек хороший. Да у меня и не было другого выхода.

Я повторил громче:

— *Де ретс идиш?* — Я чувствовал, что от меня разит перегаром. Я схватил его за воротник. Он отшатнулся, и вены у него на шее набухли. — *Фарштайст?*[2]

— Извините. — Бернард покачал головой. — Я не понимаю.

— Хорошо, — продолжал я на идише. — Этот болван, — я показал на мужчину в бабочке, — этот мерзавец ко мне прицепился, и только потому, что у меня нет сил хорошенько ему врезать, он еще здесь. Не могли бы вы попросить его убрать свои лапы, пока я не заткнул ему пасть еще одним комком земли, если не чем-нибудь похуже.

— Это вы о Роберте? — Бернард силился понять. Он, по-видимому, сообразил, что я говорю о человеке, вцепившемся зубами в мой локоть. — Роберт был издателем Исаака. Вы знали Исаака?

Бульдог усилил хватку. Я открыл было рот. И все-таки.

— Извините, — сказал Бернард. — Мне хотелось бы уметь говорить на идише, но — увы... А, неважно, спасибо, что пришли. Хорошо, что собралось так много народа. Исаак был бы доволен. — Он обеими руками потряс мою руку. И направился к выходу.

— Слоним, — сказал я. Хотя вовсе не собирался этого говорить. И все-таки.

Бернард обернулся:

— Простите?

1. Ты говоришь на идише? (*идиш*)
2. Понимаешь? (*идиш*)

Я повторил:

– Я родом из Слонима.

– Из Слонима? – переспросил он.

Я кивнул.

Он вдруг стал похож на мальчика, за которым запоздала прийти мама, и только теперь, когда она пришла, он дал волю слезам.

– Она много нам рассказывала...

– Кто она? – встрял бульдог.

– Мама. Он из того же города, что и моя мать, – сказал Бернард. – Я столько всего слышал о Слониме.

Мне захотелось погладить его по руке. Но он как раз поднес руку к глазам, и в результате я погладил его по широкой груди, а потом, не зная, что делать дальше, обнял.

– Там речка, да? Где она любила плавать, – сказал Бернард.

Вода была ужасно холодная. Мы раздевались и с диким криком прыгали с мостков в воду. Сердце замирало. Тело превращалось в камень. В первую секунду казалось, что мы тонем. Когда, хватая ртом воздух, мы вылезали на берег, ноги были тяжелые, боль поднималась вверх от лодыжек. Твоя мать была худенькая, кожа да кости, груди маленькие и бледные. Я, бывало, засыпал на солнце и просыпался, вздрогнув, от ледяных брызг на спине. И от ее смеха.

– Вы бывали в обувной мастерской ее отца? – спросил Бернард.

Каждое утро я заходил за ней, и мы вместе отправлялись в школу. За исключением тех трех недель, когда мы поссорились и перестали разговаривать. Когда было холодно, ее мокрые волосы висели сосульками.

– Я могу без конца вспоминать все, что она нам рассказывала. Поле, где она обычно играла...

– Да, – сказал я, поглаживая его руку. – Поле.

Пятнадцать минут спустя, зажатый между бульдогом и какой-то молодой женщиной, я ехал на заднем сиденье длинного лимузина. Можно было подумать, что катание на лимузинах вошло у меня в привычку. Мы – несколько родных и друзей – ехали к Бернарду. Я бы предпочел поехать в дом Исаака, чтобы оплакать моего сына среди его вещей, но вынужден был удовлетвориться домом его брата. Напротив меня сидели еще двое. Когда один из них кивал мне и улыбался, я кивал и улыбался в ответ. "Родственник Исаака?" – спросил он. "Вероятно", – ответил бульдог, прилаживая на место прядь волос, отлепившуюся на ветру, – женщина приоткрыла окно.

До дома Бернарда мы добирались почти час. Куда-то на Лонг-Айленд. Чудесные деревья. Я никогда не видел таких красивых деревьев. На залитой солнцем подъездной дорожке какой-то мальчуган в разрезанных до колен штанах бегал взад-вперед и любовался, как штанины развеваются на ветру. В доме люди окружили стол, уставленный едой, и говорили об Исааке. Я понимал, что здесь я чужой. Чувствовал себя дураком и самозванцем. Стоял у окна, стараясь быть незаметным. Я не думал, что это будет так тяжело. И все-таки. Слушать, как они говорят о моем сыне, для меня существовавшем только в воображении, будто о близком родственнике, было невыносимо. Я тихо вышел из комнаты и отправился бродить по дому его брата. Я думал: вот по этому ковру ходил мой сын. Я зашел в гостевую спальню и подумал: иногда он спал на этой кровати. На этой самой кровати! Голова его лежала на этих подуш-

ках. И я прилег – не мог удержаться, я очень устал. Голова моя утонула в подушке. Когда он тут лежал, думал я, он смотрел в это самое окно, на это самое дерево.

"Ты такой мечтатель", – говорит Бруно, и, возможно, он прав. Возможно, мне все это снится. Вот сейчас я услышу звонок в дверь, открою глаза, и передо мной появится Бруно и спросит, не найдется ли у меня рулона туалетной бумаги.

Должно быть, я уснул, потому что следующее, что я увидел, был стоящий надо мной Бернард.

– Извините, я не думал, что тут кто-то есть. Вам плохо?

Я вскочил – если слово "вскочить" вообще применимо к моим движениям. И тут я увидел *это*. На полке, прямо за его плечом. В серебряной рамке. Я бы сказал "увидел ясней ясного", но я никогда не понимал этого выражения. Что может быть яснее ясного?

Бернард обернулся.

– Ах, это, – сказал он, снимая фотографию с полки. – Это моя мама, когда была маленькая. Видите? Вы ее знали такой, какая она здесь?

("Давай встанем под дерево", – сказала она. – "Зачем?" – "Так лучше". – "Может быть, ты сядешь на стул, а я стану рядом. Так всегда снимают мужа с женой". – "Нет, это глупо". – "Почему?" – "Потому что мы не женаты". – "А за руки взяться мы можем?" – "Не можем". – "Но почему?" – "Потому что люди узнают". – "Что узнают?" – "Про нас". – "Ну и что, если узнают?" – "Пусть лучше это будет тайной". – "Почему?" – "Чтоб никто не мог этого у нас отнять".)

– Исаак нашел это в ее вещах, уже после ее смерти, – сказал Бернард. – Замечательная фотография, верно? Не знаю, что за человек рядом с ней. У нее мало чего сохранилось от той жизни. Пара фотографий родителей и сестер, вот и все. Конечно, она не думала, что никогда больше их не увидит, так что почти ничего с собой не взяла. Но эту фотографию я не видел, пока однажды Исаак не нашел ее в ящике в маминой квартире. Она лежала в конверте вместе с несколькими письмами. Все письма были на идише. Исаак полагал, они от человека, в которого она была влюблена в Слониме. Я, правда, сомневаюсь. Она никогда ни о ком таком не упоминала. Вы, наверное, не понимаете, о чем я говорю?

("Если бы у меня был фотоаппарат, я снимал бы тебя каждый день. Тогда бы я знал, какой ты была в любой день твоей жизни". – "Я всегда одинаковая". – "Нет, не одинаковая. Ты меняешься каждый день. Каждый день по чуть-чуть. Если б я мог, я фотографировал бы тебя ежедневно". – "Раз ты такой умный, скажи, насколько я изменилась сегодня?" – "Ты стала на долю миллиметра выше, это во-первых. И волосы твои стали на долю миллиметра длиннее. И твои груди стали..." – "Неправда!" – "Да, да". – "*Нет!*" – "Да". – "Ну а что еще, ты, свинтус?" – "Еще ты стала немножко более счастливой и немножко более печальной". – "Одно другое уравновешивает, то есть я осталась прежней". – "Ничего подобного. То, что ты сегодня стала чуточку счастливее, не меняет факта, что ты стала еще и немного печальнее. Каждый день с тобой происходит и то и другое, а это значит, что сейчас, в данную минуту, ты счастливее и печальнее, чем когда-либо в жизни". – "Откуда ты знаешь?" – "Сама подумай. Была ли ты когда-нибудь более счастливой, чем сейчас, когда ты лежишь здесь на траве?" – "Думаю, что нет. Нет". – "А печальнее, чем

сейчас?" – "Нет". – "У разных людей это бывает по-разному. Некоторые – взять, например, твою сестру – с каждым днем становятся все более и более счастливыми. А другие, как Бейла Аш, все более печальными". – "А про себя что скажешь? Сейчас ты счастливее и печальнее, чем когда-либо?" – "Конечно". – "Почему?" – "Потому что ничто не может сделать меня счастливее и печальнее, чем ты".)

Слезы из моих глаз капали на фотографию. К счастью, она была под стеклом.

– Хотелось бы мне стоять здесь и вспоминать, – сказал Бернард. – Но я должен идти. Все эти люди там... – он показал на дверь. – Позовите меня, если вам что-нибудь понадобится. – Я кивнул. Он закрыл за собой дверь, и тут я, прости меня, Господи, взял фотографию и засунул в штаны. Потом спустился по лестнице, вышел наружу, подошел к одному из стоявших перед домом лимузинов и постучал в стекло. Водитель проснулся.

– Мне пора возвращаться, – сказал я.

К моему удивлению он вышел, открыл дверцу и помог мне влезть в машину.

Когда я приехал домой, первой моей мыслью было, что квартиру ограбили. Мебель вся передвинута в углу, пол усыпан белым порошком. Я схватил бейсбольную биту, стоявшую вместе с зонтиками в углу, и прошел по следам в кухню. Вся свободная поверхность была уставлена кастрюлями, сковородками, грязными мисками. По-видимому, у грабителя хватило времени, чтобы приготовить себе поесть. Я стоял с фотографией, засунутой в брюки. Вдруг за моей спиной что-то грохнуло. Я повернулся и замахнулся вслепую. Но это была всего лишь кастрюлька, скатившаяся со стола на пол. На кухонном столе рядом с моей пишущей машинкой стоял большой пирог, просевший в середине. Но, тем не менее, стоял. Он был посыпан желтой сахарной пудрой, а сверху корявыми розовыми буквами было написано: *Посмотри кто испек пирог.* С другой стороны от машинки лежала записка: *Ждал целый день.*

Я не мог удержаться от улыбки. Отложил биту, собрал кастрюльки и сковородки, поставил нормально стулья, которые – это я помнил – опрокинул прошлой ночью, вытащил фотографию, подышал на стекло, протер рукавом рубашки и поставил на ночной столик. Потом поднялся к Бруно и уже собирался постучать, но увидел записку на двери: *Не беспокоить. Подарок у тебя под подушкой.*

Давно никто не дарил мне подарков. И душа моя переполнилась счастьем. От того, что я смогу просыпаться каждое утро и греть руки о горячую кружку с кофе. Смогу смотреть, как летают голуби. И от того, что в конце моей жизни Бруно меня не забыл.

Я спустился вниз. Чтобы оттянуть предстоящее удовольствие, я решил сначала достать почту из почтового ящика. Потом вернулся в квартиру. Бруно ухитрился весь пол засыпать мукой. Может, ему помог ветер, кто знает. В спальне я увидел, что он изобразил на рассыпанной по полу муке ангела. Я обошел ангела, чтобы не повредить то, что было сделано с такой любовью. Потом поднял подушку.

Там лежал большой коричневый конверт. На нем значилось мое имя, написанное незнакомым почерком. Я открыл конверт. Внутри была пачка печатных страниц. Я начал читать. Слова показались мне знакомыми. Вначале я не понял, откуда они. Потом осознал, что слова – мои собственные.

Палатка моего отца

1. *Мой отец не любил писать письма*

В старой жестяной коробке из-под шоколадных конфет, где лежали мамины письма, не было ни одного от отца. Я везде искала, но так и не нашла. И мне он не оставил письма, чтобы вскрыть, когда я вырасту. Это я знаю, потому что спрашивала у мамы, и она сказала: "Нет, не оставил". Она сказала: не такой он был человек. Когда я спросила, а какой он был, она на минуту задумалась. Наморщила лоб. Еще немного подумала. Потом сказала, что он был не из тех людей, которые во всем следуют общепринятым правилам. "И еще, – сказала она, – он не мог сидеть спокойно". Я помнила его совсем не таким. Я помнила его сидящим в кресле или лежащим в постели. За исключением того времени, когда я была совсем маленькой и думала, что он машинист. Мне сказали, что инженер – это человек, который делает машины, и я представляла себе отца в кабине машиниста локомотива, который тянет за собой длинную цепь сверкающих пассажирских вагонов. Однажды отец рассмеялся и объяснил, в чем моя ошибка. И все стало ясно. Это был один из тех незабываемых моментов, какие случаются в детстве, когда ты осознаешь, что мир все время тебя обманывает.

2. *Он подарил мне ручку, которая могла писать в космосе*

"Она может писать в невесомости", – сказал мне отец, когда я рассматривала ручку, лежащую в бархатном футляре со знаком НАСА. Был мой день рождения, мне исполнилось семь лет. Он лежал на кровати в больнице, в шапке, потому что у него совсем не осталось волос. На одеяле лежала скомканная блестящая упаковочная бумага. Он держал меня за руку и рассказывал историю о том, как в возрасте шести лет кинул камень в голову мальчику, который задирал его брата, и как после этого никто их обоих не трогал. "Ты должна сама защищаться", – говорил он мне. "Но бросаться камнями нехорошо", – сказала я. "Я знаю, – сказал он. – Но ты сообразительнее меня, ты найдешь что-нибудь получше камня". Когда пришла медсестра, я отошла и стала смотреть в окно. В темноте сверкал мост на 59-й улице. Я стала считать проплывающие по реке кораблики. Когда мне это наскучило, я пошла взглянуть на человека, который лежал за ширмой. Большую часть времени он спал, а когда просыпался, у него дрожали руки. Я показала ему ручку и рассказала, что она может писать в невесомости, но он меня не понял. Я постаралась получше объяснить, но он все равно не понимал. Наконец я сказала: "Этой ручкой я буду пользоваться, когда полечу в космос". Он кивнул и закрыл глаза.

3. *Человек, который не смог писать в космосе*

Потом мой отец умер, и я спрятала ручку в ящик стола. Прошли годы, мне исполнилось одиннадцать лет, и я начала переписываться с девочкой из России. Переписка была организована через нашу еврейскую школу местным отделением "Хадассы"[1]. Вначале предполагалось, что мы будем пи-

1. "Хадасса" – основанная в 1912 г. американская женская сионистская организация, созданная для оказания помощи нуждающимся вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности.

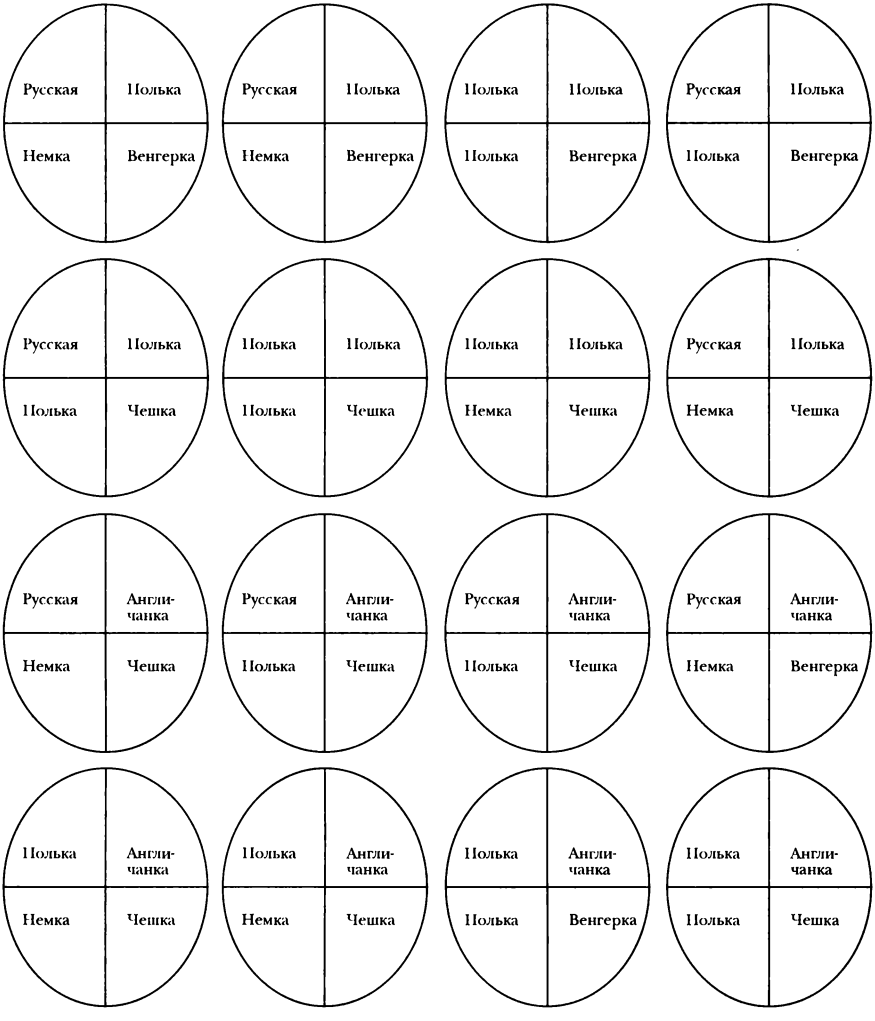
сать русским евреям, которые недавно эмигрировали в Израиль, но когда эта затея провалилась, мы стали переписываться с обычными русскими евреями. На Суккот[1] вместе с первыми письмами мы послали нашим корреспондентам *этрог*[2]. Мою девочку звали Татьяна. Она жила в Санкт-Петербурге, недалеко от Марсова поля. Мне нравилось воображать, будто она живет в космосе. Английский у Татьяны был не на высоте, и часто я не могла понять, о чем она пишет, но очень ждала ее писем. *Мой отец математик,* — писала она. *Мой отец мог выжить в диком месте,* — писала в ответ я. На каждое ее письмо я отвечала двумя. *У тебя есть собака? Сколько человек пользуется твоей ванной комнатой? Есть ли у тебя что-нибудь, что принадлежало раньше царю?* Однажды я получила письмо, в котором она спрашивала, была ли я когда-нибудь в магазине "Сирс и Роубак". В конце письма был постскриптум: *Один мальчик из моего класса переехал в Нью-Йорк. Может быть, ты захочешь написать ему, потому что он никого не знает.* Это было последнее письмо, которое я от нее получила.

4. Я *открыла другие формы жизни*

"Где Брайтон-Бич?" — спросила я. "В Англии", — сказала мама, обшаривая кухонные шкафчики в поисках чего-то, что она положила не на свое место. "Я имею в виду Брайтон-Бич, который в Нью-Йорке". — "Кажется, около Кони-Айленда". — "А до Кони-Айленда далеко?" — "Примерно полчаса". — "На машине или пешком?" — "Можно на метро". — "Сколько остановок?" — "Не знаю. Почему тебя интересует Брайтон-Бич?" — "У меня там друг. Его зовут Миша, он русский", — сказала я с гордостью. "Просто русский?" — мама нырнула в шкафчик под мойкой. "Что ты имеешь в виду под *просто* русский?" Мама распрямилась и повернулась ко мне. "Ничего, — сказала она с таким выражением, которое у нее иногда появляется, когда она думает о чем-то необыкновенно интересном. — Я спросила только потому, что ты, например, на четверть русская, на четверть венгерка, на четверть полька и на четверть немка". Я промолчала. Мама открыла ящик, потом снова задвинула. "На самом деле, — сказала она, — ты можешь сказать, что на три четверти полька и на одну четверть венгерка. Родители *буббе*[3] до того, как переехали в Нюрнберг, жили в Польше, а город, откуда родом бабушка Саша, был в Белоруссии, пока не стал частью Польши. — Она открыла другой шкафчик, набитый пластиковыми пакетами, и начала искать там. — Я даже думаю, ты можешь сказать, что на три четверти полька, а на одну четверть чешка, потому что город, где жил *зейде*[4], до 1918 года принадлежал Венгрии, а потом — Чехословакии, но жители этого города продолжали считать себя венграми, а во время Второй мировой войны он снова ненадолго стал венгерским. Конечно, если захочешь, ты всегда сможешь сказать, что наполовину полька, на четверть венгерка и на четверть англичанка, потому что дедушка Симон уехал из Польши в Лондон, когда ему было девять лет". Она вырвала листок бумаги из блокнота, лежаще-

1. Еврейский осенний праздник (другое название — праздник Кущей), посвященный памяти исхода евреев из Египта и странствий на пути к Земле Обетованной.
2. Плод из семейства цитрусовых, который держат в руках во время утренней молитвы на празднике Суккот.
3. Бабушка (*идиш*).
4. Дедушка (*идиш*).

го около телефона, и стала что-то энергично на нем писать. За минуту она исписала его полностью. "Посмотри, – сказала она, пододвигая ко мне листок. – Фактически ты можешь начертить *шестнадцать разных* диаграмм, и все они будут правильными!" Я посмотрела на листок:



"Кроме того, ты можешь считать себя наполовину англичанкой и наполовину израильтянкой, поскольку..." – "Я *американка*!" – закричала я. Мама прищурилась. "Как хочешь", – сказала она и пошла ставить чайник. И тут Бёрд, который сидел в углу и рассматривал картинки в журнале, пробормотал: "Нет, ты не американка. Ты еврейка".

5. *Однажды я воспользовалась ручкой, чтобы написать отцу*

На мою бат-мицву[1] мы отправились в Иерусалим. Мама хотела, чтобы этот обряд прошел у Стены Плача – тогда там смогут присутствовать буб-

1. Бат-мицва – еврейский праздник совершеннолетия девочки, достигшей 12 лет.

бе и зейде, родители моего отца. Когда зейде приехал в 1938 году в Палестину, он сказал, что никуда отсюда не уедет, и никогда не уезжал. Всякий, кто хотел с ним повидаться, должен был прийти в их квартиру в высоком доме в Кирьят-Вольфсон, откуда виден кнессет[1]. Квартира была полна старой темной мебели и старых фотографий, которые они привезли из Европы. Днем они опускали металлические жалюзи, чтобы защитить все это от слепящего солнца: их вещи не были приспособлены к такой погоде.

Мама неделями искала дешевые авиабилеты и наконец нашла — три билета на "Эль Аль" по 700 долларов. Для нас это было очень дорого, но мама сказала, что на таких вещах нельзя экономить. За день до бат-мицвы мама повезла нас на Мертвое море. С нами поехала и буббе, в соломенной шляпе с лентой, завязанной под подбородком. Выглядела она, когда вышла из раздевалки в купальнике, просто потрясающе: кожа вся в складках и морщинах, под кожей — синие вены. После купания в горячих серных источниках лицо у нее раскраснелось, а над верхней губой выступили капельки пота; с тела струйками стекала вода. Мы пошли за ней на берег. Бёрд стоял в грязи, скрестив ноги. "Если тебе надо пописать, иди в воду", — громко сказала буббе. Несколько толстых русских женщин, с ног до головы обмазанных черной лечебной грязью, обернулись и посмотрели на нее. Даже если буббе это заметила, ей было все равно. Мы плавали на спине, а она наблюдала за нами из-под широких полей своей шляпы. Я закрыла глаза, но чувствовала на себе ее тень. "У тебя совсем нет груди. Что такое?" Я почувствовала, как у меня вспыхнуло лицо, но притворилась, будто ничего не слышу. "У тебя есть бойфренд?" — спросила она. Бёрд насторожил уши. "Нет", — пробормотала я. "Что?" — "Нет". — "Это почему же?" — "Мне двенадцать лет". — "Ну и что?! В твоем возрасте у меня было трое, а то и четверо. Ты молоденькая и хорошенькая, *кейнехоре*[2]". Я отгребла подальше от ее гигантской пышной груди. Но ее голос преследовал меня: "Так будет не всегда!" Я попыталась встать, но поскользнулась в грязи. Стала озираться, ища в воде маму, и наконец увидела. Она заплыла дальше самого дальнего купальщика и продолжала плыть.

На следующее утро, все еще пахнущая серой, я стояла у Стены Плача. В щелях между массивными камнями было полно маленьких скомканных бумажек. Раввин сказал, что, если хочу, я могу написать записку Богу и сунуть ее в щель. Я не верила в Бога и поэтому написала записку отцу: *Дорогой папа, я пишу той самой ручкой, которую ты мне подарил. Вчера Бёрд спросил, умел ли ты делать искусственное дыхание рот в рот, и я сказала ему: да. Еще я сказала, что ты умел управлять катером на воздушной подушке. Кстати, я нашла в подвале твою палатку. Должно быть, мама не заметила ее, когда выкидывала твои вещи. Палатка пахнет плесенью, но не протекает. Иногда я расставляю ее во дворе, забираюсь внутрь и думаю о том, как ты тоже лежал в этой палатке. Я пишу тебе, хотя знаю, что ты не сможешь это прочитать. Любящая тебя Альма.* Буббе тоже написала записку. Когда я засунула свою в Стену, ее листочек выпал. Буббе была занята молитвой, и я подняла листок и развернула. Там было написано: *Барух Хашем*[3]*, мы с мужем должны жить, чтобы увидеть завтрашний день, и как Альма вырас-*

1. Высший законодательный орган Израиля.
2. Чтоб не сглазить (*идиш*).
3. Слава Богу (*иврит*).

тет, и Господь благословит ее здоровьем и счастьем, и, как это ни ужасно, у нее вырастут красивые грудки.

6. Если б у меня был русский акцент, все было бы иначе

Когда я вернулась в Нью-Йорк, меня ждало первое Мишино письмо. *Дорогая Альма*, начиналось письмо, *здравствуй! Я очень рад получить от тебя привет!* Ему было почти тринадцать лет, он на пять месяцев старше меня. Английский у него был лучше, чем у Татьяны, потому что он знал наизусть слова почти всех песен битлов. Он пел их и аккомпанировал себе на аккордеоне, который получил от дедушки, того самого дедушки, который переехал к ним, когда умерла Мишина бабушка. По словам Миши, бабушкина душа спустилась в Летний сад в Санкт-Петербурге в виде стаи гусей. Гуси пробыли там две недели, и когда улетели, вся трава была покрыта гусиным пометом. Дедушка переехал к ним через несколько недель и притащил с собой старый чемодан, в котором было восемнадцать томов "Истории евреев". Дедушка поселился в комнате, и без того тесной, где жил Миша со своей сестрой Светланой. Он достал аккордеон и занялся главным делом своей жизни. Вначале он сочинял вариации на темы русских народных песен вперемешку с еврейскими мотивами. Потом перешел к более мрачным, каким-то диким вариантам и в конце концов совсем перестал играть знакомые мелодии — они сменились печальными протяжными нотами, он играл и плакал. Даже Миша и Света, какими бы тупыми они ни были, понимали, что дедушка наконец стал композитором, о чем всегда мечтал. У него была побитая машина, которую он оставлял в переулке за домом. Миша рассказывал, что дедушка водил машину, как слепой, — она катила сама по себе, готовая сшибать все на своем пути, и только когда ситуация становилась опасной для жизни, дедушка кончиками пальцев поворачивал руль. Когда дедушка приезжал, чтобы забрать их из школы, Миша со Светой затыкали уши и старались не смотреть в его сторону. Но когда он заводил мотор, уже невозможно было делать вид, что они его не замечают. Тогда они, опустив головы, спешили к автомобилю, проскальзывали на заднее сиденье и прижимались друг к дружке. Дедушка садился за руль и принимался петь, вторя магнитофонной записи альбома с неприличным названием панк-группы их двоюродного брата Левы. Но он всегда путал слова. Вместо: *Опять подрался и морду всю расквасил* – мог спеть: *Залюбовался – твой облик так прекрасен!*, а вместо: *Ты стерва, но как ты хороша!* пел: *Будь лучшим – и запоет душа!* Когда Миша и его сестра говорили ему, что он поет неправильно, дедушка разыгрывал удивление и усиливал звук, чтобы лучше слышать, но и в следующий раз опять пел совсем не то. Когда дедушка умер, он оставил Свете восемнадцать томов "Истории евреев", а Мише — аккордеон. Примерно в то же время Левина сестра, у которой глаза были подведены синими тенями, зазвала Мишу к себе в комнату, сыграла ему "Пусть будет так" и научила его целоваться.

7. Мальчик с аккордеоном

Мы с Мишей написали друг другу в общей сложности двадцать одно письмо. Это было в тот год, когда мне исполнилось двенадцать, и за два года до того, как Джейкоб Маркус написал моей маме и попросил ее

перевести "Историю любви". Мишины письма были полны восклицательных знаков и вопросов о том, что означают разные английские жаргонные словечки, а я расспрашивала его о жизни в России. Потом он пригласил меня на свою бар-мицву.

Мама заплела мне косы, разрешила взять свою красную шаль и отвезла меня на Брайтон-Бич. Я позвонила в звонок на двери подъезда и стала ждать, пока Миша спустится вниз. Мама помахала мне рукой из машины. Я дрожала от холода. Из дома вышел высокий мальчик с черными усиками над верхней губой. "Альма?" — спросил он. Я кивнула. "Привет, мой друг!" — сказал он. Я помахала маме и пошла за ним. В подъезде пахло чем-то вроде кислой капусты. Квартира наверху была набита людьми, которые ели и громко говорили по-русски. В углу столовой сидели музыканты, и люди танцевали, хотя места не было. Миша был все время занят — разговаривал с каждым и совал к себе в карман конверты, так что я большую часть вечера провела, сидя на краешке дивана с тарелкой огромных креветок. Я вообще-то не ем креветок, но это была единственная знакомая мне еда. Если кто-нибудь со мной заговаривал, приходилось объяснять, что я не говорю по-русски. Один старик предложил мне выпить водки. Как раз в этот момент Миша выскочил из кухни со своим аккордеоном, подсоединенным к усилителю, и запел. "Ты говоришь, это твой день рождения!" — кричал он. Толпа заметно воодушевилась. "Но это и мой день рождения тоже!" — выкрикнул он, и аккордеон ожил. Потом прозвучала песня "Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера", которую сменили "Солнце встает" и еще пять или шесть песен битлов. А потом, после битлов, зазвучала "Хава Нагила", и все словно сошли с ума, начали подпевать и пытались танцевать. Когда музыка наконец прекратилась, Миша отыскал меня. Лицо у него было красным и потным. Он взял меня за руку, и я пошла за ним из квартиры, по коридору, вверх по лестнице и через дверь на крышу. Вдали видны были океан, огни Кони-Айленда и заброшенные аттракционы. У меня от холода стучали зубы, и Миша снял свой пиджак и накинул мне на плечи. Пиджак был теплый, и от него пахло потом.

8. *Блядь*[1]

Я рассказала Мише всё. О том, как умер мой отец, о том, как одинока моя мама, и о том, что Бёрд непоколебимо верит в Бога. Я рассказала ему о трех моих тетрадях "Как выжить в диком месте", и об английском издателе и его регате, о Генри Лавендере и его филиппинских раковинах, и о ветеринаре Туччи. Я рассказала о докторе Элдридже и о "Жизни, какой мы ее не знаем", а еще — через два года после того, как мы начали переписываться, и спустя семь лет после смерти моего отца и 3,9 миллиарда лет после возникновения жизни на Земле, когда Джейкоб Маркус прислал свое первое письмо из Венеции, — я рассказала Мише про "Историю любви". В основном мы переписывались или говорили по телефону, но иногда по выходным встречались. Мне больше нравилось приезжать на Брайтон-Бич, потому что миссис Шкловски поила нас чаем из фарфоровых чашек с вишневым вареньем, а мистер Шкловски, всегда с темными кругами пота под мышками, учил меня ругаться по-русски. Иногда мы брали

1. В оригинале по-русски.

напрокат фильмы, чаще всего про шпионов или триллеры. Особенно мы любили "Окно во двор", "Незнакомцы в поезде" и "На север через северо-запад"[1], этот последний фильм мы смотрели десять раз. Когда я написала Джейкобу Маркусу будто бы от имени моей мамы, я рассказала об этом Мише и прочитала ему по телефону черновик письма. "Ну и что ты думаешь?" – спросила я. "Я думаю, ты жопа..." – "Забудь про это", – сказала я.

9. *Человек, который искал камень*

Прошла неделя с того дня, как я отправила свое письмо, вернее, письмо моей мамы, называйте как хотите. Прошла еще одна неделя, и я стала думать, что Джейкоб Маркус, возможно, куда-нибудь уехал, может быть, в Каир или в Токио. И еще неделя прошла, и я начала думать, что, может быть, он каким-то образом угадал правду. Еще через четыре дня я стала изучать выражение маминого лица в поисках признаков гнева. Был уже конец июля. Я подождала еще один день и решила написать Джейкобу Маркусу и извиниться. Но на следующий день от него пришло письмо.

На конверте авторучкой было написано мамино имя: Шарлотта Зингер. Я засунула письмо в шорты, и как раз в эту секунду зазвонил телефон. "Алло", – нетерпеливо сказала я. "*Машиах*[2] дома?" – спросил голос на другом конце провода. "*Кто?*" – "*Машиах*". Голос был детский, и я услышала издалека сдавленный смех. Это вполне мог быть Луис, который жил в соседнем квартале; они с Бёрдом дружили, но потом Луис завел себе других друзей, которые ему нравились больше, и перестал с моим братом разговаривать. "Оставь его в покое", – сказала я и повесила трубку, пожалев, что не придумала в ответ чего-нибудь получше.

Я побежала в парк, придерживая на боку шорты, чтобы конверт не выпал. Было жарко, я вспотела. Около мусорного контейнера на Лонг-Мидоу я остановилась и открыла письмо. На первой странице Джейкоб Маркус писал, как ему нравятся главы, которые прислала мама. Я все это пропустила, пока на следующей странице не наткнулась на такую фразу: *Я еще не упомянул о Вашем письме.* Дальше он писал:

Мне очень польстило Ваше любопытство. Хотелось бы дать более интересные ответы на все Ваши вопросы. Должен сказать, что последнее время я почти не выхожу из дома: просто сижу и смотрю в окно. Я всегда любил путешествовать. Но поездка в Венецию оказалась труднее, чем я думал, и вряд ли я поеду туда снова. Моя жизнь, по не зависящим от меня причинам, свелась к самым простым действиям. Вот, например, на моем столе лежит камень. Кусок темно-серого гранита, рассеченный пополам белой жилкой. Я потратил целое утро, чтобы его найти. Большую часть камней я отверг. Когда я приступил к поискам, у меня не было четкого представления о том, каким этот камень должен быть. Я считал, что узнаю его, когда увижу. Но в процессе поиска у меня появились определенные требования. Он должен удобно лежать в руке, быть гладким, желательно серым и т. д. Так я провел утро. Последующие несколько часов я отдыхал.

Так бывало не всегда. Я считал день потерянным, если хотя бы чего-нибудь не сделал. Заметил или не заметил, как хромает садовник, покрылось ли озеро льдом, наблюдал ли за долгими одинокими прогулками соседского ребенка, у которого явно не было друзей, – раньше это не принималось в расчет. Но теперь все изменилось.

1. Фильмы Альфреда Хичкока (1899–1980).
2. Мессия, помазанник (*иврит*).

Вы спрашиваете, женат ли я. Я был женат, но очень давно, и мы были достаточно умны – или достаточно глупы, – чтобы не заводить детей. Мы встретились, когда были очень молоды и еще не знали толком, что такое разочарование, а когда узнали, поняли, что именно это испытывает каждый из нас. Думаю, про меня Вы тоже могли бы сказать, что я ношу на лацкане маленького русского космонавта. Сейчас я живу один, и это меня не огорчает. Ну, может быть, чуть-чуть. Но вряд ли найдется такая необыкновенная женщина, которая захочет быть рядом со мной теперь, когда я едва дохожу до конца подъездной дорожки и обратно, чтобы принести почту. Дважды в неделю приятель привозит мне продукты, да ежедневно заглядывает соседка под предлогом ухода за клубникой, которую она выращивает в моем саду. А я вовсе и не люблю клубнику.

Я, конечно, сгущаю краски. Ведь я даже пока еще Вас не знаю, а уже напрашиваюсь на сочувствие.

Вы спросили, чем я занимаюсь. Читаю. Сегодня утром закончил "Улицу Крокодилов"[1] *– в третий раз. Я нахожу эту книгу почти невероятно прекрасной.*

И еще я смотрю фильмы. Мой брат купил мне DVD-плеер. Вы не поверите, сколько фильмов я посмотрел за последний месяц. Вот чем я занимаюсь. Смотрю фильмы и читаю. Иногда даже прикидываюсь, что пишу, но никого этим не обманываю. Да, и еще я хожу за почтой.

Но – довольно. Я в восторге от Вашей книги. Пожалуйста, пришлите еще.

Дж. М.

10. Я *прочитала письмо сто раз*

И каждый раз, читая, чувствовала, что все меньше знаю о Джейкобе Маркусе. Он сообщил, что провел целое утро, глядя на кусок камня, но ни разу ничего не сказал о том, почему "История любви" так для него важна. Конечно, я обратила внимание на его слова: "Я *пока еще* Вас не знаю". Пока еще! Значит, он собирается узнать нас лучше, во всяком случае мою маму, поскольку обо мне и Бёрде он вообще не знает. (Пока еще!) И почему он едва доходит до почтового ящика и обратно? И почему только необыкновенная женщина может захотеть быть с ним рядом? И почему он носит русского космонавта на лацкане?

Я решила составить список ключей к разгадке. Пошла домой, заперлась в спальне и достала третью тетрадь "Как выжить в диком месте". Открыла чистую страницу. Я решила все зашифровать на случай, если кто-нибудь вздумает сунуть нос в мои дела. Вспомнила Сент-Экза. И написала наверху страницы: *Как выжить, если у тебя не раскрылся парашют.* Затем я написала:

1. Ищи камень
2. Живи около озера
3. Заведи хромого садовника
4. Читай "Улицу Крокодилов"
5. Нужна необыкновенная женщина
6. Трудно даже дойти до почтового ящика

Это было все, что я могла извлечь из письма, поэтому я проскользнула в мамин кабинет, пока она была внизу, и взяла из ящика стола его предыдущие письма. Я прочитала их, чтобы найти новые ключи. И тут сооб-

1. "Улица Крокодилов" – новелла из сборника "Коричные лавки" польского писателя Бруно Шульца (1892–1942).

разила, что в своем первом письме он упомянул о Никаноре Парра из маминого предисловия, том самом, который носил на лацкане маленького русского космонавта, а в карманах — письма женщины, которая ушла от него к другому. Раз Джейкоб Маркус написал, что и он носит русского космонавта, не значит ли это, что его жена тоже бросила его и ушла к другому? Но я не была в этом уверена и потому не стала вставлять в свой список. Вместо этого я написала:

7. Съезди в Венецию
8. Попроси кого-нибудь почитать тебе перед сном из "Истории любви"
9. Никогда этого не забывай

Я просмотрела все свои ключи к разгадке. Ни один из них мне не помог.

11. *Как у меня дела*

Я решила, что, если действительно хочу выяснить, кто такой Джейкоб Маркус и почему для него так важно получить перевод "Истории любви", единственное место, где можно найти ответ, — сама книга.

Я тихонько поднялась в мамин кабинет, чтобы попытаться распечатать переведенные ею главы. Единственная проблема была в том, что мама сидела за компьютером. "Привет", — сказала она. "Привет", — ответила я как ни в чем не бывало. "Как дела?" — спросила она. "Прекрасноспасибоакактвоидела?" — ответила я, потому что именно так мама учила меня отвечать. Еще она меня учила, как правильно держать нож и вилку, как удерживать чашку чая двумя пальцами, как лучше всего выковыривать застрявший в зубах кусочек пищи, чтобы не обращать на себя внимания, — все это на тот случай, если английская королева пригласит меня на чаепитие. Когда я возразила, что не знаю никого, кто бы держал нож и вилку правильно, мама посмотрела на меня с грустью и сказала, что старается быть хорошей матерью, и если она не научит меня, то кто же научит? Тем не менее мне не хотелось, чтобы она меня учила, потому что иногда быть вежливым хуже, чем быть невежливым. Например, когда Грег Фелдман проходил мимо по школьному коридору и сказал: "Эй, Альма, как дела?" — и я сказала: "Прекрасноспасибоакактвоидела?", он остановился, посмотрел на меня так, будто я только что прилетела с Марса, и сказал: "Почему ты не можешь просто ответить: так себе?"

12. *Так себе*

Стемнело, и мама сказала, что дома нечего есть, и не хотим ли мы заказать что-нибудь из тайского ресторана, или из западно-индийского, а как насчет камбоджийского? "Почему нельзя просто приготовить?" — спросила я. "Макароны с сыром?" — спросила мама. "Миссис Шкловски делает очень вкусную курицу с апельсинами". Мама посмотрела на меня с сомнением. "А если чили[1]?" — сказала я. Пока мама была в супермаркете, я пошла наверх в ее кабинет и распечатала главы из "Истории любви" — с первой по пятнадцатую, ровно столько, сколько она перевела. Я отнесла эти стра-

1. Популярное в Соединенных Штатах мексиканское блюдо из перца чили с мясом и фасолью.

ницы вниз и спрятала под кровать, в рюкзак, припасенный на случай, если придется выживать в диком месте. Спустя несколько минут мама пришла домой и принесла фунт индюшачьего фарша, головку брокколи, три яблока, банку огурчиков и коробку импортных испанских марципанов.

13. *Вечное разочарование в жизни, какая она есть*

После обеда (так называемые "куриные" котлеты, разогретые в микроволновке) я рано легла в постель и под одеялом, светя себе фонариком, стала читать переведенные мамой главы из "Истории любви". Там была глава о том, как люди в прежние времена разговаривали с помощью рук, и о человеке, который думал, что сделан из стекла, а глава, которую я раньше не читала, называлась "Рождение чувства". *Чувства не так стары, как время*, начиналась эта глава.

Когда-то кто-то потер одну о другую две палочки, и впервые появилась искра. Точно так же когда-то кто-то впервые испытал радость и печаль. Поначалу новые чувства изобретались постоянно. Очень рано родилось желание, а также сожаление. Когда в первый раз возникло упрямство, оно дало начало цепной реакции, создавая чувство негодования, с одной стороны, и чувства отчуждения и одиночества — с другой. Быть может, некое движение бедер против часовой стрелки привело к рождению исступленного восторга, а вспышка молнии вызвала первое чувство страха. Или, возможно, это было тело девушки по имени Альма. Вопреки логике, чувство удивления возникло не внезапно. Оно пришло только, когда люди успели привыкнуть к вещам таким, какие они есть. И когда уже прошло достаточно времени и кто-то впервые испытал удивление, то кто-то другой, в другом месте, ощутил первый приступ ностальгии.

Несомненно, что иногда у людей возникали новые чувства, но поскольку не было слов для их обозначения, они уходили неназванными. Возможно, старейшее в мире чувство — это когда что-то трогает тебя до глубины души, но описать его или даже просто назвать — все равно что пытаться поймать нечто невидимое.

(Опять-таки, возможно, что самое древнее чувство в мире — смущение.)

Когда люди научились чувствовать, их желание чувствовать начало расти. Им хотелось чувствовать больше, глубже, даже если иногда это причиняло боль. Потребность в чувствах стала непреодолимой. Люди стремились открывать новые эмоции. Именно так, вероятно, родилось искусство. Изобретались новые виды радости — наряду с новыми видами печали: вечное разочарование в жизни, какая она есть; облегчение от неожиданной передышки; страх смерти.

Да и сейчас еще не все возможные чувства существуют. До сих пор есть такие, что лежат за пределами наших способностей и нашего воображения. Время от времени, когда появляется ни на что не похожее музыкальное произведение, или картина, каких еще никто никогда не писал, или что-нибудь такое, что невозможно предсказать, постичь или вообразить, в мире возникает новое чувство. И тогда, в миллионный раз в истории чувств, сердце раскрывается и принимает удар.

Остальные главы были в том же духе, и ни одна не объяснила мне, почему "История любви" так важна для Джейкоба Маркуса. Зато я обнаружила, что думаю об отце. О том, как, должно быть, много значила для него эта книга, раз он дал ее маме уже через две недели после их встречи – а ведь он знал, что мама еще не умеет читать по-испански. Почему? Да конечно потому, что он ее полюбил.

Потом я подумала о другом. А вдруг отец написал что-нибудь в той книге, которую дал моей матери? Почему-то раньше мне не приходило в голову в нее заглянуть.

Я встала и поднялась наверх. Мамин кабинет был пуст, книга лежала рядом с компьютером. Я взяла ее и открыла титульную страницу. Незнакомым почерком там было написано: *Шарлотте, моей Альме. Вот книга, которую я хотел бы написать для тебя, если бы я мог писать. С любовью. Давид.*

Я вернулась в постель и долго думала об отце и этих двадцати словах.

А потом я стала думать о ней. Альма. Кто она такая? Мама бы сказала: кто угодно, всякая девушка и всякая женщина, которую кто-либо когда-либо любил. Но чем больше я о ней думала, тем больше мне казалось, что она не просто какая-то девушка, она – *кто-то*. Потому что, если бы Литвинов сам не был влюблен, он не смог бы написать так много о любви. Влюблен в кого-то конкретного. И этого *кого-то* должны были звать...

Под девятым ключом к разгадке я приписала еще один:

10. Альма

14. *Рождение чувства*

Я кинулась вниз на кухню, но там было пусто. Маму я увидела за окном, на нашем заднем дворе, заросшем травой и сорняками. Я распахнула дверь. "Альма", – сказала я, тяжело дыша. "Хм", – сказала мама. В руке она держала садовую лопатку. У меня не было времени остановиться и подумать, зачем ей эта лопатка – ведь садом всегда занимался отец, а не она, и уже был вечер, половина десятого. "Как ее фамилия?" – спросила я. "Ты о чем?" – спросила мама. "Альма, – нетерпеливо повторила я. – Девочка из книги. Как ее фамилия?" Мама вытерла лоб, оставив на нем грязные разводы. "Да, да, вот сейчас, когда ты спросила, я вспомнила: в одной из глав упоминается ее фамилия. Странно... все имена в книге испанские, а ее фамилия..." Мама нахмурилась. "Какая? – спросила я взволнованно. – Ну, какая?" – "Меремински", – сказала мама. "Меремински", – повторила я. Она кивнула. "М-е-р-е-м-и-н-с-к-и. Или Мереминская. Польская фамилия. Наверное, Литвинов специально ее оставил, чтобы показать, откуда он родом".

Я побежала обратно наверх, залезла в кровать, зажгла фонарик и открыла третью тетрадь "Как выжить в диком месте". Рядом со словом *Альма* я написала *Меремински*.

На следующий день я начала ее искать.

Горе от ума

С годами Литвинов кашлял все сильнее и сильнее. Сухой кашель сотрясал все его тело, заставлял сгибаться в три погибели, выскакивать с извинениями из-за обеденного стола, не отвечать на телефонные звонки

и отказываться от приглашений где-нибудь выступить. Приглашали его, правда, не часто, зная, что он болен, хотя кое о чем сказать ему хотелось. И чем дальше, тем больше хотелось и тем меньше для этого было возможностей. Иногда он в панике просыпался среди ночи. "Роза!" — кричал он. И не успевали слова слететь с его языка, как он чувствовал ее руку на своей груди и слышал звук ее голоса: "Что случилось? Что с тобой, дорогой?" — и он терял всю свою храбрость, пугаясь возможных последствий. И вместо того чтобы сказать то, что ему так хотелось сказать, говорил: "Ничего, ничего. Просто плохой сон приснился" — и ждал, когда она снова заснет, чтобы скинуть одеяло и выйти на балкон.

В молодости у Литвинова был друг. Не самый лучший друг, но довольно близкий. В последний раз он видел его в тот день, когда покидал Польшу. Друг стоял на углу улицы. Они уже разошлись, попрощавшись, но оба оглянулись, чтобы посмотреть, как уходит другой. Друг прижимал к груди кулак с зажатой в нем шапкой. Он поднял руку, приветствуя Литвинова, и улыбнулся. Затем нахлобучил шапку на глаза, повернулся и исчез в толпе. С тех пор не проходило дня, чтобы Литвинов не вспоминал эту минуту и своего друга.

Ночами, когда он не мог заснуть, Литвинов иногда шел в свой кабинет и доставал "Историю любви". Он столько раз перечитывал главу "Век Веревок", что теперь эта страница открывалась автоматически:

> Столько слов пропало. Они вылетали изо рта, и теряли всякий кураж, и бесцельно слонялись до тех пор, пока их не сметали в канаву, как мертвые листья. В дождливые дни можно услышать, как они шелестят, уносимые водой: *ЯбылакрасиваядевочкаПожалуйстанеуходиЯтожеверючтомоетелостекляннноеЯникогданикогонелюбилаЯсмеюсьнадсобойПростименя....*
>
> Было время, когда для того, чтобы направить слова по правильному пути, чтоб они достигли места своего назначения, частенько использовали веревку. Те, что были позастенчивее, носили в кармане моток бечевки, но и крикуны нуждались в ней не меньше, поскольку те, кто привык, что их все слышат, часто не знают, как быть услышанным одним человеком. Физическое расстояние между двумя людьми, прибегнувшими к помощи веревочки, часто бывает небольшим, но иногда чем меньше расстояние, тем больше нужда в веревке.
>
> Обычай привязывать чашечки к концам веревки появился значительно позже. Некоторые считают, что это связано с неистребимым стремлением прижать к уху раковину, чтобы услышать еще не отзвучавшее эхо первого в мире восклицания. Другие говорят, что первым так поступил человек, державший конец веревочки, которую протянула через океан девочка, уехавшая в Америку.
>
> По мере того как мир становился больше, веревочек перестало хватать, и слова, которые люди хотели сказать, исчезали в пространстве. И тогда был изобретен телефон.
>
> Иногда самой длинной веревки не хватает, чтобы сказать нужные слова. В таком случае единственное, что может сделать веревочка в любом своем виде, — это передать чье-то молчание.

Литвинов закашлялся. Книга у него в руках была копией копии копии копии оригинала, который больше не существовал, разве что в его голове.

Не того "оригинала", каковым является идеальная книга, родившаяся в воображении автора перед тем, как он сядет и начнет писать. Оригинал, который сохранился в голове Литвинова, был воспоминанием о рукописи, написанной на его родном языке, рукописи, которую он держал в руках в тот день, когда последний раз прощался со своим другом. Они не знали, что этот раз будет последним. Но в душе каждый из них предполагал, что так может случиться.

Литвинов тогда был журналистом. Он работал в ежедневной газете и писал некрологи. Время от времени вечером после работы он шел в кафе, где обычно собирались художники и философы. Поскольку Литвинов мало кого из них знал, он обычно заказывал что-нибудь выпить, делал вид, будто читает газету, которую уже прочел, и слушал разговоры вокруг:

Мысль о времени вне нашего опыта непереносима!

Маркс, черт бы его побрал.

Роман умер!

Прежде чем объявить о нашем согласии, нужно тщательно проверить...

Освобождение – только средство достижения свободы, но отнюдь не ее синоним!

Малевич? Мои сопли интереснее, чем его мазня.

А это, мой друг, и есть горе от ума!

Иногда Литвинов не соглашался с каким-либо доводом и мысленно готовил блестящее опровержение.

Однажды он услышал за спиной голос: "Хорошая, должно быть, статья – ты читаешь ее последние полчаса". Литвинов вскочил и, обернувшись, увидел знакомое лицо: на него сверху вниз с улыбкой смотрел друг детства. Они обнялись, и каждый отметил, как минувшие годы изменили другого. Литвинова всегда тянуло к нему, и теперь не терпелось узнать, что тот делал в последние годы. "Работал, как все", – сказал друг, пододвигая себе стул. "А твое сочинительство?" – спросил Литвинов. Друг пожал плечами. "Ночью тихо. Никто мне не мешает. Хозяйская кошка приходит и сидит у меня на коленях. Обычно я засыпаю прямо за столом и просыпаюсь, когда начинает светать и кошка уходит". И тут, без всякого повода, оба расхохотались.

С этого дня они каждый вечер встречались в кафе. С нарастающим ужасом обсуждали продвижение на восток гитлеровских армий и слухи о том, что делают немцы с евреями, пока от этих разговоров не становилось невыносимо тяжело. "Может быть, поговорим о чем-нибудь повеселее", – предлагал в конце концов его друг, и Литвинов, с удовольствием поменяв тему, с увлечением испытывал на старом друге одну из своих философских теорий, или делился своими намерениями быстро заработать наличные деньги, торгуя женскими чулками на черном рынке, или описывал хорошенькую девушку, которая живет в доме напротив. Друг, в свою очередь, иногда показывал ему то, что за последние дни написал. Совсем понемножку – абзац-другой то отсюда, то оттуда. Но Литвинов всегда испытывал нешуточное волнение. С первой же страницы он понял: за то время, что прошло с тех давних пор, когда они вместе ходили в школу, его друг стал настоящим писателем.

Спустя несколько месяцев, когда пришло известие о гибели писателя Исаака Бабеля в московских застенках, Литвинову поручили написать некролог. Это было ответственное задание, и он напряженно работал, стараясь найти нужный тон для рассказа о трагической смерти выдающего-

ся писателя. Он допоздна засиживался в редакции, но, возвращаясь холодной ночью домой, улыбался, уверенный, что некролог получится едва ли не лучшим из всех, что вышли из-под его пера. Ведь так часто материал, попадавший в его распоряжение, бывал скудным и незначительным, и ему приходилось испещрять текст эпитетами в превосходной степени, вставлять избитые общие фразы и всячески возвеличивать покойного, дабы вызвать у читателя чувство невосполнимой потери. На этот раз все было иначе. На этот раз необходимо было подняться до уровня материала, найти нужные слова для человека, который был мастером слова, который посвятил свою жизнь борьбе со штампами в надежде открыть миру новые пути — показать, как надо мыслить и писать; и даже как надо чувствовать. И наградой за этот труд стала пуля в затылок.

На следующий день некролог появился в газете. Редактор вызвал Литвинова и поздравил с успешной работой. Несколько коллег рассыпались в комплиментах. Вечером в кафе они встретились с другом, и тот тоже его похвалил. Литвинов, чувствуя себя счастливым и гордым, заказал им обоим водку.

Прошло несколько недель, и однажды его друг не пришел в кафе как обычно. Литвинов прождал его полтора часа, потом, отчаявшись, пошел домой. Он ждал его и на следующий день, и опять друг не появился. Встревожившись, Литвинов пошел к нему домой, туда, где тот снимал комнату. Он никогда там не бывал, но знал адрес. Его удивило, каким грязным и неухоженным оказался дом: стены в подъезде все в жирных пятнах, какой-то затхлый запах. Он постучался в первую же дверь. Открыла женщина. Литвинов спросил, не знает ли она, где живет его друг. "Да, конечно, — ответила женщина. — Большой писатель. — И ткнула пальцем вверх: — Последний этаж, направо".

Литвинов стучал минут пять, пока наконец не услышал тяжелые шаги. Дверь открылась, его друг стоял на пороге в ночном белье, бледный и осунувшийся. "Что случилось?" — спросил Литвинов. Тот пожал плечами и закашлялся. "Берегись, не то подхватишь такую же пакость", — сказал он и побрел обратно к кровати. Литвинов стоял в нерешительности посреди тесной комнаты, желая помочь и не зная как. Наконец с подушек донесся голос: "Хорошо бы чашку чаю". Литвинов поспешил в угол комнаты, где было некое подобие кухни, и попытался найти чайник. "На плите", — слабым голосом отозвался его друг. Пока закипала вода, Литвинов открыл окно, чтобы немножко проветрить комнату, и вымыл грязные тарелки. Принеся другу чашку горячего чая, он увидел, что того трясет лихорадка. Литвинов закрыл окно и спустился вниз попросить у хозяйки лишнее одеяло. Спустя некоторое время друг заснул. Не зная, что делать дальше, Литвинов сел на единственный в комнате стул и стал ждать. Через четверть часа за дверью мяукнула кошка, он впустил ее, но она увидела, что ее ночной компаньон болен, и ушла.

Стул стоял у деревянного стола. На нем были разбросаны бумаги. Одна из них привлекла внимание Литвинова, он оглянулся и, убедившись, что друг его спит, взял страницу. Наверху была надпись: "Смерть Исаака Бабеля".

Только тогда, когда его обвинили в том, что молчание — это преступление, Бабель понял, как много есть разных видов молчания. Когда он слушал музыку, он больше не прислушивался к нотам, он

слушал тишину между ними. Когда читал книгу, целиком сосредотачивался на запятых и точках с запятыми, на промежутках между точкой и заглавной буквой следующего предложения. В комнате он открыл места, где скапливалось молчание: складки штор, глубокие чаши фамильного серебра. Когда к нему обращались, он все меньше и меньше слышал, что ему говорят, и все больше и больше — о чем не говорят. Он научился расшифровывать значение некоторых видов молчания — это было похоже на решение сложной задачи исключительно с помощью интуиции. И никто не мог бы его обвинить, что он не преуспел в этом новом своем ремесле. Ежедневно он создавал целые эпопеи молчания. Вначале это было нелегко. Вообразите себе, как трудно хранить молчание, когда ваш сын спрашивает, существует ли Бог, или любящая вас женщина спрашивает, любите ли вы ее. Первое время Бабель старался использовать только два слова: да и нет. Но он знал, что даже одно-единственное слово может уничтожить хрупкую материю тишины.

Даже после того, как его арестовали и сожгли все его рукописи — а на самом деле чистые страницы, — он отказывался говорить. Даже стона не издавал, когда его били по голове и сапогом в пах. Только в самый последний момент, стоя перед расстрельной командой, писатель Бабель внезапно почувствовал, что, возможно, он ошибался. И когда винтовки уже были нацелены ему в грудь, подумал, не принимал ли он за богатство молчания то, что на самом деле было нищетой никогда не услышанного. И когда пули вылетели из стволов, его тело пронзила истина. И малая часть его горько смеялась: как же он мог забыть то, что знал всегда, — ничто не может сравниться с молчанием Бога.

Литвинов выронил страницу. Он был в ярости. Как посмел его друг, имея возможность выбирать любые темы, украсть ту единственную, на которую уже написал Литвинов, причем написал так, что мог этим гордиться? Он почувствовал себя осмеянным и униженным. Ему захотелось вытащить друга из постели и потребовать от него объяснений. Но минутой позже он остыл, и перечитал написанное, и понял правду. Его друг ничего у него не украл. Да и как мог он украсть? Смерть человека не принадлежит никому, кроме самого умершего.

Литвинова охватила печаль. Все эти годы он воображал себя похожим на своего друга. Он гордился этим сходством. Но правда заключалась в том, что он был похож на человека, лежащего в двух шагах от него в лихорадке, не больше чем кошка, которая только что вышла из комнаты. Они принадлежали к разным видам. Это очевидно, подумал Литвинов. Надо всего лишь сравнить два подхода к одному и тому же предмету. Там, где Литвинов видел страницу, исписанную словами, его друг видел пространство, полное колебаний, черных дыр и возможностей читать между слов. Там, где его друг видел пятна света, блаженство полета и гнетущую силу тяжести, он видел только четкий контур простого воробья. Жизнь Литвинова определялась радостью ощутимой реальности, жизнь его друга — отречением от реальности с ее неоспоримыми фактами. Глядя на свое отражение в темном окне, Литвинов понял, что какая-то шелуха спала с него, и ему открылась истина: он — посредственность. Он самый обыкновенный человек, готовый прини-

мать вещи такими, какие они есть, и потому ему не дано быть хоть в чем-то оригинальным. И хотя тут он был совершенно неправ, после той ночи его уже ничто не могло переубедить.

Под страницей "Смерти Исаака Бабеля" лежала другая страница. Со слезами на глазах, полный жалости к самому себе, Литвинов начал читать:

"Смерть Франца Кафки"

Он умер на дереве, с которого отказывался сойти. Ему кричали: "Слезай, слезай!" Тишина наполнялась ночью, и ночь наполнялась тишиной, пока они ждали, что Кафка заговорит. "Я не могу", — сказал он наконец с грустью. "Почему?" — кричали они. "Потому что тогда я больше не буду вам нужен". Люди перешептывались и кивали друг другу. Они стояли обнявшись и гладили по головкам своих детей. Они сняли шляпы и подняли их к маленькому болезненному человеку с ушами как у странного животного, сидевшему в своем черном бархатном костюме среди темных ветвей. Потом они повернулись и пошли под сенью густой листвы к своим домам. Отцы несли на плечах сонных детей, уставших смотреть на человека, писавшего свои книги на кусках коры, содранной с дерева, откуда он не желал слезать. Он писал их своим изящным, красивым, неразборчивым почерком. И люди восхищались этими книгами и восхищались его волей и стойкостью. В конце концов, кому не хочется устроить представление из своего одиночества? Одна за другой семьи прощались, желая друг другу спокойной ночи, пожимая руки соседям с неожиданной благодарностью за компанию. Закрывали двери в теплые дома. За окнами зажигались свечи. Вдалеке, на своем насесте, Кафка прислушивался к несущимся оттуда звукам: шороху одежды, упавшей на пол, шелесту губ, блуждающих по обнаженным плечам, скрипу кровати под грузом нежности. Все это улавливали его маленькие заостренные ушные раковины, и все это раскатывалось подобно бильярдным шарам в свободном пространстве его сознания.

В ту ночь подул леденящий ветер. Когда дети проснулись и приникли к окнам, они увидели, что мир закован в лед. Одна девочка, самая маленькая, закричала от восторга, и ее крик разорвал тишину и взломал корку льда на гигантском дубе. Мир сиял.

Они нашли его на земле, он лежал, как замерзшая птица. Говорят, прикладывая ухо к его ушной раковине, они слышали самих себя.

Под этой страницей была другая, озаглавленная "Смерть Толстого", и еще одна — про Осипа Мандельштама, который умер в конце страшного 1938 года в пересыльном лагере близ Владивостока, а под ними — еще шесть или восемь страниц. Только последняя отличалась от остальных. На ней было написано: "Смерть Леопольда Гурского". Литвинов почувствовал холодок в сердце. Он взглянул на своего друга, прислушался к его тяжелому дыханию и начал читать. Дочитав до конца, покачал головой и стал читать снова. И потом еще раз. Он читал это и перечитывал, произнося вслух слова так, будто они были не объявлением о смерти, а мольбой о жизни. Будто просто выговаривая эти слова, он мог спасти своего друга от ангела смерти. Будто его дыхание могло на минуту сковать крылья ангела, а потом еще на минуту, пока тот наконец не сдастся и не оставит друга в покое. Всю ночь Литвинов охранял своего друга и

всю ночь продолжал шевелить губами. И впервые, сколько себя помнил, не чувствовал себя ненужным.

Когда настало утро, Литвинов с облегчением увидел, что краска вернулась на лицо друга. Он спал спокойным сном выздоравливающего. В восемь часов Литвинов поднялся. Ноги его затекли. Все внутренности, казалось, были ободраны в кровь. Но он чувствовал себя счастливым. Он сложил вдвое страничку "Смерть Леопольда Гурского". И тут надо сказать еще об одном, что было неизвестно о Цви Литвинове: до конца жизни носил он в нагрудном кармане этот листок в память о ночи, когда он боролся с реальностью, стараясь выиграть еще хоть немного времени — для своего друга, для жизни.

Пока не устанет рука пишущего

Страницы, которые были написаны так давно, выскользнули у меня из рук и упали на пол. Я думал: кто? И как? После всего этого... После чего? После всех этих лет...

Я погрузился в воспоминания. Ночь прошла как в тумане. Утром было не лучше. Только в полдень я смог начать что-то делать. Опустился на колени. Собрал по одной все страницы. Десятая страница порезала мне руку. Двадцать вторая ударила по почкам. На сороковой остановилось сердце.

Мне вспомнилась горькая шутка. *Слова меня подвели.* И все-таки. Я сжал в руке пачку листов, опасаясь, что мое сознание меня обманывает. Что сейчас я снова на них посмотрю и увижу, что страницы пустые.

Я пошел на кухню. Просевший в середине пирог стоял на столе. Леди и джентльмены. Мы собрались сегодня, чтобы почтить тайны жизни. Что? Нет, бросать камни запрещено. Только цветы. Или деньги.

Я выкинул яичную скорлупу, стряхнул сахарную пудру со стула и сел за стол. Снаружи на подоконнике мой верный голубь ворковал и бил крыльями по стеклу. Наверно, мне бы следовало как-то его назвать. Почему бы и нет, ведь я положил столько трудов, силясь найти названия множеству вещей, менее реальных, чем он. Я попытался придумать имя, которое было бы приятно произносить. Осмотрелся. Мой взгляд упал на меню китайской закусочной. Оно не менялось годами. "Знаменитая кантонская, сычуаньская и хунаньская кухня мистера Тонга". Я постучал по стеклу. Голубь улетел. *До свидания, мистер Тонг.*

Чтобы прочитать все до конца, мне понадобился целый день. Воспоминания громоздились одно на другое. Глаза застилал туман. Я подумал: у меня галлюцинации. Отодвинул стул и встал. Подумал: *мазлтов*[1], Гурски, теперь ты окончательно это потерял. Полил свое растение. *Чтобы потерять, нужно было иметь.* Что? С каких пор ты стал придираться к деталям? Иметь, не иметь! Тебя только послушать! Ты добился, что потери стали главным в твоей жизни. Ты профессионал-неудачник. Просто чемпион среди неудачников, вот ты кто. И все-таки. Где у тебя доказательства, что когда-то она у тебя была? Где доказательства, что она была твоей?

Я наполнил раковину мыльной водой и вымыл грязные кастрюли. И с каждой кастрюлей, или сковородкой, или ложкой, которые я отклады-

1. Поздравляю! (*идиш*)

вал в сторону, я откладывал также эту невыносимую мысль, пока моя кухня и мой разум не пришли в нормальное состояние. И все-таки.

Шломо Вассерман превратился в Игнасио да Сильва. Персонаж, которого я назвал Дудельзак, стал Родригесом. Файнголд – де Биедма. Вместо Слонима появился Буэнос-Айрес, а вместо Минска – город, о котором я никогда и не слыхал. Это было почти смешно. Но. Я не смеялся.

Я изучил почерк на конверте. Записки не было. Поверьте мне: я проверил раз пять или шесть. И обратного адреса не было. Я бы допросил Бруно, если бы думал, что он может что-то сказать. Когда приходит пакет, консьерж оставляет его на столе в вестибюле. Нет сомнения, что Бруно увидел его и взял. Это целое событие, когда одному из нас приходит пакет, не влезающий в почтовый ящик. Если не ошибаюсь, последний раз такое случилось два года назад. Бруно заказал для собаки ошейник с металлическими заклепками. Сначала, конечно, надо рассказать, что Бруно незадолго до того принес домой собаку. Маленькое теплое существо, которое нельзя не полюбить. Он назвал ее Биби. Я слышал, как он кричит: "Сюда, Биби, ко мне!" Но. Биби никогда его не слушалась. Как-то раз он пошел с ней на площадку, где прогуливали собак. "*Вамос*[1], Чико!" – крикнул кто-то своей собаке, и Биби кинулась к пуэрториканцу. "Ко мне, Биби, ко мне", – кричал Бруно – без толку. Тогда он изменил тактику. "*Вамос*, Биби!" – завопил он во все горло. И – подумать только! – Биби прибежала. Она лаяла ночи напролет и гадила на пол, но он ее любил.

Однажды Бруно снова повел ее на собачью площадку. Она резвилась, и какала, и обнюхивала все подряд, а Бруно смотрел на нее с гордостью. Потом открыли калитку, чтобы выпустить ирландского сеттера. Биби это увидела и, не успел Бруно сообразить, что происходит, выскочила из калитки на улицу и исчезла. Бруно попытался ее догнать. "Беги!" – приказал он себе. Душа его стремилась вперед, но тело взбунтовалось. С первых же шагов ноги стали заплетаться и слабеть. "*Вамос*, Биби!" – кричал он. Но. Никто не появился. В этот трудный для Бруно час, когда Биби – всего лишь животное – предала его, и он ковылял один по тротуару, я сидел дома и стучал на пишущей машинке. Домой он вернулся совершенно разбитый. Вечером мы вместе пошли на площадку ждать собаку. "Она вернется", – говорил я ему. Но. Она не вернулась. Это было два года назад, а он все еще ждет.

Я пытался постичь смысл вещей. Сейчас, когда я об этом думаю, я вижу, что так было всегда. Это могло бы стать моей эпитафией. ЛЕО ГУРСКИ, КОТОРЫЙ ПЫТАЛСЯ ПОСТИЧЬ СМЫСЛ.

Настала ночь, а я все еще пребывал в полной растерянности. Я не ел весь день. Я позвонил мистеру Тонгу – не голубю, а в китайскую закусочную. Через двадцать минут передо мной стояли мои блинчики с овощами. Я включил радио. Там призывали вносить добровольные пожертвования. В награду обещали блендер, на котором будет изображен логотип радиостанции.

Есть вещи, которые мне трудно описать. И все-таки я продолжаю упорствовать, как осел. Однажды Бруно, спустившись ко мне, застал меня за кухонным столом перед пишущей машинкой. "Опять эта штука?" Наушники у него съехали, и получилось нечто вроде нимба вокруг затылка. Я растирал суставы пальцев над паром, поднимающимся из чашки с чаем.

1. Пошли (*исп.*).

"Ну прямо Владимир Горовиц", – заметил он, направился к холодильнику и, нагнувшись, стал шарить в нем, что-то разыскивая. Я вставил в машинку новую страницу. Он повернулся, оставив дверь холодильника открытой, и, не стирая молочных усов над верхней губой, снова надвинул наушники на уши и зашлепал к двери, по дороге включив свет над моим столом. "Играйте дальше, маэстро", – сказал он. Я смотрел, как качается полоска света от лампы, и слушал рвущий ему уши голос Молли Блум[1]: "Поцелуй не сравнить ни с чем, проникает в самую душу долгий горячий"[2]. Бруно теперь только это и слушает, не жалея магнитофонную пленку.

Снова и снова я перечитывал книгу, которую написал совсем молодым. Я был наивным двадцатилетним влюбленным юнцом. С готовым разорваться сердцем и головой ему под стать. Я думал, я могу сделать все, что захочу. Сколь странным это ни может показаться, сейчас я уже сделал все, что собирался сделать.

Я думал: как могла книга сохраниться? Насколько я знал, единственный экземпляр погиб во время наводнения. Конечно, были еще куски, которые я посылал в Америку в письмах девушке, которую любил. Я не мог удержаться, чтобы не послать ей свои лучшие страницы. Но. Это было всего лишь несколько отрывков. А сейчас я держал в руках почти целую книгу! Почему-то на английском! С испанскими именами! Уму непостижимо.

Я сидел *шиву*[3] после смерти Исаака и, пока сидел, старался понять. Один в своей квартире, с рукописью на коленях. Ночь сменилась днем, день – ночью. Я засыпал и просыпался. Но. Я ни на йоту не продвинулся к разгадке тайны. И так со мной было всю жизнь. Я был слесарем по замкам, я мог открыть любую дверь. И при этом не мог открыть ничего из того, что хотел открыть.

Я решил – чтобы никого не забыть – составить список всех знакомых мне людей, которые еще живы. Взял лист бумаги и ручку. Сел, разгладил страницу. Поднес перо к бумаге. Но. В голове было пусто.

Вместо этого я написал: *Вопросы пославшему пакет.* Это я подчеркнул дважды. И продолжил:

1. *Кто вы?*
2. *Где вы это нашли?*
3. *Как это сохранилось?*
4. *Почему это написано по-английски?*
5. *Кто еще это прочел?*
6. *Понравилось ли им?*
7. *Количество прочитавших больше или меньше, чем...*

Я остановился и задумался. Какое количество читателей меня бы не разочаровало?

Я выглянул в окно. На другой стороне улицы ветер гнул и раскачивал дерево. Была середина дня, слышались крики детей. Я люблю их слушать. "Будем играть! Слова называть! – распевают девочки, хлопая в ладоши. – Долго не думать! Не повторять! Начинаем!" Я напрягаюсь в ожидании.

1. Героиня романа Д. Джойса "Улисс".
2. Д. Джойс. Улисс. Т 3. / Перев. В. Хинкиса и С. Хоружего. – М.: Знаменитая Книга. 1994. С. 147.
3. По еврейской традиции ближайшие родственники покойного "сидят шиву" – в знак траура семь дней не выходят из дома, сидят на полу или на низких скамеечках в надорванной одежде, не бреются, не пользуются косметикой и т. д. (на иврите "шива" – семь).

"Животные!" – кричат они. Животные. Я задумываюсь. "Лошадь!" – говорит один. "Обезьяна!" – говорит другой. Слова прыгают туда-сюда. "Корова!" – кричит один. "Тигр!" – немедленно выпаливает другой, потому что малейшая заминка нарушит ритм и загубит игру. "Пони!" – "Кенгуру!" – "Мышь!" – "Лев!" – "Жираф!" Одна девочка замешкалась. "Як!" – кричу я.

Я посмотрел на свой листок с вопросами. Каким образом, подумал я, книга, которую я написал шестьдесят лет назад и вдобавок на другом языке, попала в мой почтовый ящик?

И вдруг меня осенило. Мысль пришла на идише, постараюсь, как могу, ее пересказать, это что-то вроде: *Мог ли я стать знаменитым, сам того не зная?* У меня закружилась голова. Я выпил стакан холодной воды и проглотил таблетку аспирина. Не будь идиотом, сказал я себе. И все-таки.

Я схватил пальто. В окно застучали первые капли дождя, и я надел галоши. Бруно упорно называет их "калоши". Но это его дело. Снаружи завывал ветер. Я брел по улицам, сражаясь со своим зонтом. Три раза он выворачивался наизнанку. Я держался стойко. Один раз он швырнул меня прямо на стену дома. Два раза поднял на воздух.

До библиотеки я добрался совершенно исхлестанный дождем. Вода капала с носа. Мой зонт-чудовище был весь изломан, я кинул его на подставку и направился к столу библиотекаря. Ускорял шаг, останавливался, переводил дух, подтягивал штанины. Шаг, остановка, еще шаг. За столом никого не было. Я заковылял дальше, обошел весь читальный зал. Наконец отыскал какую-то сотрудницу. Она переставляла книги на полках. Я не мог больше сдерживаться.

– Мне нужно все, что у вас есть писателя Лео Гурски! – закричал я.

Она обернулась. Обернулись и все, кто был в зале.

– Все, что у вас есть писателя Лео Гурски, – повторил я.

– Вы видите, я занята. Подождите минуту.

Я подождал минуту.

– Лео Гурски, – сказал я. – Г-у-р...

Она покатила свою тележку.

– Я знаю, как это пишется.

Я пошел за ней к компьютеру. Она набрала мое имя. Сердце бешено колотилось. Возможно, я стар. Но. Мое сердце еще бьется.

– Есть книга о корриде, автор Леонард Гурски, – сказала она.

– Нет, не то, – сказал я. – А как насчет Леопольда?

– Леопольд, Леопольд, – бормотала она. – Вот он.

Я схватился за ближайший неподвижный предмет. Ну: музыка – туш!

– "Необычайные приключения Фрэнки, беззубой чудо-девочки", – сказала она и усмехнулась. Я поборол желание стукнуть ее по голове галошей. Она пошла в отдел детских книг. Я ее не остановил. У меня просто разорвалось сердце. Она принесла мне книжку.

– Желаю получить удовольствие.

Однажды Бруно сказал, что, если бы я купил обыкновенного сизого голубя, на полпути к автобусной остановке он превратился бы в белого голубя мира, а в автобусе – в попугая, а в тот момент, когда я дома выпущу его из клетки, это уже будет птица феникс. "Вот какой ты", – сказал он, стряхивая со стола отсутствующие крошки. "Ну уж нет", – сказал я. Он пожал плечами и отвернулся к окну. "Кто-нибудь когда-нибудь слышал о фениксе? – спросил я. – Павлин – еще туда-сюда, но никак не феникс". Бруно смотрел в окно, но мне показалось, что губы его слегка дрогнули в улыбке.

Однако сейчас я не мог ничего поделать – не мог превратить в нечто пустоту, которую вручила мне библиотекарша.

После сердечного приступа и до того дня, когда я снова начал писать, я не мог думать ни о чем, кроме смерти. Смерть опять прошла мимо, и только после того, как опасность миновала, я позволил себе додумать всё, вплоть до неизбежного конца. Я воображал все возможные пути ухода из жизни. Инсульт. Инфаркт. Тромбоз. Пневмония. Закупорка полой вены. Я представлял себе, как с пеной у рта корчусь на полу. Я просыпался ночью, схватившись за горло. И все-таки. Не важно, сколько раз я воображал, как отказывают мои органы: оказалось, что окончательные последствия вообразить невозможно. Невозможно представить, что это может случиться со мной. Я заставлял себя мысленно рисовать свои последние минуты. Предпоследние вздохи. Последний вздох. И все-таки. За ним всегда следовали другие.

Я помню, когда впервые понял, что такое смерть. Мне было девять лет. Мой дядя, брат моего отца, да будет благословенна его память, умер во сне. Объяснить это было нельзя. Могучий, рослый мужчина, который ел как лошадь и в лютый мороз отламывал куски льда голыми руками. И вот его нет, капут. Он звал меня Леопо. Произносил, растягивая слога: Ле-о-по. За спиной у тети совал мне и своим детям кусочки сахара. Он так изображал Сталина, что можно было животики надорвать от хохота.

Тетя нашла его утром, когда он уже окоченел. Чтобы отнести его в мертвецкую *хевра кадиша*[1], понадобилось три человека. Мы с братом прокрались туда, чтобы посмотреть на его огромное тело. Оно нас поразило: густая шерсть на тыльной стороне ладоней, плоские желтые ногти, толстая корка на пятках. Он выглядел как живой. И все-таки. Он был ужасно мертвым. Чуть позже я принес отцу стакан чаю. Он сидел возле тела, которое нельзя было ни на минуту оставить. "Мне надо в уборную, – сказал он мне. – Подожди здесь, пока я вернусь". Я не успел возразить, что еще не дорос – у меня еще не было бар-мицвы, – как он вылетел из комнаты. Следующие несколько минут показались мне долгими часами. Дядя лежал на камне цвета сырого мяса с белыми прожилками. В какой-то момент я увидел, что дядина грудь чуть-чуть приподнялась, и едва не закричал. Но. Не то чтобы я испугался его. Я испугался за себя. В этой холодной комнате я почувствовал собственную смерть. В углу была треснувшая раковина. Туда бросили состриженные ногти, волосы, слили грязную воду после обмывания. Кран подтекал, и мне казалось, что с каждой каплей из меня понемногу вытекает жизнь. И однажды во мне ничего не останется. Тут меня вдруг захлестнула радость от сознания, что я жив, и мне захотелось кричать. Я никогда не был религиозным ребенком. Но. Внезапно я ощутил потребность попросить Бога, чтобы он насколько можно продлил мою жизнь. Когда отец вернулся, он нашел своего сына стоящим на полу на коленях, с зажмуренными глазами и кулаками, сжатыми так крепко, что побелели костяшки пальцев.

С тех пор я с ужасом думал о том, что я или кто-то из родителей может умереть. Больше всего меня пугала мысль о маме. Она была осью, на которой вращался наш мир. В отличие от отца, всю жизнь витавшего в облаках, мама преодолевала пространство вселенной с помощью трез-

1. Похоронное братство (*иврит*) – ритуальная служба, занимающаяся подготовкой покойников к похоронам по религиозному обряду.

вой силы рассудка. Она была арбитром во всех наших спорах. Достаточно было одного ее неодобрительного слова, чтобы мы забивались в угол, и плакали, и ужасно себя жалели. И все-таки. Один ее поцелуй мог заставить нас почувствовать себя небожителями. Без нее наше существование превратилось бы в хаос.

Страх смерти преследовал меня целый год. Если кто-нибудь ронял стакан или тарелку, я начинал плакать. Но даже когда это прошло, во мне осталась печаль, которую ничто не могло вытравить. Ничего не случилось, нет, и это было хуже всего: я просто осознал что-то, что было во мне и раньше и чего я не замечал. И я волок за собой это новое чувство как камень, привязанный к ноге. Куда бы я ни шел, оно тащилось за мной. Я стал сочинять печальные песни. Я воспевал опадающие листья. Я представлял себе свою смерть в тысяче разных образов, но похороны всегда были одинаковы: в моем воображении передо мной всегда расстилали красный ковер. Потому что после каждой моей смерти каким-то образом обнаруживалось, что я великий человек.

Так могло продолжаться долго.

Однажды утром я дольше обычного канителился с завтраком, а потом еще остановился, чтобы полюбоваться развешенным на веревке необъятных размеров нижним бельем пани Станиславской, и в результате опоздал в школу. Звонок уже прозвенел, но девочка из моего класса стояла на коленях в грязи на школьном дворе. Сзади на спине лежала длинная коса. Она держала что-то в сложенных ковшиком ладошках. Я спросил, что это. "Я поймала ночного мотылька", – сказала она, не глядя на меня. "Что ты собираешься с ним делать?" – спросил я. "Дурацкий вопрос", – ответила она. Я перестроил вопрос. "Другое дело, если бы это была бабочка", – сказал я. "Ничего подобного, – возразила она, – не другое". – "Ты должна его отпустить", – сказал я. "Нет, это очень редкий мотылек", – сказала она. "Откуда ты знаешь?" – спросил я. "Я чувствую", – ответила она. Я напомнил ей, что звонок уже прозвенел. "Ну так иди, никто тебя не держит". – "Сначала отпусти". – "Этого ты не дождешься".

Она немного раздвинула большие пальцы и заглянула внутрь. "Дай мне взглянуть", – попросил я. Она не ответила. "Ну пожалуйста". Она посмотрела на меня. Глаза у нее были зеленые и пронзительные. "Хорошо. Только осторожно". Она поднесла сложенные ладони к моему лицу и раздвинула пальцы. Руки ее пахли мылом. Все, что я мог увидеть, – это край коричневатого крылышка. Я отогнул ее большой палец, чтобы получше разглядеть мотылька. И тут... Должно быть, она подумала, что я хочу выпустить пленника, и резко сдвинула ладони. Мы с ужасом уставились друг на друга. Когда она снова развела руки, мотылек слабо трепыхался у нее на ладони. Одно крылышко было оторвано. Она тихо охнула. "Это не я", – сказал я. Посмотрев на нее, я увидел, что ее глаза полны слез. "Прости меня", – прошептал я. Я испытывал неудержимое желание обнять ее, поцеловать – лишь бы она забыла про мотылька и сломанное крылышко. Она ничего не говорила. Мы не сводили друг с друга глаз.

Нас как будто связала общая тайная вина. Я каждый день встречал ее в школе, но ничего особенного никогда в ней не замечал. Разве что считал ее командиршей. Она могла быть очаровательной. Но. Бывала и жалкой, и потерянной. Несколько раз, в тех редких случаях, когда я отвечал на несложный вопрос учителя быстрее, чем она, она переставала со мной разговаривать. "Английского короля зовут Георг!" – вы-

крикнул я однажды и после этого целый день был окружен ее ледяным молчанием.

Но сейчас она показалась мне другой. Я ощутил в ней какую-то особую силу. Казалось, свет и земное притяжение исходили из того места, где она стояла. Я впервые заметил, что она чуть косолапит при ходьбе. Заметил грязь на ее голых коленках. Заметил, как ладно сидит пальто на ее узких плечах. Мои глаза словно приобрели свойства увеличительного стекла. Я увидел у нее на верхней губе родинку, похожую на крошечную чернильную кляксу. Розовые прозрачные ушки. Светлый пушок на щеках. Мало-помалу она открывалась мне. Я почти не сомневался, что вот-вот, будто под микроскопом, увижу клетки ее кожи, и с сожалением подумал, что у меня слишком много общего с моим отцом, которого в семье считали неудачником. Но все это продолжалось недолго, потому что, открывая для себя ее тело, я одновременно начал ощущать и свое. Осознав это, я чуть не задохнулся. Внезапно вспыхнувшее пламя пробежало по нервам и охватило все мое существо. Это продолжалось не больше тридцати секунд. И все-таки. В следующую секунду я уже был посвящен в тайну, означавшую начало конца моего детства. Понадобились долгие годы, чтобы израсходовать всю радость и боль, родившиеся во мне за эти полминуты.

Не говоря ни слова, она бросила искалеченного мотылька и убежала в школу. Тяжелая железная дверь со стуком захлопнулась за ней.

Альма.

Сколько же времени прошло с тех пор, как я впервые произнес это имя.

Я решил, что добьюсь ее любви, чего бы это ни стоило. Но. Я понимал, что нельзя сразу же бросаться в атаку. Несколько недель я наблюдал за каждым ее шагом. Терпение всегда было одним из моих достоинств. Однажды я целых четыре часа просидел под сортиром за домом раввина, чтобы выяснить, какает ли знаменитый цадик, приехавший в Слоним из Барановичей, так же, как все мы. Оказалось, да. В восторге от того, что мне удалось познать грубую изнанку жизни, я выскочил наружу с радостным воплем "Да! Да!". За что получил пять ударов по пальцам и был поставлен голыми коленями на кукурузные початки, где и стоял, пока колени не начали кровоточить. Но. Это стоило того.

Я мнил себя шпионом, проникшим в чужой мир — в царство женщины. Чтобы изучить предмет, я украл с бельевой веревки необъятные панталоны пани Станиславской. Закрывшись в уборной, я самозабвенно их обнюхивал, прижимался к ним лицом, надевал на голову. Я поднял их вверх, чтобы они трепетали на сквозняке как знамя нового народа. В ту минуту, когда мама ворвалась ко мне, я пытался определить их размер. В них легко поместились бы трое таких, как я.

Одним убийственным взглядом и унизительным наказанием — постучаться в дверь к пани Станиславской и отдать ей панталоны — мама положила конец наиболее общей части моих исследований. И все-таки. Я продолжал исследовать частности. Тут я получил исчерпывающую информацию. Я выяснил, что Альма — младшая из четырех детей и любимица отца. Я узнал, что ее день рождения — двадцать первого февраля, и, стало быть, она старше меня на пять месяцев и двадцать восемь дней, что она любит вишни в сиропе, которые контрабандой переправляют к нам через границу из России, и что однажды она тайком съела полбан-

ки, а мать, когда об этом узнала, заставила съесть все до дна, полагая, что ее стошнит и навсегда отобьет охоту лакомиться вишнями. Однако это не подействовало. Она съела все и даже сказала одной девочке из нашего класса, что могла бы съесть больше. Я узнал, что отец хотел, чтоб она училась играть на пианино, а она хотела играть на скрипке, и они бесконечно спорили, и каждый стоял на своем, пока Альма не раздобыла пустой футляр от скрипки (она уверяла, что нашла его брошенным на дороге) и не расставалась с ним, иногда даже в присутствии отца играла на воображаемой скрипке, и это стало последней каплей. Отец сдался: один из ее братьев, учившийся в гимназии в Вильно, привез оттуда скрипку в блестящем черном кожаном футляре, выстланном фиолетовым бархатом, и каждая песня, которую Альма разучивала, даже самая печальная, всегда звучала как победная. Я это знал, потому что слушал, как она играет, стоя у нее под окном и пытаясь проникнуть в тайну ее души с таким же пылом, с каким ждал, когда покакает великий цадик.

Но. Этого не случилось. Однажды она обошла дом снаружи и застукала меня. "Я уже неделю вижу тебя здесь каждый день, и все знают, что ты целыми днями глазеешь на меня в школе. Если хочешь мне что-то сказать, почему не сказать прямо в лицо, вместо того чтобы прятаться и подглядывать?" Я задумался. Особого выбора у меня не было. Или я должен бежать и никогда больше не ходить в школу, возможно, даже уехать в другую страну, зайцем, например, на пароходе, направляющемся в Австралию. Или – рискнуть и признаться ей. Ответ был ясен: нужно бежать в Австралию. Я открыл рот, чтобы сказать ей: прощай навсегда. И все-таки. Я сказал: "Я хочу знать, выйдешь ли ты за меня замуж".

Она смотрела на меня без всякого выражения. Но. Ее глаза блестели так же, как в те моменты, когда она вынимала скрипку из футляра. Прошла долгая минута. Мы неотрывно смотрели друг на друга. "Я подумаю", – сказала она наконец и ушла обратно за дом. Я услышал, как хлопнула дверь. Минуту спустя зазвучали начальные ноты "Колыбельной" Дворжака. И хотя она не сказала "да", с тех пор я знал: у меня есть надежда.

Так, коротко говоря, пришел конец моим размышлениям о смерти. Не то чтобы я перестал ее бояться. Я просто перестал об этом думать. Если б у меня оставалось время, свободное от мыслей об Альме, я, возможно, размышлял бы и о смерти. Но дело в том, что я научился возводить стену, защищающую от таких мыслей. Чем больше я узнавал об окружающем мире, тем больше кирпичиков прибавлялось в этой стене, пока в один прекрасный день я не понял, что полностью отгородился от места, куда бы не смог вернуться. Стена также защищала меня от болезненной остроты детских представлений о смерти. Даже в те годы, когда я прятался в лесу, на деревьях, в ямах, в погребах, когда смерть дышала мне в затылок, я никогда не думал об очевидном: что мне предстоит умереть. Только после сердечного приступа, когда камни стены, отделяющей меня от детства, начали наконец крошиться, страх смерти снова вернулся ко мне. И был таким же пугающим, как и всегда.

Я сидел, сгорбившись над "Невероятными приключениями Фрэнки, беззубой чудо-девочки", книгой, написанной Леопольдом Гурски, но не мной. Я не открывал книгу. Я слушал, как дождь шумит в водосточных трубах.

Наконец я ушел из библиотеки и на улице столкнулся нос к носу с жестоким одиночеством. Я чувствовал себя полностью опустошенным.

Покинутый, никем не замечаемый, забытый. Вот я стою на тротуаре – ничтожество, собиратель пыли. Мимо спешат люди. И каждый из прохожих счастливее меня. Я почувствовал былую зависть. Я отдал бы все на свете, чтобы стать одним из них.

Однажды мне встретилась женщина. У нее захлопнулась дверь, и я помог ей попасть в дом. Она увидела одну из моих визиток, которые я разбрасывал за собой, как хлебные крошки. Она позвонила, и я поспешил приехать. Был День благодарения, и нам обоим некуда было пойти – это сразу стало понятно. Замок открылся, как только я до него дотронулся. Может быть, она подумала, что это свидетельствует и о таланте иного рода. Внутри пахло жареным луком, на стене висела репродукция картины Матисса, а может быть, Моне. Нет! Модильяни. Помню, там была обнаженная женщина, и, чтобы польстить хозяйке, я спросил: "Это вы?" Я давно не был с женщиной. Я чувствовал запах смазочного масла на руках и запах собственных подмышек. Она пригласила меня за стол, приготовила какую-то еду. Я, извинившись, сказал, что мне надо причесаться, пошел в ванную и немножко помылся. Когда я вернулся, в комнате было темно, и она стояла в одном белье. На доме напротив горела неоновая вывеска, отбрасывая синий отблеск на ее ноги. Меня тянуло сказать, что, если ей не хочется, она может не смотреть на мое лицо.

Через несколько месяцев она позвонила мне снова. Попросила сделать копию своего ключа. Я был рад за нее. Значит, она больше не будет одна. Не то чтобы я пожалел себя. Но я хотел сказать ей: "А не лучше ли попросить того, кому предназначен ключ, зайти в хозяйственный магазин?" И все-таки. Я сделал две копии. Одну я отдал ей, а другую оставил себе. И долго носил в кармане, просто себя обманывая.

Как-то мне вдруг пришло в голову, что ведь я могу проникнуть куда угодно. Раньше я никогда об этом не думал. Я был иммигрантом, и мне понадобилось много времени, чтобы избавиться от опасений, что меня отправят обратно. Я жил в страхе, как бы не совершить какой-нибудь ошибки. Однажды я пропустил пять поездов, потому что не мог сообразить, как купить билет. Другой на моем месте просто сел бы в поезд. Но. Не еврей из Польши, который боится, что, если всего-навсего забудет спустить воду в туалете, его могут депортировать. Я старался быть тише воды ниже травы. Я открывал и закрывал замки, и только. В стране, откуда я приехал, умение открывать замки означало бы, что я вор, но здесь, в Америке, это означало, что я специалист.

Со временем я почувствовал себя более уверенно. Начал чуточку приукрашивать свои изделия. Небольшой изгиб там или сям – совершенно ненужный, но придающий некоторую изысканность. Я перестал нервничать, больше того – стал немного хитрить. На каждом замке, который я ставил, оставлял свои инициалы. Вроде подписи, малюсенькой, над прорезью для ключа. И неважно, что никто этого не замечал. Мне было достаточно того, что я сам это знаю. Я помечал места, где стояли все надписанные замки, на карте города, которую складывал и раскладывал столько раз, что на сгибах она стерлась.

Как-то вечером я пошел в кино. Перед фильмом показывали ролик о Гудини[1]. Этот человек мог выскользнуть из смирительной рубашки, в которой его закопали в землю. Закованного в цепи, его клали в сундук,

1. Гарри Гудини (1874–1926) – знаменитый американский иллюзионист.

который затем кидали в воду, — и он выскакивал из воды. В кино показывали, как он упражнялся, стараясь до минимума сократить время, которое отводил себе на трюк. Он повторял трюки десятки и сотни раз, пока не укладывался в несколько секунд. С тех пор я стал еще больше гордиться своим умением. Я приносил домой самые сложные замки и тренировался, с каждым разом давая себе все меньше времени. И не останавливался, пока пальцы не теряли чувствительность.

Однажды я лежал в постели и воображал, как преодолеваю все большие и большие трудности, и вдруг меня осенило: если я могу открыть незнакомый замок в любом доме, почему бы не открыть замок в "Беляшах" Коссара? Или в публичной библиотеке? Или в "Вулворте"? Говоря гипотетически, что может меня остановить, если я вздумаю открыть замок, например, в... Карнеги-холле?

Мои мысли скакали галопом, а тело дрожало от возбуждения. Я ведь только войду внутрь и тут же выйду. Может быть, оставив маленькую подпись.

Я неделями оттачивал свой план. Я обследовал весь прилегающий к зданию участок. Не пропустил ни одного камня. Короче говоря: я это сделал. На 56-й улице, рано утром, я открыл замок задней двери, ведущей за кулисы. У меня это заняло 103 секунды. Дома такой же замок я открывал за 48 секунд. Но было холодно, и пальцы плохо меня слушались.

В тот вечер там должен был играть великий Артур Рубинштейн. На сцене одиноко стоял рояль, блестящий черный "Стейнвей". Я вышел из-за кулис. В слабом свете указателей "Выход" смутно виднелись бесконечные ряды кресел. Я сел на стул перед роялем и нажал педаль кончиком ботинка. Я не посмел коснуться пальцами клавиш.

Когда я поднял глаза, она стояла в двух шагах от меня. Ясная, как солнышко, пятнадцатилетняя девочка с длинной косой. Она поднесла к плечу скрипку, ту самую, которую ее брат привез из Вильно, и прижала к ней подбородок. Я попытался произнести ее имя. Но. Оно застряло у меня в горле. Кроме того, я знал, что она меня не услышит. Она подняла смычок. Я услышал первые звуки "Колыбельной" Дворжака. Ее глаза были закрыты. Музыка лилась из-под ее пальцев. Она играла безупречно, так, как не играла никогда в жизни.

Когда отзвучала последняя нота, она исчезла. Мои аплодисменты эхом отозвались в пустом зале. Я замер, и тишина ударила мне в уши. Я кинул последний взгляд на пустые ряды. И поспешил выйти тем же путем.

Ничего такого я больше не повторял. Я доказал себе, что могу это сделать, и этого было достаточно. Время от времени я вдруг обнаруживал, что иду мимо некоего частного клуба — не хочу называть имен — и говорю себе: "*Шалом*, бараны, вот идет еврей, который может к вам войти". Но после той ночи я никогда больше не испытывал своего везения. Если бы меня посадили в тюрьму, обнаружилась бы правда: я не Гудини. И все-таки. В моем одиночестве было приятно думать, что все двери в этом мире, как бы крепко они ни были заперты, мне не преграда.

Так я успокаивал себя, стоя под проливным дождем около библиотеки и наблюдая, как мимо спешат прохожие. В конце концов, может быть, именно поэтому брат научил меня такому ремеслу? Он знал, что я не смогу вечно оставаться невидимкой. "Покажи мне еврея, который при любых обстоятельствах остается живым, — однажды сказал он мне, когда я наблюдал, как он расправляется с замком, — и я покажу тебе фокусника".

Я стоял на улице, и дождь заливал мне за ворот. Я зажмурился. Я видел, как распахивались дверь за дверью, дверь за дверью, дверь за дверью.

После библиотеки, после провала с "Невероятными приключениями Фрэнки, беззубой чудо-девочки" я пошел домой. Снял пальто и повесил его сушиться. Поставил на плиту чайник, сел. У меня за спиной кто-то кашлянул. Я вскочил как ужаленный. Но это был всего лишь сидевший в темноте Бруно.

— Чего ты добиваешься? — закричал я, включая свет. — Хочешь довести меня до белого каления? — По полу были раскиданы страницы книги, которую я написал в юности. — Ну нет, — сказал я. — Это не для того, чтобы ты...

Он не дал мне договорить.

— Недурно, — сказал он. — Я бы, правда, ее не так описал. Но что я могу сказать: это твое дело.

— Послушай... — сказал я.

— Не надо ничего объяснять, — перебил меня он. — Книга хорошая. Мне нравится, как она написана. Если не считать кусочков, которые ты украл, — очень изобретательно. Ну а если использовать чисто литературные термины...

Я не сразу понял, в чем дело. Он говорил со мной на идише.

— ...чисто литературные термины — что там может не нравиться? Во всяком случае, мне всегда очень хотелось знать, над чем ты работал. Теперь, когда прошло столько лет, я знаю.

— Но мне тоже хотелось знать, над чем *ты* работал, — сказал я, вспоминая то далекое время, когда нам обоим было по двадцать лет и оба мечтали стать писателями.

Бруно пожал плечами — так, как только он один умел.

— Над тем же, что и ты.

— Над тем же?

— Конечно.

— Ты писал книгу о ней?

— Книгу о ней, — сказал Бруно. Отвернулся и стал смотреть в окно. Тут я увидел у него на коленях фотографию, ту самую, где мы с ней стоим около дерева, на котором — она об этом никогда не узнала — я вырезал наши инициалы. Буквы А + Л едва видны. Но. Они там.

Бруно сказал:

— Она умела хранить секреты.

И тогда я вспомнил. В тот день, шестьдесят лет назад, когда я в слезах покидал ее дом, я увидел его. Он стоял под деревом, держа в руках тетрадь, дожидаясь, пока я уйду, чтобы пойти к ней. Всего каких-нибудь несколько месяцев назад мы были ближайшими друзьями. С еще двумя или тремя приятелями засиживались за полночь, курили, спорили о прочитанных книгах. И все-таки. К тому времени, когда я увидел его в тот день, мы уже не были друзьями. Мы даже не разговаривали. Я прошел мимо него, как будто его там и не было.

— Еще один вопрос, — сказал Бруно сейчас, шестьдесят лет спустя. — Мне всегда хотелось узнать.

— Что?

Он кашлянул. Потом посмотрел на меня.

— Она говорила тебе, что ты пишешь лучше, чем я?

– Нет, – солгал я. А затем сказал правду: – Незачем было мне об этом говорить.

Наступило долгое молчание.

– Странно. Я-то всегда думал... – Он не договорил.

– Что? – спросил я.

– Я думал, мы воевали за нечто большее, чем ее любовь.

Теперь настала моя очередь смотреть в окно.

– А что может быть больше ее любви? – спросил я.

Мы сидели и молчали.

– Я соврал, – сказал Бруно. – Я хотел спросить совсем о другом.

– О чем?

– Почему ты все еще сидишь здесь как дурак?

– Что ты имеешь в виду?

– Твою книгу, – сказал он.

– А что с книгой?

– Поди и возьми ее.

Я опустился на колени и начал собирать страницы.

– Не эту!

– А какую?

– *Ой вэй*! – сказал Бруно, покрутив пальцем у виска. – Неужели нужно все тебе объяснять?

Мои губы медленно растянулись в улыбку.

– Триста одна страница, – сказал Бруно. Он пожал плечами и отвернулся, но мне показалось, что я вижу его улыбку. – Это не так мало.

Потоп

1. *Как развести огонь без спичек*

Я искала в Интернете Альму Меремински. Я думала: а вдруг кто-нибудь что-то о ней написал или мне попадутся какие-нибудь сведения из ее биографии. Я набрала ее имя и нажала "поиск". Но выскочил только список иммигрантов, которые прибыли в Нью-Йорк в 1891 году (Мендель Меремински), и список жертв Холокоста в Яд Вашем[1] (Адам Меремински, Фанни Меремински, Нахум, Зелиг, Гершель, Блюма, Ида); к моей радости – потому что мне не хотелось бы потерять ее сейчас, в самом начале поисков, – Альмы среди них не было.

2. *Мой брат постоянно спасает мне жизнь*

У нас гостит дядя Джулиан. В Нью-Йорк он приехал, чтобы закончить сбор материалов для книги, которую пишет уже пять лет, – о скульпторе и художнике Альберто Джакометти. Тетя Фрэнсис осталась в Лондоне с собакой. Дядя Джулиан спит на кровати Бёрда, Бёрд – на моей, а я сплю на полу в своем стопроцентно пуховом спальном мешке, хотя опытному путешественнику такой спальник не понадобился бы – в исключительной ситуации он бы просто убил несколько птиц и для тепла напихал перья под одежду.

1. Мемориал в Иерусалиме, созданный в память о жертвах Холокоста (на иврите "яд вашем" означает "память и имя").

Иногда ночью я слышала, как мой брат разговаривает во сне. Из обрывочных фраз ничего нельзя было понять. Только один раз он заговорил очень громко – я даже подумала, что он не спит. "Не ходи сюда", – сказал он. "Что?" – сказала я и села на кровати. "Тут слишком глубоко", – пробормотал он и повернулся лицом к стене.

3. А *почему?*

Однажды в субботу дядя Джулиан повел нас с Бёрдом в Музей современного искусства. Бёрд непременно хотел заплатить за билет сам, из своих доходов от продажи лимонада. Мы бродили по музею, пока дядя Джулиан наверху разговаривал с куратором. Бёрд спросил у одного охранника, сколько в музее фонтанов. (Пять.) Он издавал странные звуки – как в видеоиграх, – пока я не велела ему замолчать. Потом он стал считать, у скольких человек видна татуировка. (У восьмерых.) Мы остановились перед картиной, где на полу лежала груда людей. "Почему они так лежат?" – спросил Бёрд. "Их кто-то убил", – сказала я, хотя на самом деле не знала, почему они там лежат, и даже не была уверена, что это люди. Я пошла смотреть другую картину. Бёрд потащился за мной. "А почему их убили?" – спросил он. "Потому что им нужны были деньги, и они ограбили дом", – сказала я и пошла на эскалатор, идущий вниз.

Когда мы возвращались на метро домой, Бёрд тронул меня за плечо. "А почему им нужны были деньги?"

4. *Потеряться в океане*

"Почему ты думаешь, что эта Альма из 'Истории любви' – реальный человек?" – спросил Миша. Мы сидели на берегу позади его дома, зарывшись ногами в песок, и ели сэндвичи – ростбиф с хреном, – приготовленные миссис Шкловски. "Конечно, реальный". – "Откуда ты знаешь?" – "А как иначе объяснить, почему Литвинов, который написал эту книгу, не дал ей, как всем остальным, испанское имя?" – "Ну и почему же?" – "Он не мог". – "Почему не мог?" – "Неужели не понимаешь? – сказала я. – Он мог изменить любую деталь, но только не ее имя". – "Но *почему?*" Его бестолковость привела меня в отчаяние. "Потому что он ее *любил*! – сказала я. – Потому что для него она была единственным реальным существом". Миша прожевал кусок ростбифа. "Я думаю, ты насмотрелась фильмов", – сказал он. Но я знала, что права. Не надо быть гением, чтобы, прочитав "Историю любви", это понять.

5. *Слова, которые мне хотелось сказать, застряли у меня во рту*

Мы шли по деревянному настилу в сторону Кони-Айленда. Было дико жарко, у Миши с висков капал пот. Когда мы проходили мимо стариков, играющих в карты, Миша помахал им рукой. Сморщенный старичок в крошечных плавках помахал ему в ответ. "Они думают, что ты моя гёрлфренд", – объявил Миша. Как раз в этот момент я зацепилась за что-то носком и споткнулась. Я почувствовала, что краснею, и подумала, что я самый неуклюжий человек на земле. "Ничего подобного", – сказала я, хотя хотела сказать совсем другое. Я смотрела в сторону, притворившись, что меня заинтересовал малыш, который тащил к воде надувную

акулу. "Я-то знаю, – сказал Миша. – Это *они* не знают". Ему исполнилось пятнадцать лет, он вырос почти на четыре дюйма и начал брить темные волоски над верхней губой. Мы подошли к океану, и он нырнул в волны. Я смотрела на его тело и что-то почувствовала в животе – не боль, нет, что-то другое.

"Готова поспорить на сто долларов, что она где-то значится", – сказала я. Я вовсе не была в этом уверена, но не смогла больше ничего придумать, чтобы переменить тему разговора.

6. Я *ищу кого-то, кто, вернее всего, не существует*

"Мне нужен телефон Альмы Меремински, – сказала я. – М-Е-Р-Е-М-И-Н-С-К-И". – "Какой район?" – спросила женщина на другом конце провода. "Не знаю", – сказала я. Стало тихо, и я услышала постукивание клавиатуры. Миша следил за девочкой в голубом бикини, проезжавшей мимо на роликах. Женщина что-то пробормотала. "Что-что?" – переспросила я. "Я говорю, есть у меня А. Мереминski, Бронкс, 147-я улица, – сказала женщина. – Записывайте номер телефона".

Я записала номер на руке. Подошел Миша. "Ну что?" – "У тебя найдется монетка?" – спросила я. Это было глупо, но я уже слишком далеко зашла. Он поднял брови и пошарил в кармане шортов. Я набрала номер, написанный у меня на руке. Ответил мужской голос. "Можно попросить Альму?" – сказала я. "Здесь нет никакой Альмы, – ответил он. – У вас неверный номер. Меня зовут Арти". И повесил трубку.

Мы вернулись к Мише домой. Я пошла в ванную, которая пахла духами его сестры и вся была завешана сероватым бельем его отца. Когда я вышла, Миша сидел без рубашки у себя в комнате и читал книгу на русском языке. Он пошел принять душ, а я села к нему на кровать и стала ждать, листая страницы с кириллицей. Я слышала, как льется вода, как он что-то поет, но не разбирала слов. Прилегла на его подушку и почувствовала его запах.

7. *Если так будет продолжаться и дальше*

Когда Миша был маленьким, его семья каждое лето жила на даче, и они с отцом часто брали с чердака сачки и отправлялись ловить бабочек, которые целыми стаями летали вокруг. Старый дом был полон бабушкиного фарфора, настоящего китайского, и везде висели в рамках бабочки, которых коллекционировали мальчики в трех поколениях семьи Шкловски. Со временем пыльца с крыльев бабочек осыпалась, и если пробежать босиком по дому, за стеклом дребезжал фарфор, а пыльца прилипала к подошвам.

Несколько месяцев назад, накануне Мишиного дня рождения, я решила, что подарю ему открытку с бабочкой. Стала искать в Интернете картинку с русской бабочкой, но вместо этого нашла статью о том, что за последние двадцать лет количество видов бабочек уменьшилось и что скорость их исчезновения в десять тысяч раз выше, чем должна бы быть. В этой статье говорилось также, что каждый день исчезает в среднем семьдесят четыре вида насекомых, растений и животных. На основании этих и других пугающих данных ученые сделали вывод, что мы свидетели шестого за всю историю жизни на земле массового исчезновения ви-

дов. Почти четверть всех млекопитающих может исчезнуть в ближайшие тридцать лет. Скоро погибнет один из каждых восьми видов птиц. За последние полвека исчезло девяносто процентов всех больших рыб.

Я просмотрела все, что касалось массового исчезновения видов.

Последнее массовое вымирание живых существ произошло 65 миллионов лет назад, когда, по-видимому, с нашей планетой столкнулся астероид, истребив всех динозавров и примерно половину морских животных. Перед этим массовое вымирание случилось в начале мезозойской эры (тоже вызванное астероидом или, возможно, извержениями вулканов) — тогда вымерло девяносто пять процентов видов, а еще раньше был период вымирания в конце девона. В наше время массовое вымирание будет самым быстрым за четыре с половиной миллиарда лет истории земли, и, в отличие от других случаев, не по естественным причинам, а из-за человеческого невежества. Если так будет продолжаться и дальше, половина всех живущих на земле видов исчезнет через сто лет.

И я отказалась от идеи подарить Мише открытку с бабочкой.

8. В*о льдах*

В том феврале, когда мама получила письмо с просьбой перевести "Историю любви", снега выпало почти на два фута, и мы с Мишей решили вырыть в парке в снегу пещеру. Трудились несколько часов, пальцы у нас онемели, но мы продолжали копать. Когда закончили, мы залезли внутрь. Через вход в пещеру просачивался голубой свет. Мы сидели бок о бок. "Может быть, я когда-нибудь повезу тебя в Россию", — сказал Миша. "Мы сможем пойти в поход по Уральским горам, — сказала я. — Или даже в казахские степи". Когда мы говорили, изо рта вылетали облачка пара. "Я тебе покажу комнату, где мы жили с дедушкой, — сказал Миша, — и научу кататься на коньках по Неве". — "Я могла бы выучить русский язык". Миша кивнул. "Я буду тебя учить. Первое слово: *дай*". — "*Дай*". — "Второе слово: *руку*". — "Что это значит?" — "Сначала скажи". — "*Руку*". — "*Дай руку*". — "*Дай руку*. Что это значит?" Миша взял мою руку и не выпускал.

9. Е*сли она действительно существует*

— Почему ты считаешь, что Альма приехала именно в Нью-Йорк? — спросил Миша. Мы сыграли по десятому разу в "рамми"[1] и теперь лежали на полу в его комнате и смотрели в потолок. Песок забился в мой купальник и хрустел на зубах. У Миши волосы были еще мокрые, и я чувствовала запах его дезодоранта.

— В четырнадцатой главе Литвинов пишет о веревочке, протянувшейся через океан, и держит ее девушка, уехавшая в Америку. Он сам родом из Польши, и моя мама сказала, что он уехал до того, как немцы захватили Польшу. Фашисты убили почти всех в его родном городе. Так что, если бы он там остался, не было бы "Истории любви". И если Альма из того же городка, а я готова поспорить на сто долларов, что она оттуда...

— Ты мне уже должна сто долларов.

— Понимаешь, в тех главах, которые я прочла, Альма совсем еще маленькая, ей там лет десять, не больше. То есть если она — реальный чело-

1. Карточная игра.

век, а я думаю, это так, Литвинов знал ее еще ребенком. А значит, скорее всего, они жили в одном городе. И в Яд Вашем нет в списках никакой Альмы Меремински из Польши, погибшей во время Холокоста.

– Что еще за Яд Вашем?

– Музей Холокоста в Израиле.

– Хорошо, но тогда она, возможно, вовсе не еврейка. И даже если она реальный человек, и из Польши, и еврейка, и приехала в Америку – почему ты думаешь, что она не поехала в какой-нибудь другой город? Например, в Анн-Арбор?

– Анн-Арбор?

– У меня там двоюродный брат, – сказал Миша. – И в любом случае, я думал, ты ищешь Джейкоба Маркуса, а не Альму.

– Да, я ищу Джейкоба Маркуса, – сказала я.

Я почувствовала, что тыльная сторона его ладони скользит по моему бедру. Я не знала, как ему объяснить, что даже если вначале я искала человека, который мог бы снова сделать мою маму счастливой, то сейчас я ищу еще кое-что. Я хочу узнать о женщине, в честь которой меня назвали. И о себе тоже.

– Может быть, то, что Джейкобу Маркусу понадобилось перевести книгу, как-то связано с Альмой, – сказала я, но не потому, что в это верила, – просто я не знала, что еще сказать. – Может быть, он был знаком с Альмой. Или пытается ее найти.

Я была рада, что Миша не спрашивает, почему Литвинов не поехал за Альмой в Америку, раз уж он так ее любил, почему вместо этого он поехал в Чили и женился на женщине по имени Роза. Единственная причина, которая мне приходила в голову: что у него не было выбора.

За стеной Мишина мама кричала на его отца. Миша, приподнявшись, оперся на локоть и смотрел на меня сверху вниз. Я подумала о позапрошлом лете, когда нам было по тринадцать лет, и мы стояли на крыше их дома, и гудрон под ногами был мягкий, и мы засунули языки друг дружке в рот – Миша учил меня целоваться по-русски (школа Шкловски). Сейчас мы знакомы уже два года, моя нога касается его ноги, его живот прижат к моим ребрам. Он сказал: "Не думаю, что мир перевернется, если ты станешь моей гёрлфренд". Я открыла рот, но промолчала. Мои предки говорили на семи разных языках. Было бы хорошо, если б я могла что-нибудь сказать хотя бы на одном из них. Но я не могла, и Миша наклонился и меня поцеловал.

10. *Потом*

Его язык был у меня во рту. Я не знала, должна ли дотронуться до его языка своим или сдвинуть язык в сторону, чтобы его язык мог двигаться свободно. Прежде чем я решила, как быть, он вынул язык и закрыл рот, а я осталась с открытым ртом, и это оказалось ошибкой. Я думала, на этом все закончилось, но он опять открыл рот. А я не поняла, что он собирается сделать, и вышло так, что он просто лизнул мои губы. Тогда я открыла рот и высунула язык, но было уже поздно, потому что его язык снова был у него во рту. Потом мы вроде бы все сделали правильно, открыв рты одновременно, как будто оба захотели что-то сказать, и я обняла его рукой за шею, как Ева Мария Сейнт Кэри Гранта в сцене в вагоне, в фильме "На север через северо-запад". Мы немного откати-

лись в сторону, и его нога оказалась у меня между ног, но только на секунду, потому что я случайно задела плечом его аккордеон. Рот у меня был полон слюны, и от этого было трудно дышать. За окном пролетел самолет, направляясь к аэропорту Кеннеди. Теперь Мишин отец стал кричать на мать. "Почему они все время ссорятся?" – спросила я. Миша резко поднял голову. Какая-то мысль отразилась на его лице – на непонятном мне языке. Интересно, как теперь изменятся наши отношения. "*Мерд*"[1], – сказал он. "Что это значит?" – спросила я, и он ответил: "Это по-французски". Он завернул прядь моих волос мне за ухо и снова начал меня целовать. "Миша?" – прошептала я. "Ш-ш", – сказал он, и его рука проскользнула под мою майку и обхватила за талию. "Не надо", – сказала я и села. Потом я сказала: "Мне нравится другой человек". И как только сказала, пожалела об этом. Когда стало ясно, что говорить больше не о чем, я надела кроссовки; они были полны песка. "Мама, наверное, беспокоится, куда я пропала", – сказала я, хотя мы оба знали, что это не так. Когда я встала, послышался шорох сыплющегося песка.

11. *Прошла неделя, и мы с Мишей так ни разу и не поговорили*

Я снова изучала книгу "Съедобные растения и цветы Северной Америки" – в память о прежних временах. Я поднялась на крышу нашего дома, чтобы проверить, умею ли я определять созвездия, но освещение было слишком ярким, и я пошла на задний двор потренироваться, как ставить в темноте папину палатку. Я поставила ее за три минуты пятьдесят четыре секунды, почти на минуту побив собственный рекорд. Потом я залезла в палатку и лежала там, стараясь вспомнить, что могла, про папу.

12. *Воспоминания, пришедшие ко мне от отца*

Эхад[2] – вкус сырого сахарного тростника.

Штаим – грязные улицы Тель-Авива, вскоре после создания Израиля. И сразу за ними – поля диких цикламенов.

Шалош – камень, который папа кинул в голову мальчику, задиравшему его старшего брата. После этого дети стали его уважать.

Арба – папа покупает со своим отцом цыплят в *мошаве*[3] и потом смотрит, как они дрыгают ногами, хотя голова уже отрублена.

Хамеш – шорох карт, которые тасовала его мать, когда вечерами после *шабата*[4] она играла с друзьями в канасту.

Шеш – водопад на реке Игуасу, где папа путешествовал в одиночку, на собственные деньги, преодолевая большие трудности.

Шева – папа впервые увидел женщину, которая стала его женой и моей матерью. Это было в кибуце Явне, она лежала на траве и читала книгу. На ней были желтые шорты.

Шмоне – звук цикад ночью, и еще тишина.

Теша – запах жасмина, гибискуса и цветущих апельсиновых деревьев.

Эзер – бледная кожа моей мамы.

1. Дерьмо; черт! (*франц.*)
2. Эхад – и далее, кончая эзер, – цифры от 1 до 10 (*иврит*).
3. Мошав – сельскохозяйственный кооператив, члены которого совместно владеют средствами производства.
4. День субботний (*иврит*) – самый праздничный день в жизни евреев, память о сотворении мира, исхода из Египта, символ союза между Всевышним и народом Израиля.

13. *Прошло две недели, мы с Мишей по-прежнему не разговаривали, дядя Джулиан не уехал, а был уже почти конец августа*

В "Истории любви" было тридцать девять глав, и с тех пор, как мама отправила Джейкобу Маркусу первые десять, она перевела еще одиннадцать, так что всего получилась двадцать одна глава. Это означало, что мама сделала уже больше половины и скоро пошлет ему следующий пакет.

Я заперлась в ванной, единственном месте, где меня никто не трогал, и стала сочинять второе письмо Джейкобу Маркусу, но все, что я пыталась написать, звучало плохо – или банально, или фальшиво. Да так оно и было.

Я сидела на унитазе с блокнотом на коленях. Рядом стояла мусорная корзинка, а в ней лежал скомканный листок бумаги. Я достала его и развернула. *Свинья, Фрэнсис?* было там написано. *Свинья? Убийственные слова. Но именно этого ты и хотела. Нет, я не "влюблен" во Фло, как ты утверждаешь. Мы давнишние коллеги, и она интересуется тем же, чем интересуюсь я. ИСКУССТВО, вспомни, Фрэн, это искусство, на которое, будем честны, с некоторых пор тебе стало глубоко наплевать. У тебя появилась прямо-таки мания за все меня критиковать, и ты сама не заметила, как сильно изменилась и в тебе осталось уже очень мало общего с той девушкой, которую я когда-то...* На этом письмо обрывалось. Я осторожно смяла листок и положила туда же, откуда взяла. И крепко зажмурилась. Я подумала, что вряд ли теперь дядя Джулиан быстро закончит свое исследование об Альберто Джакометти.

14. И *тут мне пришла в голову мысль*

Где-то ведь должны регистрировать умерших. Рождения, смерти – должно быть в городе какое-то место, офис или бюро, где все это есть. Записано в файлах. Списки людей, которые родились и умерли в Нью-Йорке. Иногда, когда едешь на закате по хайвею Бруклин–Квинс, видишь тысячи надгробных камней. В это время горизонт ярко освещен, небо окрашено в оранжевый цвет, и возникает странное ощущение, будто электричество для города вырабатывается теми, кто здесь похоронен.

И я подумала – может быть, где-то есть запись и о ней.

15. На *следующий день было воскресенье*

Шел дождь, так что я сидела дома и читала "Улицу Крокодилов", которую взяла в библиотеке, и гадала, позвонит мне Миша или не позвонит. Когда я прочла предисловие и узнала, что автор книги жил в маленьком городке в Польше, я почувствовала, что приближаюсь к чему-то важному. Я подумала: или Джейкоб Маркус действительно любит польских писателей, или он на что-то мне намекает. Вернее, моей маме.

Книга была небольшая, и я прочитала ее за полдня. В пять часов пришел промокший до нитки Бёрд. "Начинается", – сказал он, потрогав мезузу на кухонной двери и поцеловав свою руку. "Что начинается?" – спросила я. "Дождь". – "Он должен завтра кончиться", – сказала я. Бёрд налил стакан апельсинового сока, выпил и пошел к себе в комнату, поцеловав по дороге четыре мезузы.

Дядя Джулиан вернулся из музея. "Ты видела, что там соорудил Бёрд? – спросил он, взял со стола банан и начал чистить его над мусорным ведром. – Впечатляет, верно?"

Но к понедельнику дождь не прекратился, и Миша не позвонил, так что я надела плащ, взяла зонт и отправилась в Нью-Йоркский муниципальный архив, где, по сведениям из Интернета, хранятся записи о рождении и смерти.

16. *Чемберс-стрит, дом 31, комната 103*

"Меремински, – сказала я сидевшему за столом человеку в круглых черных очках. – М-Е-Р-Е-М-И-Н-С-К-И". – "М-Е-Р", – сказал он, записывая. "Е-М-И-Н-С-К-И", – сказала я. "И-С-К-И", – сказал человек. "Нет, – сказала я. – М-Е-Р..." – "М-Е-Р", – сказал он. "Е-М-И-Н", – сказала я, и он сказал: "Е-И-Н". – "Нет! – сказала я. – Е-М-И-Н". Он тупо на меня уставился. Тогда я сказала: "Может быть, я вам напишу?"

Он посмотрел на имя. Потом спросил, кто она мне, эта Альма Меремински, – бабушка или прабабушка? "Да", – ответила я, подумав, что это может ускорить процесс. "Так кто же?" – спросил он. "Пра", – сказала я. Он посмотрел на меня, откусил заусеницу, потом пошел куда-то и принес коробку с микрофильмами. Первый же ролик у меня сразу застрял. Чтобы привлечь внимание человека за столом, я помахала ему рукой и показала на перекрутившуюся пленку. Он подошел, вздохнул и расправил ее. После третьего ролика я приспособилась и просмотрела все пятнадцать. Альмы Меремински в этой коробке не было, и тогда он принес еще одну, а потом еще одну. Мне понадобилось в уборную, и на обратном пути я купила в автомате пакет "Твинки" и кока-колу. Человек тоже куда-то сходил и принес батончик "Сникерс". Чтобы завести разговор, я спросила у него: "Вы знаете, как выжить в диком месте?" Его лицо перекосилось, и он сдвинул очки на лоб. "Что ты имеешь в виду?" – "Ну, например, вам известно, что почти все арктические растения съедобны? За исключением некоторых грибов, конечно". Он удивленно поднял брови, и тогда я сказала: "А вы знаете, что можно умереть от голода, если питаться только мясом кроликов? Это документально установлено: люди, которые старались выжить, умирали, объевшись кроличьего мяса. Если съесть слишком много нежирного мяса, например крольчатины, это может закончиться... сами знаете чем. Словом, это может вас погубить". Человек выбросил недоеденный "Сникерс".

Он принес мне четвертую коробку. Спустя два часа глаза у меня разболелись, а я все еще продолжала смотреть микрофильмы. "А может быть, она умерла после 1948 года?" – спросил человек в очках, видимо разнервничавшись. Я сказала, что это вполне возможно. "Что же ты мне раньше не сказала! В таком случае свидетельство о ее смерти находится не здесь". – "А где же?" – "В Нью-Йоркском департаменте здравоохранения, в отделе записи актов гражданского состояния, – сказал он. – Уорт-стрит, дом 125, комната 133. У них есть все записи о смертях после 48-го года". Я подумала: ура!

17. *Самая большая мамина ошибка*

Когда я вернулась, мама лежала на диване и читала книгу. "Что ты читаешь?" – спросила я. "Сервантеса", – ответила она. "Сервантеса?" – повторила я. "Это самый знаменитый испанский писатель", – сказала мама, переворачивая страницу. Я уставилась на нее. Иногда я удивляюсь, почему

мама не вышла замуж за знаменитого писателя вместо инженера — любителя походов по диким местам. Если бы она так поступила, не случилось бы того, что случилось. Вот прямо сейчас, в эту минуту, она сидела бы за обеденным столом со своим знаменитым мужем-писателем, рассуждала о плюсах и минусах других знаменитых писателей и принимала трудное решение о том, кому дать посмертно Нобелевскую премию.

Вечером в тот день я набрала Мишин телефон, но после первого же гудка положила трубку.

18. А *потом был вторник*

Дождь так и не прекратился. По дороге к метро я прошла мимо пустыря, где Бёрд натянул брезент поверх кучи хлама, которая выросла уже до шести футов в высоту. Кучу он укрепил, обвязав старыми веревками и мешками для мусора. Из нее торчал шест, возможно предназначенный для флага. Стол с лимонадом по-прежнему стоял рядом, с той же табличкой: "Лемонад 50 центов пожалуйста наливайте сами (повреждена рука)", но теперь под этой надписью было добавлено: "Все доходы идут на благотворительные цели". Однако стол был пуст, и Бёрда нигде не было видно.

Пока я ехала на метро, где-то по дороге я решила, что позвоню Мише и притворюсь, будто ничего не случилось. Выйдя из метро, я разыскала исправный телефон-автомат и набрала Мишин номер. Подошла его мама. "Здравствуйте, миссис Шкловски, — сказала я, стараясь говорить как ни в чем ни бывало. — А Миша дома?" Я слышала, как она позвала Мишу. Прошло много времени, пока он взял трубку: "Привет", — сказала я. "Привет". — "Как дела?" — "Хорошо". — "Что ты делаешь?" — "Читаю". — "Что?" — "Комиксы". — "Спроси меня, где я". — "Где?" — "Около Нью-Йоркского департамента здравоохранения". — "Почему?" — "Буду искать записи об Альме Меремински". — "Все еще ищешь", — сказал Миша. "Ага". Повисло неловкое молчание. Я сказала: "Я звоню спросить, не хочешь ли ты сегодня вечером посмотреть 'Топаз'?" — "Не могу". — "Почему?" — "У меня планы". — "Какие планы?" — "Я собираюсь в кино". — "С кем?" — "С одной знакомой девочкой". В животе у меня все перевернулось. "С какой девочкой?" Я подумала: пожалуйста, только не с... "С Любой, — сказал он. — Может, ты помнишь, ты ее однажды видела". Еще бы, конечно, я помнила. Как можно забыть девочку ростом пять футов и девять дюймов, блондинку, которая утверждает, что она потомок Екатерины Великой?

День начинался плохо.

"М-Е-Р-Е-М-И-Н-С-К-И", — сказала я женщине за столом в комнате 133. Я думала: ну как ему может нравиться девочка, которая не способна провести "Универсальный тест на съедобность", даже если от этого зависит ее жизнь? "М-Е-Р-Е", — сказала женщина, так что я добавила: "М-И-Н-С" — и продолжала думать, что эта Люба, возможно, никогда не слышала про фильм "Окно во двор". "М-И-М-С", — сказала женщина. "Нет, — сказала я. — М-И-Н-С". — "М-И-Н-С", — повторила женщина. "К-И", — сказала я. И она сказала: "К-И".

Прошел час, а мы все еще не нашли свидетельства о смерти Альмы Меремински. Прошло еще полчаса, и мы опять-таки ничего не нашли. Чувство одиночества сменилось депрессией. Еще через два часа женщина сказала, что она абсолютно, на сто процентов, уверена, что никакая Альма Меремински не умирала в Нью-Йорке после 1948 года.

Вечером я снова взяла в прокате "На север через северо-запад" и посмотрела в одиннадцатый раз. Потом я легла спать.

19. *Одинокие люди всегда просыпаются среди ночи*

Когда я открыла глаза, надо мной стоял дядя Джулиан. "Сколько тебе лет?" – спросил он. "Четырнадцать. Пятнадцать исполнится через месяц". – "Пятнадцать через месяц, – повторил он, как будто решая в уме математическую задачу. – Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?" Он был еще в плаще, совершенно мокром. Капля воды попала мне в глаз. "Не знаю". – "Ой ли? Наверняка ты уже об этом думала". Я села, не вылезая из спального мешка, протерла глаза и посмотрела на свои электронные часы. Там есть кнопка, которую можно нажать, чтобы цифры засветились. И еще там есть компас. "Сейчас три двадцать четыре утра", – сказала я. Бёрд крепко спал на моей кровати. "Я знаю. Просто захотелось тебя спросить. Скажи, и я обещаю, что больше не буду тебе мешать. Кем ты хочешь стать?" Я подумала: наверное, кем-нибудь, кто может выжить при температуре ниже нуля, и найти пищу, и построить снежную пещеру, и разжечь костер из ничего. "Не знаю. Может быть, художницей", – сказала я, чтобы сделать ему приятное. "Смешно, – улыбнулся он. – Я так и думал, что ты это скажешь".

20. *Проснувшись в темноте*

Я думала про Мишу и Любу, про моих папу и маму и почему Цви Литвинов уехал в Чили и женился на Розе, а не на Альме, которую он по-настоящему любил.

Я слышала, как дядя Джулиан в соседней комнате кашляет во сне.

И тогда я подумала: подожди-ка минутку!

21. *Она наверняка вышла замуж!*

Вот в чем дело! Вот почему я не нашла свидетельства о смерти Альмы Меремински. Почему же мне не пришло это в голову раньше?

22. *Быть нормальным*

Я залезла под кровать и вытащила из рюкзака фонарик и третью тетрадь "Как выжить в диком месте". Когда я зажгла фонарик, я увидела что-то черно-белое, застрявшее между краем кровати и стеной, ближе к полу. Я залезла под кровать и посветила фонариком, чтобы лучше видеть. Это оказалась тетрадка для сочинений. На обложке было написано יהוה[1]. И дальше: ЛИЧНОЕ. Я открыла тетрадь.

9 апреля

יהוה

Я был нормальным человеком целых три дня. Это означает что я не лазал по крышам не писал имя Б-га[2] на чужих вещах и не отвечал на совершенно

1. Имя Бога на иврите.
2. В соответствии с еврейской традицией имя Бога не пишется и не произносится полностью.

нормальные вопросы словами из Торы. Еще это означает что я спрашивал себя поступил ли бы так нормальный человек или нет и если ответ был "нет" так не поступал. Пока это было не очень трудно.

10 апреля

יהוה

Уже четвертый день подряд я веду себя нормально. В спортзале Джош К. прижал меня к стене и спросил уж не воображаю ли я себя этаким здоровенным жирным гением. Я сказал что не воображаю. Я не хотел испортить совершенно нормальный день и поэтому не стал ему говорить что возможно я Машиах. И запястье у меня уже проходит. Наверно вы хотите узнать как я его растянул. Так вот я растянул его когда слезал с крыши потому что я пришел в школу рано и дверь была заперта а к стене дома была приставлена лестница. Лестница была ржавая и все равно залезть было нетрудно. На крыше прямо посередине была большая лужа и я решил посмотреть что будет если я брошу в эту лужу мячик и потом постараюсь поймать. Это было здорово! Я раз пятнадцать бросал мячик пока он не скатился с крыши. Потом я лег на спину и смотрел в небо. Я насчитал три самолета. Когда мне надоело я решил спуститься вниз. Это было труднее чем лезть наверх потому что пришлось спускаться задом. На полпути я оказался рядом с окном одного из классов. Я увидел миссис Цукер и понял что это *даледы*[1]. (Если хотите знать я в этом году *хей*[2].) Я не слышал что говорит миссис Цукер и попробовал прочесть по губам. Чтобы лучше видеть мне пришлось сильно отклониться от лестницы. Я прижался лицом к стеклу и вдруг все повернулись и уставились на меня и я помахал рукой но тут потерял равновесие. Я упал и рабби Визнер сказал что это чудо что я ничего не сломал но в глубине души я знал что ничего мне не будет и что Б-г не позволит чтобы со мной что-нибудь случилось потому что я почти наверняка ламедвовник.

11 апреля

יהוה

Сегодня мой пятый нормальный день. Альма говорит что если бы я был нормальным жить мне было бы легче не говоря уже обо всех других. Мне разрешили снять повязку с запястья и сейчас оно только чуть-чуть побаливает. Наверняка было гораздо больнее когда я его сломал но мне тогда было только шесть лет и я этого не помню.

Я пропустила несколько страниц, пока не наткнулась вот на что:

27 июня

יהוה

Пока что я собрал за продажу лемонада 295 долларов 50 центов. Это означает 591 стакан! Мой самый лучший покупатель мистер Голдштейн он покупает по десять стаканов зараз потому что ему всегда хочется пить. И еще дядя Джулиан подарил мне однажды двадцать долларов. Осталось собрать только 384 доллара 50 центов.

1. Ученики четвертого класса в еврейской школе.
2. Ученик пятого класса.

28 июня

יהוה

Сегодня я чуть было не сделал кое-что ненормальное. Я проходил мимо дома на 4-й улице и там была деревянная доска прислоненная к строительным лесам и никого вокруг не было и мне ужасно захотелось ее взять. Это не было бы обычным воровством так как то что я строю поможет людям и Б-г хочет чтобы я это сделал. Но я также знал что если я украду доску и кто-нибудь это обнаружит мне несдобровать и тогда Альме придется меня выручать и она разозлится. Но я уверен что она вообще никогда больше не станет на меня злиться если когда пойдет дождь я наконец скажу ей что за штуку я строю. Я уже собрал много всякого материала в основном из того что люди выбрасывают как мусор. Осталось самое трудное. Мне нужно много пенопласта потому что он не тонет. Пока его у меня мало. Иногда я боюсь что дождь начнется до того как я закончу строительство.

Если бы Альма знала о том что должно случиться я думаю она бы так не расстраивалась что я написал имя Б-га в ее тетрадке. Я прочел все три части Как выжить в диком месте и они очень хорошие там много интересных и полезных вещей. Одна часть про то что делать если будет ядерный взрыв. Хотя я не думаю что кто-нибудь сбросит ядерную бомбу но на всякий случай прочел все очень внимательно. И решил что если ядерный взрыв произойдет до того как я приеду в Израиль и все засыплет пеплом как снегом я буду делать ангелов. Я смогу заходить в любые дома куда захочу потому что никого уже не останется. В школу я ходить не буду но это не страшно потому что в школе нас не учат ничему важному например что будет после того как мы умрем. На самом деле я просто шучу потому что никакого взрыва не будет. Что действительно будет так это потоп.

23. *На улице по-прежнему шел дождь*

Здесь мы с тобой вместе

В то последнее утро в Польше, когда его друг, нахлобучив шапку на глаза, исчез за углом, Литвинов вернулся в свою комнату. Она была уже пустая, вся мебель продана или роздана. Чемоданы стояли на полу. Литвинов вынул из-за пазухи пакет, завернутый в коричневую бумагу. Он был заклеен, а сверху знакомым почерком его друга было написано: *Сохрани для Леопольда Гурского, пока снова его не увидишь.* Литвинов положил пакет в чемодан, подошел к окну и в последний раз посмотрел на маленький квадратик неба. Вдалеке звонили церковные колокола, как звонили сотни раз, когда он работал или спал. Он слышал этот звон так часто, что ему казалось, звенит у него в голове. Он провел рукой по стене с дырками от гвоздей, где висели картины и вырезки из газет, потом посмотрел на себя в зеркало, чтобы запомнить, каким он был в этот день. В горле стоял комок. В сотый раз он проверил карманы — паспорт, билеты. Потом поглядел на часы, вздохнул, подхватил чемоданы и вышел.

Литвинов поначалу редко вспоминал своего друга — слишком много иных вещей занимало его мысли. У его отца были связи, ему был обязан один человек, который, в свою очередь, знал кого-то нужного, и благодаря этому Литвинов получил в Испании визу. Из Испании он собирал-

ся перебраться в Лиссабон, а из Лиссабона — пароходом в Чили, где жил двоюродный брат отца. Когда он оказался на пароходе, на него нахлынули новые мысли и чувства. Морская болезнь, страх перед темной водой, созерцание горизонта, размышления о жизни на дне океана, приступы ностальгии, появление кита, хорошенькая брюнетка француженка...

Когда пароход наконец пришел в Вальпараисо и Литвинов дрожащими ногами ступил на берег ("морская качка", говорил он себе, даже годы спустя, когда без видимой причины ощущал слабость в ногах), навалились другие проблемы. Первые месяцы в Чили он перебивался случайной работой. Вначале он устроился на колбасную фабрику, откуда был уволен через три дня, потому что сел не в тот трамвай и на пятнадцать минут опоздал на работу, затем — в продовольственный магазин. Однажды, отправившись наниматься на новую работу, он заблудился и очутился около редакции городской газеты. Из открытых окон доносилось знакомое стрекотание пишущих машинок. На Литвинова накатила тоска. Он вспомнил своих коллег по ежедневной газете, вспомнил свой письменный стол с шероховатой деревянной поверхностью, которую он поглаживал, чтобы сосредоточиться, а это заставило вспомнить пишущую машинку с западающей буквой "с", отчего его рукописи пестрели фразами вроде "его сссмерть оссставила неизгладимый ссслед в ссердцах". Он вспомнил запах дешевых сигар своего шефа, вспомнил, как его повысили в должности: из внештатного корреспондента он превратился в составителя некрологов, — и вспомнил об Исааке Бабеле, но это был предел, за который он не позволил себе перейти, и поспешил дальше по улице.

В конце концов Литвинов нашел работу в аптеке: его отец был аптекарем, и Литвинов кое-что усвоил — достаточно, чтобы пойти в помощники к старому немецкому еврею, у которого была неплохая аптека в спокойной части города. Только тогда он решился снять отдельную комнату и смог наконец распаковать чемоданы. В одном из них обнаружился пакет в коричневой бумаге с надписью, сделанной рукой его друга. Ему стало грустно. Безо всякой причины он вдруг вспомнил белую рубашку, которую, навсегда уезжая из дома, оставил сушиться на веревке во дворе.

Он попытался вспомнить, каким было его лицо в зеркале в тот последний день. Но не сумел. Закрывая глаза, он силился вернуть воспоминание. Но вспоминалось только одно: лицо его друга, стоящего на углу улицы. Вздохнув, Литвинов положил пакет обратно в карман пустого чемодана, застегнул молнию и убрал чемодан на полку в кладовке.

Деньги, которые удавалось сэкономить, Литвинов откладывал, чтобы вытащить сюда свою младшую сестру Мириам. Разница в возрасте у них была небольшая, и внешне они были похожи. В детстве их часто принимали за близнецов, хотя Мириам была светлее и носила очки в роговой оправе. Она изучала юриспруденцию в Варшаве до тех пор, пока ей не запретили посещать занятия.

Единственной роскошью, которую позволил себе Литвинов, был коротковолновый приемник. Каждый вечер он крутил рукоятку настройки, пробегая по радиостанциям Южноамериканского континента, пока не нашел новую станцию, "Голос Америки". Он неважно знал английский, но, чтобы слушать передачи, его знаний хватало. С ужасом он вы-

слушивал новости об успехах фашистов. Гитлер разорвал договор с Россией и вторгся в Польшу[1]. Дела становились все хуже, все страшнее.

Немногочисленные письма от друзей и родственников приходили все реже, и трудно было понять, что же происходит в действительности. В предпоследнем письме сестра писала, что влюбилась в своего однокурсника и вышла за него замуж. К письму она приложила фотографию, на которой они с Литвиновым были сняты еще детьми. На обороте было написано: *Здесь мы с тобой вместе.*

По утрам Литвинов варил себе кофе, слушая, как на улице дерутся бездомные собаки. Потом, греясь на утреннем солнышке, дожидался трамвая. Свой обед он съедал в подсобке аптеки, в окружении коробок с таблетками, порошками, вишневым сиропом и заколками для волос. Вечером, протерев полы и отполировав все металлические поверхности до зеркального блеска, он возвращался домой. Друзей он не заводил — уже не хотелось. Когда не был занят на работе, слушал радио. Слушал, пока не засыпал, совершенно измученный, прямо на стуле, но даже и тогда не переставал слушать, и его сны обретали форму под звуки голоса диктора. Вокруг было много других беженцев, ими владели подобные страхи и то же ощущение беспомощности, но Литвинову от этого не становилось легче. В мире есть две категории людей: те, кто предпочитает печалиться вместе с другими, и те, кто предпочитает страдать в одиночку. Литвинов относился к последним. Если его приглашали к обеду, он отказывался под тем или иным предлогом. Однажды, когда квартирная хозяйка позвала его выпить с ней в воскресенье вечером чаю, он сказал, что должен закончить то, что пишет. "Вы пишете? — удивленно спросила она. — И что же?" Литвинов подумал: не все ли равно, что соврать, — и без долгих размышлений ответил: "Стихи".

Поползли слухи, что он поэт. И Литвинов, втайне польщенный, не делал ничего, дабы их опровергнуть. Он даже купил себе шляпу типа той, что носил Альберто Сантос-Дюмон[2], которого бразильцы почитают как летчика, совершившего первый успешный полет; шляпы, подобные его смятой воздушной струей панаме, — как слыхал Литвинов, — были очень популярны среди литераторов.

Шло время. Старый немецкий еврей умер во сне, аптеку закрыли, и Литвинов, частично благодаря слухам о его литературных успехах, был приглашен учителем в еврейскую школу. Война закончилась. Постепенно Литвинов узнавал, что случилось с его сестрой Мириам, и с его родителями, и с четырьмя другими братьями и сестрами (что стало с его старшим братом, он мог только предполагать). Он учился жить с этой правдой. Не принимать ее, а жить с ней. Это было похоже на жизнь со слоном. Его комнатка была очень маленькой, и каждое утро ему приходилось протискиваться мимо этой правды, чтобы попасть в ванную. Чтобы достать из шкафа пару белья, он должен был проползти под этой правдой, моля Бога, чтобы она его не раздавила. Вечером, когда он закрывал глаза, она маячила над ним.

1. Неточность автора: заключенный 23 августа 1939 г., за неделю до вторжения немецких войск в Польшу, договор между СССР и Германией (пакт Молотова–Риббентропа) предусматривал, в частности, раздел Польши; советско-германский пакт о ненападении был разорван 22 июня 1941 г.
2. Альберто Сантос-Дюмон (1873–1932) — один из пионеров воздухоплавания и авиации.

Он исхудал. Все в нем как-то скукожилось, кроме ушей и носа, который стал длиннее и повис, придавая ему меланхоличный вид. Когда ему исполнилось тридцать два года, у него стали целыми пучками выпадать волосы. Он забросил свою помятую шляпу, но везде ходил в тяжелом пальто, во внутреннем кармане которого лежал истрепанный листок; за долгие годы листок начал рваться на сгибах. Дети в школе отряхивались за его спиной, если он задевал их, проходя мимо.

Таким он был, когда Роза впервые обратила на него внимание в кафе на набережной. Литвинов приходил туда во второй половине дня почитать роман или сборник стихов — поначалу для поддержания своей репутации, а потом вроде как увлекся. На самом же деле он просто оттягивал момент возвращения домой, где его ждала правда. В кафе Литвинов позволял себе немного забыться. Он созерцал волны, он наблюдал за студентами, иногда подслушивал их споры, напоминавшие ему те, в которых он, студентом, принимал участие сто лет назад (на самом деле — двенадцать). Он даже знал кое-кого в кафе по именам. В том числе Розу. Да и как могло быть иначе? Это имя звучало очень часто.

В тот день она приблизилась к его столику и вместо того, чтобы пройти мимо и поздороваться с каким-то молодым человеком, с неожиданной грацией остановилась рядом и спросила, можно ли к нему присоединиться. Литвинов подумал, что это шутка. Ее волосы, черные и блестящие, подстриженные вровень с подбородком, подчеркивали внушительный нос. На ней было зеленое платье (позднее Роза спорила: не зеленое, а красное в черный горошек, — но Литвинов не желал отказываться от воспоминания об изумрудном шифоновом платье без рукавов). Только после того, как она просидела с ним полчаса и ее друзья, позабыв про нее, вернулись к своей беседе, Литвинов убедился, что она не притворяется — ей действительно захотелось с ним поговорить. В воздухе повисла неловкая пауза. Роза улыбнулась.

— Я даже не представилась, — сказала она.

— Вы — Роза, — сказал Литвинов.

Назавтра Роза пришла, как и обещала, на вторую встречу. Когда, взглянув на часы, она спохватилась, что уже очень поздно, они договорились о третьей встрече; за ней — что уже само собой подразумевалось — последовала четвертая. Во время пятой встречи, очарованный юной непосредственностью Розы, Литвинов в разгаре спора о том, кто лучший поэт — Неруда или Дарио[1], — неожиданно для себя пригласил ее на концерт. Когда Роза с радостью согласилась, ему пришло в голову, что — чудо из чудес! — эта прелестная девушка, возможно, начинает испытывать к нему какое-то *чувство*. В этот момент его словно что-то ударило в грудь. По всему телу пробежала дрожь.

Через несколько дней после концерта они встретились в парке и устроили пикник. В следующее воскресенье поехали кататься на велосипедах. Встретившись в седьмой раз, пошли в кино. После кино Литвинов проводил Розу домой. Они стояли перед домом, обсуждая Грейс Келли — что лучше: ее актерское мастерство или невероятная красота, — и вдруг Роза подалась вперед и поцеловала его. Или, вернее, попыталась поцеловать, но Литвинов от неожиданности отпрянул, и Роза осталась стоять, нелепо изогнувшись, с вытянутой шеей. Весь вечер он с растущим удо-

1. Рубен Дарио (наст. имя Феликс Рубен Гарсия Сармьенто; 1867—1916) — никарагуанский поэт, основоположник испано-американского модернизма.

вольствием наблюдал, как сокращались расстояния между разными частями их тел. Но материала для наблюдений было так мало, что внезапная атака Розиного носа чуть не довела его до слез. Осознав свою ошибку, он вслепую вытянул шею, готовый на все. Но Роза уже оценила свои потери и отступила на более безопасную позицию. За секунду шаткого равновесия Литвинов успел ощутить запах ее духов, а затем поспешно ретировался. Или начал ретироваться, когда Роза, не желая больше рисковать, но и не желая сдаваться, выпятила губы, на секунду позабыв про свой нос. Она вспомнила о нем лишь мгновенье спустя, когда ее нос столкнулся с носом Литвинова, и Литвинов от резкого толчка прокусил ей губу; таким образом, первый поцелуй превратил их в "кровных" родственников.

По дороге домой в автобусе у Литвинова кружилась голова. Он улыбался каждому, кто смотрел в его сторону. Он шел по улице, посвистывая. Однако, сунув ключ в замок, он разом протрезвел. Стоял в темной комнате, не зажигая света. "О господи, – думал он. – Ты совсем потерял голову! Что можешь ты предложить такой девушке? Не делай глупостей, ты позволил себе развалиться на части, и теперь их уже не соберешь, у тебя не осталось ничего, что ты мог бы ей дать, ты не можешь вечно это скрывать, рано или поздно она узнает правду: от тебя осталась только оболочка, ей достаточно ткнуть в тебя пальцем, чтобы понять, что внутри пустота".

Он долго стоял, прислонившись лбом к оконному стеклу, думая обо всем сразу. Потом разделся. Ощупью, в темноте, выстирал исподнее и повесил сушиться на батарею. Повернул ручку настройки приемника, шкала осветилась и ожила, но Литвинов тут же выключил приемник, оборвав звуки танго, и снова наступила тишина. Он опустился голый на стул. Муха села на его сморщенный член. Он пробормотал несколько слов. И поскольку ему это было приятно, продолжал бормотать. Это были слова, которые он знал наизусть, потому что носил их на листке бумаги в нагрудном кармане с той самой ночи, когда сидел у постели больного друга и молился, чтобы тот не умер. Он повторял их столько раз, даже неосознанно, иногда забывая, что это не его слова.

Ночью Литвинов пошел в кладовку и снял с полки чемодан. Засунув в карман чемодана руку, достал толстый пакет в коричневой оберточной бумаге и, снова сев на стул, положил его на колени. Хотя он никогда не открывал пакет, он, конечно, знал, что там находится. Протянув руку, он зажег лампу и зажмурился от яркого света.

Сохрани для Леопольда Гурского, пока снова его не увидишь.

Позже, как ни старался он похоронить эти слова в мусоре под апельсиновыми корками и кофейными фильтрами, они снова всплывали на поверхность. И однажды утром Литвинов взял пустой конверт, содержимое которого теперь лежало в надежном месте – у него на столе, и, глотая слезы, зажег спичку, а потом следил, как горит надпись, сделанная рукой его друга.

Умирай смеясь

"Что там написано?"

Мы стояли под звездами Грэнд-сентрал[1], или, по крайней мере, так я полагал – мне легче было бы дотянуться пятками до ушей, чем задрать голову, чтоб увидеть что-нибудь наверху.

1. Центральный вокзал Нью-Йорка.

"Что там написано?" — повторил Бруно, двинув меня локтем под ребра, и я еще на дюйм приподнял подбородок, глядя на доску с расписанием отправления поездов. Верхняя губа у меня отделилась от нижней, чтобы освободиться от тяжести нижней челюсти: "Надо поторопиться", — сказал Бруно. "Не гони лошадей", — ответил я, но поскольку рот у меня был открыт, вышло что-то вроде: "Е-ани-ашадей". Наконец я сумел разобрать цифры. "Девять сорок пять, — сказал я, вернее: евять-орок-ать". — "А сейчас сколько?" — спросил Бруно. Я посмотрел на свои часы. "Девять сорок три".

Мы побежали. Не побежали, а принялись переставлять ноги так, как это могут делать два вконец изношенных человека, если хотят успеть на поезд. Я был впереди, Бруно топал за мной по пятам. Затем Бруно, для скорости бешено размахивающий руками, бесцеремонно меня оттолкнув, вырвался вперед, и какое-то мгновенье меня буквально несло взвившимся за ним воздушным потоком.

Я не сводил глаз с его затылка, и вдруг, совершенно неожиданно, затылок исчез. Я оглянулся. Бруно мешком лежал на полу, в одном ботинке — другой валялся рядом. "Беги!" — крикнул он мне. Я замешкался, не зная, что делать. "*Беги!*" — снова крикнул он. Я побежал и в следующий момент увидел, как он, срезав угол, опять оказался впереди меня, тяжело дыша, с ботинком в руке.

"Посадка заканчивается!"

Бруно спустился по лестнице на платформу. Я не отставал. Похоже было, мы успеваем. И все-таки. Бруно неожиданно изменил свои намерения и у самого поезда резко остановился. Я не сумел затормозить и с разгона влетел в вагон. Дверь за мной закрылась. Бруно улыбался мне через стекло. Я постучал в окно кулаком. "Черт тебя подери, Бруно!" Он помахал мне рукой. Он знал: один я б не поехал. И все-таки. Он знал, что ехать мне надо. Одному. Поезд тронулся. Губы его шевелились. Что он говорит? Я постарался прочесть по губам. "Желаю", — сказали губы. Что?! Мне хотелось кричать. Губы добавили: "Удачи". Поезд вылетел с вокзала в темноту.

Через пять дней после того, как я получил коричневый пакет с рукописью книги, написанной мною полвека назад, я ехал в поезде, чтобы отдать книгу, написанную на полвека позже. Или можно сказать иначе. Через неделю после смерти сына я ехал к нему домой. Как ни скажи — я был один.

Я нашел место у окна и сел, пытаясь отдышаться. Мы мчались по туннелю. Я прислонился головой к окну. Кто-то нацарапал на стекле: "потрясные буфера". Невозможно было не подумать: чьи? Поезд выехал из туннеля в дождь. Первый раз в жизни я ехал на поезде без билета.

В Йонкерсе[1] вошел и сел рядом со мной мужчина, достал книжку в мягкой обложке. В животе у меня бурчало. Я ничего не ел с утра, только выпил кофе в "Данкин доунатс"[2]. Было еще рано. Мы с Бруно были первыми посетителями. "Мне один с джемом и один с сахарной пудрой", — сказал Бруно. "Ему дайте с джемом и с сахарной пудрой, — сказал я, — а мне маленькую чашку кофе". Человек в бумажном колпаке, помолчав, сказал: "Если возьмете среднюю, будет дешевле". Америка, благослови ее Господь. "Хорошо, — сказал я. — Давайте среднюю". Человек в колпаке ушел и вернулся с кофе. "Дайте мне один пончик со взбитыми сливками и один глазированный", — сказал Бруно. Я уставился на него. "А что?" — спросил он,

1. Йонкерс — северный жилой и промышленный пригород Нью-Йорка.
2. Сеть закусочных быстрого обслуживания, в которых продаются фирменные пончики.

пожимая плечами. "Дайте ему со взбитыми сливками", – сказал я. "И один с ванилью", – добавил Бруно. Я обернулся и посмотрел на него. "Mea culpa[1], – сказал он. – С ванилью". – "Иди и сядь", – сказал я ему. Он продолжал стоять. "*Садись*", – повторил я. "И еще жареный пирожок", – сказал он. Пончик со сливками исчез в мгновение ока. Бруно облизал пальцы, затем поднес пирожок к свету. "Это пирожок, а не бриллиант", – проворчал я. "Черствый", – сказал он. "Все равно ешь", – приказал я. "Поменяй на яблочный", – сказал он.

Поезд вышел за пределы города. По обеим сторонам тянулись зеленые поля. Шел дождь, не прекращавшийся уже несколько дней.

Много раз я представлял себе место, где жил Исаак. Я нашел его на карте. Однажды я даже позвонил в справочную. "Если мне надо попасть из Манхэттена к сыну, – спросил я, – как лучше ехать?" Я воображал все до малейших подробностей. Счастливые дни! Я бы приехал с каким-нибудь подарком. Например, с банкой джема. Мы б не стали церемониться. Слишком поздно. Может быть, покидали бы мяч на лужайке. Я не могу ловить. И, если честно, кидать тоже не могу. И все-таки. Поговорили бы о бейсболе. Я следил за играми, когда Исаак был мальчиком. Когда он болел за "Доджерс"[2], я тоже болел за эту команду. Мне хотелось видеть то, что видел он, и слушать то, что слушал он. Я старался, насколько мог, быть в курсе современной музыки. "Битлз", "Роллинг Стоунз", Боб Дилан. Каждый вечер, приходя с работы домой, я заказывал какую-нибудь еду у мистера Тонга. Затем вынимал из конверта пластинку, опускал на нее иглу и слушал.

Всякий раз, когда Исаак переезжал в другое место, я отмечал на карте путь к его дому. Впервые это было, когда ему исполнилось одиннадцать. Я часто стоял на улице напротив школы в Бруклине, где он учился, и ждал его – просто чтобы на него взглянуть, а если повезет, то и услышать его голос. Однажды я ждал, как всегда, но он не появился. Я подумал, может быть, у него какие-то неприятности и он задерживается. Стемнело, свет в школе погас, но он так и не вышел. Я пришел на следующий день, и опять ждал, и опять он не вышел. Я решил, что с моим ребенком случилась беда. В ту ночь я не сомкнул глаз, воображая разные ужасы. И, хотя обещал себе никогда этого не делать, на следующее утро встал чуть свет и пошел к их дому. Я стоял на другой стороне улицы. Я ждал его, или Альму, или даже этого *шлемиля* – ее мужа. Но. Никого не дождался. Наконец я остановил мальчишку, который вышел из этого дома. "Ты знаешь семью Мориц?" Он уставился на меня: "Да, ну и что?" – "Они еще здесь живут?" – спросил я. "А вам какое дело?" – сказал он и пошел своей дорогой, подбрасывая мячик. Я схватил его за шиворот. В глазах у него мелькнул испуг. "Они переехали на Лонг-Айленд", – выпалил он и убежал.

Неделей позже я получил письмо от Альмы. У нее был мой адрес, потому что раз в год, в день ее рождения, я посылал ей открытку. *С днем рождения*, – писал я. – *Лео*. Я вскрыл конверт. *Я знаю, что ты следишь за ним*, – писала она. – *Не спрашивай, откуда – знаю. Я по-прежнему жду того дня, когда он захочет узнать правду. Иногда, когда я смотрю ему в глаза, я вижу тебя. Я думаю, только ты сможешь ответить на все его вопросы. Я слышу твой голос, как будто ты рядом.*

1. Моя вина; грешен (*лат.*).
2. Бейсбольная команда Бруклина (с 1958 г. – в Лос-Анджелесе).

Не знаю, сколько раз я прочитал это письмо. Не важно. Важно было другое: в левом верхнем углу конверта она написала обратный адрес: 121 Атлантик-авеню, Лонг-Бич, Нью-Йорк.

Я достал карту и детально наметил путь. Я часто воображал разные напасти, наводнения, землетрясения, весь мир, обращенный в хаос, — чтобы появилась реальная причина кинуться к нему и унести, закутав в свое пальто. Расставшись с надеждой на подобный поворот событий, который мог бы меня оправдать, я стал воображать, что мы встречаемся с ним случайно. Я прикидывал разные ситуации, когда бы наши пути могли пересечься: например, мы оказываемся рядом в метро или в приемной у врача. Но в конце концов понял, что все зависит от меня. Когда Альма умерла, а за ней, спустя два года, умер Мордехай, не осталось ничего, что могло бы меня остановить. И все-таки.

Через два часа поезд подъехал к нужной станции. Я спросил в билетной кассе, где можно взять такси. Я давно не был за городом. Стоял и удивлялся, как зелено вокруг.

Некоторое время мы ехали по шоссе, потом свернули на маленькую дорогу, потом на еще меньшую. Наконец ухабистый проселок привел нас в совершенно пустынное место. Трудно было представить, что мой сын жил в такой глуши. А если б ему, допустим, захотелось пиццы, куда за ней идти? Или вздумалось посидеть одному в темном кинотеатре, или понаблюдать за целующимися подростками на Юнион-сквер?

Вдали показался белый дом. Легкий ветерок гонял облака по небу. Между ветвей виднелось озеро. Я много раз представлял себе, где он живет. Но никогда в этих картинах не было озера. Обидный недосмотр.

"Можете высадить меня здесь", — сказал я еще до того, как мы выехали на открытое место. Я допускал, что дома никого не окажется. Насколько я знал, Исаак жил один. Но никогда нельзя знать наверняка. Такси остановилось. Я расплатился и вышел. Таксист укатил. Я придумал историю: якобы моя машина сломалась, и мне нужно позвонить, — набрал воздуху в легкие и поднял воротник, защищаясь от дождя.

Я постучал в дверь. Там был звонок, так что я еще и позвонил. Я знал, что он умер, но все же какая-то крохотная частица меня еще на что-то надеялась. Я представил себе его лицо, когда он откроет дверь. Что сказать ему, моему единственному ребенку? Прости меня, твоя мать не любила меня так, как бы мне хотелось, а может быть, это я не любил ее так, как ей было нужно? И все-таки. Ответа не было. Я подождал, просто для верности. Никто так и не появился, и я обошел дом сзади. Там на лужайке стояло дерево, и оно напомнило мне о другом дереве, на котором я однажды вырезал наши инициалы, А + Л, и она никогда не узнала об этом, точно так же, как я целых пять лет не знал, что сумма наших инициалов равняется ребенку.

Трава была скользкой от грязи. В отдалении виднелась привязанная к причалу лодка. Я взглянул на противоположный берег озера. Он, наверное, как и отец, был хорошим пловцом, подумал я с гордостью. Мой отец, испытывая огромное уважение к природе, бросал каждого из нас в речку совсем крохотными, пока мы, как он считал, еще не утратили родства с амфибиями. Моя сестра Ханна объясняла свое заикание полученной при этом испытании травмой. Мне хотелось думать, что я бы поступил иначе. Я держал бы сына на руках. Я сказал бы ему: "Когда-то ты был рыбой". — "Рыбой?" — спросил бы он. "Ну да, я и говорю: ры-

бой". – "Откуда ты знаешь?" – "Потому что я тоже был рыбой". – "И ты тоже?" – "Конечно, только давно". – "Когда?" – "Очень давно. Но это не важно – если ты рыба, ты умеешь плавать". – "И я умел?" – "Конечно. Ты был замечательным пловцом. Чемпионом. Ты любил воду". – "Почему?" – "Что ты имеешь в виду?" – "Почему я любил воду?" – "Потому что это была твоя жизнь!" И пока мы так разговаривали, я бы разжимал палец за пальцем, и он, сам того не осознавая, поплыл бы уже без меня.

А потом я подумал: может, это и означает быть отцом – учить своего ребенка жить без тебя. В таком случае не было лучше отца, чем я.

На задней двери был только один, сравнительно простой замок, тогда как на передней замок был двойной. Я постучался в последний раз и, не получив ответа, принялся за работу. На это у меня ушла одна минута. Я повернул ручку, и дверь открылась. "Есть тут кто-нибудь?" – сказал я. Тишина. По спине у меня пробежал холодок. Я вошел в дом и закрыл за собой дверь. Внутри пахло дымом.

Это дом Исаака, сказал я себе. Снял плащ и повесил на вешалку рядом с пальто из коричневого твида с коричневой шелковой подкладкой. Я приподнял рукав и приложил к щеке. И подумал: это его пальто. Поднес рукав к носу и вдохнул слабый запах одеколона. Потом снял пальто и надел на себя. Рукава были мне длинны. Ну и пусть. Я их засучил. Снял облепленные грязью ботинки. Под вешалкой стояли кроссовки с вздернутыми носами. Я всунул в них ноги – ну чистый мистер Роджерс[1]! Кроссовки были по крайней мере сорок третьего размера, а то и сорок три с половиной. У моего отца были маленькие ноги. Когда моя сестра выходила замуж за парня из соседней деревни, он всю свадьбу с завистью смотрел на башмаки своего зятя. Могу себе представить, что бы он сказал, если б ему довелось увидеть своего внука.

В таком виде я вошел в дом сына: в его пальто и его кроссовках. Я был ближе к нему, чем когда-либо. И так же далеко, как всегда.

Я прошел по узкому коридору в кухню и остановился посередине. Я ждал, что сейчас послышится вой сирены полицейского автомобиля. Полиция не приехала.

В раковине стояла грязная тарелка. Перевернутый стакан. Высохший пакетик чая на блюдце. На кухонном столе кто-то просыпал соль. К окну была прилеплена открытка. Я взял ее, перевернул. *Дорогой Исаак*, так она начиналась. *Посылаю это из Испании, где я живу уже месяц. Я пишу, чтобы сказать тебе, что книгу твою не читала и не собираюсь читать.*

Позади раздался стук. Я схватился за грудь. В голове мелькнуло: сейчас я обернусь и увижу призрак Исаака. Но то была всего лишь дверь, распахнутая ветром. Трясущимися руками я приладил открытку на прежнее место и стоял в тишине. Сердце стучало у меня в ушах.

Пол скрипел под моими ногами. Везде были книги. И еще авторучки, синяя стеклянная ваза, пепельница из Цюриха, заржавленная стрелка от флюгера, маленькие медные песочные часы, морские ежи на подоконнике, бинокль, пустая бутылка из-под вина, служившая подсвечником, с восковыми сосульками на горлышке. Я потрогал кое-какие вещицы. В конце концов от человека остается только его имущество. Возможно, поэтому у меня никогда не поднималась рука что-нибудь выкинуть. Возможно, поэтому я сохранял все на свете – в надежде, что,

1. Ведущий популярной детской передачи на американском телевидении.

когда я умру, общее количество оставшихся вещей позволит думать, что моя жизнь была больше, чем прожитая на самом деле.

У меня закружилась голова, и я схватился за полочку над камином. Потом вернулся в кухню. Есть мне не хотелось, но тем не менее я открыл холодильник: врач запретил мне выходить из дому натощак — это было как-то связано с давлением. В нос ударил резкий запах — от испортившихся остатков курицы. Я выкинул курицу вместе с парой побуревших персиков и заплесневелым сыром. Потом вымыл грязную посуду. Не знаю, как описать чувство, владевшее мной, когда я делал самые обычные дела в доме моего сына. Я делал все это с любовью. Стакан я поставил в шкафчик. Выбросил старый чайный пакетик. Сполоснул блюдце. По-видимому, те, что здесь побывали — человек в желтом галстуке-бабочке или будущий биограф, — решили оставить все так, как было при Исааке. Может быть, когда-нибудь тут устроят его музей, и разные люди принесут что-нибудь из того, что у них сохранилось: стакан, из которого Кафка отпил последний глоток, тарелку, с которой Мандельштам съел последние крошки. Исаак был большой писатель, такой, каким я никогда не смог бы стать. И все-таки. Он был еще и моим сыном.

Я поднялся наверх. С каждой дверью, которую я открывал, с каждым шкафом и ящиком я узнавал об Исааке что-то новое, и это новое делало его отсутствие все более реальным, и чем реальнее оно становилось, тем труднее было в это поверить. Я открыл аптечку. Внутри стояли две коробочки с тальком. Я толком не знаю, для чего нужен тальк, в каких целях его используют, но эта деталь жизни сына тронула меня больше, чем любые из тех, которые я когда-либо воображал. Я открыл его шкаф и прижался лицом к рубашкам. Ему нравился голубой цвет. Поднял пару коричневых уличных башмаков. Каблуки сносились почти до основания. Я сунул внутрь нос и понюхал. На ночном столике лежали его часы, я их надел. Кожаный ремешок порвался около дырочки, на которую он его застегивал. Его запястье было шире моего. Когда он успел так вырасти? Что делал я и что делал мой сын в тот момент, когда он меня перерос?

Кровать была аккуратно застелена. Умер ли он, лежа на ней? Или почувствовал приближение смерти и встал, вновь приветствуя свое детство, лишь для того, чтобы тут же упасть? На что он взглянул в последнюю секунду? Были ли это часы, которые сейчас у меня на руке, остановившиеся в 12.38? Или озеро за окном? Или чье-то лицо? И было ли ему больно?

Только однажды у меня на руках умер человек. Это было зимой 1941 года, я тогда работал уборщиком в больнице. Недолго — вскоре я потерял работу. Но однажды вечером — в последнюю мою неделю в больнице — я мыл пол и услышал, что кто-то хрипит. Звуки доносились из палаты, где лежала женщина с болезнью крови. Я побежал к ней. Ее тело сотрясали судороги. Я взял ее на руки. Думаю, оба мы понимали, к чему идет дело. У нее был ребенок. Я это знал, потому что видел его однажды — он пришел в больницу с отцом. Маленький мальчик в начищенных туфлях и пальто с золотыми пуговками. Он все время возился с игрушечным автомобилем, не обращая внимания на мать, пока она с ним не заговорила. Возможно, он сердился на нее за то, что она так надолго оставила его одного. Глядя на ее лицо, я подумал именно о нем, о мальчике, который будет расти, не зная себе прощения. И — делая то, чего не мог для нее сделать сын, — почувствовал что-то, похожее на облегчение, и гордость, и даже превосходство. А потом, меньше чем че-

рез год, я сам оказался сыном, которого не было рядом с умирающей матерью.

За моей спиной раздался шорох. То ли скрип. На этот раз я не обернулся, только зажмурился. "Исаак, — прошептал я. Звук собственного голоса испугал меня, но я не мог остановиться. — Я хочу тебе сказать..." — и тут я замолчал. Что я хочу тебе сказать? Правду? Что есть правда? Что я ошибался, считая, что моя жизнь — это твоя мать? Нет. "Исаак, — сказал я. — Правда — это то, что я придумал для того, чтобы как-то продолжать жить".

Потом я все же обернулся. И увидел себя в зеркале на стене. Дурак в дурацком наряде. Я пришел, чтобы забрать свою книгу, но теперь мне все равно, найду я ее или нет. Я подумал: пусть она пропадет, как и все остальное. Теперь это не имеет значения.

И все-таки.

В углу зеркала я увидел отражение его пишущей машинки в соседней комнате. Незачем говорить, что она была точно такая же, как моя. В каком-то газетном интервью я прочитал, что он почти двадцать пять лет печатает на одной и той же механической "Олимпии". Спустя несколько месяцев я увидел эту модель на распродаже в магазине подержанных товаров. Мне сказали, что она в рабочем состоянии, и я ее купил. Вначале я просто смотрел на нее, зная, что мой сын смотрит на такую же. День за днем она улыбалась мне, скаля зубы-клавиши. Потом у меня случился сердечный приступ, а она все улыбалась, и однажды я заправил в нее лист бумаги и напечатал одну фразу.

Я вошел в его кабинет. Я подумал: а вдруг я найду свою книгу на письменном столе? Господи, до чего же это странно. Я — в его пальто, моя книга — на его столе. У него — мои глаза, я — в его кроссовках.

Главное, чего мне хотелось, — это получить доказательство, что он прочитал книгу.

Я сел на его стул перед машинкой. В доме было холодно. Я поплотнее закутался в его пальто. Мне казалось, я слышу смех, но я сказал себе, что это всего лишь лодка скрипит на ветру. Мне казалось, я слышу шаги по крыше, но я сказал себе, что это просто какой-то зверек ищет, чего бы поесть. Я покачался минутку, как качался мой отец, когда молился. Однажды отец сказал мне: "Когда еврей молится, он задает Богу вопрос, у которого нет конца".

Сгустилась темнота. Шел дождь.

Я никогда не спрашивал его: какой вопрос?

А сейчас уже поздно. Потому что я потерял тебя, *матех*[1]. Однажды, весной 1938 года, в дождливый день, когда в тучах вдруг появился просвет, я тебя потерял. Ты пошел собирать образцы для подтверждения теории, которую вынашивал, — о дожде, инстинкте и бабочках. И умер. Мы нашли тебя под деревом с лицом, забрызганным грязью. Мы знали: теперь ты свободен, тебя уже не огорчают неутешительные результаты наблюдений. И мы похоронили тебя на кладбище, где был похоронен твой отец и его отец, под сенью каштана. Через три года я потерял *мамех*[2]. Последний раз я видел ее в желтом фартуке. Она укладывала вещи в чемодан, в доме все было вверх дном. Она велела мне идти в лес. Собрала мне еду, заставила надеть пальто, хотя был июль. "Иди", — сказала она.

1. Папа (*идиш*).
2. Мама (*идиш*).

Я был уже достаточно взрослый, чтобы не послушаться, но послушался, как малое дитя. Она сказала мне, что придет на следующий день. Мы назначили место встречи в лесу, которое оба хорошо знали. Под огромным дубом, который ты любил, *матех*, ты говорил, он похож на человека. Я даже не счел нужным попрощаться с мамой. Я предпочел ей поверить — так было проще. Я ждал. Но. Она не пришла. С тех пор я жил с чувством вины, потому что слишком поздно понял, что она боялась стать мне обузой. Я потерял Фрици. Он учился в Вильно, *матех*, — кто-то через кого-то передал мне, что последний раз его видели в эшелоне. Я потерял Сару и Ханну среди своры собак. Я потерял Гершеля в потоках дождя. Я потерял Иосифа в разломе времени. Я потерял смех. Я потерял пару ботинок, которые мне дал Гершель: я разулся перед тем, как заснуть, а когда проснулся, их уже не было. Я много дней ходил босиком, а потом не выдержал и украл чужие. Я потерял единственную женщину, которую хотел любить. Я потерял годы. Я потерял книги. Я потерял дом, в котором родился. И я потерял Исаака. Кто может поручиться, что со временем, даже не подозревая об этом, я не потеряю разум?

Моей книги не было нигде. Кроме меня самого, не было ничего, связанного со мной.

Нет так нет

1. *Как я выгляжу раздетой*

Когда я проснулась в своем спальном мешке, дождь уже кончился, моя кровать была пуста, простыни сняты. Я посмотрела на часы. Было 10.03. Там же стояла дата: 30 августа; таким образом, до начала занятий в школе оставалось только десять дней, до моего пятнадцатилетия — месяц и всего три года — до того, когда я поступлю в колледж и начну самостоятельную жизнь, что пока кажется мне не очень реальным. По этой и другим причинам у меня разболелся живот. Я заглянула в комнату Бёрда напротив. Дядя Джулиан спал, не сняв очков, а на груди у него лежал второй том "Уничтожения европейских евреев". Эти книги Бёрд получил в подарок от маминой двоюродной сестры, которая живет в Париже. Она заинтересовалась Бёрдом, когда мы однажды пили с ней чай у нее в гостинице. Она рассказывала, что ее муж сражался в Сопротивлении, и Бёрд перестал строить дом из кусочков сахара и спросил: "Сопротивлении кому?"

В ванной я сняла футболку и нижнее белье, встала на унитаз и посмотрела на себя в зеркало. Я старалась придумать пять прилагательных, чтобы описать, как я выгляжу; одно из них было *тощая*, а второе — *лопоухая*. Я подумала, не вставить ли кольцо в нос. Когда я поднимала руки над головой, моя грудь становилась впалой.

2. *Моя мама смотрит сквозь меня*

Внизу мама сидела в своем кимоно и читала газету. "Мне кто-нибудь звонил?" — спросила я. "Прекрасно, спасибо, как твои дела?" — сказала мама. "Но я же не спросила, как твои дела", — сказала я. "Я знаю". — "В своей семье не обязательно все время быть вежливым". — "Почему?" — "Лучше говорить то, что думаешь". — "Значит, тебя не интересует, как мои де-

ла?" – Я посмотрела на нее. "Прекрасноспасибокактвоидела?" – сказала я. "Хорошо, спасибо". – "Кто-нибудь звонил?" – "Например?" – "Кто-нибудь". – "Вы с Мишей поссорились?" – "Нет", – сказала я, открыв холодильник и изучая увядший сельдерей. Я бросила булочку в тостер. Мама продолжала листать газету, просматривая заголовки статей. Мне кажется, если бы я дочерна сожгла свою булочку, мама бы этого не заметила.

"'История любви' начинается с того, что Альме десять лет, правда?" – спросила я. Мама взглянула на меня и кивнула. "А сколько лет Альме в конце книги?" – "Трудно сказать. Там много разных девушек по имени Альма". – "Сколько самой старшей?" – "Немного. Лет двадцать". – "Значит, книга кончается, когда Альме всего только двадцать?" – "Примерно. Но все гораздо сложнее. В некоторых главах она даже не упоминается. И вообще о времени и об истории там говорится довольно неопределенно". – "Но нет ни одной главы, где Альме больше двадцати лет?" – "Нет, – сказала мама. – Кажется, нет".

Я мысленно отметила, что, если Альма Меремински – реальное лицо, Литвинов, скорее всего, влюбился в нее, когда им было по десять лет, и, вероятно, видел ее в последний раз, когда им обоим было двадцать – перед тем, как она уехала в Америку. Иначе почему бы книга кончалась, когда Альма была еще такой молодой?

Я намазала булочку арахисовым маслом и съела, не отходя от тостера. "Альма", – сказала мама. "Что?" – "Подойди и обними меня, – сказала она, и я подошла и обняла, хотя мне вовсе этого не хотелось. – Когда ты успела так вырасти?" Я пожала плечами, надеясь, что она не станет продолжать. "Я иду в библиотеку", – сказала я, хотя это была неправда, но она так на меня смотрела, что я поняла: мама меня не слышит, и видит она тоже не меня.

3. Вся *неправда, которую я когда-либо говорила, рано или поздно ко мне вернется*

На улице я прошла мимо Германа Купера, сидящего на ступеньках перед домом. Он все лето провел в Коннектикуте, где здорово загорел и получил водительские права. Он спросил, не хочу ли я как-нибудь с ним покататься. Я могла бы ему напомнить, как он, когда мне было шесть лет, распустил слух, будто я пуэрториканка и подкидыш. Или – когда мне было десять, – что я у них в бейсменте[1] задирала юбку и все ему показывала. Но вместо этого я сказала, что в машине меня укачивает.

Я снова поехала на Чемберс-стрит, 31, на этот раз чтобы выяснить, нет ли записей о замужестве Альмы Меремински. В комнате 103 за столом сидел тот же человек в черных очках. "Здравствуйте", – сказала я. Он взглянул на меня. "О, мисс Крольчатина! Как дела?" – "Прекрасноспасибоакакувас?" – сказала я. "Спасибо, ничего. – Он перевернул страницу журнала и добавил: – Правда, мне немного не по себе, понимаешь, я, кажется, подхватил простуду, а вдобавок сегодня утром проснулся и увидел, что мою кошку стошнило, и это было бы еще ничего, но ее стошнило прямо в мой ботинок". – "Ой!" – сказала я. "И ко всему прочему, я обнаружил, что мне отключают кабель, потому что я задержался с платежами, а это означает, что я пропущу все свои любимые передачи, и к то-

1. Цокольный этаж.

му же цветок, который мать подарила мне на Рождество, слегка почернел, и если он погибнет, она мне житья не даст". Я ждала, что он еще о чем-нибудь расскажет, но он замолчал, так что я сказала: "Может быть, она вышла замуж". – "Кто?" – "Альма Меремински". Он закрыл журнал и уставился на меня. "Ты не знаешь, выходила ли замуж твоя прабабушка?" Я прикинула, какой у меня есть выбор. "Она вообще-то не моя прабабушка", – сказала я. "Мне казалось, ты говорила..." – "Мы на самом деле даже не родственники". Он посмотрел на меня, явно смущенный и немного огорченный. "Извините меня. Это длинная история", – сказала я, но в душе мне очень хотелось, чтобы он спросил, почему я ее ищу, и тогда я могла бы рассказать ему правду: что я по-настоящему ни в чем уверена, что я начала искать человека, который бы сделал мою маму счастливой, и хотя еще не отказалась от мысли найти такого человека, но, пока искала, начала искать еще и совсем другого человека, и это связано с первым, но не очень, потому что теперь это скорее связано со мной. Но он только вздохнул и спросил: "Могла она выйти замуж до 1937 года?" – "Не уверена". Он опять вздохнул, сдвинул очки на лоб и сказал, что у них в комнате 103 есть только записи о браках до 1937 года.

Тем не менее мы просмотрели всё и не нашли Альмы Меремински. "Тебе лучше пойти в отдел актов гражданского состояния, – сказал он мрачно. – У них там есть все более поздние записи". – "А где это?" – "Сентр-стрит, дом 1, комната 252", – сказал он. Я никогда не слышала про Сентр-стрит, поэтому спросила, как туда добраться. Оказалось, это совсем недалеко, и я решила пойти пешком и, пока шла, представляла себе разбросанные по всему городу комнаты, где хранятся записи о том, чего нигде больше не найти: например, о последних словах перед смертью, о невинных обманах и лжепотомках Екатерины Великой.

4. *Разбитая лампочка*

Человек, сидевший за столом в отделе актов гражданского состояния, оказался стариком. "Чем могу помочь?" – спросил он, когда подошла моя очередь. "Я хочу узнать, вышла ли замуж женщина по имени Альма Мереминski и сменила ли она фамилию", – сказала я. Он кивнул и что-то записал. "М-Е-Р", – начала я, а он продолжил: "Е-М-И-Н-С-К-И. На конце И? Или А-Я?" – "Возможно, А-Я", – сказала я. "Я так и думал, – сказал он. – Когда примерно она вышла замуж?" – "Не знаю. Но точно после 1937 года. Если сейчас она жива, ей должно быть около восьмидесяти". – "Это первое замужество?" – "Скорее всего". Он сделал пометку в блокноте. "Есть какое-нибудь предположение, за кого она могла выйти?" Я покачала головой. Он послюнявил палец, перевернул страницу и опять что-то записал. "Свадьба была гражданской или обряд совершал священник, а может быть, раввин?" – "Вероятно, раввин", – сказала я. "Я так и думал", – кивнул он.

Он открыл ящик стола и вынул пакетик леденцов. "Мятные. Хочешь?" Я покачала головой. "Бери, бери, – сказал он, и я взяла один. – Может быть, она приехала из Польши?" – "Откуда вы знаете?" – "Нетрудно догадаться, – сказал он. – С такой-то фамилией. – Он покатал леденец во рту. – Возможно, она приехала году в тридцать девятом или сороковом, до войны. Ей могло быть... – он послюнявил палец и перелистнул страничку назад, затем взял калькулятор и нажал несколько

кнопок ластиком на конце карандаша, – ...девятнадцать, двадцать. Самое большее – двадцать один".

Он записал все эти цифры в блокнот, пощелкал языком и покачал головой. "Как ей было одиноко, бедняжке". Он взглянул на меня вопросительно. Глаза у него были блеклые, водянистые. "Я думаю, да", – сказала я. "Наверняка так! – сказал он. – Кого она могла тут знать? Никого! Ну, может, был какой-нибудь двоюродный брат, который о ней и слышать не хотел. Он теперь живет в Америке, он большой *махер*[1], что ему за дело до этой беженки? Его сын говорит по-английски без акцента, со временем станет богатым адвокатом, а тут к нему в дверь стучится бедная родственница из Польши, тощая как смерть". Я решила, что ничего говорить не надо, и промолчала. "Может быть, ей еще повезет, и он пригласит ее пару раз на *шабат*, а жена его будет ворчать, потому что им самим нечего есть и придется снова просить у мясника в долг курицу. Чтоб это было в последний раз, говорит она мужу. Посади свинью за стол, та и ноги на стол. Она еще не забыла, что в Польше убили всю ее семью, всех ее родных до единого, да будет им земля пухом и да услышит ее Бог".

Я не знала, что сказать, но он, по-видимому, ждал, так что я сказала: "Это должно было быть ужасно". – "Вот об этом-то я и говорю, – сказал он, потом снова пощелкал языком и продолжал: – Бедняжка. Был такой Голдфарб, Артур Голдфарб, на днях сюда кто-то приходил, кажется, его внучатая племянница. Он был врач, у нее есть фотография, красивый малый, но с женитьбой ему не повезло – через год развелся. Вот он был бы прекрасным мужем для твоей Альмы. – Старик разгрыз леденец и вытер нос платком. – Моя жена говорит, не надо большого ума, чтобы сватать мертвых, а я ей говорю: если пить только уксус, никогда не узнаешь, что на свете есть кое-что послаще. – Он встал со стула. – Подожди здесь, пожалуйста".

Вернулся он, немного запыхавшийся, и снова уселся на стул. "Твою Альму искать – все равно что иголку в стоге сена". – "Но вам удалось?" – "Что?" – "Вы ее нашли?" – "Ну конечно, нашел, что бы я был за клерк, если бы не нашел такую славную девушку? Альма Меремински, вот она. Вышла замуж в Бруклине в 1942 году за Мордехая Морица, обряд бракосочетания совершал раввин Гринберг. И имена родителей указаны". – "Это точно она?" – "А кто же еще? Альма Меремински, тут прямо так и сказано: родилась в Польше. Он родился в Бруклине, но его родители из Одессы. Тут сказано, что у отца была фабрика одежды, так что ей, можно сказать, повезло. Честно говоря, я обрадовался. Хорошая, наверно, была свадьба. В те времена *хазан*[2] ногой давил электрическую лампочку, потому что разбить бокал никто не мог себе позволить".

5. В *Арктике нет телефонов-автоматов*

Я нашла телефон-автомат и позвонила домой. Трубку взял дядя Джулиан. "Мне никто не звонил?" – спросила я. "По-моему, нет. Извини, что я тебя вчера разбудил, Аль", – "Ничего, все нормально". – "Я рад, что мы с тобой немножко поговорили". – "Угу", – сказала я в надежде, что он не станет продолжать разговор о художниках. "Как ты отнесешься к то-

1. Деляга (*идиш*).
2. Должностное лицо еврейской общины. Помогая раввину на свадебной церемонии, хазан, согласно традиции, разбивает бокал.

му, чтобы сегодня вечером пойти куда-нибудь пообедать? Если, конечно, у тебя нет других планов". – "Хорошо", – сказала я.

Я повесила трубку и позвонила в справочную. "Какой район?" – "Бруклин". – "Фамилия?" – "Мориц. Альма Мориц". – "Рабочий или домашний?" – "Домашний". – "У меня на эту фамилию ничего нет". – "А на Мордехая Морица?" – "Нет". – "А если на Манхэттене?" – "Есть Мордехай Мориц на 52-й улице". – "Правда?!" – сказала я. Я не могла поверить. "Записывайте номер". – "Подождите! Мне нужен адрес". – "52-я улица, дом сорок пять", – сказала женщина. Я записала адрес на ладони и поехала на метро в северную часть города.

6. Я *стучу, и она открывает*

Она старая, у нее длинные седые волосы, собранные на затылке в пучок и заколотые черепаховым гребнем. Ее квартира залита солнцем, у нее есть говорящий попугай. Я рассказываю ей о своем отце, Давиде Зингере: как он, когда ему было двадцать два года, увидел "Историю любви" в витрине книжного магазина в Буэнос-Айресе и как он путешествовал в одиночку с топографической картой, компасом, швейцарским ножом и испано-ивритским словарем. И рассказываю о своей маме, о груде словарей у нее на столе, и об Эммануиле Хаиме, которого все зовут Бёрд из-за его любви к свободе, и о том, как он попытался взлететь и чудом уцелел, но на голове у него остался шрам. Она показывает мне свою фотографию в моем возрасте. Говорящий попугай кричит: "Альма!", и мы обе оборачиваемся.

7. *Хватит с меня знаменитых писателей*

Задумавшись, я проехала свою остановку, и пришлось вернуться на десять кварталов. С каждым кварталом я все больше нервничала и теряла уверенность. Что если Альма – настоящая, живая Альма – действительно откроет мне дверь? Что сказать человеку, который сошел со страниц книги? А если она ничего не слышала об "Истории любви"? А может быть, слышала, но предпочла забыть? Я так увлеклась поисками Альмы, что совсем не подумала о том, что она, может быть, вовсе и не хочет, чтобы ее нашли.

Но времени на размышления не было, потому что я уже стояла в конце 52-й улицы около ее дома. "Я могу тебе чем-то помочь?" – спросил консьерж. "Меня зовут Альма Зингер. Я хотела бы увидеться с миссис Альмой Мориц. Она дома?" – сказала я. "С миссис Мориц? – переспросил он. У него как-то странно изменилось лицо, когда он произнес ее имя. – Э-э, – протянул он. – Нет". Он смотрел на меня с сочувствием, и уже в следующую секунду мне стало жаль себя, так как он сказал, что Альмы нет в живых. Она умерла пять лет назад. Так я обнаружила, что все, кому я обязана именем и фамилией, умерли. Альма Меремински, и мой отец, Давид Зингер, и сестра моей бабушки Дора, погибшая в варшавском гетто, в память о которой мне дали ивритское имя Дебора. Почему людей называют в честь мертвых? Если уж это обязательно нужно, почему бы не выбирать вещи более неизменные, вроде моря, или неба, или, например, идей, которые никогда до конца не умирают, даже если они плохие?

Консьерж что-то еще говорил, но вдруг остановился. "Ты себя хорошо чувствуешь?" – спросил он. "Прекрасноспасибо", – ответила я, хотя

это было не так. "Может, хочешь посидеть или..." Я покачала головой. Не знаю почему, но я вспомнила, как папа повел меня в зоопарк смотреть пингвинов и как в этом промозглом, пропахшем рыбой холоде поднял меня на плечи, чтобы я смогла прижаться лицом к стеклу и увидеть, как кормят пингвинов, и как он учил меня произносить слово "Антарктика". И засомневалась, было ли это на самом деле.

Больше мне сказать было нечего, и поэтому я спросила: "Вы читали книгу 'История любви'?" Консьерж пожал плечами и покачал головой. "Если тебя интересуют книги, тебе надо поговорить с сыном". — "Сыном Альмы?" — "Ну конечно, с Исааком. Он еще заходит сюда иногда". — "Исаак?" — "Исаак Мориц. Знаменитый писатель. Ты не знала, что он ее сын? Да, он иногда ночует здесь, когда приезжает в город. Не хочешь оставить ему записку?" — "Нет, спасибо", — сказала я. Потому что я никогда не слышала ни о каком Исааке Морице.

8. *Дядя Джулиан*

В тот вечер дядя Джулиан заказал пиво для себя, сок манго для меня и сказал: "Я знаю, иногда с мамой тебе бывает нелегко". — "Она тоскует без папы", — сказала я, и это было все равно что сказать, что небоскребы высокие. Дядя Джулиан кивнул. "Ты никогда не знала своего дедушку. Во многих отношениях он был прекрасный человек. Но очень трудный в общении. Он любил всеми руководить — и это еще мягко сказано. У него были свои представления о том, как мы с твоей мамой должны жить". Конечно, я не знала своего дедушку — он умер очень старым, когда отдыхал в Борнмуте, через несколько лет после моего рождения. "Хуже всего приходилось Шарлотте, поскольку она была старше и к тому же девочка. Я думаю, именно поэтому она не хочет указывать вам с Бёрдом, что и как делать". — "Только это не относится к нашим манерам", — возразила я. "Да уж, тут она себя не ограничивает. Я понимаю, иногда вам кажется, будто она от вас очень далека. Но у нее много своих забот. Во-первых, она тоскует по вашему отцу. Во-вторых, вспоминает, как бунтовала против своего отца. Но ты ведь знаешь, как она тебя любит, Аль, правда?" Я кивнула. У дяди Джулиана была немного кривоватая улыбка, один уголок рта поднимался выше другого, будто какая-то дядина часть была не в ладу со всеми другими. "Ну, хорошо, — сказал он, подымая стакан. — За твое пятнадцатилетие и за окончание моей проклятой книги".

Мы чокнулись. Потом дядя Джулиан рассказал мне, как он, когда ему было двадцать пять лет, влюбился в Альберто Джакометти. "А как ты влюбился в тетю Фрэнсис?" — спросила я. "Ах, — сказал дядя Джулиан и вытер платком влажный, блестящий лоб. Он понемногу лысел, но как-то красиво. — Тебе это действительно интересно?" — "Да". — "На ней были ярко-голубые брюки в обтяжку". — "Что ты имеешь в виду?" — "Я увидел ее в зоопарке перед клеткой с шимпанзе, и на ней были голубые брюки в обтяжку. И я подумал: вот на этой девушке я женюсь". — "Из-за брюк?" — "Да. Свет падал на нее каким-то особенным образом. Она была совершенно загипнотизирована этим шимпанзе. Но если бы не брюки, вряд ли бы я к ней подошел". — "А ты когда-нибудь думал, что бы случилось, если б в тот день она не надела эти брюки?" — "Я все время об этом думаю, — сказал дядя Джулиан. — Может быть, я был бы гораздо счастли-

вее". Я ковыряла свою *тикка масала*[1] на тарелке. "А может, и нет, – сказал он. – Понимаешь, мне трудно себе представить что угодно – счастье или что-нибудь другое – без нее. Мы так долго живем с Фрэнсис, что я не способен вообразить, какой могла бы быть моя жизнь с другим человеком". – "Вроде Фло?" – сказала я. Дядя Джулиан поперхнулся. "Откуда ты знаешь про Фло?" – "Я нашла письмо, которое ты выкинул в мусорное ведро". Он покраснел. Я смотрела на карту Индии, висевшую на стене. Каждый человек, которому скоро исполнится пятнадцать лет, должен знать, где находится Калькутта. Плохи твои дела, если ты не знаешь, где Калькутта... "Понятно, – сказал дядя Джулиан. – В общем, Фло – моя коллега по Куртолду[2]. Мой хороший друг, и Фрэнсис всегда немного меня к ней ревновала. Есть вещи... ну, как бы тебе объяснить, Аль? Ладно. Давай, я приведу тебе пример. Хочешь?" – "Давай". – "У Рембрандта есть автопортрет. В Кенвуде[3], очень близко от нашего дома. Мы водили тебя туда, когда ты была маленькой, помнишь?" – "Нет". – "Не важно. Дело в том, что это одна из моих любимых картин. Я очень часто захожу на нее посмотреть. Иду гулять и оказываюсь там. Это один из последних автопортретов. Рембрандт написал его между 1665 годом и своей смертью – он умер четыре года спустя, обанкротившийся и одинокий. На холсте много пустых мест. Судя по мазкам, он работал с большим напряжением и очень спешил: кое-где видно, что еще не высохшая краска процарапана концом кисти. Как будто знал, что ему осталось мало времени. Но выражение лица у него ясное, безмятежное – это лицо человека, который понимает: есть что-то, что его переживет". Я сползла вниз со своего диванчика и случайно лягнула дядю Джулиана. "Какое это имеет отношение к тете Фрэнсис и Фло?" – спросила я. Дядя Джулиан, похоже, растерялся. "Я и сам не знаю", – сказал он, снова вытер лоб и попросил счет. Мы сидели молча. У дяди Джулиана скривился рот. Он достал из бумажника двадцать долларов, сложил в маленький квадрат, потом еще раз – в еще меньший. Потом быстро сказал: "Для Фрэнсис эта картина ломаного гроша не стоит", – и поднес ко рту пустой стакан.

"Если хочешь знать, я не считаю тебя свиньей", – сказала я. Дядя Джулиан улыбнулся. "Можно задать тебе один вопрос?" – сказала я, когда официант ушел за сдачей. "Конечно". – "Мама с папой когда-нибудь ссорились?" – "Думаю, да. Иногда – наверняка. Но не больше, чем все другие". – "Как ты считаешь: папа хотел бы, чтобы мама снова кого-нибудь полюбила?" Дядя Джулиан улыбнулся свой кривой улыбкой. "Да, – сказал он. – Я считаю, он очень бы этого хотел".

9. M*erde*

Когда мы вернулись, мама была на заднем дворе. Я видела в окно, что она стоит на коленях в грязных рабочих брюках и, несмотря на полутьму, сажает цветы. Я открыла дверь. Опавшие листья и сорняки, которые росли годами, были убраны, рядом с железной садовой скамейкой, на которую никто никогда не садился, стояли четыре черных мешка для мусора. "Что

1. Смесь пряностей, распространенная в индийской национальной кухне, а также блюдо с одноименным названием.
2. Галерея Куртолда – собрание картин в Лондоне, составленное из нескольких коллекций.
3. Кенвуд – дворец-музей в Лондоне с картинной галереей.

ты делаешь?" – спросила я. "Сажаю хризантемы и астры". – "Зачем?" – "Такое у меня настроение". – "Почему?" – "Я сегодня отправила еще несколько глав и решила расслабиться". – "Что-о?" – "Я говорю, я отправила Джейкобу Маркусу еще несколько глав и решила немного расслабиться", – повторила она. Я не могла поверить своим ушам. "Сама отправила? Но ты же всегда *меня* посылаешь на почту!" – "Извини, я не знала, что для тебя это так важно. Кроме того, тебя целый день не было дома. А я хотела побыстрее отделаться. Вот и отнесла сама". *Сама?!* – хотелось мне крикнуть. Моя уникальная мама опустила цветок в лунку и стала насыпать туда землю. Потом обернулась и посмотрела на меня через плечо. "Папа любил возиться в саду", – сказала она, как будто я его не знала.

10. *Воспоминания, пришедшие ко мне от мамы*

1. Сборы в школу в кромешной темноте.

2. Игры в развалинах разбомбленных зданий около ее дома в Стамфорд-хилл.

3. Запах старых книг, которые ее отец привез из Польши.

4. Ощущение большой руки маминого отца на ее руке, когда он благословлял маму в пятницу вечером.

5. Поездка на турецком пароходе из Марселя в Хайфу; морская болезнь.

6. Необычайная тишина и пустые поля в Израиле, и еще жужжание насекомых во время первой маминой ночевки в кибуце Явне, и как это жужжание придавало глубину и объемность тишине и пустоте.

7. Поездка с моим отцом на Мертвое море.

8. Песок в карманах ее одежды.

9. Слепой фотограф.

10. Мой отец водит машину одной рукой.

11. Дождь.

12. Мой отец.

13. Тысячи страниц.

11. *Как восстановить сердцебиение*

Главы из книги "История любви", с первой по двадцать восьмую, лежали кипой около маминого компьютера. Я обыскала все мусорные корзины, но не нашла черновиков письма, которое она послала Маркусу. Единственное, что я нашла, – это скомканный листок, на котором было написано: *Когда Альберто вернулся в Париж, у него появились новые мысли.*

12. *Я сдалась*

Так закончились мои поиски человека, который мог бы вновь сделать мою маму счастливой. Я наконец поняла: что бы я ни придумала, кого бы ни нашла, ни я, ни он, и никто из нас никогда не сумел бы вытеснить мамины воспоминания об отце, от которых ей становилось легче на душе, какими бы грустными они ни были. Мама построила из них свой мир, в котором может жить, хотя никто другой не смог бы.

Этой ночью я не могла заснуть. Бёрд тоже не спал – я догадывалась по тому, как он дышал. Я хотела спросить его, что он строит на пустыре

и откуда знает, что он ламедвовник, и еще хотела извиниться, что накричала на него, когда увидела, что он исписал мою тетрадь. Я хотела сказать, что боялась за него и за себя, и хотела рассказать ему правду о том, о чем врала все годы. Я шепотом позвала его. Он, тоже шепотом, откликнулся: "Что?" Я лежала в темноте и тишине, непохожей на ту темноту и тишину, которые окружали моего папу в его доме на грязной тель-авивской улице, или на темноту и тишину, окружавшие мою маму в ее первую ночь в кибуце Явне, но моя тишина и темнота и с ними имели что-то общее. Я старалась думать о том, что я хочу сказать, и в конце концов сказала: "Я сплю". — "И я тоже", — сказал Бёрд.

Позже, когда Бёрд наконец заснул, я зажгла фонарик и прочла еще немного из "Истории любви". Я думала о том, что, если читать достаточно внимательно, я, возможно, узнаю какую-то правду о своем отце, узнаю, что он хотел бы сказать мне, если б не умер.

На следующее утро я проснулась рано. И услышала, что Бёрд с чем-то возится рядом со мной. Когда я открыла глаза, он скатывал простыни в комок, а сзади на его пижаме было мокрое пятно.

13. *Потом наступил сентябрь*

И лето кончилось, и мы с Мишей не разговаривали, и писем от Джейкоба Маркуса больше не было, и дядя Джулиан объявил, что возвращается в Лондон, чтобы отрегулировать отношения с тетей Фрэнсис. Накануне своего отъезда и первого дня моей учебы в десятом классе он постучался ко мне. "Помнишь, я кое-что сказал о Фрэнсис и о Рембрандте? — сказал он, войдя в мою комнату. — Можем мы считать, что я этого не говорил?" — "А что ты говорил?" — сказала я. Он улыбнулся, обнажив щель между передними зубами, которую мы с ним унаследовали от моей бабушки. "Спасибо, — сказал он. — Да, у меня для тебя что-то есть". Он вручил мне большой конверт. "Что это?" — "Открой и посмотри". Внутри был буклет городской художественной школы. Я взглянула на дядю Джулиана. "Давай, читай". Я раскрыла буклет, из него вылетела и упала на пол какая-то бумажка. Дядя Джулиан наклонился и поднял ее. "Вот", — сказал он, вытирая лоб. Это был регистрационный бланк. С моими именем и фамилией и названием класса: "Рисование с натуры". "Там еще открытка", — сказал дядя Джулиан. Я заглянула в конверт. Внутри лежала открытка с автопортретом Рембрандта. На обороте было написано: *Дорогая Аль! Витгенштейн однажды написал, что, когда глаз видит что-то прекрасное, рука тянется это нарисовать. Мне бы хотелось нарисовать тебя. Заранее поздравляю с днем рождения! Любящий тебя дядя Джулиан.*

Последняя страница

Вначале это было легко. Литвинов убедил себя, что просто убивает время, водя пером по бумаге, не задумываясь, машинально, слушая радио, — точно так же, как его ученики в классе. Единственное, чего он не делал, — не садился за чертежный стол, на котором хозяйкин сын вырезал самую важную еврейскую молитву. И не говорил себе: "Я собираюсь присвоить работу своего друга, которого убили фашисты". И не думал: "Если она будет думать, что это написал я, она меня полюбит". Нет, он

всего-навсего переписал первую страницу, за которой, естественно, последовала вторая.

Подойдя к третьей странице, он наткнулся на имя Альма. И замер. Он уже заменил Фейнгольда из Вильно на де Биедма из Буэнос-Айреса. Так ли это ужасно, если он заменит Альму Розой? Всего одной буквой меньше, и последняя – "а" – останется. Он уже зашел достаточно далеко. Он поднес ручку к бумаге. В любом случае, сказал он себе, Роза будет единственным читателем.

И если рука Литвинова остановилась, когда он уже собирался написать заглавную Р вместо заглавной А, то случилось это, возможно, потому, что он был единственным человеком, не считая, конечно, настоящего автора, кто прочитал "Историю любви" и знал реальную Альму. Он ведь знал ее с детства, они вместе переходили из класса в класс, пока он не уехал учиться в иешиву[1]. Она была одной из тех девочек, которые расцветали на его глазах, превращаясь из хилых сорняков в прекрасные тропические растения, заставляя, казалось, кипеть и бурлить вокруг себя воздух. Альма произвела на него неизгладимое впечатление – так же, как шесть-семь других девочек, за превращением которых он наблюдал и которые в период его собственного созревания поочередно становились объектом его страсти. И много лет спустя, сидя за своим столом в Вальпараисо, Литвинов вспоминал обнаженные бедра, нежную кожу на внутренней стороне предплечий, завитки на шее, вызывавшие в нем исступленные желания. И даже если Альма время от времени увлекалась кем-то другим, она продолжала присутствовать в безумных фантазиях Литвинова (что легко достигалось методом монтажа). Если он когда-либо и завидовал счастливцу, то не потому, что испытывал к Альме особое чувство, – нет, ему хотелось, чтобы его самого так же выделяли и любили.

Когда он во второй раз попытался заменить ее имя и во второй раз его рука замерла, он понял, что убрать это имя означает убрать все знаки препинания, все гласные, все прилагательные и существительные. Понял, что без Альмы не будет книги.

Держа ручку над листом бумаги, Литвинов вспоминал тот день в начале лета 1936 года, когда он вернулся в Слоним, отучившись два года в иешиве. Все казалось ему меньше, чем он помнил. Он шел по улице, засунув руки в карманы, в новой шляпе, которая была куплена на сэкономленные деньги и которая, как он полагал, придает ему вид бывалого человека. Когда он свернул на улицу, ведущую прочь от рыночной площади, ему почудилось, что прошло гораздо больше двух лет. Те же куры откладывали яйца в тех же курятниках, те же беззубые старики стояли и спорили ни о чем, но почему-то все выглядело маленьким и убогим. И Литвинов понял, что сам он внутренне изменился. Стал другим. Он прошел мимо дерева с дуплом, куда однажды спрятал непристойную картинку, которую стащил со стола отцовского приятеля. Он показал ее пяти-шести мальчикам, а потом об этом узнал его брат и конфисковал картинку. Литвинов подошел к дереву. И тут он увидел их. Они стояли в десяти шагах от него. Гурский прислонился к забору, а Альма прислонилась к нему. Литвинов видел, как Гурский обхватил ладонями ее лицо. Она помешкала, а потом подняла лицо ему навстречу. И когда Литвинов смотрел, как они целовались, его осенило, что все, чем он обладает, не стоит ломаного гроша.

1. Иешива – еврейское религиозное учебное заведение.

Спустя шестнадцать лет каждую ночь очередная глава книги, написанной Гурским, превращалась в стопку страниц, написанных рукой Литвинова. Заметим кстати, что он переписывал все слово в слово, меняя только имена – все, кроме одного.

Глава 18, написал он на восемнадцатый вечер. *ЛЮБОВЬ АНГЕЛОВ. КАК АНГЕЛЫ СПЯТ. Очень чутко. Они ворочаются с боку на бок, стараясь разгадать тайну жизни Живущих на Земле. Им не дано знать, каково это – поменять очки и внезапно, со смешанным чувством разочарования и благодарности, увидеть мир иным. Когда девушка по имени,* – здесь Литвинов остановился и похрустел суставами пальцев, – *Альма впервые кладет руку тебе на талию... это такое чувство, о котором они могут иметь только теоретическое представление. Если позволить им зачерпнуть горсть снега, вряд ли они догадаются слепить снежок.*

Кроме того, они не видят снов. Поэтому у них одной темой для разговоров меньше. Странным образом, когда они просыпаются, у них возникает чувство, будто они забыли что-то, о чем должны рассказать друг другу. На этот счет у ангелов нет согласия – то ли причиной тому что-то из далекого прошлого, то ли – сочувствие Живущим на Земле, такое глубокое, что иногда доводит их до слез. В общем, в своем отношении к снам они разделяются на два лагеря. Увы, даже среди ангелов нет полного единства.

На этом месте Литвинов встал и пошел в туалет; воду он спустил раньше, чем закончил мочиться, чтобы посмотреть, может ли опорожнить мочевой пузырь до того, как в бачке вновь наберется вода. Потом посмотрел на себя в зеркало, достал из аптечки пинцет и выдернул торчащие из ноздрей волоски. Прошел по коридору в кухню, порылся в шкафчике, нет ли чего поесть. Ничего не нашел, поставил на плиту чайник, сел за стол и продолжал переписывать.

Личное. Это правда, что у них нет обоняния, но они, в своей беспредельной любви к Живущим, бродят вокруг и, подражая тем, всё нюхают. Как собаки, не стесняются подходить и обнюхивать друг друга. Иногда, когда им не спится, лежат в постели, засунув нос под мышку, и пытаются угадать, чем они пахнут.

Литвинов высморкался, скомкал бумажный носовой платок и бросил на пол.

Споры между ангелами. Споры эти вечны и безнадежно неразрешимы. Ангелы спорят о том, что означает пребывать среди Живущих на Земле, и поскольку они этого не знают, а могут только предполагать, то все это очень похоже на рассуждения Живущих, – тут засвистел чайник, – *о сущности Бога (или об отсутствии такового).*

Литвинов встал налить себе чашку чаю. Потом открыл окно и выкинул подгнившее яблоко.

Быть одному. Так же, как Живущие на Земле, ангелы иногда устают друг от друга и хотят побыть в одиночестве. Поскольку домá, где они живут, переполнены, а пойти им некуда, единственное, что может сделать ангел в такую минуту, – это закрыть глаза и уронить голову на руки. Когда ангел так поступает, другие понимают, что он хочет обмануть себя, будто он один, и ходят вокруг него на цыпочках. А то и, для пущей убедительности, начинают говорить о нем так, словно его нет рядом. Если же случайно на него наткнутся, шепчут: "Это не я".

Литвинов потряс рукой, которую стало сводить от усталости. Потом продолжал писать:

В радости и в горе. Ангелы не женятся. Начать с того, что они очень заняты, а кроме того, не умеют влюбляться. (Если ты не знаешь, что это за чув-

ство, когда тот, кого ты любишь, в первый раз кладет руку на твою талию, способен ли ты вообще влюбиться?)

Литвинов остановился и представил гладкую руку Розы у себя на талии и с радостью ощутил, как по телу побежали мурашки.

Они живут вместе, словно только что родившиеся щенки: слепые, голенькие, приятные на ощупь. Это не значит, что им неведома любовь, вовсе нет. Иногда это чувство такое сильное, что они принимают его за приступ панического страха. В такие минуты сердца у них бьются неудержимо, и они боятся, что их стошнит. Но любовь они испытывают не к себе подобным, а к Живущим на Земле, которых они не могут ни понять, ни понюхать, ни потрогать. Это просто общая любовь к Живущим (хотя, будучи общей, она ничуть не теряет в силе). Лишь время от времени ангел обнаруживает в себе изъян, заставляющий его полюбить не вообще, а кого-то конкретного.

В тот день, когда Литвинов поставил точку на последней странице, он собрал всю рукопись своего друга Гурского, перемешал страницы и выбросил в помойное ведро под раковиной. Но Роза часто его навещала, и ему пришло в голову, что она может их там обнаружить. Тогда он достал рукопись из ведра и засунул в железный бак за домом, под пакеты с мусором. Теперь можно было ложиться спать. Но через полчаса, преследуемый страхом, что кто-нибудь найдет бумаги, он снова встал и, разворошив мусор, вытащил рукопись. Он засунул ее под кровать и попытался заснуть, но запах помойки был так силен, что он опять встал, отыскал фонарик, нашел в хозяйкином сарае садовую лопату, выкопал яму около гортензии, опустил туда рукопись и засыпал землей. Когда он вернулся к себе и в грязной пижаме залез в кровать, небо уже начало светлеть.

На этом все могло бы закончиться, если бы каждый раз при взгляде на хозяйкину гортензию Литвинов не вспоминал то, о чем хотел забыть. Когда пришла весна, интерес Литвинова к гортензии стал навязчивым, он постоянно наблюдал за кустом, словно ожидая, что цветы раскроют его тайну. Однажды утром он со страхом увидел, что хозяйка сажает вокруг гортензии тюльпаны. Когда он, стараясь заснуть, закрывал глаза, перед ним возникали огромные белые цветы, насмехавшиеся над ним. Все это становилось невыносимым, совесть мучила его все сильнее, и наконец, накануне того дня, когда они с Розой должны были пожениться и перебраться в бунгало на обрыве, Литвинов встал в холодном поту посреди ночи, вышел в сад и вырыл свое проклятое сокровище. С того времени он хранил рукопись в кабинете своего нового дома, в ящике письменного стола, запертом на ключ, который, как ему казалось, он надежно спрятал.

Мы всегда вставали в пять или шесть часов утра – писала Роза в конце своего предисловия ко второму и последнему изданию "Истории любви". – *Когда он умер, был чудовищно жаркий январь. Я подкатывала его кровать к открытому окну наверху. Солнце светило прямо на нас, и он отбрасывал простыни, снимал с себя все и сильно загорел, и это повторялось каждое утро, пока в восемь часов не приходила сестра и начинался кошмарный день. Всякие медицинские дела, которые ни его, ни меня не интересовали. У Цви не было болей. Я спрашивала его: "У тебя что-нибудь болит?" А он отвечал: "Мне никогда в жизни не было так хорошо". И в то утро мы смотрели на небо, которое было безоблачным и ярким. Цви открыл книгу китайских стихов, которую читал, и сказал, что вот стихотворение для меня. Стихотворение называлось "Не поды-*

май парус". Оно очень короткое. Оно начиналось так: "Не подымай парус! / Завтра ветер уляжется, / И ты сможешь уйти, / И мне не нужно будет за тебя беспокоиться". В то утро, когда он умер, был ужасный ветер, буря бушевала всю ночь, но, когда я открыла окно, небо было совершенно чистым. Ни малейшего ветерка. Я повернулась к нему: "Дорогой, ветер стих!" И он сказал: "Значит, я могу уйти, и тебе не нужно будет за меня беспокоиться?" Я думала, у меня остановится сердце. Но это была правда. Так оно и было.

Но было не так. Не совсем так. В ту ночь, перед смертью Литвинова, дождь стучал по крыше и ревел в водосточных трубах. Литвинов позвал Розу. Она мыла посуду и сразу поспешила к нему. "Что, дорогой?" — спросила она, кладя руку ему на лоб. Он кашлял так сильно, что ей казалось, сейчас он начнет харкать кровью. Когда приступ прошел, он сказал: "Я хочу тебе что-то сказать". Она ждала, слушала. "Я..." — начал он, но тут кашель возобновился, ужасный, до судорог. "Ш-ш-ш, — сказала Роза и закрыла ему рот ладонью. — Не надо говорить". Литвинов сжал ее пальцы. "Надо", — сказал он. И вдруг судороги прекратились, тело расслабилось. "Ты разве не видишь?" — спросил он. "Что?" Он зажмурился, потом снова открыл глаза. Она была рядом, смотрела на него нежно, заботливо. Погладила его руку. "Пойду заварю тебе чаю", — сказала, вставая. "Роза!" — позвал он. Она обернулась. "Я хотел, чтобы ты меня полюбила", — прошептал он. Роза поглядела на него. В этот момент он казался ей ребенком, которого у них никогда не было. "И я тебя полюбила", — сказала она, поправляя абажур. Затем она вышла за дверь, тихо прикрыв ее за собой. И это был конец их разговора.

Было бы удобно считать, что это последние слова Литвинова. Но это было не так. Позже в тот вечер они говорили про дождь, про Розину племянницу, про то, надо ли покупать новый тостер, потому что старый уже дважды загорался. Но они больше не упоминали ни "Историю любви", ни ее автора.

Задолго до того, когда "История любви" была принята маленьким издательством в Сантьяго, издатель предложил кое-что изменить, и Литвинов, не желая спорить, согласился внести в рукопись требуемые изменения. Иногда ему даже удавалось убедить себя, будто то, что он сделал, не так ужасно. Гурский погиб, но хотя бы книга его будет опубликована и прочтена, разве этого мало? Однако его совесть не принимала такого оправдания. В отчаянии, не зная, что еще сделать, он в тот вечер внес в текст еще одно изменение — о котором издатель не просил. Он запер дверь, достал из нагрудного кармана измятый листок, который носил с собой много лет, расправил. Вынул из ящика стола чистую страницу. Наверху написал: *Глава 39. Смерть Леопольда Гурского.* Затем переписал все с листочка, слово в слово, и старательно перевел на испанский.

Когда издатель получил рукопись, он прислал Литвинову письмо: *О чем Вы думали, добавляя новую, последнюю, главу? Я собираюсь ее убрать – она никак не связана со всем остальным.* В это время был отлив, и Литвинов смотрел, как чайки дрались из-за какого-то лакомого кусочка, найденного на скалах. *Если Вы это сделаете,* — написал он в ответ, — *я заберу у Вас книгу.* В течение дня ничего не произошло. *Ради бога!* — пришел назавтра ответ от издателя. — *Нельзя быть таким обидчивым.* Литвинов достал из кармана ручку. *Это не предмет для обсуждения,* — написал он в ответ.

Вот почему, когда на следующее утро дождь наконец прекратился и Литвинов мирно умер в своей постели, залитой солнцем, он не унес с

собой свою тайну. Или, скажем, унес не полностью. Стоило лишь открыть книгу на последней странице, чтобы увидеть написанное черным по белому имя истинного автора "Истории любви".

Из них двоих лучше умела хранить секреты Роза. Например, она никогда и никому не рассказывала о том, что ее мать целовалась с послом Португалии в саду во время приема, устроенного ее дядей. Или что горничная сунула в карман фартука золотую цепочку, принадлежавшую ее сестре. Или что ее двоюродный брат Альфонсо, пользовавшийся огромным успехом у девочек благодаря своим зеленым глазам и пухлым губам, предпочитал мальчиков, или что ее отец страдал жестокими головными болями, из-за чего иногда плакал. Неудивительно поэтому, что она никому не рассказала о письме, адресованном Литвинову, которое пришло через несколько месяцев после публикации "Истории любви". На конверте был американский штемпель, и Роза решила, что это запоздалый отказ от кого-то из нью-йоркских издателей. Желая оградить Литвинова от неприятных вестей, она положила конверт в ящик стола и забыла о нем. Спустя еще несколько месяцев она наткнулась на него и вскрыла. К ее удивлению, письмо было написано на идише. *Дорогой Цви,* – начиналось письмо. – *Чтобы у тебя не случилось сердечного приступа, сразу же сообщаю, что пишет тебе твой старый друг Лео Гурский. Возможно, ты удивишься, что я жив, я и сам иногда этому удивляюсь. Я пишу из Нью-Йорка, где теперь живу. Я не уверен, что это письмо до тебя доберется. Несколько лет назад я написал тебе по единственному имевшемуся у меня адресу, и письмо вернулось обратно. Как я узнал нынешний адрес – долго объяснять. В любом случае, мне много чего есть рассказать, но это трудно сделать в письме. Надеюсь, что у тебя все в порядке, что жизнь твоя сложилась хорошо и ты счастлив. Конечно, я не перестаю думать о том, сохранился ли пакет, который я тебе дал, когда мы виделись в последний раз. Там была книга, которую я писал, когда мы встречались в Минске. Если она у тебя, пришли ее, пожалуйста, мне. Она не представляет ценности ни для кого, кроме меня. Обнимаю тебя сердечно. Л. Г.*

Постепенно Роза осознала: случилось нечто ужасное. Это и вправду было чудовищно; при одной мысли об этом у нее все обрывалось внутри. И частично вина лежала на ней. Она вспомнила, как однажды нашла ключ от ящика его письменного стола, открыла ящик, увидела пачку грязных страниц, исписанных незнакомым почерком, и предпочла ни о чем не спрашивать мужа. Литвинов лгал ей, да, лгал. Теперь она с кошмарным чувством вспомнила, как сама настаивала на публикации книги. Литвинов спорил с ней, говорил, что это слишком личное, но она не отставала, преодолевая его сопротивление, пока, наконец, он не сдался и не дал согласия. В конце концов, не это ли обязанность жен художников? Открывать работу своих мужей миру, который без них погряз бы в невежестве?

Когда первый шок прошел, Роза разорвала письмо на мелкие кусочки и спустила в унитаз. Надо было быстро решать, что делать. Она села за маленький столик в кухне, взяла чистую почтовую бумагу и написала: *Дорогой мистер Гурски! К великому сожалению, мой муж Цви очень болен и не в состоянии ответить Вам сам. Он был чрезвычайно рад получить Ваше письмо и узнать, что Вы живы. К сожалению, Ваша рукопись погибла, когда наш дом затопило. Надеюсь, Вы сможете нас простить.*

На следующий день она приготовила все для пикника и сказала Литвинову, что они едут на прогулку в горы. После всех волнений, связан-

ных с публикацией книги, ему необходим отдых. Она проследила за тем, чтобы все было погружено в машину. Когда Литвинов уже завел мотор, Роза хлопнула себя по лбу. "Я совсем забыла про клубнику", – сказала она и побежала обратно в дом.

Войдя в дом, она кинулась в кабинет Литвинова, достала ключик, приклеенный снизу к столу, открыла ящик и вытащила кипу измятых, грязных бумаг, пахнущих плесенью. Положила их на пол. Затем, сняла с верхней полки переписанную Литвиновым рукопись на идише и переложила ее на нижнюю полку. Выходя, она открыла кран над раковиной и заткнула слив. Подождала немного, пока раковина не переполнилась и вода полилась через край. Тогда она заперла дверь мужнина кабинета, схватила корзинку с клубникой и поспешила к машине.

Моя жизнь под водой

1. *Притяжение, существующее между видами*

После отъезда дяди Джулиана мама еще больше ушла в себя или, вернее сказать, погрузилась во мрак, стала какой-то далекой, смутной, расплывчатой. Вокруг нее собирались пустые чашки из-под чая, под ногами валялись страницы из словарей. Она забросила сад: хризантемы и астры, надеявшиеся, что она будет ухаживать за ними до первых заморозков, печально опустили свои промокшие головки. От издателей приходили письма с предложениями перевести ту или иную книгу. Она не отвечала на письма. К телефону подходила, только когда звонил дядя Джулиан, и, разговаривая с ним, плотно закрывала дверь.

С каждым годом мои воспоминания об отце становились все более далекими, смутными, расплывчатыми. Когда-то они были живые и правдивые, потом начали напоминать фотографии, а теперь стали вроде как фотографии с фотографий. Но иногда, очень редко, воспоминания возвращались с неожиданной яркостью, и чувство, которое я годами в себе подавляла, выскакивало, как чертик из табакерки. В такие минуты я думала, не то же ли самое ощущает мама.

2. *Автопортрет с грудью*

Каждый вторник, вечером, я отправлялась на метро в город, в класс "Рисование с натуры". На первом занятии я поняла, что это означает. Это означало, что мы будем рисовать абсолютно голых людей, которых наняли специально для того, чтобы они стояли неподвижно в центре, а мы располагались вокруг на стульях. В группе я была самой младшей. Я старалась держаться непринужденно, словно мне не впервой было рисовать обнаженных людей. Первая модель была женщина с обвислой грудью, курчавыми волосами и красными коленками. Я не знала, на что смотреть. Вокруг меня все склонились над своими альбомами и энергично рисовали. Я провела на бумаге несколько неуверенных линий. "Не забудьте про соски", – сказала учительница, обходя всех подряд. Я пририсовала соски. Когда учительница подошла ко мне, она спросила: "Можно?" – и, подняв, показала мой рисунок остальным. Даже модель обернулась, чтобы посмотреть. "Вы знаете, что это такое?" – спросила

учительница, ткнув пальцем в рисунок. Несколько человек отрицательно покачали головой. "Это фризби[1] с соском", – сказала она. "Извините", – пробормотала я. "Не надо извиняться, – сказала учительница, кладя руку мне на плечо. – Заштрихуй". Затем она показала классу, как превратить фризби в огромную грудь.

Модель на следующем занятии была очень похожа на первую. Когда учительница приближалась ко мне, я наклонялась над своим рисунком и начинала яростно штриховать.

3. *Как защитить от воды своего брата*

Дождь зарядил в конце сентября, за несколько дней до моего дня рождения. Он не прекращался целую неделю, и когда казалось, что вот-вот выглянет солнце, его словно заставляли спрятаться, и дождь начинался снова. Иногда лило так сильно, что Бёрд вынужден был прекращать работу над своей башней из мусора, хотя он и натянул брезент над этим сооружением, в верхней части уже приобретающим какую-никакую форму. Возможно, оно должно было стать местом для собраний ламедвовников. Несколько старых досок образовывали две стены; чтобы сделать еще две, Бёрд ставил одну на другую картонные коробки. Крыши пока не было – если не считать куска брезента. Однажды, проходя мимо, я остановилась посмотреть, что он делает. Бёрд спускался по лестнице, приставленной к одной стороне этой груды мусора. В руках у него была огромная железяка. Я бы хотела помочь ему, но не знала как.

4. *Чем больше я думала об этом, тем сильнее у меня болел живот*

Утром в день рождения я проснулась от крика Бёрда: "Подъем! Вставай!", а вслед за этим раздалось: "Наш малыш чудесней всех на свете, где еще растут такие дети!" Эту песенку обычно пела мама, поздравляя нас с днем рождения, когда мы были маленькие, а теперь Бёрд присвоил ее себе. Немного погодя пришла мама и положила мне на кровать свои подарки рядом с подарком Бёрда. Я была счастлива, но радостное настроение вмиг улетучилось, едва я открыла пакет. Там лежал оранжевый спасательный жилет.

– Спасательный жилет! – воскликнула мама. – Отличная идея! Где ты его раздобыл, Бёрд? – спросила она с неподдельным восхищением, перебирая завязки. – Очень удобная штука.

"Удобная? – захотелось мне закричать. – *Удобная?*"

Я не на шутку разволновалась. Что, если религиозность Бёрда не просто временное явление, а привычное состояние, доходящее до фанатизма? Мама думала, что таким способом он пытается справиться с потерей отца и в один прекрасный день это пройдет. Ну а если с возрастом он только укрепится в своих убеждениях, несмотря на все доказательства против? Если так и не заведет себе друзей? Если станет оборванцем, шатающимся по городу и раздающим спасательные жилеты, не желающим принимать мир таким, какой он есть, потому что действительность не соответствует его мечтам?

1. "Летающая тарелка" – пластиковый диск для спортивной игры.

Я попыталась найти его дневник, но Бёрд забрал его из-под кровати, и нигде в других местах, где я искала, дневника тоже не оказалось. Зато среди грязной одежды под своей кроватью я обнаружила "Улицу Крокодилов" Бруно Шульца, которую уже две недели назад надо было вернуть в библиотеку.

5. *Однажды*

Я мимоходом спросила маму, не слыхала ли она о писателе Исааке Морице, про которого консьерж из дома 45 по 52-й улице сказал, что это сын Альмы. Мама сидела на скамейке в саду и смотрела на громадный айвовый куст, словно ожидая, что он что-то ей скажет. Вначале она даже меня не услышала. "Мам!" – повторила я. Она с удивлением обернулась. "Я говорю, ты когда-нибудь слыхала о писателе по имени Исаак Мориц?" Она ответила: "Да". – "А книги его читала?" – спросила я. "Нет". – "Ну а как ты думаешь, Нобелевскую премию он заслуживает?" – "Нет". – "Откуда ты знаешь, если не прочла ни одной его книги?" – "Я предполагаю", – сказала она, потому что никогда бы не призналась, что присуждает Нобелевские премии только покойникам. Затем она снова уставилась на куст.

В библиотеке я набрала "Исаак Мориц" на компьютере. Компьютер выдал мне шесть книг. Самым большим тиражом выходила книга под названием "Средство исцеления". Я отыскала ее на полке. На задней стороне обложки была фотография автора. Странно было смотреть на его лицо, зная, что женщина, в честь которой меня назвали, должна быть на него похожа. У него были вьющиеся волосы, намечающаяся лысина, карие глаза за очками в металлической оправе казались маленькими и слабыми. Я перевернула книгу и открыла первую страницу. *Глава первая,* – прочитала я. – *Джейкоб Маркус ждал свою мать на углу Бродвея и Грэхем.*

6. Я *перечитала это снова*

Джейкоб Маркус ждал свою мать на углу Бродвея и Грэхем.

7. И *снова*

...Джейкоб Маркус ждал свою мать...

8. И *снова*

...Джейкоб Маркус...

9. *Боже ты мой*

Я перевернула книгу, посмотрела на фотографию. Затем прочла до конца первую страницу. Затем вернулась к фотографии, прочитала следующую страницу, снова вернулась к фотографии и уставилась на нее. Джейкоб Маркус – просто один из героев книги! Человек, который присылал моей маме письма, – писатель Исаак Мориц. *Сын* Альмы. Он подписывался именем персонажа своей самой знаменитой книги! Мне

вспомнилась строчка из его письма: *Иногда я даже прикидываюсь, что пишу, но никого этим не обманываю.*

Пока библиотека не закрылась, я успела прочитать пятьдесят восемь страниц. На улице было уже темно. Я стояла у входа с книгой под мышкой, смотрела на дождь и старалась разобраться в ситуации.

10. *Ситуация*

Вечером, пока мама сидела наверху, переводя "Историю любви" для человека, которого, как она думала, зовут Джейкоб Маркус, я дочитала "Средство исцеления" — книгу, героя которой звали Джейкоб Маркус, написанную писателем по имени Исаак Мориц, сыном героини "Истории любви" Альмы Меремински, которая тоже оказалась реальным лицом.

11. *Ожидание*

Когда я закончила последнюю страницу, я позвонила Мише и после второго гудка повесила трубку. Это был условный знак: так мы делали, если хотели поговорить поздно ночью. Прошло больше месяца с нашего последнего разговора. Я перечислила в блокноте все, чего мне без него не хватает. Того, как он морщит нос, когда о чем-то задумывается, — это раз. Того, как он берет в руки разные вещи, — это два. Но сейчас мне по-настоящему нужно было с ним поговорить, и никакой список не мог этого заменить. Я стояла около телефона, а мой желудок выворачивался наизнанку. Пока я ждала, мог исчезнуть целый вид бабочек или большое и умное млекопитающее с такими же чувствами, как у меня.

Но он так и не позвонил. Возможно, это означало, что он не хочет со мной говорить.

12. *Все мои друзья*

Бёрд спал в своей комнате, его кипа упала на пол. На подкладке виднелись золотые буквы: *Свадьба Марши и Джо, 13 июня 1987*, и хотя Бёрд утверждал, что кипу он нашел в шкафу в столовой, и был уверен, что она принадлежала папе, никто из нас никогда ни о каких Марше и Джо не слышал. Я села с ним рядом. Тело его было теплым, почти горячим. Я размышляла о том, что, если бы я не придумывала столько о нашем отце, Бёрд, может быть, так бы его не боготворил и не считал, что сам должен стать кем-то необыкновенным.

Дождь хлестал в окно. "Просыпайся", — шепнула я. Бёрд открыл глаза и застонал. Из коридора в комнату падал свет. "Бёрд", — сказала я, тронув его за руку. Он щурясь взглянул на меня и протер глаза. "Ты должен перестать говорить о Боге, хорошо?" Он ничего не ответил, но теперь я уже не сомневалась, что он проснулся. "Тебе скоро двенадцать. Хватит уже издавать странные звуки, и прыгать с большой высоты, и вечно себя калечить". Я понимала, что умоляю его, но мне было все равно. "Ты должен перестать писать в кровать, — прошептала я, и в слабом свете увидела по его лицу, что ему больно это слышать. — Ты должен научиться подавлять свои чувства и стараться быть нормальным. Если ты не будешь..." У него дрогнули губы, но он промолчал. "У тебя должны

быть друзья", – сказала я. "У меня есть друг", – прошептал он. "Кто?" – "Мистер Голдштейн". – "У тебя должно быть больше друзей". – "У тебя тоже только один друг, – сказал он. – Кроме Миши тебе никто не звонит". – "Нет, у меня есть друзья. Много друзей", – сказала я и, как только произнесла эти слова, поняла, что говорю неправду.

13. В *другой комнате спала моя мама, свернувшись клубочком рядом с уютной грудой книг*

14. Я *старалась не думать о*

а) Мише Шкловски
б) Любе Великой
в) Бёрде
г) моей маме
д) Исааке Морице

15. Я *должна*

Чаще куда-нибудь ходить, записаться в какие-нибудь кружки. Должна купить новую одежду, покрасить волосы в голубой цвет, позволить Герману Куперу катать меня на машине его отца, целовать меня и, возможно, трогать мою несуществующую грудь. Я должна приобрести какие-нибудь полезные навыки, например, научиться выступать на публике, играть на электрогитаре, должна сходить к врачу по поводу болей в желудке, найти своего героя взамен человека, который писал детские книжки и самолет которого потерпел аварию, прекратить попытки расставить папину палатку в рекордное время, выкинуть свои тетради с записями, перестать сутулиться, избавиться от привычки отвечать на любой вопрос типа "как дела?" так, будто я примерная ученица английской школы, для которой вся жизнь – длительная подготовка к чаепитию у королевы.

16. С*отни разных вещей могут изменить твою жизнь*

Я открыла ящик стола и перерыла все в поисках клочка бумажки, где я записала адрес Джейкоба Маркуса, который на самом деле был Исаак Мориц. Пока искала, наткнулась на старое Мишино письмо, одно из первых. *Дорогая Альма,* – писал он. – *Откуда ты так хорошо меня знаешь? Мне кажется, мы как две горошины в одном стручке. Я действительно люблю Джона больше, чем Пола. Но Ринго я тоже очень уважаю.*

В субботу утром я отыскала в Интернете и распечатала карту с указанием маршрута и сказала маме, что на целый день иду к Мише. Потом я отправилась к Куперу, постучалась в дверь их дома. Герман вышел, всклокоченный, в футболке "Секс Пистолз"[1]. "Ну и ну!" – сказал он, когда меня увидел, и попятился. "Не хочешь прокатиться на машине?" – спросила я. "Это шутка?" – "Нет" – "Ооо-кееей, – сказал Герман. – Подожди минутку". Он пошел наверх, чтобы взять у отца ключи, а когда

1. Музыкальная панк-группа.

спустился, на нем была свежая голубая футболка и волосы мокрые и приглаженные.

17. *Посмотри на меня*

"Куда мы едем, в Канаду?" – спросил Герман, когда увидел карту. На руке у него, там, где обычно носят часы, была белая полоска. "Коннектикут", – сказала я. "Только сними этот капюшон", – сказал он. "Почему?" – "Я не вижу твоего лица". Я откинула капюшон. Он улыбнулся. Глаза у него были еще сонные. Я указывала ему направление, и мы говорили о том, в какой колледж он собирается поступать на следующий год. Он сказал, что выберет главным предметом биологию моря, потому что хочет построить жизнь как Жак Кусто. Я подумала, что, возможно, у нас больше общего, чем мне раньше казалось. Он спросил меня, кем я хочу быть, и я сказала, что одно время, но недолго, думала о палеонтологии, и тогда он спросил, чем занимаются палеонтологи, и я объяснила, что, если он, к примеру, возьмет полный иллюстрированный каталог музея "Метрополитен", разрежет его на сто кусков, разбросает со ступеней музея и так далее, и тогда он спросил, почему я раздумала, и я сказала, что, наверное, не для этого создана, а он спросил для чего, и я сказала: "Это долгая история", а он сказал, что у него есть время, и я спросила: "Тебе в самом деле интересно?" – и он сказал: "Да", и тогда я рассказала ему всю правду, начиная с папиного швейцарского ножа и книги "Съедобные растения и цветы Северной Америки" и кончая своими планами когда-нибудь отправиться исследовать Арктику, взяв с собой только то, что можно унести в рюкзаке. "Надеюсь, ты этого не сделаешь", – сказал он. Тут мы свернули не там, где надо, и остановились у бензоколонки спросить дорогу и купить печенья. "Я плачу", – сказал Герман, когда я достала кошелек. Когда он протянул через прилавок пятидолларовую бумажку, руки у него дрожали.

18. Я *рассказала ему все про "Историю любви"*

Полил дождь – такой сильный, что нам пришлось свернуть на обочину. Я сняла кроссовки и положила ноги на приборную доску. Герман написал мое имя на запотевшем ветровом стекле. Потом мы вспомнили, как сто лет назад устроили в бассейне морской бой, и на меня накатила тоска, оттого что на будущий год Герман уедет начинать собственную жизнь.

19. Я *действую*

После долгих поисков мы наконец нашли грунтовую дорогу, ведущую к дому Исаака Морица. До того мы два или три раза проехали мимо, не заметив ее. Я уже готова была сдаться, но Герман не согласился. Когда мы ехали по этой дороге, у меня вспотели ладони, потому что я никогда раньше не общалась со знаменитым писателем и уж тем более с писателем, которому я подделала письмо. Адрес Исаака Морица был указан на табличке, прибитой к большому клену. "Откуда ты знаешь, что это клен?" – спросил Герман. "Просто знаю", – сказала я, не вдаваясь в подробности. Потом я увидела озеро. Герман подъехал к дому и выключил мотор. Внезапно стало очень тихо. Я наклонилась завязать кроссовки.

Когда я распрямилась, Герман смотрел на меня. С надеждой, и недоверием, и почему-то с грустью, и я подумала, что, возможно, такое лицо было у моего отца, когда он смотрел на мою маму очень-очень давно, еще на Мертвом море, когда началась та цепь событий, которая сегодня привела меня сюда, в эту глушь, с мальчиком, вместе с которым я выросла, но которого почти не знаю.

20. Ша*лаш, шалом, шалот, шалун*

Я вышла из машины и набрала воздуху в легкие.

Я твердила про себя: меня зовут Альма Зингер вы меня не знаете но меня назвали в честь вашей матери.

21. Ша*ль, шаман, шамот, шампунь*

Я постучала в дверь. Ответа не было. Я позвонила в звонок — то же самое. Тогда я обошла дом вокруг, заглядывая в окна. Внутри было темно. Когда я вернулась ко входу, Герман стоял, прислонившись к машине, скрестив руки на груди.

22. Я *решила, что терять нечего*

Мы сидели на крыльце дома Исаака Морица и смотрели на дождь. Я спросила у Германа, слышал ли он когда-нибудь про Антуана де Сент-Экзюпери, и когда он сказал: "Нет", спросила, слышал ли про "Маленького принца", и он сказал, что, кажется, слышал. Тогда я рассказала ему, как Сент-Экзюпери потерпел крушение в Ливийской пустыне, как он пил росу с крыльев самолета, собирая ее в промасленную тряпку, и прошагал сотни миль, в жару и холод, обезвоженный, в бреду. Когда я дошла до того момента, когда его нашли бедуины, Герман просунул пальцы в мою руку, и я подумала, что каждый день исчезают семьдесят четыре вида, и это одна из причин (но не только она), чтобы держать в руке чью-то руку, и уже в следующую минуту мы поцеловались, и я обнаружила, что умею целоваться, и мне стало одновременно радостно и грустно. Потому что я поняла, что влюбилась, но не в Германа.

Мы прождали довольно долго, но Исаак так и не появился. Я не знала, что дальше делать, и оставила на двери записку со своим номером телефона.

Через полторы недели — я точно помню число: 5 октября — мама читала газету и вдруг сказала: "Помнишь, ты спрашивала меня о писателе Исааке Морице?" Я сказала: "Да", и она сказала: "Здесь, в газете, его некролог".

В этот вечер я поднялась в ее кабинет. У нее оставались непереведенными пять глав "Истории любви", и она не знала, что теперь ей не для кого переводить — если не считать меня.

— Мама, — сказала я. Она обернулась. — Можно я кое-что тебе скажу?

— Конечно, дорогая. Иди сюда.

Я шагнула вперед. Мне так много нужно было сказать.

— Я хочу, чтобы ты... — сказала я и заплакала.

— Чтобы я что? — спросила она, широко раскинув руки.

— Чтобы ты не грустила, — сказала я.

Одно доброе дело

28 сентября

יהוה

Сегодня десятый день как идет дождь. Доктор Вишнубакат сказал что хорошо бы мне записывать свои мысли и чувства в дневник. Он сказал что если я хочу чтобы он знал что я чувствую но не хочу об этом говорить я смогу просто дать ему свой дневник. Я не спросил слышал ли он когда-нибудь слово личное? Есть у меня одна мысль. Слетать в Израиль очень дорого. Я это знаю потому что попытался купить билет в аэропорту и мне сказали что он стоит 1200 долларов. Когда я сказал этой женщине что однажды моя мама купила билет за 700 долларов она сказала что билетов по 700 долларов больше нет. Я подумал может быть она так говорит потому что думает у меня нет денег и достал коробку из-под ботинок и показал ей 741 доллар и пятьдесят центов. Она спросила где я добыл столько денег и тогда я ей рассказал про 1500 стаканов лемонада хотя это было не совсем правдой. Тогда она спросила почему я так сильно хочу полететь в Израиль а я спросил умеет ли она хранить секреты и она сказала да и тогда я ей рассказал что я ламедвовник а может быть даже Мессия. Когда она это услышала она отвела меня в специальную комнату только для служащих и дала мне значок Эль Аль. Потом приехала полиция и меня отвезли домой. Я очень разозлился.

29 сентября

יהוה

Дождь идет уже 11 дней. Кто поверит что я ламедвовник если раньше долететь до Израиля стоило 700 долларов а теперь 1200? Они не должны менять цену чтобы человек знал сколько лемонаду он должен продать чтобы полететь в Иерусалим.

Сегодня доктор Вишнубакат попросил меня объяснить записку которую я оставил маме и Альме когда думал что улечу в Израиль. Он положил записку передо мной чтобы я освежил память. Но освежать мне было нечего я прекрасно помнил что было в записке потому что я написал 9 черновиков чтобы получилось официально но все время делал ошибки. Там было сказано "Дорогие мама и Альма и все остальные я должен уехать и возможно надолго. Пожалуйста не пытайтесь меня найти. Дело в том что я ламедвовник и мне о многом нужно позаботиться. Скоро будет потоп но вы не беспокойтесь потому что я построил для вас ковчег. Альма ты знаешь где он. С любовью Бёрд".

Доктор Вишнубакат спросил почему меня прозвали Бёрд. Я сказал что нипочему. Если вы хотите знать почему доктора Вишнубаката зовут доктор Вишнубакат то это потому что он из Индии. Если вы забудете его фамилию просто вспомните *Вишню-в-бокале.*

30 сентября

יהוה

Сегодня дождь прекратился и пожарники разрушили мой ковчег потому что они сказали это опасно в пожарном отношении. Мне стало очень грустно. Я старался не плакать потому что мистер Голдштейн говорит что Б-г делает все к лучшему а еще потому что Альма сказала что я должен научиться подавлять свои чувства чтобы у меня были друзья. И еще мистер Голдштейн говорит что чего не видят глаза того не чувствует сердце но я должен был увидеть что случилось с моим ковчегом потому что я вдруг вспомнил что написал сзади יהוה а такое никому не позволено выбрасывать. Я заставил маму позвонить по-

жарникам и спросить куда они девали все части ковчега. Мама сказала что они сложили все на тротуаре для мусорщиков и тогда я заставил ее свозить меня туда но мусорщики уже приходили и все исчезло. Я плакал и пинал каменную стену и мама пыталась меня обнять но я не давался потому что она не должна была позволить пожарникам разрушить ковчег и еще должна была спросить меня прежде чем выбрасывать все что принадлежало папе.

1 октября

יהוה

Сегодня я пошел повидаться с мистером Голдштейном в первый раз с тех пор как пытался улететь в Израиль. Мама привезла меня в школу и ждала снаружи. Мистера Голдштейна не было ни в его комнате в подвале ни в молельне но я в конце концов отыскал его на задах школы где он копал яму для молитвенников с поврежденными корешками. Я поздоровался с ним но он долго ничего не отвечал и даже на меня не смотрел. Тогда я сказал что возможно завтра снова начнется дождь а он сказал что дураки и сорняки растут без дождя и продолжал копать. Голос у него был печальный и я попытался понять что он хотел этим сказать. Я стоял рядом и следил как яма становится все глубже. Его ботинки были в грязи и я вспомнил как кто-то из даледов прилепил ему на спину записку Ударь меня и никто ему ничего не сказал даже я потому что я не хотел чтобы он узнал об этой записке. Я увидел как он завернул три молитвенника в старую тряпку и затем поцеловал сверток. Круги под глазами у него были темнее обычного. Я подумал что может быть Дураки и сорняки растут без дождя означало что он расстроен и попробовал сообразить почему и когда он положил молитвенники в яму я сказал Да возвысится и освятится великое имя Его. И тут я увидел что у мистера Голдштейна на глазах появились слезы. Он начал засыпать яму и я видел что его губы шевелятся но не слышал что он говорил и стал прислушиваться приблизил ухо прямо к его губам и услышал: Хаим (так он меня называл) ламедвовник скромен и действует тайком а потом отвернулся и я понял что плакал он из-за меня.

2 октября

יהוה

Сегодня опять пошел дождь но мне теперь все равно потому что ковчег разрушен и потому что я разочаровал мистера Голдштейна. Ламедвовник никогда и никому не должен говорить что он один из 36 человек от которых зависит судьба мира это означает что надо делать добрые дела и помогать людям так чтобы никто тебя не заметил. А я вместо этого рассказал Альме что я ламедвовник и еще маме и женщине в Эль Аль и Луису и мистеру Хинтцу учителю физкультуры потому что он хотел заставить меня снять кипу и надеть шорты и еще нескольким людям и меня увезла из аэропорта полиция и пожарники пришли и разрушили ковчег. От всего этого мне хотелось плакать. Я разочаровал мистера Голдштейна. Я не знаю значит ли это что я больше не ламедвовник.

3 октября

יהוה

Сегодня доктор Вишнубакат спросил не кажется ли мне что у меня депрессия а я спросил что вы имеете в виду и он сказал не грустно ли мне и я не стал ему говорить вы что невежда? потому что ламедвовник так бы не сказал. Вместо этого я сказал если бы лошадь знала как мал человек по сравнению с ней она бы его растоптала так иногда говорит мистер Голдштейн и доктор Вишну-

бакат сказал это интересно а нельзя ли поподробнее? и я сказал нет. Потом мы несколько минут сидели молча как мы иногда делаем но мне стало скучно и я сказал кукуруза может расти на навозе так тоже говорит мистер Голдштейн и это похоже еще больше заинтересовало доктора Вишнубаката потому что он записал эти слова в свой блокнот и тогда я сказал что гордость лежит на куче навоза. Тогда доктор Вишнубакат сказал могу я задать тебе один вопрос и я ответил смотря какой и он спросил тоскуешь ли ты без своего отца и я сказал что практически его не помню и он сказал что наверное это тяжело потерять отца а я ничего не сказал. Если хотите знать почему я ничего не сказал так это потому что я не люблю когда о папе говорят те кто его не знал.

После всего этого я решил что теперь прежде чем что-то сделать я буду спрашивать себя *поступил ли бы так ламедвовник?* Например сегодня позвонил Миша и попросил позвать к телефону Альму и я не сказал ему небось давно не целовался? Потому что когда я спросил себя *сказал ли бы так ламедвовник* ответ был *нет.* Тогда Миша спросил как она поживает и я сказал прекрасно и он сказал скажи ей что я звонил узнать нашла ли она того человека которого искала но я не понял о чем он говорит и сказал что-что? и тогда он сказал ладно неважно не говори что я звонил и я сказал о'кей и не рассказал Альме потому что ламедвовник умеет хранить тайны. Я не знал что Альма кого-то ищет и попробовал сообразить кто бы это мог быть но не смог.

4 октября

יהוה

Сегодня случилось ужасное. Мистер Голдштейн почувствовал себя плохо и потерял сознание и пролежал три часа пока его не обнаружили и сейчас он в больнице. Когда мама мне это сказала я пошел в ванную запер дверь и попросил Б-га сделать так чтобы у мистера Голдштейна все было о'кей. Когда я почти на сто процентов был уверен что я ламедвовник я обычно думал что Б-г может меня услышать. Но теперь я не уверен. Потом мне пришла в голову страшная мысль что возможно мистер Голдштейн заболел потому что я его разочаровал. Мне вдруг стало очень-очень грустно. Я крепко зажмурил глаза чтобы не было видно слез и старался думать о том что бы сделать. Потом меня осенило. Если сделать одно доброе дело помочь кому-то и никому об этом не говорить то может быть мистеру Голдштейну станет лучше и я буду настоящий ламедвовник!

Иногда если мне надо что-то узнать я спрашиваю Б-га. Например я спрашиваю если ты хочешь чтобы я украл 50 долларов из маминого кошелька чтобы купить билет в Израиль хотя вообще воровать нехорошо пускай мне завтра попадутся подряд три синих фольксвагена-жучка и если попадутся значит ответ да. Но на этот раз я знал что не могу просить Б-га о помощи потому что должен все делать сам. Поэтому я постарался вспомнить кого-нибудь кому нужна моя помощь и внезапно понял что надо сделать.

Когда я видел тебя в последний раз

Я лежал в постели, и мне снился сон. Дело происходило в бывшей Югославии, или, может быть, в Братиславе, а может, это была Белоруссия. Чем больше я думал, тем труднее было определить. "Проснись", — кричал у меня над ухом Бруно. Или мне казалось, что кричал, пока он не выплеснул мне в лицо кружку холодной воды. Возможно, он хотел вернуть меня в то время, когда я спас ему жизнь. Бруно сдернул с меня оде-

яло. И ничего хорошего, к сожалению, не увидел. И все-таки. Попробую объяснить. Каждое утро он у меня встает, словно адвокат в суде.

— Погляди! — кричал Бруно. — Про тебя написали в журнале.

У меня не было настроения выслушивать его шуточки. Когда я предоставлен самому себе, мне достаточно пукнуть, чтобы проснуться. Скинув на пол мокрую подушку, я забрался с головой под одеяло. Бруно стукнул меня журналом по макушке. "Встань и посмотри", — сказал он. Я притворялся глухонемым — в этом искусстве я достиг совершенства. Я слышал, как удаляются шаги Бруно. Потом услышал, как что-то грохнуло около кладовки в коридоре. Я напрягся в ожидании. Раздался громкий скрежет, за которым последовал хриплый вопль. "Про тебя написали в журнале", — сказал Бруно через мегафон, который он умудрился откопать у меня в кладовке. Хотя я спрятался под одеяло, он сумел точно найти то место, где было мое ухо. "Повторяю, — ревел мегафон. — Про тебя — в журнале". Я откинул одеяло и вырвал у него мегафон.

— С каких пор ты стал таким дураком? — закричал я.

— А ты с каких пор?.. — сказал Бруно.

— Слушай меня внимательно, — сказал я. — Сейчас я закрою глаза и сосчитаю до десяти. Когда я их открою, чтоб тебя тут не было.

Бруно надулся.

— Ты этого не хочешь, — сказал он.

— Нет, хочу, — сказал я. — Раз, два...

— Скажи, что ты этого не хочешь, — потребовал он.

Лежа с закрытыми глазами, я вспоминал, как впервые увидел Бруно. Он гонял мяч в пыли, тощий рыжий мальчик, чья семья только что переехала в Слоним. Я подошел к нему. Он поднял глаза и уставился на меня. Потом, не сказав ни слова, послал ко мне мяч. Я отбил его назад.

"Три, четыре, пять", — сказал я. Я почувствовал, что журнал шлепнулся мне на колени. И услышал удаляющиеся шаги Бруно. На секунду он остановился. Я попытался представить свою жизнь без него. Это было невозможно. И все-таки. "Семь! — закричал я. — Восемь!!" На девятый счет я услышал, как хлопнула входная дверь. "Десять", — сказал я в пространство. Потом открыл глаза и посмотрел вниз.

Там, на странице единственного журнала, который я выписывал, было мое имя.

Я подумал: что за совпадение, еще один Лео Гурски! Это меня взбудоражило, хотя, скорее всего, речь шла не обо мне. Не такое уж редкое имя. И все-таки. Не такое частое тоже.

Я прочитал первую фразу. И этого было достаточно, чтобы понять: это не может быть никто иной, кроме как я. Потому что именно я написал эту фразу. В своей книге, в романе о моей жизни. В книге, которую я начал писать после сердечного приступа и послал Исааку в то утро, когда вернулся из класса рисования. Его имя, увидел я, было напечатано прописными буквами вверху страницы. "СЛОВА ДЛЯ ВСЕГО НА СВЕТЕ" – это было заглавие, на котором я в конце концов остановился, а под ним стояло: ИСААК МОРИЦ.

Я посмотрел на потолок.

Я посмотрел вниз. Я уже говорил, некоторые фрагменты я знал наизусть. И та фраза, которую я знал наизусть, тоже была там. Как и сотня других фраз, которые я знал наизусть, только кое-где чуточку измененных, отчего я почувствовал раздражение. В конце было несколько

слов от редакции. Там говорилось, что Исаак умер в этом месяце и что публикуемый отрывок — часть его последней рукописи.

Я слез с кровати и вытащил телефонную книгу из-под "Знаменитых цитат" и "Истории науки", которые Бруно любит подкладывать под себя, когда сидит за моим кухонным столом. Я нашел телефон журнала.

— Здравствуйте, — сказал я. — Пожалуйста, соедините меня с отделом художественной литературы.

После третьего гудка мне ответил мужской голос. Похоже, молодой.

— Отдел художественной литературы.

— Откуда вы взяли этот рассказ? — спросил я.

— Простите?

— Откуда вы взяли этот рассказ?

— Какой рассказ, сэр?

— "Слова для всего на свете".

— Это из романа покойного Исаака Морица, — сказал он.

— Ха, ха, — сказал я.

— Простите?

— Это не так, — сказал я.

— Это именно так, — сказал он.

— Нет, это не так.

— Уверяю вас, это так.

— А я вас уверяю, что нет.

— Нет, сэр. Это *так*.

— О'кей, — сказал я. — Пусть так.

— Могу я узнать, с кем говорю? — спросил он.

— Лео Гурски, — ответил я.

Последовала неловкая пауза. Когда он заговорил снова, голос его звучал уже не так уверенно.

— Это шутка?

- Нет, — ответил я.

— Но так зовут героя рассказа.

— О том и речь, — сказал я.

— Придется уточнить в отделе проверки, — сказал он. — Обычно они нам сообщают, если существует реальное лицо с тем же именем.

— Да что вы говорите! — закричал я.

— Подождите, пожалуйста.

Я повесил трубку.

Большинству людей два или три раза в жизни приходят в голову хорошие идеи. И на этих журнальных страницах была одна из моих идей. Я снова все перечитал. Кое-где удовлетворенно посмеиваясь и восхищаясь собственным мастерством. И все-таки. Чаще я морщился.

Я опять позвонил в журнал и попросил соединить меня с отделом художественной литературы.

— Догадайтесь, кто звонит, — сказал я.

— Лео Гурски? — сказал мужчина. В его голосе мне послышался страх.

— Эврика! — воскликнул я и затем спросил: — Эта так называемая книга...

— Да?

— Когда она выйдет из печати?

— Пожалуйста, подождите минутку.

Я подождал.

— В январе, — сказал он, вернувшись.

— В январе! — закричал я. — Так скоро! — Календарь у меня на стене показывал 17 октября. Я не смог удержаться и спросил: — А книга хоть стоящая?

— Некоторые считают, что едва ли не лучшая из того, что он написал.

— Едва ли не лучшая! — Мой голос подскочил на октаву и оборвался.

— Да, сэр.

— Мне хотелось бы пораньше получить экземпляр, — сказал я. — Я могу не дожить до января и не успеть прочитать о себе.

На другом конце провода воцарилось молчание.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Постараюсь как-нибудь добыть. Какой у вас адрес?

— Такой же, как у Лео Гурски из отрывка, — ответил я и повесил трубку. Бедняга. Он может потратить годы на разгадывание этой истории.

Но у меня самого было над чем поломать голову. Если мою рукопись нашли в доме Исаака и ошибочно приняли за его собственную, не означает ли это, что он ее прочел или, по крайней мере, начал читать перед смертью? Потому что, если прочел, это бы все меняло. Это бы означало...

И все-таки.

Я расхаживал по квартире — насколько это было возможно среди разбросанных по всему полу ракеток для бадминтона, журналов "Нэшнл джиографик", шаров для боулинга — игры, о которой я понятия не имею.

Все очень просто: если он прочел мою книгу, он узнал правду.

Я — его отец.

Он — мой сын.

И вдруг меня осенило: вполне возможно, что короткий промежуток времени мы с Исааком, оба, жили, зная о существовании друг друга.

Я пошел в ванную, умылся холодной водой и спустился проверить почту. Я еще надеялся получить от сына письмо, отправленное им перед смертью. Я сунул ключ в замок, повернул.

Но. Всего только пачка ненужных бумаг. Телевизионная программа, рекламный буклет "Блумингдейла", письмо от Всемирной федерации защиты дикой природы (это мой верный корреспондент с тех пор, как в 1979 году я послал им десять долларов). Я взял все это к себе наверх, чтобы выбросить. Уже нажав на педаль мусорного ведра, я вдруг увидел маленький конверт с моим именем. И семьдесят пять процентов моей оставшейся в живых сердечной мышцы отчаянно застучали. Я вскрыл конверт.

Дорогой Леопольд Гурски, говорилось в письме. *Встретимся в субботу в 4.00 у скамеек перед входом в зоопарк Центрального парка. Думаю, Вы знаете, кто я.*

Переполненный чувствами, я выкрикнул:

— Да, знаю!

Искренне Ваша, заканчивалось письмо.

Искренне моя, подумал я.

Альма.

И тогда я понял, что мое время пришло. Руки у меня дрожали так, что бумага ходила ходуном. Колени подкашивались. В голове возникла странная легкость. Вот, значит, как тебе посылают ангела. Под именем девушки, которую ты всю жизнь любил.

Я постучал Бруно по радиатору. Ответа не было. Не было его и минутой позже, и еще спустя минуту, хотя я стучал и стучал — три раза, что означает "Ты жив?", два раза, что означает "Да", один раз, что означает "Нет". Я напряженно прислушивался, но ответа не было. Наверное, не стоило называть Бруно дураком, потому что теперь, когда он так мне нужен, его нет.

Поступил ли бы так ламедвовник?

5 октября

יהוה

Этим утром я проскользнул в комнату к Альме пока она принимала душ и взял из ее рюкзака третью тетрадь Как выжить в диком месте. Потом я снова залез в постель и спрятал тетрадь под одеяло. Когда вошла мама я притворился что болен. Она потрогала мой лоб и спросила как я себя чувствую. Я сказал мне кажется что у меня распухли гланды и она сказала ты наверно заболеваешь а я сказал но я должен идти в школу а она сказала ничего не случится если ты пропустишь денек и я сказал о'кей. Она принесла мне настой ромашки с медом и я выпил его с закрытыми глазами чтобы показать как мне плохо. Я слышал как Альма ушла в школу а мама пошла наверх работать. Я услышал как скрипнул стул когда она села и достал третью тетрадь Как выжить в диком месте и начал читать чтобы отыскать какой-нибудь ключ и понять кого Альма ищет.

На большинстве страниц была разная информация о том как устроиться ночевать на скалах или на крыше или как сделать воду пригодной для питья чего я никак не мог понять потому что никогда не видел воды которую нельзя было бы пить (разве что это лед). И уже подумал что вряд ли найду какую-нибудь подсказку но тут я наткнулся на страницу озаглавленную *Как выжить, если у тебя не раскрылся парашют.* Там было десять пунктов и все какие-то дурацкие. Например если ты летишь вниз и твой парашют не раскрывается вряд ли тебе поможет то что твой садовник хромает. А еще там было сказано ищи камень но откуда могут взяться камни если никто их в тебя не кидает разве что камень лежит у тебя в кармане но вряд ли нормальный человек станет носить в карманах камни. В последнем пункте было только имя Альма Меремински.

Сначала я подумал что Альма влюбилась в человека по фамилии Меремински и хочет выйти за него замуж. Но потом я перевернул страницу и прочитал Альма Меремински = Альма Мориц. Тогда я подумал что возможно она влюблена в мистера Меремински *и* мистера Морица. Стал листать дальше и на одной странице сверху было написано Чего мне не хватает без М. Ниже шел список из 15 пунктов и под первым номером было написано Как он берет в руки вещи. Я не понял как может не хватать кого-то потому что этот кто-то каким-то особенным образом берет в руки вещи.

Я старался хоть что-то сообразить но это было трудно. Если Альма влюблена в мистера Меремински или мистера Морица почему же я никогда никого из них не видел и почему они ей никогда не звонили как Герман или Миша? И почему если она любит мистера Меремински или мистера Морица ей чего-то не хватает без Миши?

Дальше тетрадь была пустой.

Единственный человек которого мне по-настоящему не хватает это папа. Иногда я завидую Альме потому что она знала папу дольше чем я и так много про него помнит. Но странное дело когда я в прошлом году читал ее вторую

тетрадь там было написано мне грустно потому что я никогда по-настоящему не знала папу.

Я думал и думал почему она все это написала и вдруг мне пришла в голову очень странная мысль. Что если мама любила кого-то другого мистера Меремински или мистера Морица и именно *он* был отцом Альмы? И что если *он* умер или уехал и поэтому Альма никогда его не знала? А потом мама встретила Давида Зингера и у нее родился я. И потом он умер и оттого мама такая печальная. Это объясняло бы почему Альма написала Альма Меремински и Альма Мориц а не Альма Зингер. Может быть она хочет найти своего настоящего отца!

Я услышал как мама встала со стула и как мог лучше притворился что я сплю я сто раз проделывал это перед зеркалом. Мама вошла села на край кровати и долго ничего не говорила. Но тут вдруг мне захотелось чихнуть я открыл глаза чихнул и мама сказала бедняжка. Тогда я решился рискнуть. Самым своим распрекрасным сонным голосом я спросил маму любила ли она кого-нибудь до папы? Я был почти на сто процентов уверен что она скажет нет. Но вместо этого на лице у нее появилось смешное выражение и она сказала пожалуй да! И тогда я спросил умер ли он? Она засмеялась и сказала нет! Я чуть не сошел с ума но мне не хотелось чтобы она что-то заподозрила поэтому я притворился будто снова заснул.

Теперь я думаю что знаю кого ищет Альма. И знаю также что если я настоящий ламедвовник я смогу ей помочь.

6 октября

יהוה

Я притворялся больным второй день подряд чтобы снова не пойти в школу и чтоб не нужно было встречаться с доктором Вишнубакатом. Когда мама ушла к себе наверх я завел будильник на своих часах и каждые десять минут кашлял ровно пять секунд. Через полчаса я слез с постели и пошел поглядеть не найдется ли в Альмином рюкзаке еще какого-нибудь ключа к разгадке. Я не нашел ничего кроме того что там всегда лежало вроде набора для первой помощи и ее швейцарского ножа но потом вынул ее свитер и в нем оказались завернуты несколько страниц. Мне достаточно было одного взгляда чтобы понять что это страницы из книги История любви которую сейчас переводит мама. Она всегда бросает черновики в мусорную корзину и я знаю как они выглядят. Я также знаю что Альма хранит в рюкзаке только очень важные вещи которые могут ей понадобиться в критической ситуации. И я постарался понять почему История любви так для нее важна.

Потом мне пришла в голову такая мысль. Мама всегда говорила что эту книгу ей дал папа. А если все это время она имела в виду не моего отца а Альминого? И вдруг в книге есть разгадка кто он был?

Мама спустилась вниз и мне пришлось убежать в туалет притвориться что у меня запор и просидеть там 18 минут чтобы она ничего не заподозрила. Когда я вышел мама дала мне номер телефона мистера Голдштейна в больнице и сказала что если хочу я могу ему позвонить. Голос у него был очень усталый и когда я спросил как он себя чувствует он сказал Ночью все кошки серые. Мне хотелось рассказать о добром деле которое я собираюсь сделать но я знал что нельзя говорить никому даже ему.

Я вернулся в постель и стал обсуждать сам с собой почему личность настоящего отца Альмы должна быть тайной. Я нашел только одну причину. Наверно он был шпион как та блондинка из любимого Альминого фильма которая работала на ФБР и не могла раскрыть кто она даже Роджеру Торнхиллу хотя

была в него влюблена. Возможно отец Альмы тоже не мог рассказать кто он такой даже маме. Возможно именно поэтому у него было два имени! А может и больше чем два! Я позавидовал Альме жалко что мой папа тоже не был шпионом но зависть быстро улетучилась ведь я помнил что может быть я ламедвовник а это даже лучше чем шпион.

Мама заглянула ко мне проверить как мои дела. Она сказала что должна уйти на час и спросила смогу ли я побыть один. Когда я услышал как захлопнулась дверь и ключ повернулся в замке я пошел в ванную поговорить с Б-гом. Потом я пошел на кухню и сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом. И тут зазвонил телефон. Я не думал что это будет что-нибудь особенное но когда я снял трубку голос на другом конце сказал Алло это Бернард Мориц могу я поговорить с Альмой Зингер?

Так я узнал что Б-г может меня услышать.

Сердце у меня колотилось как ненормальное. Решение нужно было принять очень быстро. Я сказал Ее сейчас нет но я могу ей все передать. Он сказал Спасибо но это длинная история. Тогда я сказал что и длинную могу передать.

Он сказал Хорошо я нашел записку которую она оставила на двери у моего брата. Это было по меньшей мере неделю назад брат был в больнице. В записке говорилось что она знает кто он и что ей необходимо с ним поговорить насчет Истории любви. Она оставила этот номер.

Я не сказал Я об этом знаю! или А вы знаете что он был шпион? Я просто молчал чтобы не сказать что-нибудь не так.

Но тогда человек сказал Как бы то ни было но мой брат умер он долго болел и я бы не стал звонить если бы перед смертью он не сказал мне что нашел несколько писем в ящике маминого стола.

Я молчал и человек продолжал говорить.

Он сказал что его брат прочитал эти письма и решил что его настоящим отцом был автор книги История любви. Я не очень-то в это поверил сказал он пока не увидел Альмину записку. Она упомянула эту книгу а мою мать понимаете ли тоже звали Альма. Я подумал что должен поговорить с ней или по крайней мере сообщить что Исаак умер чтобы она не удивлялась.

Тут я окончательно растерялся потому что я думал что мистер Мориц отец Альмы. Разве что оставалось допустить что у Альминого отца было много детей которые его не знали. Может быть один из них брат этого человека а другой Альма и оба они ищут своего отца одновременно.

Я спросил Вы говорите он думал что его настоящий отец автор Истории любви?

Человек на другом конце провода ответил Да.

Тогда я сказал Он думал что его отца зовут Цви Литвинов?

Теперь мне показалось растерялся этот человек. Он сказал Нет он думал его отец Леопольд Гурски.

Я заставил себя говорить совершенно спокойно и спросил Вы можете сказать мне это имя по буквам? И он сказал Г-У-Р-С-К-И. Я спросил А почему ваш брат думал что его отца зовут Леопольд Гурски? И в ответ услышал что так звали человека посылавшего нашей маме письма где были отрывки из книги История любви которую он писал.

Я чуть не сошел с ума потому что хотя и не понимал всего но был уверен что я очень близок к раскрытию тайны Альминого отца. И если я раскрою эту тайну я смогу сделать что-то полезное притом так чтобы никто не знал и тогда возможно останусь ламедвовником и все будет о'кей.

Потом человек сказал Знаете я думаю лучше все-таки мне самому поговорить с мисс Зингер. И я чтобы он ничего не заподозрил сказал что все ей передам и повесил трубку.

Я сидел на кухне и старался во всем этом разобраться. Теперь я знал что когда мама сказала что Историю любви ей дал папа она имела в виду что книгу ей дал Альмин отец потому что именно он ее написал.

Я зажмурился и сказал себе что если я ламедвовник я должен найти отца Альмы которого зовут Леопольд Гурски а также Цви Литвинов и еще мистер Меремински и еще мистер Мориц. Но как это сделать?

Я открыл глаза и уставился на блокнот где я записал Г-У-Р-С-К-И. Потом посмотрел на телефонную книгу лежавшую на холодильнике. Пододвинул стремянку и влез на нее. На книге был толстый слой пыли так что я сначала вытер ее а потом открыл на букве Г. Честно говоря я не надеялся найти его имя. Я увидел *Гурланд Джон.* Провел пальцем вниз по странице. *Гуров Гурович Гурол Гуррера Гуррин Гурс* и потом после *Гурсанова* увидел его имя. *Гурски Леопольд.* Оно все время там было. Я записал номер телефона и адрес Гранд-стрит 504. Потом закрыл телефонную книгу и поставил стремянку на место.

7 октября

יהוה

Была суббота и мне незачем было притворяться что я болен. Альма встала рано и сказала что уходит а когда мама спросила как я себя чувствую я ответил что гораздо лучше. Тогда мама спросила не хочу ли чтобы мы вместе куда-нибудь пошли например в зоопарк потому что доктор Вишнубакат сказал что хорошо бы нам проводить побольше времени вместе своей семьей. Хотя мне хотелось пойти но я знал что еще кое-что должен сделать. Поэтому я сказал маме может быть завтра. Потом я пошел к ней в кабинет включил компьютер и распечатал Историю любви. Положил все в коричневый пакет и сверху написал *Леопольду Гурски.* Маме я сказал что хочу пойти поиграть и она спросила Куда ты пойдешь? и я сказал К Луису хотя мы больше не дружим. Мама сказала о'кей но пожалуйста звони мне. Я взял 100 долларов из денег которые я заработал на лемонаде засунул пакет с Историей любви под куртку и вышел на улицу. Я не знал где находится Гранд-стрит но мне почти 12 лет и я не сомневался что найду ее.

А + Л

Письмо пришло по почте без обратного адреса. На конверте было напечатано мое имя, Альма Зингер. До сих пор я получала письма только от Миши, но он никогда не печатал на машинке. Я открыла письмо. Там было всего три строчки.

Дорогая Альма,

Встретимся в субботу в 4.00 у скамеек перед входом в зоопарк Центрального парка. Думаю, Вы знаете, кто я. Искренне Ваш Леопольд Гурски.

* * *

Не знаю, сколько я просидел на скамейке в парке. Начало темнеть, но пока было светло, я мог любоваться статуями. Поглядел на медведя, бегемота, какого-то парнокопытного, которого я принял за козла. По пути мне попался фонтан. Бассейн был сухой. Я посмотрел, нет ли на дне

монеток. Но там были только опавшие листья. Они теперь повсюду, падают и падают — в свое время все обращается в прах. Иногда я забываю, что мир живет по другому расписанию, не так, как я. Что все вокруг не умирает, или, вернее, умирает, но ненадолго, жизнь вернется, нужно только немного солнца и тепла. Иногда я думаю: я старше этого дерева, старше этой скамейки, старше этого дождя. И все-таки. Я не старше дождя. Дождь шел годами и, когда я умру, будет продолжать идти.

* * *

Я перечитала письмо. *Думаю, Вы знаете, кто я.* Но я не знаю никого по имени Леопольд Гурски.

* * *

Я принял решение: сидеть и ждать. Никаких больше дел у меня в жизни не осталось. Я могу отсидеть задницу — но пусть это будет самое плохое. Если мне захочется пить, я опущусь на колени и полижу траву, это не преступление. Мне нравится воображать, будто мои ноги пускают в землю корни и на моих руках начинает расти мох. Наверное, чтобы ускорить этот процесс, надо разуться. Влажная земля между пальцев, словно я опять мальчик. На пальцах вырастут листья. Может быть, на меня вскарабкается какой-нибудь малыш. Мальчугану, бросающему камушки в пустой фонтан, самое время лазать по деревьям. Или он слишком серьезен для своего возраста? Может быть, он думает, что не создан для этого мира. Мне хотелось сказать ему: если не ты, то кто?

* * *

Может быть, это все же письмо от Миши. Он на такое способен. Я приду в субботу и увижу его на скамейке. Уже прошло два месяца с того дня у него в комнате, когда его родители кричали друг на дружку за стенкой. Я бы рассказала ему, как без него скучала.

Гурски — это звучит по-русски.

Может быть, письмо от Миши.

Но, скорее всего, нет.

* * *

Временами я не думал ни о чем, а временами думал о своей жизни. По крайней мере я выживал. Как выживал? Да просто выживал. Жил, и все. Это было нелегко. И все-таки. Я узнал, как много можно вынести.

* * *

Если письмо не от Миши, может быть, оно от того человека в очках, который работает в муниципальном архиве, на Чамберс-стрит, 31, и который назвал меня мисс Крольчатина. Я не спросила, как его зовут, но он знает мое имя и мой адрес, потому что я заполняла анкету. Может, он нашел что-нибудь — папку или свидетельство. А может быть, подумал, что мне больше пятнадцати лет.

* * *

Было время, когда я жил в лесу, или в лесах — множественное число. Я ел червей. Я ел жуков. Я ел все, что можно было положить в рот. Иногда меня выворачивало наизнанку. В желудке творилось черт-те что, но

мне необходимо было что-то жевать. Я пил воду из луж. Лизал снег. Все, что только попадалось. Иногда я забирался в ямы, где крестьяне хранили картошку. В них хорошо было прятаться – зимой там было чуточку теплее. Но там были мыши и крысы. Если вы спросите, ел ли я сырых крыс – да, ел. Очевидно, мне очень сильно хотелось жить. И причина этому была одна: она.

Вся штука в том, что она честно призналась мне, что не может меня полюбить. Когда она сказала прощай, она сказала: прощай навсегда.

И все-таки.

Я заставил себя это забыть. Не знаю почему. И не перестаю задавать себе этот вопрос. Но я забыл.

* * *

Или, может быть, письмо пришло от старого еврея, который работает в отделе записи актов гражданского состояния на Сентрал-стрит, 1. Он вполне мог бы быть Леопольдом Гурски. Может быть, он узнал что-то об Альме Мориц, или об Исааке, или об "Истории любви".

* * *

Я помню, как в первый раз осознал, что могу заставить себя видеть то, чего на самом деле нет. Мне было десять лет, я возвращался домой из школы. Ребята из моего класса бегали наперегонки, громко крича и смеясь. Мне хотелось быть таким же, как они. И все-таки. Я не знал как. Я всегда чувствовал себя непохожим на других, и от этого мне было больно. И тогда я завернул за угол и увидел его. Огромного слона, одиноко стоящего на площади. Я знал, что только вообразил его. И все-таки. Я хотел верить.

И я старался.

И обнаружил, что могу.

* * *

А может быть, письмо пришло от консьержа из дома 45 на 52-й улице. Может быть, он спросил Исаака про книгу "История любви". Может быть, Исаак спросил у него, как меня зовут. Может быть, перед смертью он понял, кто я такая, и передал консьержу что-то для меня.

* * *

После того как я увидел слона, я позволил себе видеть больше и больше верить. Это была игра, в которую я играл сам с собой. Когда я рассказывал Альме о том, что я вижу, она смеялась и говорила, что ей очень нравятся мои фантазии. Для нее я превращал камушки в бриллианты, туфли в зеркала, стекло в воду. Я подарил ей крылья, и вытаскивал у нее из ушей птичек, и в карманах у себя она находила перья, я заставлял грушу стать ананасом, ананас – электрической лампочкой, лампочку – луной, а луне приказывал превратиться в монету, которую я подбрасывал, гадая, любит ли она меня, и на обеих сторонах был орел: я знал, что не могу проиграть.

И теперь, в конце жизни, я едва могу отличить то, что было на самом деле, от того, во что я просто верил. Взять, к примеру, это письмо у меня в руке. Мои пальцы трогают его. Бумага гладкая, если не считать

сгибов. Я могу его развернуть и снова сложить. Оно существует, это столь же несомненно, как и то, что я сейчас здесь сижу.

И все-таки.

Сердцем я понимаю, что у меня в руке ничего нет.

* * *

А может быть, это письмо от самого Исаака, которое он написал перед смертью. Может быть, Леопольд Гурски — еще один герой его книги. Может быть, он хотел что-то мне рассказать. А теперь слишком поздно — когда я приду завтра, скамейка в парке будет пуста.

* * *

Жить можно по-разному, но конец, как ни крути, всегда один. Я с этим согласился. Я подумал: по крайней мере здесь меня найдут раньше, чем дома, где вонь может расползтись по всем этажам. Когда умерла миссис Фрейд и целых три дня никто этого не обнаружил, под каждую дверь подсунули записки: "Держите сегодня окна открытыми. Управляющий". И всем нам доставил удовольствие свежий ветерок, за что надо благодарить миссис Фрейд, которая прожила долгую жизнь, со множеством странных поворотов, каких она и вообразить не могла в детстве, — жизнь, закончившуюся последним посещением продуктового магазина, куда она пошла, чтобы купить пачку печенья, и собиралась ее открыть, но прилегла отдохнуть, и сердце у нее остановилось.

Я подумал: лучше ждать на воздухе. Погода изменилась к худшему, подул холодный ветер, с деревьев полетели листья. Временами я думал о своей жизни, а временами ни о чем не думал. Иногда я проводил короткое обследование. Ты чувствуешь свои ноги? Нет. Задницу? Нет. Твое сердце бьется? Да.

И все-таки.

Я был терпелив. Несомненно, кроме меня тут были и другие, на других скамейках. У смерти полно дел. За многими надо присматривать. Чтоб она не подумала, будто я притворяюсь, я вынул карточку, которую всегда ношу в бумажнике, и английской булавкой приколол ее к куртке.

* * *

Сотни вещей могут изменить твою жизнь. Все что угодно могло случиться в промежутке между тем моментом, когда я получила письмо, и тем, когда я отправилась на встречу с неизвестным человеком, приславшим мне это письмо.

* * *

Мимо прошел полицейский. Он прочитал карточку, пришпиленную к моей груди, и уставился на меня. Я думал, он поднесет мне к носу зеркальце, но он только спросил, все ли у меня в порядке. Я сказал: да, — что еще я мог сказать, ведь я ждал ее всю жизнь, она была отрицанием смерти... и теперь я еще здесь и продолжаю ждать.

* * *

Наконец наступила суббота. Единственное мое платье, которое я надевала, когда мы ходили к Стене Плача, было мне мало. Так что я надела юбку и сунула письмо в карман. И пошла.

* * *

Теперь, когда моя жизнь почти закончена, я могу сказать, что больше всего меня поражала способность человека меняться. Сегодня ты личность, а на следующий день тебе говорят, что ты собака. Поначалу с этим трудно смириться, но постепенно ты привыкаешь считать это в порядке вещей. Наступает даже момент, когда ты с радостью осознаешь, как мало тебе нужно, чтобы остаться самим собой и впредь влачить так называемое (за неимением лучшего слова) *человеческое существование.*

* * *

Я вышла из метро и повернула в сторону Центрального парка. Прошла мимо отеля "Плаза". Уже осень; листья пожелтели и начали облетать с деревьев.

Я вошла в парк с 59-й улицы и пошла по дорожке к зоопарку. Когда я приблизилась ко входу, сердце у меня упало. Там было примерно двадцать пять стоящих в ряд скамеек. На семи из них сидели люди.

Как я узнаю, кто из них он?

Я несколько раз прошла взад-вперед мимо скамеек. Никто на меня так и не посмотрел. В конце концов я села рядом с каким-то мужчиной. Он не обратил на меня внимания.

На моих часах было 4.02. Может быть, он опаздывает.

* * *

Однажды, когда я прятался в картофельной яме, пришли эсэсовцы. Сверху яма была прикрыта тонким слоем сена. Шаги приближались, я слышал, как они переговариваются, голоса звучали буквально у меня в голове. Их было двое. Один сказал: "Моя жена мне изменяет", а второй сказал: "Откуда ты знаешь?" И первый сказал: "Я не знаю, я только подозреваю", а на это второй сказал: "Почему ты подозреваешь?" — а тем временем мое сердце почти остановилось. "Просто у меня такое ощущение", — сказал первый, и я представил себе, как пуля вонзается в мой мозг. "Не могу ни о чем другом думать, — сказал первый эсэсовец. — И совершенно потерял аппетит".

* * *

Прошло пятнадцать минут, потом двадцать. Человек, сидевший рядом со мной, встал и ушел. На его место села женщина и раскрыла книгу. Женщина на соседней скамейке встала. Через две скамейки от меня рядом с каким-то стариком сидела молодая мамаша и качала коляску с ребенком. Через три скамейки смеялась, держась за руки, парочка. Потом я увидела, как они встали и ушли. Потом встала и ушла мать с ребенком в коляске. Остались женщина, старик и я. Прошло еще двадцать минут. Начало темнеть. Я подумала: кто бы он ни был, он не собирается приходить. Женщина закрыла книжку и ушла. Остались только я и старик. Я решила уйти и встала. Я была разочарована. Не знаю, на что я рассчитывала. По пути к выходу я прошла мимо старика. У него на груди была булавкой приколота карточка. На ней было написано: *Меня зовут Лео Гурски. У меня нет родных. Пожалуйста, позвоните на кладбище "Сосновая поляна", у меня там есть место в еврейской части кладбища. Благодарю за участие.*

* * *

Вот так, благодаря этой жене, которая устала ждать своего солдата, я остался жив. Все, что ему нужно было сделать, — это проткнуть штыком сено и убедиться, что под ним кто-то есть. Не будь у него голова занята другим, я был бы обнаружен. Иногда я думаю о том, что с ней произошло. Я представляю себе, как она в первый раз наклонилась, чтобы поцеловать этого чужого человека, и что она чувствовала, влюбившись в него, или подумав, что влюбилась, просто от одиночества, и как получается, что мелкое, пустяковое событие вызывает природную катастрофу на другом конце света. Только тут была не катастрофа, а что-то ей противоположное. По чистой случайности она спасла мне жизнь, совершив, не задумавшись, благородный поступок, о чем никогда не узнала. И это тоже часть истории любви.

* * *

Я стояла перед ним.

Не знаю, заметил ли он меня.

Я сказала: "Меня зовут Альма".

* * *

И тут я увидел ее. Поразительно, на что способен разум, когда им руководит сердце. Она выглядела иначе, чем я ее помнил. И все-таки. Это была она. Глаза: я узнал ее по глазам. Я подумал: "Вот как тебе посылают ангела". Застывшим в том самом возрасте, когда она больше всего тебя любила.

— Какое совпадение, — сказал я. — Это мое любимое имя.

* * *

Я сказала:

— Меня назвали так в честь девушки из книги "История любви".

* * *

Я сказал:

— Я написал эту книгу.

* * *

— Ой! — сказала я. — Я говорю серьезно. Есть такая книга.

* * *

Я подыграл ей. Я сказал:

— Я тоже. Серьезнее некуда.

* * *

Я не знала, что ответить. Он был такой старый. Возможно, он шутил, а может быть, просто растерялся. Чтобы поддержать беседу, я спросила:

— Вы писатель?

Он сказал:

— В некотором роде.

Я спросила, как называются его книги. Он сказал: одна — "История любви", а вторая — "Слова для всего на свете".

— Странно, — сказала я. — Может быть, есть две книги под названием "История любви"?

Он молчал. Глаза у него сияли.

— Автор книги, о которой я говорю, Цви Литвинов, — сказала я. — Он написал ее по-испански. Мой отец дал ее моей маме, когда они впервые встретились. Потом отец умер, и она убрала эту книгу, а месяцев восемь назад кто-то написал ей и попросил перевести на английский. Сейчас ей осталось перевести только несколько глав. В "Истории любви", о которой я говорю, есть глава "Век Молчания", и есть глава "Рождение чувств", и еще глава...

Самый старый в мире человек засмеялся.

Он сказал:

— Ты хочешь сказать, что и в Цви была влюблена? Мало того, что ты любила меня, а потом любила меня и Бруно, а потом только Бруно, а потом разлюбила и Бруно и меня?

Я начала нервничать. Может быть, он сумасшедший. Или просто очень одинокий.

Уже совсем стемнело.

Я сказала:

— Простите, но я не понимаю.

* * *

Я увидел, что напугал ее. Я понимал, что слишком поздно ее переубеждать. Прошло шестьдесят лет.

Я сказал:

— Извини. Расскажи мне, какие главы тебе понравились. Что скажешь насчет "Стеклянного Века"? Я хотел заставить тебя смеяться.

Она изумленно на меня уставилась.

— А также плакать.

Теперь в ее глазах появился испуг.

И тут меня осенило.

Это казалось невозможным.

И все-таки.

А что, если вещи, казавшиеся мне возможными, на самом деле невозможны, а то, что казалось невозможным, на самом деле не было таким?

Например.

Что, если девочка, сидящая рядом со мной, реально существует?

Что, если ее назвали Альмой в честь моей Альмы?

Что, если моя книга не пропала во время наводнения?

Что, если...

Мимо проходил какой-то человек.

— Простите, — обратился я к нему.

— Да? — сказал он.

— Со мной рядом кто-то сидит?

Человек явно смутился.

— Я вас не понимаю, — сказал он.

— Я тоже не понимаю, — сказал я. — Но вы можете ответить на мой вопрос?

— Сидит ли кто-нибудь рядом с вами? — сказал он.

— Именно это я и спрашиваю.

И он сказал:

– Да.

Тогда я спросил:

– Это девочка лет пятнадцати, может, шестнадцати, или, может быть, ей всего четырнадцать, но она рано созрела?

Он засмеялся и сказал:

– Да.

– "Да" – как противоположность "нет"?

– Как противоположность "нет".

– Спасибо, – сказал я.

Он ушел.

Я повернулся к ней.

Мне не почудилось. Я ее знаю. И все-таки. Она была не очень похожа на мою Альму, приглядевшись, я это понял. Во-первых, она значительно выше. И волосы у нее черные. И щель между передними зубами.

– Кто такой Бруно? – спросила она.

Я всматривался в ее лицо. Я старался придумать, что ответить.

– Поговорим о невидимом, – сказал я.

В ее взгляде к страху и удивлению примешалась растерянность.

– Но кто он?

– Друг, которого у меня не было.

Она выжидающе на меня смотрела.

– Самый лучший из всех моих персонажей.

Она ничего не сказала. Я испугался, что сейчас она встанет и уйдет. Я не мог сообразить, что еще ей сказать. И поэтому сказал правду.

– Он умер.

Больно говорить такое. И все-таки. Еще очень много надо было сказать.

– Он умер в июле 1941 года.

Я ждал, что она встанет и уйдет. Но. Она не уходила, сидела, неотрывно на меня глядя.

Я зашел уже очень далеко.

Я подумал: почему бы не пойти чуточку дальше?

– И еще одно.

Я видел, что она меня слушает. Это было так радостно. Она ждала.

– У меня был сын, который так и не узнал, что я существую.

В небо, хлопая крыльями, взлетел голубь. Я сказал:

– Его звали Исаак.

* * *

И тут я поняла, что не того искала.

Я смотрела на самого старого человека в мире, стараясь увидеть в нем мальчика, который влюбился, когда ему было десять лет.

Я сказала:

– Вы были когда-то влюблены в девочку по имени Альма?

Он молчал. Его губы дрожали. Я подумала, что он меня не понял, и повторила:

– Вы были влюблены в девочку, которую звали Альма Меремински?

Он протянул руку. Дважды похлопал меня по плечу. Я поняла, что он хочет мне что-то сказать, но не догадывалась, что именно.

Я снова сказала:

— Вы были влюблены в девушку по имени Альма Меремински, которая уехала в Америку?

Его глаза наполнились слезами, он два раза похлопал меня по плечу, потом еще два раза.

Я спросила:

— Вашего сына, который, как вы думали, не знал о вашем существовании, звали Исаак Мориц?

* * *

Я почувствовал, что у меня сейчас разорвется сердце. И подумал: вот я и дожил. Дождался. Если проживу еще немного, это меня не убьет. Мне хотелось произнести ее имя вслух, лучше этого ничего не могло бы быть, потому что я понимал, что каким-то образом так ее назвала моя любовь. И все-таки. Я не мог говорить. Я боялся, что не найду правильных слов. Она сказала: "Ваш сын, который, как вы считаете, не знал..." — и я похлопал ее два раза. Потом еще два раза. Она взяла меня за руку. Свободной рукой я похлопал ее еще два раза. Она сжала мои пальцы. Я похлопал ее два раза. Она положила голову мне на плечо. Я опять похлопал два раза. Она обняла меня одной рукой. Я похлопал два раза. Она обняла меня обеими руками. Очень крепко. Больше я хлопать не стал.

— Альма, — сказал я.

Она сказала:

— Да.

— Альма, — снова сказал я.

Она сказала:

— Да.

— Альма, — сказал я.

Она два раза похлопала меня по плечу.

* * *

Смерть Леопольда Гурского

Леопольд Гурский начал умирать 18 августа 1920 года.

Он умер, учась ходить.

Он умер, стоя у классной доски.

А однажды еще и с тяжелой ношей в руках.

Он умер, стараясь научиться подписываться по-новому.

Открывая окно.

Намыливая в тазу причинное место.

Он умер один, потому что был слишком стеснителен, чтобы кому-нибудь позвонить.

Или умер, думая об Альме.

Или когда решил о ней не думать.

Тут в самом деле нечего больше сказать.

Он был большой писатель.

Однажды он полюбил.

И это была его жизнь.

Паскаль Брюкнер

Вечная эйфория

Эссе о принудительном счастье

Фрагменты книги

Перевод с французского Натальи Мавлевич

Негласная повинность

В 1738 году молодой Мирабо написал своему другу Вовенаргу письмо, в котором упрекает его за то, что тот живет как придется, одним днем и не строит планов, как достичь счастья: "Как же так, дорогой мой, вы все время думаете, работаете, нет таких высот, которые были бы недоступны вашей мысли, но вам не приходит в голову составить точный план, который приведет вас к тому, что должно составлять единственную цель нашей жизни, – к счастью". И Мирабо излагает своему скептически настроенному адресату принципы, которыми руководствуется сам: избавиться от предрассудков, быть веселым и не поддаваться дурному настроению, следовать своим склонностям, заботясь об их чистоте[1]. Можно посмеяться над таким ребячеством. Мирабо, сын своего века, вознамерившегося сотворить человека заново и уничтожить язвы старого режима, стремится к счастью так же, как другие до него стремились к спасению души.

Сильно ли мы изменились? Представим себе нынешних мирабо – молодых мужчин и женщин из всех слоев общества с самыми разными убеждениями, которые захотели бы открыть новую эру и забыть о руинах чудовищного XX века. Они жадно ринулись бы отстаивать свои права и, прежде всего, право строить жизнь по собственному усмотрению, уверенные, что каждому из них причитается полная мера всех благ. "Будьте счастливы!" – слышали они с раннего детства, ибо в наши дни детей растят не ради того, чтобы передать им некие нравственные или духовные ценности, а ради того, чтобы приумножить число процветающих обитателей нашей планеты.

Будьте счастливы! Есть ли предписание более парадоксальное, более ужасное, при всей кажущейся доброжелательности? Трудно выполнить столь беспредметный наказ. Ибо как узнать, счастлив ты или нет? Кто определяет нормы? Почему непременно, обязательно надо быть счастливым? И как быть с теми, кто сокрушенно признается: у меня не получается?

Словом, такое удовольствие очень скоро стало бы для наших молодых людей тяжкой обузой: ведя бухгалтерию своих удач и неудач, они

© Éditions Grasset et Fasquelle, 2000
© Наталья Мавлевич. Перевод, 2006

1. Цит. по: Robert Mauzy. L'idée de bonheur dans la littérature et la pensée française au XVIII siècle, Albin Michel, 1979, pp. 261–262. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. автора.*)

убедились бы, что, чем настойчивее они преследуют счастье, тем упорнее оно от них ускользает. Вполне естественно, они пожелали бы обладать совокупностью всяческих успехов: в делах, в любви, в обществе, в семейной жизни, да еще и получать полное моральное удовлетворение в придачу. Как будто прославляемый современной цивилизацией процесс освобождения личности должен, как алмазной диадемой, увенчаться счастьем. Но старания собрать все в охапку идут прахом. Так что грядущее блаженство начнет казаться не благой вестью, а долгом перед каким-то безликим божеством, перед которым надо все время оправдываться. Обещанные чудеса поступают бессистемно и скупо, как из капельницы, и от этого горше становится ожидание, сильнее — разочарование. Наши молодые люди будут корить себя за то, что не вписываются в установленные нормы, отклоняются от правил. Мирабо, тот еще мог мечтать, строить фантастические планы. Через триста лет восторженные грезы просвещенного аристократа превратились в повинность. Ныне у нас есть все права, кроме права не быть счастливым.

Нет ничего более расплывчатого, чем понятие счастья; само это старое, потасканное, фальшивое слово впору изгнать из языка. С глубокой древности люди только и делают, что спорят и ссорятся между собой, выясняя, что же такое счастье. Уже Блаженный Августин приводит 289 различных его толкований, в век Просвещения о нем написано около полусотни трактатов, мы же постоянно проецируем на прошедшие времена и другие культуры ту идею о счастье и ту озабоченность им, которые свойственны исключительно нам самим. В самой природе этого понятия есть нечто загадочное, нечто питающее бесконечные, противоречивые суждения, оно подобно воде, способной заполнить любую емкость, но нет такой емкости, которая полностью исчерпала бы его. Счастье можно извлечь из деяния и созерцания, из душевного и физического комфорта, из богатства и бедности, из добродетели и порока. Разговоры о счастье, говорил Дидро, дают представление лишь о самом говорящем. Но нас будет интересовать другое — то страстное стремление к счастью, которым одержима западная цивилизация начиная с французской и американской революций.

Планы счастливой жизни наталкиваются по меньшей мере на три парадокса. Во-первых, как уже было сказано, понятие счастья слишком неопределенно. Во-вторых, едва счастье достигнуто, как оно сменяется скукой и апатией (с этой точки зрения идеалом была бы утоленная, но постоянно возобновляющаяся жажда счастья, только тогда можно избежать как отчаяния, так и пресыщения). И, наконец, непрерывное счастье настолько исключает всякое страдание, что делает человека безоружным перед ним, если оно все же возникает.

Первое обстоятельство, то есть абстрактность понятия, объясняет притягательность счастья и тревожность, которой оно сопровождается. Мало того, что мы не очень доверяем повсеместно предлагаемому счастью из готового комплекта деталей, но мы вообще никогда не можем быть уверены, что действительно счастливы. Если задаешься вопросом, значит, что-то не так. Культ счастья порождает также конформизм и зависть, два недуга демократического общества, иначе говоря, погоню за модными удовольствиями и повышенное внимание к избранным, баловням судьбы.

Второе, то есть забота о поддержании благополучия, утвердилось в современной, светской Европе вместе с торжеством посредственности — явлением, возникшим на заре Нового времени и означающим, что место Бога заняла сведенная к обыденности мирская жизнь. Посредственность — это победа буржуазных ценностей: заурядности, пресности, пошлости.

Наконец, установка на исключение страдания приводит к противоположным результатам: оно оказывается стержнем всей системы. Современный человек страдает от того, что не желает страдать, подобно тому, как может стать болезнью стремление к абсолютному здоровью. Наше время являет миру странное зрелище: все общество поголовно исповедует гедонизм, и при этом любая малость терзает людей и портит им жизнь. Несчастье — это не просто беда, а гораздо хуже — неудавшееся счастье.

Итак, под принудительным счастьем я понимаю свойственную второй половине XX века идеологию, которая понуждает рассматривать все с позиции приятности/неприятности, навязываемую нам эйфорию, которая с позором изгоняет или брезгливо отстраняет всех, кто почему-либо ее не испытывает. Предусмотрено двойное обязательство: с одной стороны, превратить свою жизнь в рай, с другой — корить себя, если не можешь этого достичь. Таким образом, извращается едва ли не лучшее завоевание человечества — предоставленная каждому возможность устраивать свою судьбу и улучшать условия своего существования. Как случилось, что право на счастье, центральная и самая смелая идея Просвещения, превратилось в догму, в жесткий кодекс? Именно это мы и попытаемся проследить.

Толкований высшего блага бесконечно много, коллективное сознание связывает его то со здоровьем, то с богатством, то с красотой, то с комфортом, то с успехом — тьма талисманов, которые должны завлечь его, как птичку приманка. Постепенно средства возводятся в ранг цели и одно за другим признаются несостоятельными, поскольку не обеспечивают искомого блага. Жертвы плачевного недоразумения, мы, употребляя средства, которые должны бы привести нас к счастью, часто лишь удаляемся от него. И потому сплошь и рядом заблуждаемся, считая, что его можно требовать как нечто причитающееся нам, ему можно научиться как какому-нибудь школьному предмету, что оно покупается, имеет выразимую в деньгах цену, что другие знают верный рецепт счастья и достаточно им подражать, чтобы урвать порцию и себе.

Вопреки ходульному выражению, на все лады повторяемому со времен Аристотеля — хотя он имел в виду нечто иное, — далеко не всем людям и не всегда было свойственно стремиться к счастью; это черта западной цивилизации, имеющая определенные исторические координаты. Кроме счастья, в той же культуре существуют и другие ценности: свобода, справедливость, любовь, дружба, — которые могут выдвигаться на первое место. Что, кроме самых общих, а потому пустых слов, можно сказать о том, каковы устремления всех людей на земле от начала времен? Мы ничего не имеем против счастья, речь идет не о самом этом хрупком чувстве, а о его превращении в какой-то коллективный наркотик, который все обязаны принимать в том или ином виде — химическом, духовном, психологическом, информационном, религиозном. Между тем как самые глубокие и изощренные науки и философские школы признают, что бессильны гарантировать счастье целым народам или отдель-

ным лицам. Каждый раз, когда оно касается нас, мы ощущаем его как некую благодать, особую милость, а не как следствие точного расчета или продуманного поведения. И, быть может, именно оттого, что мечта обрести совершенное Счастье с большой буквы неосуществима, мы особенно ценим хорошие стороны бытия: удовольствия, удачу, везение.

А молодому Мирабо я бы ответил так: "Я слишком люблю жизнь, чтобы желать одного лишь счастья".

Составляющие счастья

Мы все здесь счастливы.

Кубинский лозунг

Касторама – спутник счастья.

Французская реклама

Далай-лама счастлив и источает счастье.

Далай-лама и Говард Катлер
Искусство быть счастливым

Проснувшись утром, мы можем выбирать: быть в хорошем настроении или в плохом. Такой выбор всегда существует. Линкольн говорил, что люди способны быть настолько счастливыми или несчастными, насколько сами захотят. Тверди себе: "Все отлично, жизнь прекрасна, я выбираю счастье". Ты можешь быть творцом собственного счастья, вменить себе в долг быть счастливым. Составь список положительных, оптимистических мыслей и повторяй их по несколько раз в день.

Норман Винсент Пил
Сила положительных мыслей

В 1929 году Фрейд опубликовал работу "Неудовлетворенность в культуре", в которой утверждал, что счастье невозможно. С одной стороны, чтобы жить в обществе, человек вынужден отказываться от части своих желаний (ведь любая культура строится на подавлении инстинктов), и эта часть все время увеличивается. С другой стороны, его постоянно подстерегают несчастья, источником которых могут быть и природа, и здоровье, и отношения с другими людьми. "В план 'Творения', – заключает Фрейд, – не входило, чтобы человек был счастлив. То, что мы называем счастьем, есть, в соответствии с самым точным смыслом этого слова, удовлетворение, обычно внезапное, какого-нибудь достигшего большой степени напряженности желания и, в силу самой своей природы, может быть лишь эпизодическим феноменом"[1].

Итак, то, что представлялось химерическим отцу психоанализа, стало всего полвека спустя чуть ли не долгом. Дело в том, что за это вре-

1. Sigmund Freud. Malaise dans la civilization. PUF, p. 20.

мя произошли две революции. Во-первых, капитализм из системы производства, основанной на труде и накоплении, превратился в систему потребления, которое предполагает расходы и, более того, расточительство. Этот новый принцип не отторгает удовольствие, а, напротив, органично включает его, стирая антагонизм между экономической машиной и нашими аппетитами и даже делая их двигателем развития. Главное же – западное общество, миновав первоначальный, авторитарный период демократии, утратило жесткий сословный каркас, и человек получил полную автономию. Став "свободным", он лишился выбора: поскольку на дороге в Эдем не осталось препятствий, он, так сказать, "обречен" на счастье, или, выражаясь иначе, если он не счастлив, то ему остается пенять на себя.

В XX веке идея счастья получила двоякое толкование: в демократических странах она выражается в ненасытной жажде всяческих наслаждений (всего пятнадцать лет отделяют освобождение Освенцима от начала потребительского бума в Европе и Америке), тогда как в коммунистическом мире растворяется в официально предписанном всем благоденствии. Сколько людей загублено с намерением облагодетельствовать человечество и насильно привести его к совершенству! Став частью политической доктрины, счастье превратилось в страшное оружие массового уничтожения. Никакие жертвы, никакие чистки человеческого стада не кажутся чрезмерными, если их цель – светлое будущее. Грядущая идиллия обернулась кошмаром.

Однако предметом наших теперешних размышлений будет не известный всем разгул тоталитаризма и не торжество принуждения, описанное Оруэллом или вымышленное Хаксли (хотя многие черты нашего общества напоминают романы "О дивный новый мир" или "1984"). Мы займемся другим явлением, свойственным индустриальной эре и связанным с постоянным стремлением жить лучше. Если прежде долг заявлял о себе в категориях закона и необходимых усилий, то теперь он словно бы кокетливо заигрывает с нами, неотступно, как ангел-хранитель, следует за каждым и нашептывает: смотри не забудь быть счастливым! Антиутопии нападали на слишком безупречный строй, в котором все расписано по часам; мы же носим неумолимые часы внутри себя.

Счастье в порядке самообслуживания

В силу какого порочного механизма право, за которое дорого заплачено, превратилось в обязанность и то, что вчера было под запретом, сегодня стало нормой? Дело в том, что наш культ благополучия зиждется на идее о том, что все в наших силах: мы хозяева своей судьбы, мы сами распоряжаемся удовольствиями, сами себе их устраиваем, как и когда хотим. И вот уже счастье входит, наряду с наукой и техникой, в число прометеевых подвигов человечества; мы должны производить счастье как товар и производить впечатление счастливых. Об этом на все лады твердит премудрость истекшего века: чтобы достичь хорошей жизни, достаточно ее пожелать. Например, французский философ Ален в своих "Разговорах", которые он писал с 1911-го по 1925 год и которые, едва выйдя в свет, приобрели необыкновенную популярность, отождеств-

ляет радость с физическим упражнением, а печаль объясняет меланхолическим темпераментом. Чтобы избавиться от мрачности и уныния, надо просто "решить быть счастливым"; этому искусству следует обучать детей. Если человек принимает решение никогда не жаловаться и сохранять бодрость, он непременно будет вознагражден.

Что бы вас ни угнетало: колики в животе, дождливая погода, пустой кошелек, — "быть счастливым — ваш долг по отношению к окружающим"[1]. Ален рассматривает это усилие оставаться счастливым, скорее, как проявление учтивости, хороших манер: "Бодрость — долг вежливости" (Мария Кюри), не следует досаждать другим своими неприятностями и портить им настроение своим кислым видом. Долг жизнерадостности в данном случае не система, а просто правило приличия, требование общежития.

Андре Жид еще в "Яствах земных" (1897) провозглашает настоящий манифест плотских и чувственных радостей, проповедует ненасытность, предпочитая желание удовлетворению, жажду утолению, стремление обладанию. А в "Новых яствах" (1935) находит для этой воинствующей чувственности выражения, которые составят кредо нынешнего времени — эпохи счастья для всех, таков лозунг поколения, "приступающего к жизни во всеоружии радости". "Каждому живому существу причитается столько счастья, сколько способны вместить его душа и его чувства. Если меня лишают хоть малой его толики, значит, меня обкрадывают".

Наконец происходит взрыв мая 1968 года, и провозглашается свобода человека удовлетворять все свои желания. Годом раньше появился "Трактат об умении жить для молодых поколений", автору которого, Раулю Ванейгему, удалось точно выразить дух времени. Со страстью и гневом обличает он жалкое прозябание, в которое превратилась человеческая жизнь по вине меркантильной дряхлой буржуазии. Восставая против этого рабства, он ратует за свободный союз субъективных сил, который обеспечит каждому право на "пир всех возможностей, букет всех удовольствий". Помимо призывов к насилию и кровавой бане для эксплуататоров и "блюстителей скуки", у Ванейгема можно найти несколько броских фраз, которые потом, в Мае, стали излюбленными революционными лозунгами. Например: "Мы не хотим жить в мире, где, чтобы не умереть от голода, надо умирать от скуки!" Или такой патетический вопль: "Мы рождены не для того, чтобы стареть и умирать!" Ванейгем не просто отстаивает волюнтаристский подход к жизни, выступая наследником де Сада, Фурье, Рембо и сюрреалистов; согласно его теории, яркость существования завоевывается в беспощадной борьбе освободительных сил с духом покорности. Никаких полумер: необходимо открыть войну на двух фронтах — с рабом внутри себя и с армией господ, стремящихся подчинить нас. Либо победа, полноценная жизнь, либо жестокое поражение: "Горе тому, кто на пути к цели отка-

1. Цит. по: Alian. Propos sur le bonheur. Выражение "долг быть счастливым" восходит к Мальбраншу, который употребляет его в контексте духовного самосовершенствования, считая, что путь к спасению пролегает через любовь к самому себе. К нему прибегает также Кант, говоря о неком промежуточном императиве, который предваряет главенство нравственного закона: "Обеспечить собственное счастье — долг (пусть косвенный) каждого человека, ибо недовольство своим положением, обремененность множеством забот и неудовлетворенных нужд вполне могут заставить человека пренебречь своими обязанностями" ("Основы нравственной метафизики"). И, наконец, оно в ходу у прагматиков, призывающих человека мобилизовать все свои возможности, чтобы получить максимум удовольствия.

жется от радикальных требований и бурных действий. <...> Каждое такое отречение на руку реакции, которая ведет человечество к гибели".

Деятели мая 1968-го и сам Ванейгем с отвращением отбрасывали слово "счастье", поскольку оно отдает мелкобуржуазной пошлостью, глянцевыми идиллиями потребительства и шарлатанской психологией. Как прежде битники и хиппи, они протестовали против идеалов спокойной обеспеченной жизни, воплощением которых в пятидесятые годы была американская мечта: благополучное семейство с машиной и загородным домиком, любящие муж с женой и холодильник в сиянии рекламной улыбки. То есть против всего того, что Генри Миллер в одном невероятно едком антиамериканском тексте назвал в 1954 году "кошмаром с кондиционером". Но в силу иронии, на которую так щедра история, бунт во имя свободы желаний, в свою очередь, окостенел, превратившись в новую догму счастья; как выяснилось, нападкам подвергалось не само понятие, а слишком узкое его толкование. Толкование расширили, понятие оставили, и, как часто бывает, самые ярые враги системы превратились в ее самых ревностных адептов...

В шестидесятые годы оживает и другая иллюзия, прямо восходящая к Просвещению: о том, что добродетель и наслаждение, нравственность и инстинкт могут отлично уживаться и вести человека к долгу легким путем. Счастье и закон совместимы, полагал рационалистический оптимизм XVIII века. Грех есть следствие запретов, в желании как таковом нет ничего преступного — вот постулат шестидесятых и семидесятых, когда была широко распространена иллюзия о том, что все человеческие наклонности одинаково достойны уважения и могут гармонично уживаться. Никому тогда не приходила в голову мысль, которую высказывал еще де Сад, более прозорливый, чем современные вольнодумцы: преклонение перед капризом, невинной прихотью, которым предоставлено решать, что такое добро и зло, может оправдать любое насилие. Ко всему этому надо прибавить грандиозную и нелепую доктрину (ее так или иначе проповедовали и Гроддек, и Райх, и Маркузе), согласно которой удовольствие и оргазм способны не только преобразить общество, но и избавить от старости и смерти, которые Ванейгем объявлял не естественными явлениями, а "гигантским коллективным самовнушением".

С Алена начинается, постепенно набирает силу и к концу века окончательно утверждается представление о том, что счастье — не столько право, сколько обязанность человека. И даже если мы не могли бы точно процитировать ни одной из этих идей, мы все равно их унаследовали, потому что они растворены в общественной атмосфере, которой мы сегодня дышим. Мало того, что удовольствие, здоровье и блаженство стали синонимами, поскольку мерилом всего стало тело, но каждый, кто не лучится счастьем, становится подозрительным — он преступает табу, велящее всем тянуться к совершенству.

Мне возразят, что в XX веке существовали более мрачные, даже трагические взгляды на жизнь: экзистенциализм, другие пессимистические философские школы, не говоря уж о литературе. Но все они в той или иной мере служили орудием освобождения, ратовали за раскрепощенную личность, которая сама себе, без всяких богов устанавливает законы. Однако наш конец века, следуя тенденции, уже заметной на рубеже XIX и XX столетий, поставил свободу на службу счастья,

а не наоборот и именно счастье полагал конечной точкой процесса эмансипации. Еще Бенжамен Констан определял свободу "новых людей" как "право на частные удовольствия" и ревностную заботу о личной независимости. Идеал счастья очень долго противопоставляли буржуазному культу успеха, но вот оно само становится одним из компонентов успеха. В пятидесятые годы Альбер Камю еще мог отстаивать безудержную страсть к наслаждению и стремление объять весь мир в противовес догмам сталинизма и казенному французскому ханжеству. Спустя двадцать лет эта страсть превратилась в рекламный слоган. Отныне я не только требую счастья от среды, в которой живу, но и должен поставлять себе его сам, а это не так уж весело! Став главным гарантом своего неотъемлемого права, я облечен огромной властью над собой, которая может и окрылять, и обременять меня: если счастье зависит только от моей воли, то я же единственный виновник своих неудач. Выходит, чтобы у меня все было хорошо, я должен только захотеть, сам себе предписать и запрограммировать себе сколько угодно благ? <...>

Навязчивая щедрость

История освобождения нравов так причудлива, что, даже если знаешь ее наизусть, все равно повторяешь снова и снова и каждый раз смакуешь горечь ее попятного движения. На протяжении многих веков тело всячески принижалось и попиралось религией, так что стало в западной цивилизации символом порочности. Теперь же, когда плоть реабилитирована, происходит нечто странное: вместо того чтобы безнаказанно предаваться удовольствию, люди испортили его пересаженными извне внутрь запретами. Удовольствие, отравленное тревогой, само себя судит и само себя карает, причем не за то, что нарушает заповеди или оскорбляет целомудрие, а за ущербность, ибо оно никогда не достигает полноты и совершенства. Счастье и нравственность, прежде непримиримо враждовавшие, ныне слились воедино: безнравственно не быть счастливым, Суперэго проникло в крепость удовольствия и подчинило его своей жесткой власти. Чувство вины заменили бесконечные терзания. Сладострастию теперь никто не мешает, но оно обросло проблемами. Вместо обуздания желаний эталоном стало их полное насыщение, но необходимость соответствовать эталону сама по себе служит уздой[1]. Каждый из нас отвечает за свой тонус и хорошее настроение, от нас требуется ни в чем себе не отказывать и активно, без устали улучшать свою жизнь. Общепринятая норма ничего не запрещает и не отнимает, а с материнской заботливостью щедро поощряет наши аппетиты.

Но такая щедрость не имеет ничего общего со свободой. Она настолько навязчива, что доводит нас до изнеможения, а потом сама же старается нас от него избавить. Цифры и образцы, которыми она нас засыпает, порождают новый тип предосудительного дезертирства, ко-

1. Эта логика уже была исследована в книге Паскаля Брюкнера и Алена Финкельро "Новое смятение чувств" ("Le Nouveau désordre amoureux". Seuil, 1977), ту же тему развивает Жан-Клод Гийбо в своей "Тирании удовольствия" ("La Tyranie du plaisir". Seuil, 1998), где ставится вопрос о месте запрета в современном обществе.

торое выражается не в лени и сибаритстве, а в меланхолии, унынии, депрессии. Счастье перестало быть внезапно выпадающей на нашу долю удачей, яркой вспышкой на фоне серых будней и превратилось в нечто постоянное и насущное. Как только желанное становится возможным, оно тут же причисляется к разряду необходимого. То, что вчера казалось редкой роскошью, сегодня с невероятной быстротой превращается в обыденность. Повседневная жизнь похожа на безостановочно вращающийся турникет, выбраковывающий тех, кто не успел или кого зашибло. Не только состоянием и властью определяется сегодня положение в обществе, но и внешним видом; мало быть богатым, надо еще оставаться в форме, это новый критерий отбора, ничуть не менее суровый, чем деньги. *Хорошо выглядеть* стало новым этическим принципом, на который работают бодрая реклама и глянцевый рынок.

"Стань лучшим другом самому себе, будь достоин себя, думай о лучшем, живи в гармонии с собой и т. д." Множество книг на эту тему заставляет думать, что осуществить подобные призывы не так-то просто. Счастье стало не только объектом колоссальной индустрии, наряду с духовной пищей, но и новейшим, причем основополагающим, нравственным принципом; вот он — источник депрессии, вот почему любое несогласие с назойливым гедонизмом приводит к краху. Мы виновны в том, что у нас не все благополучно, и отвечаем за это перед окружающими и перед собственным внутренним судом. Взгляните на фантастическую статистику — прямо как в бывших странах коммунистического блока, — когда 90 % опрошенных корреспондентом журнала заявляют, что они счастливы! Никто не осмелится признаться, что иной раз ему бывает плохо, из страха потерять приличное положение в обществе[1]. Странным образом доктрина удовольствий, становясь воинствующей, возвращает прежнюю силу запретам, только кардинально меняет их направленность. Смутное ожидание чудного времени сменилось присягой, данным самим себе обетом превратить трудность бытия в постоянную сладость. Забыв, что счастье обретается косвенным путем, что оно наступает или не наступает, когда мы преследуем иные задачи, нам внушают, что оно само есть прямая цель, которая достигается с помощью определенных рецептов. Какие бы средства вы ни выбрали: психологические, соматические, химические, духовные или электронные (есть люди, видящие в Интернете не просто прекрасный инструмент, а некий новый Грааль, воплощение всемирной демократии[2]) — исходная точка одна: успех обеспечен, если соблюдать определенные правила "позитивного поведения" и "этические установки"[3]. Поразительный пример того, как извращается само понятие воли — ее пытаются распространить в сферы психики и эмоций, традиционно считавшиеся неподвластными ей. Воля тщится изменить то, что от нее не зависит (подчас не глядя на то, что могла бы изменить). Счастье стало частью всеобщей программы тотального потребления и государственного попечения и одновременно системой взаимного запугивания, в ко-

1. Анкета "Фигаро-магазин", 10 ноября 1998 г.
2. См. на эту тему основательный труд Бернара Леклера "Индустрия утешения" ("L'Industrie de la consolation". Verticales, 1998).
3. Далай-лама. Искусство быть счастливым. "Надо строить мир так, чтобы дети были постоянно погружены в позитивную атмосферу", — сказал он же в беседе с Фабиеном Уаки "Жизнь в наших руках" ("La vie est à nous". Presses-Pocket, 1998, p. 145).

торой участвуем мы все. Каждый в ней и жертва, и террорист, ибо не имеет другого способа отражать нападки, кроме как в свою очередь нападать на других за их слабости и промахи.

Здоровье, секс и постоянная тревога

Две области, в которых благополучие вменяется нам в обязанность особенно настоятельно, это половая жизнь и здоровье; то и другое тщательно оценивается и находится под пристальным вниманием.

Эротика вносит в любовь количественный, математический критерий; любовники проходят экзамен в постели, проверяют сами себя: "На должной ли мы высоте?" И ищут материальных доказательств своей страсти, прибегая к новейшему оракулу — сексологии. Порядок действий как в школе или в кулинарии: сделаешь все по рецепту — получишь хорошую отметку. Тестами удачного брака или союза служат позы и ласки, влечения и содрогания, партнеры составляют перечень наслаждений, соперничают с другими парами в шумных излияниях, эксгибиционистских сценах, присуждают друг другу высшие награды или оценки "сносно" и стараются таким образом убедиться в качестве своих чувств. Любовь, которую всегда подстерегают сомнения, как будто бы приобретает большую ясность и наглядность. Сексуальное удовольствие, когда-то требовавшее известной дерзости, превратилось после раскрепощения нравов в нечто банальное, но если чувства непостоянны и стираются со временем, то только на него и можно опереться, только оно сгущает мимолетные порывы в нечто весомое. Цифрами исчисляется гармония, проверяется любовная состоятельность.

Точно так же постоянная забота о здоровье, вместо того чтобы облегчать жизнь, отяжеляет каждый наш шаг медицинскими веригами. Медицина захватывает территории, где прежде распоряжались привычки и обычаи: усложнился подход к коллективным увеселениям и занятиям, их теперь рассматривают с точки зрения полезности или вредности. Пища, например, делится теперь не на хорошую и плохую, а на здоровую и нездоровую. Усвояемость важнее вкуса, сбалансированность важнее разнообразия. Застолье — это уже не просто обильное угощение и дружеское общение, но еще и аптека, где тщательно взвешиваются жиры и калории и пережевываются продукты, необходимые для функционирования организма. Надо пить вино не ради удовольствия, а для эластичности сосудов, есть зерновой хлеб для ускорения пищеварения и т. д. (Но вот, однако, парадокс: именно в Соединенных Штатах, где эта одержимость гигиеной максимально развита, сильно́, как нигде, пристрастие к "тяжелой пище" и неудержимо растет количество тучных людей.) Потому что важнее всего не прожить сполна отпущенный нам срок, а продержаться как можно дольше; естественную возрастную череду потеснило долголетие.

Продолжительность жизни стала непререкаемой ценностью, даже если она достигается ценой жестоких ограничений. Взять хоть того американского студента, который ест раз в день, чтобы дожить до ста сорока лет: он тощ, как скелет, и признается, до чего ему тошно. Или фанатиков долгожительства, которые съедают не больше каких-нибудь

80 молекул в сутки, желая перешагнуть заветный столетний рубеж. До недавних пор "выиграть время" означало освободить какое-то его количество и употребить не на тяжелый, изнурительный труд, а в личных целях. Теперь же это значит развивать бешеную деятельность и с маниакальным упорством отвоевывать год за годом у нормального хода вещей. Не приходится отрицать огромного прогресса, достигнутого в этой области, но ведь продлевается не столько жизнь, сколько ее последняя часть, и это бесконечное растягивание приводит к тому, что чуть не весь континент заселен стариками и западные страны напоминают геронтологические клиники (вот почему идеологией стареющих наций становится культ молодости). Наши жалкие вылазки в обетованную землю абсолютного здоровья[1] немногим отличаются от умерщвления плоти, которому предавались когда-то в благочестивых целях. Озабоченные тем, чтобы устранить любую аномалию, любой изъян, люди забывают, что главное преимущество здоровья заключается в безразличии к нему, или, как говорил Лериш, в "молчании организма" (даже если оно обманчиво). Ныне власяницу надевают не для того, чтобы усмирить мятежную плоть, а для того, чтобы наказать несовершенное тело за несоответствие идеальным образцам. Словно вновь зазвучали старые христианские пророчества (отголосками которых полна фантастическая литература) о бессмертии и воскресении "тел во славе", неувядаемых и нетленных. Наши псевдонаучные бредни восходят непосредственно к религии и представляются осуществлением ее упований.

Только больной человек может полагать, что "здоровье — это счастье"[2]. Для здорового оно просто данность, ни больше ни меньше. Видеть в нем какую-то особую благодать — значит подразумевать, что все люди страдают смертельными недугами, но не знают этого, и надо им открыть глаза. Мы постоянно должны от чего-то спасаться: от высокого давления, вялого пищеварения, склонности к ожирению — и никогда не бываем достаточно худощавыми, достаточно мускулистыми, достаточно загорелыми. Идеальное здоровье — навязчивая идея, она никогда нас не покидает, о ней все время напоминают окружающие и средства массовой информации. Глядя на этот эталон, который по мере совершенствования медицинской и генетической диагностики становится все недоступнее, мы превращаемся в потенциальных инвалидов, тревожно следящих за колебаниями веса, сердечным ритмом и упругостью кожи. Мы ревностно осматриваем себя и предаемся самобичеванию, и вот уже возвращается когда-то свойственное христианству отношение к телу как к источнику скрытой угрозы (Бодрийяр). Но боимся мы не адского пламени, а того, что потеряем форму, будем плохо выглядеть. Подтянутость в наши дни считается, как считалось богатство у кальвинистов, признаком избранных, если же человек не следит за собой, это говорит о его падении, он списан, неугоден. Не зря наши тренажеры нередко сравнивают со средневековыми орудиями пытки, только мы истязаем себя по доброй воле. Бодибилдинг — воплощение мечты о том, чтобы перекроить свое тело наилучшим образом, но не странно ли, что гипертрофиро-

1. Люсьен Стец прекрасно показал эту биоэкологическую утопию безупречного здоровья, нацеленную на то, чтобы очистить человека и планету и превратить Землю в новый технократический рай. См. его книгу "Абсолютное здоровье" ("La Santé parfaite". Seuil, 1995).
2. Реклама журнала "Санте-магазин", январь 2000.

ванная мускулатура придает ему такой вид, будто с него содрана или вывернута наизнанку, как перчатка, кожа: жилы и связки выступают наружу и словно кричат о надругательстве человека над самим собой.

Страдать преступно

> Пациентка врачу: "Сделайте так, чтобы боль меня не мучила, но чтобы я могла ее чувствовать, иначе как мне жить?"
>
> *Французский психосоматический журнал, № 15*

В романе Сэмюэла Батлера, написанном в 1872 году, говорится о воображаемой стране Едгин (анаграмма слова "нигде"), в которой болезнь карается как преступление, из-за легкого насморка можно угодить на каторгу, тогда как убийство считается требующим заботливого лечения недугом. С удивительной прозорливостью Батлер рисует картину в деталях: например, печаль и скорбь о кончине близкого человека причисляются к тяжким проступкам, а страдающий человек — к правонарушителям, виновным в своем горе. Вот что говорит судья, объявляя приговор подсудимому, которого обвиняют в чахотке: "Вы можете сказать, что не несете ответственности за свое рождение и воспитание. Но я отвечу, что ваша чахотка, пусть даже возникшая без вашего злого умысла, все же есть зло, и это зло коренится в вас, я же призван оберегать республику от подобных зол. Вы скажете, что причина вашего преступления — несчастье, я же отвечу, что несчастье и есть ваше преступление".

Это полное иронии блестящее пророчество вполне подтвердилось во второй половине XX века, когда человечество шагнуло далеко вперед в отрицании несчастья и в "запрете на смерть" (Филипп Ариес). Все точно по Алену, этому усердному певцу оптимизма образца Третьей республики, который в уже цитировавшихся "Разговорах о счастье" не признает страшных страданий. Для него, как для Эпиктета, их не существует, поскольку они неощутимы. "Ужас усыпляет", а смерть — лишь краткий миг, в который не уместятся ни фантазии, ни страх. Трюкачество философа доходит до абсурда; идущего на гильотину, вполне серьезно полагает он, "стоит жалеть не больше, чем меня", ведь ему достаточно просто занять свои мысли чем-нибудь другим, например, "считать по дороге кочки или повороты". Ну, а созерцавшего звезды и бесконечность Паскаля бросало в дрожь "скорее всего, потому, что он, сам того не замечая, продрог у открытого окна" *(sic)*.

Гора отходов растет

Начиная с эпохи Просвещения, с тех пор как человечество задалось целью установить тотальное счастье на земле, оно непрестанно составляет и пополняет каталог подлежащих искоренению несчастий. Но по мере того как мы отсекаем страдания, они, подобно головам мифической гидры, вновь отрастают и множатся, список их все увеличивается, и

окончательная победа отодвигается на неопределенный срок. Революционное движение уже давно объявило все переживания, связанные со страхом смерти и одиночества, ничтожными и с презрением отвернулось от мыслителей, посмевших к ним обратиться. Единственно важными вопросами были объявлены общественно-экономические перевороты и переход власти к угнетенным классам. Как только будет свергнут капитализм и вместе с ним исчезнет источник несправедливости, построится новый мир, в котором все будет направлено на благо человека, а беды и несчастья постепенно отступят, как отступает от берега вода во время отлива. Известно, что этот прекрасный расчет не оправдался: повсюду, где утвердился социализм, он не только принес людям новые тяготы, но и никак не потеснил извечные проблемы, которые обозвал "мелкобуржуазными".

Однако и в свободных демократических странах, чуждых такой прямолинейности, все же сложилась довольно двусмысленная ситуация. Хотя революционной ломке здесь предпочитали долгий путь реформ, но лелеяли надежду, что чудесное сочетание науки, техники и материального прогресса приведет к тому, что не удалось тоталитарным режимам. Вторая половина XX века в Европе ознаменовалась радужными иллюзиями, безудержным оптимизмом, а малейшее упоминание о несчастье расценивалось как архаизм и почти непристойность. Наше время окружило эту тему заговором молчания, худшим из возможных. Античность отвергала страдание[1], христианство превозносило его, мы же его просто отрицаем, шарахаемся от него, как от огня, не допускаем и мысли, что оно может действительно существовать.

Боль, скорбь, болезнь превратились в современной мирской идеологии в некую огромную запретную область, им отведена незавидная роль осадка на дне стремящегося к прогрессу общественного потока; это факты вне игры, их не показывают, о них не говорят, и каждый должен разбираться с ними сам. Страдание не исчезло, но лишилось права публично проявляться (это, повторим, не относится к литературе). Следует изображать бодрость и хорошее настроение и уповать на то, что все огорчительное, подспудное, рассосется само собой. Когда мы сталкиваемся с человеческими бедами, нам не хватает слов, вернее, мы считаем, что все они подходят под имеющиеся у нас шаблонные объяснения (законы рынка, сексуальные комплексы, бедность и т. д.), объемлющие все стороны жизни. Мы изъяли само слово "страдание" из употребления и точно так же вытеснили из общества несчастных, больных, умирающих, так как они нарушают наши предвзятые представления и "портят картину". Нас, поклоняющихся, как идолам, молодости, здоровью и fun[2], оскорбляет их близость, приводит в смятение один их вид. Еще со времен Толстого известно, до чего мерзко страдание и отвратительна смерть, которую в XIX веке замалчивали как несовмести-

1. Сократ: "Для разумного человека нет причин для страдания ни при жизни, ни после смерти". Эпикур: "Смерти для нас не существует". Снова Эпикур: "Мудрец улыбается под пыткой". Зенон: "Есть только два источника зла: порок и позор". Эпиктет: "В мироздании нет места для зла". Снова Эпиктет: "Не требуй, чтобы все происходило, как ты хочешь. Предоставь вещам происходить, как они происходят, и будь счастлив". Правда, Цицерон в "Тускуланских беседах" высмеивает эти словесные ухищрения и утверждает реальность страдания. Многие античные философы и восточные мудрецы стремились возвести неуязвимые, недоступные для мирских тревог и тягот святилища.

2. Веселье (*англ.*). (*Прим. перев.*)

мую с правилами приличия[1], а в XX — как пятнающую радость жизни. Как с точки зрения хорошего тона, так и с позиций гедонизма, она была и остается вопиющей непристойностью.

Страшная слепота счастья: оно повсюду видит лишь собственные отражения и желает стать единственным голосом в мире. Но, подобно тому, как в цивилизации потребления отходы постепенно засоряют все пространство и повсюду напоминают о себе самым неприглядным образом, страдание, не имеющее возможности выразить себя, стало разрастаться, заставляя нас все явственнее ощущать собственную уязвимость. Отстраняя его, мы его сакрализировали. Превратившись в табу, в запретную зону социума, оно буквально взорвалось, как слишком сильно сжатый газ, проникло во все поры общества, вторглось в самые неожиданные области. Ибо оттого, что люди не могут высказать свою боль ни в житейском окружении, ни среди коллег, оттого что другие ее не приемлют, она только еще больше воспаляется (это перекликается с замечанием Филиппа Ариеса: у тех, кто во время траура по умершему подавлял слезы и не давал воли скорби, увеличивается травма от потери). Западные цивилизации второй половины XX века подали человечеству безумную надежду на то, что скоро, в течение одного-двух десятилетий, оно избавится от голода, нужды, болезней, старости и к порогу третьего тысячелетия подойдет очищенным от былых напастей, гордым тем, что истребило последние адские семена. Как сказала Сьюзен Сонтаг, Европа должна была стать единственным местом, где больше никогда не будет трагедий. (С каждым новым десятилетием, с каждой новой вехой во времени повторяются все те же клятвы пьяницы, даются все те же неизменные обещания: границы исчезнут, голод будет побежден, тюрьмы закрыты, болезни излечены и т. д.)

Эта сладкая сказочка не только не сбылась, но и некоторым образом усилила то, что должна была отменить. Культ смирения, который проповедовала церковь, в частности и в XIX веке, был заслуженно разгромлен. До этого нормой считались тяжкий труд как расплата за грех и стойкость в перенесении тягот, а удовольствие рассматривалось как редкость, как этакий частный сад, обнесенный высокими стенами и закрытый от глаз посторонних. Когда же безусловным законом стал гедонизм, то страдание и смерть стали выглядеть полной бессмыслицей, возмутительным покушением на наши права. Их разрушительное действие усугубляется их бесполезностью, отчего они делаются еще горше. И вот мы сгораем от нетерпения, ведь нам было обещано, что этот абсурд скоро кончится. "Признáем существование зла, ибо, отрицая его, мы добавляем ко всем уродствам жизни еще и этот нелепый каприз", — говорил еще Вольтер. Вот чем объясняется уже упомянутый парадокс: с тех пор как общество ориентировано исключительно на счастье, в нем несравненно больше, чем прежде, стали говорить о страданиях. Странным образом все оборачивается так, что лишенная права на существование тема занимает непомерно большое, если не сказать первое, место в нашем сознании.

1. "Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах)". Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича. Собр. соч. в 14 тт., т. 10, с. 306. *(Прим. перев.)*

Как велико еще и по сей день мрачное очарование слова "несчастье"! Все склоняются перед ним, оно открывает все сердца, пресекает любое суждение, оправдывает все проступки. Франсуа Миттеран сделал гениальный ход, когда распространил известие о своей смертельной болезни за несколько лет до трагической развязки, и ему сразу простили всю грязь и вранье, которыми запятнано его правление. Признаться в старых грехах, стоя на пороге вечности, мужественно глядя в лицо тяжелому недугу, — отличный способ сделать эти признания безопасными, обезоружить врагов и заткнуть рты критикам. Ведь это значит, что говорит уже не политик, а человек, стоящий одной ногой в могиле со смертельной бледностью на лице, который кается в заблуждениях молодости, искушениях петеновских времен, неблаговидных знакомствах и отметает все это, как сор. Умирающий всегда вызывает жалость, и старый монарх-социалист, искусный обманщик, сумел, сыграв на сегодняшнем несчастье, вымолить прощение за былые ошибки. Прекрасное решение! Хоть оно и попирает принципы нравственности и демократии, но могло бы служить образцом построения интриги для драматургов[1].

Тема страданий, на долгое время преданная забвению и стыдливо замалчиваемая в политике, снова выступает на поверхность, возвращается под звуки фанфар и даже обретает ореол некой сомнительной святости: вопреки всякому этикету страдание выставляется напоказ, и этим заслуживает отпущение. На того, кто осмелится публично признать свою боль, продемонстрировать все свои язвы, обычные правила приличия не распространяются. В этом амбивалентность взгляда демократии на страдание: отвергая его, она делает его отправной точкой все новых и новых прав. Ее изначальные установки носят негативный характер: искоренить бедность, уничтожить неравенство, истребить болезни. Возникает неустранимое противоречие: кто стремится упразднить несчастья, вынужден называть их. Если страдание прокладывает дорогу праву и служит его основой[2], то физическая и душевная боль становится мерой всех вещей. Чтобы ее устранить, ее надо назвать, то есть признать существующей. По сравнению с веком Просвещения перечень недопустимых вещей значительно увеличился: что прежде считалось само собой разумеющимся, ныне считается несправедливым и злонамеренным. Бедствий, которые приходится терпеть людям, не стало больше, но изменилось наше отношение к ним. *Признак современного человека – неспособность смириться со своим извечным уделом.* Таким образом, ненависть к страданию является источником развития всяческих прав, причем не только человека, но и животных[3]. А поскольку присущие нашим предкам скромные запросы сменились все возрастающими желаниями, мы живем в постоянной неудовлетворенности: все чувствуют себя недостаточно любимыми, недостаточно счастливыми, недостаточно вознагражденными. Подобно тому, как в христианстве смерть была платой за грех, мы склонны считать счастье платой, которая причитается

1. О конце разных правителей, в том числе Миттерана, рассказывается в сравнительных этнографических очерках, выпущенных издательством "Галлимар" под руководством Жака Жюльяра, "Смерть короля" ("La Mort du roi", 1999).
2. Жан Пуарье. Страдание и право ("La Douleur et le Droit", ouvrage collectit. PUF, 1997).
3. Об этом говорит вызвавшая противоречивые оценки книга австралийского утилитариста Питера Сингера "Вопросы практической этики". ("Questions d'éthique pratique", Bayard, 1997).

нам за жизнь, этакой манной, поровну поделенной на всех в благодарность за то, что мы соизволили родиться на свет. Однако чем неумереннее запросы, тем более скудным кажется достояние и тем стремительнее расширяется область недопустимого. Демократия порождает вечную неудовлетворенность, потворствует стонам и воплям. Благодаря тому, что право превратилось, по выражению одного юриста, в "огромный профсоюз для борьбы со страданием", это последнее стало предметом всеобщего обсуждения, и мы наблюдаем парадокс: то, что усиленно изгоняется, с неменьшей силой постоянно возрождается. Охотник преследует жертву и сам становится ее добычей.

Мало-помалу в представлении людей путаются понятия трудности и несчастья: препятствия воспринимаются не как обычные испытания, которые жизнь ставит на нашем пути, а как личное оскорбление, за которое полагается компенсация. Мы не отличаем мучительное от неприятного, досадное от фатального и при малейшей неурядице поднимаем крик: всё против нас, нас не любят! Из-за такого непрерывного смешения того, что есть и что не есть страдание, едва ли не каждый день появляются новые бедствия, как будто под ногами идущего горит земля. Что допускалось прежде, ныне исключается; любая отсрочка или помеха в получении желаемого возводится в трагедию. Исключается даже такая банальная вещь, как физическое усилие — если только не в форме спорта, то есть игры; тяжелый труд переложен на иммигрантов (только иммигранту пристало надрываться). Впрочем, и умственный труд считается обременительным, с этой проблемой сталкивается школа: ради того, чтобы избавить ребенка от малейшего насилия и не посягнуть на его свободу (свобода — это фетиш!), ему зачастую уже ничего не преподают; учить чему бы то ни было — значит принуждать, нужно способствовать развитию личности ребенка, а не загружать его абстрактными знаниями...

Словом, понятие несчастья утратило четкие рамки, оно распространяется на все, что не является чистым, беспримесным удовольствием, поглощает все новые, прежде никак с ним не связанные состояния и эмоции. Мы теряем чувство меры, драматизируем каждую мелочь. Мы легко впадаем в пафос, и это не способ подняться над буржуазной серостью, как было у романтиков, а следствие хронического нытья, философии повседневного отчаяния. Новейший ад заключается в том, что мы уже не знаем, где начинается и где кончается страдание, которое принимает множество обличий, так что сама жизнь становится страданием и таким образом возвращается, казалось бы, давно опровергнутый религиозный постулат.

Антон Нестеров

Радуга критического притяжения

О чем пишут англоязычные критики: осень–зима 2005[1]

Книгой, вызвавшей живой и напряженный отклик по обе стороны Атлантики, стал новый роман Салмана Рушди "Клоун Шалимар" (Salman Rushdie "Shalimar the Clown". Random House, 2005). И дело тут не в том (или не только в том), что Рушди – слишком серьезная фигура и не отозваться на его новый роман, которого долго ждали, нельзя. Но ни "Прощальный вздох мавра" (1996), ни "Почва у нее под ногами" (1999), ни "Ярость" (2001) не вызывали такой реакции, как "Клоун Шалимар". Почти все, кто пишет о последнем романе Рушди, предъявляют ему довольно серьезный и нелицеприятный счет. Но счет этот у каждого свой. Рушди со времен "Сатанинских стихов" к неприятию не привыкать. Но тогда раскол шел по линии "'мусульманский мир'–Запад". На этот раз Рушди недовольны все: "Роман тенденциозно описывает роль Америки в современном мире", "неоправданна пропакистанская позиция Рушди в описании конфликта вокруг Кашмира", "Рушди не хочет видеть, что исламское движение в Кашмире несло с собой позитивную программу социального развития региона"... Возникает чувство, что предмет обсуждения – не роман, а план политического урегулирования кризиса в Кашмире... Рушди претендовал на роль политического писателя, но политика его особого рода – это попытка заставить нас осознать: мы живем в мире, где все наши определения потеряли смысл и мы обречены на растерянность перед "здесь и сейчас". "Черное и белое", "добро и зло" – все эти понятия больше не работают там, где доминирует "помесь, где о чистоте вида можно забыть: соединение всего и вся, дикая мешанина – как еще назвать это порождение, явленное на свет новой нежданной перетасовкой людей, мнений, политических идей, кинофильмов, песенок" ("Почва у нее под ногами"). К этой мысли Рушди возвращается из книги в книгу. В "Клоуне Шалимаре" мы слышим все тот же мотив: "Отныне все и вся – часть чего-то еще. Россия, Америка, Лондон, Кашмир. Наши жизни, наши частные истории впадают друг в друга, как реки, они больше не принадлежат только нам, они утратили свою индивидуальность, как утратили и четкую определенность". Собственно, *этот* мир начал проступать еще в конце 70-х годов XX века – но тогда нужно было обладать еще очень острым зрением, чтобы про-

© Антон Нестеров, 2006

1. По материалам "Bookforum", "The Guardian", "The New York Review of Books", "The New York Times", "The Times Literary Supplement", "The Village Voice", "The Washington Post".

видеть его. Что-то из этого будущего проговорил Бродский — повторяясь, раз за разом в последние свои годы предлагая одну и ту же тему с небольшими вариациями:

Брюзжа, я брюзжу как тот,
кому застать повезло
уходящий во тьму
мир, где, делая зло,
мы знали еще — кому.

Сидя в тени, 1983

Сегодня это склонны называть одним словом — "глобализация", но само это слово выражает все — и ничего; всякое клише лишь свидетельствует: нам комфортнее обозначить проблему модным термином, и тогда можно ее не решать, а просто верить, что мы с нею уже справились. Сжились, как больной с хроническим недугом.

И все же — где кончается попытка понимания и утверждается клише? И как осознанная работа с клише может (может ли?) подвести нас к новому порогу понимания? В мире, где понимание кроится по стандартным лекалам, как платье из магазина готовой одежды...

Создавая свои фантасмагории, Рушди жестко иронизирует над нашими клише. "Клоун Шалимар" начинается со сцены: Макс Офюльс, бывший посол США в Индии, приглашен на телевизионное ток-шоу. Офюльс — человек весьма и весьма неординарный, потомок образованнейшей семьи евреев-ашкенази, живших до Второй мировой войны в Страсбурге, во время войны он принял активное участие в движении Сопротивления, бежал из Германии на маленьком спортивном самолете, в Лондоне работал рука об руку с де Голлем и был одним из реальных, а не номинальных архитекторов послевоенной Европы... При этом он — "князь философов", "гений анекдота", человек, который всегда в нужное время был в нужном месте... Он видел, что делал Луис Бунюэль под рождественской елкой в особняке Чарли Чаплина, но он же был и координатором антитеррористической программы, разрабатываемой США во времена вторжения СССР в Афганистан... Читатель, на которого рассчитывает Рушди, должен узнать в этом характере отсылку и к Альберу Камю с его аурой философа, прошедшего через участие в настоящем, а не бумажном Сопротивлении, и к модному в 1950—1960-е режиссеру остроумных и изысканных мелодрам Максу Офюльсу (чей самый известный фильм, "Лола Монтес" (1955) — об *авантюристке*, циркачке, успевшей побывать возлюбленной и Ференца Листа, и короля Людвига II Баварского...). Но во всей этой фантасмагории присутствует и еще одна аллюзия — к песне "Rolling Stones" "Sympathy for the Devil", где от имени последнего поется: "Please allow me to introduce myself / I'm a man of wealth and taste / I've been around for a long, long year... I stuck around it. Petersburg / When I saw it was a time for a change... / I rode a tank / Held a general's rank / When the blitzkrieg raged..."[1] Аллюзии причудливо переплетаются, предлагая читателю сразу несколько уровней понимания романа: кто-то ограничится простым считыванием сюжета, кто-то увидит за довольно условным сюжетом второй и третий план...

Ведущий телешоу пытается разговорить Офюльса, чтобы тот вспомнил с полдюжины "замечательных историй" из жизни знаменитостей, коим он был свидетелем, но вместо этого бывший посол пускается в рассуждения о том, что случилось в Кашмире, где только за последнее десятилетие противостояние мусульман и индуистов унесло более 80 тысяч жизней — а ведь еще полвека назад Кашмир был истинным раем, — и вот, "небеса на земле превратились в пожизненный ад..." Интересно, что пламенное телевыступление Офюльса почти слово в слово повторяет большую статью са-

1. "Позвольте представиться, / Человек небедный, со вкусом, / Я кручусь поблизости уже долгие годы... Я руку приложил в Санкт-Петербурге, / Когда понял, что настало время перемен... / Я правил танком, / нося генеральский чин, / Во время блицкрига..." — "Посочувствуйте Дьяволу" (*англ.*).

мого Рушди, написанную им в 1999 году для "The New York Times". Там тоже говорилось о "рае" Кашмира, "который был рассечен по-живому, обречен нищенству и сделался рассадником насилия. Убийство и террор поселились в долинах и на склонах гор в стране, которая когда-то славилась тем, что все в ней дышало миром".

Вскоре после этого интервью Офюльс находит смерть от руки выходца из Кашмира, акробата по имени Шалимар. Когда-то, еще в "райском" Кашмире, юноша-мусульманин Шалимар был влюблен в девушку-индуистку Буни, из семьи бандитов, живших по соседству. Буни стала его женой, но потом одно из ее выступлений (Буни была танцовщицей) увидел американский посол Макс Офюльс и уговорил ее переехать в Дели, стать его любовницей, а вскоре бросил. Опять же, за этим поворотом сюжета стоит целый спектр литературных аллюзий — назовем лишь хрестоматийное стихотворение английского поэта Лоуренса Хоупа, начинающееся строкой "Томные руки, что я любил подле Шалимара"[1]. С малолетней дочерью, опозоренная, Буни вернулась в родную деревню. Но и Офюльс не избежал позора: скандал с американским послом, соблазняющим местных девушек — и это в эпоху после Вьетнамской войны, — стал достоянием прессы. О нем писали даже Норман Мейлер и Джоан Байз... Офюльс вынужден был подать в отставку. А клоун-акробат Шалимар поклялся отомстить — и бывшей жене, и ее любовнику, и их дочери. Он становится террористом, но его истинная цель — используя силы организации, членом которой он стал, подобраться к человеку, до которого иначе не дотянуться... В финале романа Шалимар гибнет во время волнений в Лос-Анджелесе, убитый... дочерью Буни от Офюльса, которую символично зовут Индия и которая даже не подозревает о том, что жертва — ее собственный отчим. Круги насилия ширятся, и здесь нет правых и виноватых, ибо виновны все.

В этом романе Рушди оказывается достаточно близок Ле Карре с его политическими детективами, в которых главные герои осознают, что вовлечены в чужие и грязные игры, но при том тщатся сохранить некий внутренний кодекс чести — последнюю опору проигравших. В России Ле Карре воспринимают как автора довольно качественного, но чтива, а вот Бродский ценил дружбу с ним и считал его настоящим писателем — именно из-за этой интонации безнадежного понимания, Ле Карре присущей... Поэтому тяготение Рушди к жанровому роману, довольно отчетливо проявляющееся в "Клоуне Шалимаре", — то, за что многие рецензенты, например Марко Рот в "The Times Literary Supplement" (7 сентября 2005 г.), порицали книгу, считая ее уступкой читателю, охочему до сюжета, еще ни о чем не свидетельствует. Нельзя поставить в вину писателю и "пренебрежение реалиями", когда во имя сюжета террорист Шалимар у Рушди свободно перемещается по миру, ничуть не страдая от подозрительности, на которую обречены в международных аэропортах Европы и Америки люди с паспортами стран третьего мира, — над чем иронизирует Панкай Мишра в большой и обстоятельной рецензии в "The New York Review of Books" (6 октября 2005 г.).

В реакции англоязычной критики на роман Рушди интересно иное. Роман был прочитан как политический — и каждая из сторон: поборники "глобализации по-американски" и противники американского же "давления на современный мир", пропакистанские исламисты из Кашмира и их оппоненты-индуисты сочли задетыми... именно себя. "Демонизируя [нас?!], Рушди упрощает сложность современного мира в угоду массовому читателю", — примерно таков приговор рецензентов.

1. Подробнее о Шалимаре в англоязычной поэзии и связанном с ним комплексе мотивов см.: И. Ковалева, А. Нестеров. От переводчиков / Ага Шахид Али. Стихи. "ИЛ", 2003, № 1. С. 125–129.

(Так, Марко Рот пишет: "Отказ кланяться веку сему трансформировался у Рушди в капитуляцию перед гласом общественного мнения" – "The Times Literary Supplement", 7 сентября 2005 г.). Но этот приговор становится лишь отправной точкой размышлений об ответственности современного художника. Писатель не свободен в своей игре, ибо написанное имеет долговременные социальные последствия...

Интересно, что и в рецензии Рота, и в рецензии Панкая Мишры мелькает тень У. Х. Одена, его хрестоматийного высказывания из стихотворения "Памяти У. Б. Йейтса":

> Поэзия ничто не изменяет;
> поэзия живет
> В долинах слов своих;
> практические люди
> Ею не озабочены...
>
> *Перевод* А. Эппеля

Не меняет, но предопределяет будущее – считают рецензенты. Литература остается хранилищем нашего опыта общения с миром, тем аккумулятором, который его накапливает, а потом, в какой-то момент, эта энергия включается и питает наше сознание, программируя те или иные поступки. Попытка постмодернизма в его массовом изводе разнести реальную жизнь и литературу, объявив последнюю зоной свободной игры неангажированного рассудка, оказалась несостоятельной. На Западе общество вновь стало видеть в зеркале литературы свое отражение – и с ним соизмеряться. Для нынешнего западного читателя литература – не зона досуга, а зона моделирования и прогностики будущего.

Интересно, однако, что появление одеяновской тени в рецензии на "Клоуна Шалимара" спровоцировано самим Рушди, который в Таннеровской лекции, прочитанной в 2002 году в Йельском университете, вторя Одену, заметил: "Произведение искусства, в отличие от террористического акта, ничего не изменяет". Но после паузы добавил: "Не изменяет в ближайшем будущем..."

Рушди – опытный писатель. Его романы – они "проступают" с течением времени, как постепенно проступает фотоотпечаток в кювете с проявителем. Так было с "Сатанинскими стихами": в момент выхода романа он обозначил раскол между исламским и "западным" миром в понимании того, что есть реальность. Глубина же этого раскола обозначилась много позже. А когда роман вышел, мало кто придал значение тому факту, что начинается он с описания того, как террористы захватывают и взрывают самолет...

Еще одна книга, ставшая событием 2005 года, – эпический роман (на 800 с лишним страниц) американца Уильяма Т. Воллмана о событиях в Европе 30-40-х годов, вышедший весной 2005-го, а в ноябре удостоенный Национальной книжной премии США.

Воллман (р. 1959) считается интеллектуальным гуру своего поколения. Он очень редко появляется на публике, его книги подавляют своим объемом (семитомный opus magnum писателя, "Восхождение к и нисхождение в: Ряд мыслей о насилии, свободе и неотложных мерах", насчитывает 3 352 страницы! Ecco) и сложностью организации. Так, "Атлас" Воллмана (William T. Vollmann. The Atlas. Penguin Non-Classics, 1996), вышедший в 1996 году, а в 1997-м получивший премию Западного ПЕН-центра, построен по принципу палиндрома – в книге 55 отдельных историй, рассказываемых порой от первого, порой от третьего лица, место действия – от Афганистана до Загреба и от Нью-Йорка до Юкона, а интонация варьируется от жесткого репортажа и описания фантазий на кушетке психоаналитика до изысканнейшей прозы, и, по определению самого писателя, "мотив, присутствующий в первом фрагменте, подхватывается в последнем; второй обязательно отзывается эхом в предпоследнем и так далее". Центральная история книги, конечно

же, названа "Атлас". При этом, по мнению критиков, книга едва ли не перегружена "актуальной политикой, перестрелками, проституцией, наркотиками, психозом толп и насилием" (Майкл Вуд в "The New York Review of Books", 15 декабря 2005 г.).

Насилие — тема, к которой Воллман возвращается вновь и вновь, пишет ли он в романе "Королевская семейка" (William T. Vollmann. Royal Family. Penguin Non-Classics, 2000) о жизни сан-францисских проституток, или о моджахедах в полудокументальном повествовании "Афганский комикс, или Как я спас мир" (William T. Vollmann. An Afghanistan Picture Show: Or, How I Saved the World. Farrar Straus & Giroux, 1992).

Насилию и политике — причем политике особого рода, политике смерти — посвящен и последний "призовой" роман Воллмана — "Europe Central" (William T. Vollmann. Europe Central. Viking Adult, 2005). Само название этой книги обыгрывает топоним "Центральная Европа", однако правильнее перевести его как "Европа — Центральный вокзал" или "Европа — узловая станция". Книга рассказывает о жутковатой реальности 1930—1940-х годов. Именно там и тогда, в Европе Гитлера и Сталина, мы пересели в тот "поезд", с которого до сих пор не можем сойти. Сам Воллман говорит, что в этой книге он задался целью написать "ряд притч о покрывших себя славой, позором или оставшихся безымянными жителях Европы в момент совершения ими нравственного выбора". Подобно "Атласу" и некоторым другим книгам Воллмана, "Европа — узловая станция" выстроена как ряд переплетающихся между собой историй, однако, по словам самого писателя, он отталкивался не столько от собственной практики, сколько от романа серба Данило Киша "Могила для Бориса Давидовича". В 2001 году Воллману довелось писать послесловие к английскому переводу этой книги, и созданный Кишем "ироничный и сочувственный портрет тех ужасов, через которые прошла в XX веке Восточная Европа, произвел на него глубочайшее впечатление". Памяти сербского писателя и посвящена "Европа..." Воллмана[1]. Тридцать шесть историй, составляющих роман, объединены попарно: немецкому эпизоду соответствует эпизод советский, и лишь изредка действие "парных" историй разворачивается в одной и той же стране. "Я беру читателя в клещи", — горько усмехается Воллман, поясняя свой роман, где говорится о блокаде Ленинграда, Сталинградской битве. Истории рассказываются от первого лица — это всегда взгляд изнутри событий. Хотя в выборе такой оптики повествования важно и иное: как признается один из героев романа, "мы предпочитаем наши личные трагедии, потому что все мы — трусы и ублюдки" (цит. по: Дэниэль Лакс в "The Times

1. Заметим, что сама концепция "Центральной Европы" первоначально была сформулирована не столько усилиями политологов и историков, сколько — писателей и философов, прежде всего Милана Кундеры, Дьердя Конрада и как раз Данилы Киша. Важной вехой здесь была публикация в 80-е годы XX века статьи Кундеры "Похищенный Запад, или Прощальный поклон Культуры". Предъявляя Западу счет за равнодушие, с которым там отнеслись к трагедиям Венгрии 1956 года, Чехии 1968-го, польским событиям 1956, 1968 и 1970 годов, Кундера констатирует, что, отдав Центральную Европу под власть России, Западная Европа отреклась от своей неотъемлемой части. "Центральной Европы больше не существует. Три мудреца в Ялте разделили ее надвое и приговорили к смерти. Им было все равно что станет с великой культурой... страны Центральной Европы ощущают, что перемены, которые произошли в их судьбе после 1945 года, были катастрофой не столько политического характера, скорее речь можно было бы вести о нападении на их цивилизацию", — писал Кундера. Статья Кундеры вызвала весьма резкий ответ Иосифа Бродского, подчеркивавшего, что "Кундера, как и многие его братья-восточноевропейцы, стал жертвой геополитической истины, придуманной на Западе, а именно концепции разделения Европы на Восток и Запад". Тем самым роман Воллмана имеет политический подтекст, весьма актуальный и для сегодняшнего дня. См. также: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. — М., 2003.

Literary Supplement", 17 апреля 2005 г.). Но эта реплика – лишь одна в хоре множества голосов, которыми наполнен роман, где перед читателям разворачиваются истории генерала Власова и фельдмаршала Паулюса, Фанни Каплан и Крупской, Вана Клиберна и Шостаковича, режиссера-документалиста Романа Кармена и Ахматовой, Цветаевой и возлюбленной Шостаковича, Елены Константиновской... Шостакович – едва ли не главный персонаж воллмановской "Европы...". Поясняя это, сам писатель говорит следующее:

Я представил человека, пожранного страхом и раскаянием, человека, который... делал то немногое, что было в его силах, хоть какую-то толику добра, – отстаивал свободу творчества и пытался помочь другим в их несчастьях. Но терпел поражение за поражением, и ему все труднее было отвергнуть зло, сказав "нет", – собственно, именно эта черта позволила ему выжить при Сталине. Несмотря на то, что ближе к концу он вступил в партию, он остается для меня героем – трагическим героем, конечно...

(Цит. по: Джеймс Гиббонс в "Bookforum", июнь-сентябрь, 2005.)

Вообще "русская тема" была весьма обширно представлена в англоязычных рецензионных изданиях. И "The New York Review of Books" (22 сентября 2005 г.), и "The London Review of Books" (1 декабря 2005 г.) дали большие материалы о книге Изабель Мадарияги "Иван Грозный – первый царь России" (Isabel de Madariaga. Ivan the Terrible: First Tsar of Russia. Yale University Press, 2005). При этом англичан больше интересовала метафизика власти в России, насколько она нашла отражение в книге, а американцев – сравнение взгляда историка с образом, созданным Эйзенштейном в его знаменитом фильме. О многом говорит само название американской рецензии – "Божественный террорист". "The New York Review of Books" опубликовал сравнительную рецензию на две книги о сталинской пропаганде на Западе: "Красный миллионер: Политическая биография Вилли Мюнзенберга, царя секретной пропаганды Москвы" Шина Макмикина (Sean McMeekin. The Red Millionaire: A Political Biography of Willy Mun-zenberg, Moscow's Secret Propaganda Tsar in the West, 1917. Yale University Press, 2004) и "Двойные жизни: Сталин, Вилли Мюнзенберг и соблазнение интеллектуалов" Стивена Коха (Stephen Koch. Double Lives: Stalin, Willi Munzenberg and the Seduction of the Intellectuals. Enigma Books, 2004 ("The New York Review of Books", 3 ноября 2005 Г.). В "The New York Review of Books" (январь 2006 г.) – развернутая рецензия на книгу стихов Ахматовой, переведенную и откомментированную Нэнси К. Андерсон (The Word That Causes Death's Defeat: Poems of Memory by Anna Achmatova. Yale University Press, 2005). Зимний выпуск американского "Bookforum" отметил выход книги "Корней Чуковский. Дневники 1901–1969" ("Bookforum", декабрь 2005 – январь 2006 г.), подготовленной Виктором Эльрихом и Майклом Хеймом для издательства "Yale University Press".

В осеннем же выпуске "Bookforum" (июнь–сентябрь 2005 г.) материал о Воллмане (еще до присуждения ему Национальной книжной премии!) оказался рядом с большой подборкой, посвященной другому американскому писателю-интеллектуалу, с которым Воллмана часто сравнивают, – Томасу Пинчону. Пинчон (р. 1937) – признанный классик (см. несколько материалов о Пинчоне в "ИЛ", 1996, № 3), хотя опубликовал он немного. Все, написанное им на сегодняшний день, – четыре романа: "V" (1963, удостоен Фолкнеровской премии), "Выкрикивается лот 49" (1966, Премия национального института искусств), "Радуга земного притяжения" (1974, Национальная книжная премия) и "Вайнлэнд" (1990) да несколько рассказов, собранные позже в книжку "Плохообучаемый" (1984). И при этом Пин-

чон — целая эпоха в американской литературе. В чем-то его можно сравнивать с Сэлинджером или Сашей Соколовым в России.

Интересно, что и сегодня романы Пинчона, во многом определившие лицо американской литературы 60—70-х годов, читаются на редкость злободневно (с грустью приходится признать, что "этапные" вещи русской литературы тех же лет, вроде "Звездного билета" Аксенова или романов Трифонова, остались в своей эпохе, как муха в янтаре). С другой стороны, сам разговор о Пинчоне, уже пятнадцать лет не напечатавшем ни одной свежей вещи, свидетельствует о том, что американская аудитория ощущает литературу как некую единую традицию, когда взгляд назад позволяет понять сегодняшний день. (Что резко контрастирует с российской ситуацией, когда на протяжении одного века дважды, в 1917 и 1991 годах, происходил разрыв с прошлым. Общество пребывало в иллюзии, что теперь оно начинает с чистого листа, но в результате просто терялся масштаб зрения.)

В публикации "Bookforum" две большие статьи: одного из самых маститых редакторов издательства "Viking Penguin", Джеральда Ховарда, о "Радуге земного притяжения" и Рика Муди о "Выкрикивается лот 49" — и нарезка "мнений" о Пинчоне его коллег, среди которых Том Роббинс, Джеффри Евгенидис, Дон Делилло, и др. Говоря о влиянии Пинчона на современную американскую прозу, Делилло замечает:

Можно подумать, что, в силу каких-то немыслимых квантовых взаимодействий, стоило умереть Хемингуэю, как на следующий день родился Пинчон. Пинчон заставил американскую литературу резко расширить свои границы и обрести новые силы...

а писательница Лорри Мур настаивает:

"Мышление Пинчона и по сей день остается ловушкой, из которой американская литература все еще не выбралась: ее не смог избежать никто – ни малые, ни великие. Любой "роман идей" (а Пинчон, бесспорно, самый "умный" американский романист), любой нынешний "роман идей" (название этого жанра – фиговый листок, которым прикрывается анемичность текста) кирпичик к кирпичику, тщательно-претщательно, выстроен из пинчоновских находок – находок писателя, обладавшего неутомимой наблюдательностью и жадностью к миру...

Джеффри Евгенидис признается, что "Лучший эпиграф во всей истории мировой литературы — тот, что открывает "Радугу земного притяжения":

"Природе неведомо постепенное растворение в небытии; она знает лишь трансформацию. Все, чему наука научила и продолжает учить меня, укрепляет мою веру в продолжение нашего духовного существования после смерти. Вернер фон Браун". Когда я впервые прочел эти слова, я только-только поступил в колледж и принял эти слова за чистую монету, увидев в них научное доказательство реальности духовного мира. Я представления не имел о том, что фон Браун – создатель "Фау-2", главный консультант Гитлера по ракетостроению. Тем более я ничего не знал о том, что, когда Берлин пал, ему посчастливилось попасть в руки американцев, в США он был реабилитирован, стал ведущим ученым-ракетчиком в годы президента Никсона и был задействован в проекте НАСА по высадке человека на Луну. Стоит ли удивляться, что фон Браун верил в жизнь после смерти... Но задумаемся – в этом эпиграфе "собраны" все смыслы: он принадлежит именно тому историческому периоду, которому посвящен роман, и "вмещает" весь этот период; он подталкивает к религиозным переживаниям и тут же их пародирует, и – оцените смелость иронии – слова эти исходят от человека, олицетворяющего саму идею этого романа – романа о том, что Силам, действующим за кулисами исторических событий, нет никакого дела до наций и идеологий.

Том Роббинс ("ИЛ", 2005, № 1) пишет о Пинчоне:

Хотя я загипнотизирован разноцветными огоньками, которые он заставляет мерцать, устраивая свою историческую дискотеку, – загипнотизирован тем, как он высвечивает скрытый в тени антураж истории – все эти заговоры, ужасы, буффонады и тайные учения... – но больше всего в Томасе Пинчоне меня пробирает совсем иное – точнейший выбор существительных!

Пинчону довелось стать автором номер один для целого поколения – он действительно перевернул представление о том, какой может и должна быть проза у тех, кому в начале 70-х было по двадцать лет. Как пишет Джеральд Ховард, для его поколения Пинчон был их "Мелвиллом и Блейком, поэтом, эпическим поэтом, пишущим о добре и зле, невинности (в ее американском варианте) и опыте..." Когда в 1973 году вышла пинчоновская "Радуга земного притяжения" (кстати, до сих пор так и не переведенная на русский), Америка пребывала в растерянности: "революция цветов" и "лето любви" 1968 года остались позади, а вместе с ними – и надежды, будто что-то можно изменить; страна погружалась в пучину усталости и апатии. (Стремительно уходят те, кто определял сам дух 1968 года, – в 1970-м умирают Дженис Джоплин и Джимми Хендрикс, в 1971 – Джим Моррисон.)

И вот тут-то явился команданте Пинчон, – пишет Джеральд Ховард, – *одиночка, олицетворяющий интеллектуальное правительство-в-изгнании. Партизан, спустившийся с гор, он с ходу захватил столицу Американского сознания, ибо в его распоряжении было настоящее оружие возмездия – "Радуга земного притяжения"... Роман давал картину мира, где все пронизано обыденностью и ложью, продажностью, геополитическими интригами, где история, внешне кажущаяся хаосом событий, скрывает за своим фасадом заговоры, существующие внутри других заговоров, а технологии – сорвались с цепи и поставлены на службу смерти...*

В статье Ховарда поражает страстность интонации, с которой говорится о современной литературе, – страстность, за которой стоит вера: литература *действительно* изменяет мир. Литература – не интеллектуальное гетто, живущее по своим законам, не соприкасающимся с реальностью, не развлечение, призванное скрасить досуг, а сила, воздействующая на общество. В этой убежденности – явное преимущество англоязычных критиков по сравнению с их российскими коллегами, которые в большинстве своем смирились с искусственно навязанной им ролью маргиналов, по сути, обществу не нужных, но поддерживаемых таковым исключительно в силу традиции: так в былые времена держали старика-дворецкого, от которого никакого толку, но не гнать же его на улицу... Стоит ли удивляться, что большинство статей российских критиков подобны старческому брюзжанию... Не литература потерпела в России поражение, а просто многие люди около нее выбрали капитуляцию, полагая, что те, кто подписывают акт капитуляции, порой могут выторговать себе неплохой пожизненный пенсион у победителей...

В зимнем выпуске "Bookforum" – редакционная рецензия на книгу Джона Апдайка о живописи: "Продолжая вглядываться: эссе об американском искусстве" (John Updike. Still Looking. Knopf, 2005). В Америке Апдайк известен не только как автор "Кентавра", романов о Кролике Энгстроме, "Иствикских ведьм" или рассказов. Более двадцати лет он регулярно выступает в роли арткритика, пишущего о текущих художественных выставках – чаще всего для "The New York Review of Books". (Так, в выпуске от 1 декабря 2005 г. его большая рецензия на выставку рисунков Ван Гога в нью-йоркском музее Метрополитен.) На-

звание новой книги отсылает к старому сборнику апдайковских эссе об искусстве "Просто вглядываясь" (John Updike. Just Looking: Essays on Art. MFA Publications, 1989). В новой книге 18 эссе, охватывающих историю американского искусства от колониального периода до наших дней. Свой "искусствоведческий метод" Апдайк определяет следующим образом: "В эпоху бесконечных визуальных раздражителей задача арткритика – дать представление об объекте, чтобы работа художника заняла место в сознании читателя, подобно картине, висящей дома на стене, ставшей привычной и в силу этой привычности вовсе не спешащей раскрыть все свои смыслы". Понятно, что при такой установке эссе будут достаточно взвешенными, не слишком провокативными. Апдайк просто обходит выставку, описывает увиденное, заглядывая порой в выставочный каталог за понадобившейся справкой. Информация каталога всегда принимается на веру – спорят пусть искусствоведы-профессионалы. Описания увиденного часто ярки и живы – чувствуется рука Апдайка-романиста. Собственно, он остается писателем до мозга костей, стремясь "облечь в слова историю, которую любая выставка, особенно ретроспективная выставка, пытается нам беззвучно рассказать". Параллельно рассказывается "история" художника, при этом у читателя часто возникает чувство, что речь идет не об исторической личности, а о некоем персонаже, создаваемом писателем в собственных целях – постигнуть, что же есть "американскость" как таковая.

Об интенции писателя при работе с фактическим материалом рассуждает и Питер Холланд ("The Times Literary Supplement", 26 октября 2005 г.) в рецензии на новую книгу Питера Акройда (Акройд в "ИЛ" см.: "ИЛ", 1993, № 11; 1995, № 10; 1997, № 5; 2001, № 9; 2002, № 10). Если предыдущими работами писателя были "Биография Лондона" (Peter Ackroyd. London: The Biography. Anchor, 2000), "Чосер: краткая акройдовская биография" (Chaucer: Ackroyd's Brief Lives. Nan A. Talese, 2005) и готова к выходу в свет следующая работа из этой серии: "Дж. М. У. Тернер: краткая акройдовская биография" (J. M. W. Turner: Ackroyd's Brief Lives. Nan A. Talese), то сейчас критики обсуждают "Биографию Шекспира" (Peter Ackroyd. Shakespeare: The Biography. Nan A. Talese, 2005). Интересно, что насколько благосклонно была принята критикой биография Чосера, настолько большинство рецензентов предъявляют претензии к акройдовскому "Шекспиру". Весьма характерна реакция Питера Холланда в октябрьском "The Times Literary Supplement". Шекспир у Акройда – прежде всего прекрасный актер, и именно актерская способность к перевоплощению и вчувствованию в своих персонажей сделала Шекспира гениальным драматургом. Холланд с иронией отмечает, что дошедшие до нас свидетельства современников об актерской стороне шекспировского дарования весьма скудны, известно лишь: Шекспир играл тень отца Гамлета и Адама в "Как вам это понравится" – обе роли отнюдь не первого плана... Но Акройд настаивает, что его книга – не беллетризированная биография, а писательское исследование, и основана она на фактах. Доказывая сценические таланты Шекспира, он приводит строчку поэмы Джона Дэвиса из Херефорда, посвященной Шекспиру: "Хоть в спорте не сыграл ты роли королевской..." – и заключает, что, следовательно, на сцене Шекспиру было привычно выступать в амплуа королей, и именно он играл Генриха IV и Генриха VI в собственных хрониках, Цимбелина в одноименной трагедии... Двойная адресация сонетов – смуглой леди и другу – объясняется бисексуальностью Шекспира, ибо актерам часто свойственна бисексуальность, к тому же *так* представить Антония и Клеопатру мог только тот, "кто знал, что такое быть и Клеопатрой, и Ан-

тонием". Не слишком ли это просто? Здравый смысл обычно предлагает самое простое, но не всегда самое верное решение... И все же... Акройд писал ведь не университетский курс шекспироведения, и его читателю интересна не столько биография Шекспира, а именно биография Шекспира, написанная Акройдом...

Еще одна биография, привлекшая внимание критиков – "Караваджо – мастер чудес" Франсин Проуз (Francine Prose. Caravaggio: Painter of Miracles. Harper Collins, 2005; рецензия Денниса Драбелла в "The Washington Post", 25 декабря 2005 г.). Как замечает сама писательница, Караваджо "как никто другой соответствует всем расхожим мнениям – и клише – о личности художника". Постоянно не в ладах с законом, скандалист и забияка, выбиравший в качестве моделей хорошеньких мальчиков, а не хорошеньких женщин, замешанный в историю с убийством и бежавший из-за этого из Рима, умерший, когда ему не исполнилось и сорока, Караваджо – идеальный персонаж для рассказа о темных страстях, разъедающих душу художника. Биография, написанная Проуз, вышла в издательстве "Харпер Коллинз" в серии "Выдающиеся биографии", являющейся неким аналогом нашей "ЖЗЛ". (Интересно, что книга сразу предлагается читателям как в "бумажном", так и в электронном формате, что бывает весьма редко. Бумажное издание стоит $14.90, электронное – чуть дешевле, $11.90.) Серия "Выдающиеся биографии" не претендует на строгую документальность: книги для нее заказываются не ученым-специалистам, а писателям, причем, желательно, уже сделавшим себе имя. Известность Франсин Проуз принес роман "Голубой ангел" (2000) (см. "ИЛ", 2002, № 11–12), не новичок она и в биографическом жанре – ее "Жизнь муз: девять женщин и художников, которых они вдохновляли" (2002) (биографию Йоко Оно из этой "девятки" см. в "ИЛ", 2004, № 3) почти сразу после выхода попала в список американских бестселлеров. При всем том интересно, что "Караваджо" Проуз, вышедший в октябре, вызвал куда больше интереса, чем ее новый, весьма едкий роман "Обратившийся" ("The Changed Man"), вышедший в апреле. "Обратившийся" – история бывшего скинхеда Винсента Нолана, который однажды утром приходит в офис благотворительной организации "Стражи мирового братства" и объявляет, что он пережил духовный переворот (виной которого была передозировка экстази), полностью отринул прошлую жизнь и теперь хочет помочь "Братству" "спасать таких парней, как я, от того, чтобы они стали такими, как я" (см. также "Курьер 'ИЛ'" в "ИЛ", 2005, № 7). По-видимому, англоязычные читатели все же предпочитают документальную прозу беллетристике.

И в заключение – о новом романе Чака Паланика, обсуждаемом еще с весны 2005 года. В оригинале роман называется "Haunted" (издательство "Doubleday"), что можно перевести и как "Одержимые", и как "Проклятое место", благо и для того, и для другого текст дает основания. Роман состоит из 23 отдельных историй, которые лишь по мере чтения складываются в некое целое. Странный автобус кружит по улицам некоего города, собирая пассажиров, специально его поджидающих. Их привозят в заброшенный театр, где им предстоит провести три месяца в изоляции от внешнего мира – за это время они должны написать по шедевру, потом эти тексты будут использованы неким телеили кинопродюсером... Группу запирают в здании... Однако вместо комфортного существования в условиях "писательского дома творчества" героев ожидает борьба с трудностями: вскорости кончается еда, питьевая вода, канализация в здании не работает, начинаются свары, война за выживание... К середине романа чи-

татель все больше начинает понимать, что перед ним одновременно и притча в духе "Повелителя мух" Голдинга, и пародия на "реалити-шоу". Раз за разом всплывают аллюзии с "Маской Красной смерти" Эдгара По — рассказом, где некий принц и его двор хотят отгородиться от бушующей в стране чумы за стенами высокого замка... Периодически упоминается вилла Диодати, где Байрон, Джон Полидори и Мери Шелли начали работу над "Франкенштейном" и "Вампиром". Среди иных аллюзий, усматриваемых критиками в новом романе Паланика: детективы Агаты Кристи, действие которых происходит в замкнутом пространстве, "Кентерберийские рассказы" Чосера, боккаччевский "Декамерон", "120 дней Содома" Пазолини, минималистские рассказы Реймонда Карвера... Интересно, что высоколобая "Гардиан" (11 июня 2005 г., рецензия Кристофера Прайса), "Village Voice" или Том Шон в "The New York Times" (22 мая 2005 г.) считают роман несомненной удачей Паланика, тогда как Джанет Маслин в той же "The New York Times" (5 мая 2005) или Элизабет Хэнд в "The Washington Post" называют книгу претенциозной и аморфной. Спор о достоинствах и недостатках романа продолжался вплоть до осени...

Леонид Костюков
Мировая литература

Я где-то читал, что Герману Гессе приходили сотни писем с конкретными правилами игры в бисер, а он откладывал их не читая. Мне кажется, я понимаю почему. Описанное им высшее искусство, вбирающее в себя все культурные ряды, — это художественная проза. Его роман потому и называется "Игра в бисер", что представляет собой гигантскую партию, где сложена целая величественная пирамида — и *как бы* разрушена одним движением, когда Кнехт так невынужденно умирает в холодной воде, а потом в его притчах возникают тени пирамиды...

Нет, действительно. Прозаическая ткань зримо отвергает общий закон. Достаточно взглянуть издали, не различая букв, на прозу Маркеса, Бёлля, Воннегута, Фриша, чтобы увидеть различия в геометрии абзацев, в ритме прозаического целого. Мы попадаем в область абсолютной свободы. Хаос, белый шум. И каждая гениальная вещь по-новому ограничивает этот абсолют, сама из себя вырабатывает собственные правила и по ним выигрывает.

Это зависание в точке всевозможности, где все подвижно, пластично и относительно, а потом постепенное вычленение собственного канона, а потом претворение его в действительность, можно сказать, что это похоже на жизнь человека.

И очень непохоже на жизнь человека в СССР.

© Леонид Костюков, 2006

Впрочем, здесь нужны уточнения.

Одно дело, когда к тебе среди темной ночи вдруг входят неприветливые люди в форме, дают тебе небольшой срок на то, чтобы одеться, и волокут далеко на восток. Это, если переходить на медицинскую терминологию, органическая травма реальности.

В семидесятые и восьмидесятые надо было постараться, чтобы за тобой пришли. С другой стороны, если постараться, придут повсеместно. Материальная оснастка бытия была аскетична, но не чудовищна. Например, приходилось доставать гречку. Очевидно, что главный изъян времени был не здесь. Отсюда, из следующего века, я могу описать его примерно так.

Есть спектр возможностей. Представим его себе как длинный список, реестр, заполненный мелким шрифтом. Это жизнь. А теперь добавим к нему еще одну (первую) страницу, на которой напишем ровно один вариант, но жирно и крупно. Это жизнь в СССР.

То есть. Не предпринимая усилий, ты заканчиваешь детсад, школу, институт, дорастаешь до замначальника отдела, выходишь на пенсию и разводишь огурцы на шести сотках. (И это, конечно, утопия, потому что спокойная фаза советской власти не просуществовала и полувека, но внутри нее были реализованы фрагменты Единой Судьбы.) Вместе с тем, можно жить иначе? Можно. Можно стать лесником, можно ходить в

церковь, можно сделаться изобретателем, коллекционером, эмигрировать в конце концов. Но нигде не сказано, что это *можно*. В низу главной страницы (с одним, напомним, титульным вариантом) нет ни малейшей подсказки типа "листни".

Так что же было в итоге? Убита была свобода выбора ржавым совком или слегка, карикатурно расширена? Остался один вариант или "плюс один"? А это как вам будет угодно.

Нам было угодно отыскивать книжки с трилистником (серия "Мастера современной прозы"), брать друг у друга поношенные номера "Иностранки" (не сочтите за подхалимаж) и находить там ту пластику, которой нам так не хватало.

Где? Да хотя бы в малом. В сутулой фигуре мужчины средних лет, сидящего в аэропорту, допустим, Франкфурта и размышляющего, лететь ему в, допустим, Гамбург или все-таки не лететь. Еще чашечку кофе. Допустим...

Сейчас даже трудно восстановить (как скелет динозавра по косточкам), почему это было диковинно в нашем пространстве. Почему эту фигуру размышления почти не вспомнишь в нашем замечательном и чутком кино. Страдание от несчастной любви — да. Встреча со старым другом — пожалуйста. А вот просто так — лететь, не лететь... Вставали императивы выше человеческого роста. Либо надо лететь. Либо надо не лететь. Причем надо не именно тебе, а вообще надо. И дело совсем не в цене на билет.

Минута свободы, как говорил по другому поводу Пастернак. Минута свободы...

Меня поражали герои "Дома без хозяина" Бёлля тем, с какой легкостью они вступали в неформатные отношения. Люди живут в одном доме, но кем они приходятся друг другу, сложно объяснить. Да, я, конечно, понимал, что их немного инвалидное единение призвано очертить пустоту, оно отзывается слабой болью. Да, конечно, но завораживала свобода сочетания людей.

Но это... как бы сказать... понятная материя. Сильнее же (повторяю) действовало трудноуловимое, на уровне повадки, походки, манеры.

Как расслабленно, вихляючи шел профессор Плейшнер в гениальном исполнении Евстигнеева по улице Цюриха в "Семнадцати мгновениях весны" — хотя это вроде бы из другой оперы.

Или как играет классный футболист — не глядя на мяч. Глядя на поле и имея в голове десятки мгновенных вариантов развития. Соответствующее положение головы, шеи, воротниковой зоны.

Такова была осанка героя. Автора. Самого текста. Ее же волей-неволей (и все-таки волей) перенимал читатель. Как я понимаю, люди немногим старше меня за что-то подобное любили Хемингуэя. Мне он показался немного искусственным. Дело, наверное, не в экзотической обертке типа охоты на львов. Просто изменилась топология времени, и те линии, которые раньше были прямыми, пошли по дуге. И настало время обновить прямые линии.

Прямее других пошел (по-моему) Курт Воннегут. Он показал, что многие вещи потеряли смысл и заслоняются от гибели собственными именами. Мы привыкли к тому, что слова возникают в сгущениях смыслов, и продолжаем уважать однажды названное. Воннегут отодвинул таблички с именами — за ними зевнула пустота. "Пистолет — устройство, предназначенное для того, чтобы делать дырки в людях". No comments. В других местах, наоборот, сгустился смысл — и Воннегут впаял туда имена.

Я думаю, главная моя мысль стала более или менее ясна. Важнее ощущение — мне удалось припомнить его. Удалось ли передать, не мне судить. Но кое-что необходимо все же добавить.

Несмотря на всю любовь к трилистнику, я совсем не был космопо-

литом. Я, скорее, был патриотом. Не то чтобы России или Советского Союза. Скорее, Москвы. Но презирать или ненавидеть родину за советский образ жизни для меня было все равно, что презирать мать за инсульт и его долгие последствия.

Должен был найтись писатель в моем городе, живущий в той же абсолютной свободе мировой литературы. Для которого Советы были бы тем же, чем постфашистская Германия для Бёлля или тупоумная Америка для Воннегута. Фоном жизни, предложенными обстоятельствами.

Таким писателем для меня тогда стал Юрий Трифонов.

Его герои не сидели с чашечкой кофе в буфете аэропорта. Они копили в себе внутреннюю свободу в форме размышления и сомнения. И каждого своего героя Трифонов однажды проводил через ситуацию, если можно так сказать, контрольного выбора – там они обналичивали накопленную свободу. Чаще всего ее недоставало на твердое "нет", остальные же промежуточные варианты медленно убивали героя. Но это внутренний сюжет, сам же роман – будь то "Старик", или "Время и место", или "Дом на набережной" – шел с поднятой головой в абсолютной свободе.

Мне кажется правильным говорить о Трифонове в этом контексте – наряду с Бёллем или Воннегутом, а не в обойме отечественной городской прозы или через оптику вялотекущего конфликта с властями. Наверно, понятно почему.

На десерт вспоминается один случай. Тогда, четверть века назад, хорошие книги распространяли в заказах, как сервелат и икру. За самой категорией дефицита встает некая метафизическая правда, но я сейчас не о том. Так вот, мой сокурсник развернул при мне длинный список лакомых книг и принялся подчеркивать самые лакомые, те, что он готовился выкупить. Я с досадой наблюдал, как он подчеркивает то же, что выбрал бы и я. Надежда поживиться таяла. Потом я заметил, что он как-то странновато подчеркивает.

– Что ты делаешь? – спросил я, уповая на чудо.

– Да вот, вычеркиваю барахло. Остальное, – он ласково похлопал по именам Дрюона и Пикуля, – возьму.

Мораль такова, что у каждого свой вкус. Тут кстати было бы упомянуть, что мой сокурсник стал бандитом, или олигархом, или чем-нибудь еще инфернального толка. К сожалению, нет. Он стал нормальным человеком, как вы да я.

Правда, он всегда любил хорошую музыку, а я предпочитал лажу...

Парад сербской поэзии

Антология сербской поэзии Перев. с сербского; Сост., пред. А. Базилевского. — М.: Вахазар, РИПОЛ классик, 2004

Нынешний русский читатель, в сущности, не знает сербской литературы. Но думает, что знает. Уже давно читаемый, любимый и модный Милорад Павич да разве что еще Бора Чосич — вот пара имен, которые ассоциируются со словом "сербский". Между тем достаточно разнообразная сербская литература XX века остается для нас в тени современной западной.

Выпущенная издательством "РИПОЛ классик" совместно с издательством "Вахазар" тысячестраничная "Антология сербской поэзии" претендует на то, чтобы закрыть эту лакуну. Набор круглых чисел, сопровождающий книгу: 1000 страниц, XX век, 25 авторов, удостоенных войти в антологию, — указывает на некоторую "юбилейность" издания. Не в том смысле, что книга вышла к юбилею (такого вроде бы нет), а в том, что все сделано подчеркнуто значительно: огромный том в красивом переплете, замечательно оформленный, с репрезентативным составом авторов и переводчиков: сербскую поэзию переводили и А. Ахматова, и А. Кушнер, и О. Чухонцев, и Ю. Левитанский, и Б. Ахмадулина, и Ю. Мориц, и Б. Слуцкий. Но большинство переводов все же сделано самим составителем антологии А. Базилевским. Составитель, как бы извиняясь, многословно и путано объясняет чрезмерное присутствие себя в качестве переводчика тем, что "выявилось несоответствие некоторых московских литературных репутаций предпочтениям их носителей. Не все, кто мог, приняли в книге участие. Не все, кто принял участие, проявили усердие". В результате мы имеем качественный перевод хороших стихов, выполненный в одной манере, с одной интонацией, с единым лексиконом. Иногда даже забываешь, что читаешь стихи разных поэтов.

Это второй из трех задуманных томов: в первом содержится поэзия начала XX века, в третьем должна быть поэзия его исхода. Авторы, чьи стихи вошли во второй, родились до Второй мировой войны и писали в основном во второй половине прошедшего столетия, многие из них уже умерли. Среди авторов такие имена, как, например, Десанка Максимович, номинировавшаяся на Нобелевскую премию, Оскар Давичо, бывший членом Сербской академии наук и искусств, Иван Лалич, Слободан Маркович. Большинство из представленных поэтов еще и преподавали в университетах, почти все переводили с английского, французского, итальянского или русского. Книга объединяет участников войны и вполне мирных людей, относительно свободных граждан, и узников титовских лагерей. Этот состав — тоже часть общей "юбилейности" проекта. Создается ощущение, что в Сербии, точнее говоря в тогдашней Югославии, не было поэтов вне основного русла, не именитых, не чиновных, но талантливых. Здесь чувствуется подкованность издателя, явно и нескрываемо скорбящего по былому братству двух народов и их общему прошлому. Нам представлена, так сказать, официальная, парадная сторона сербской литературы социалистического

периода. Правда — надо отдать должное составителю, — в число двадцати пяти избранных вошли только достойные.

Поэзию большинства авторов антологии отличает погруженность в себя, бурные события сербской и вообще югославской истории XX века практически никак не отразились в стихах. Если жизненные обстоятельства и вторгаются в нее, то исключительно на уровне интонаций, ассоциаций и мелких, едва заметных деталей:

Вы — камень,
а я —
будущая земля.

Истерзаны болью,
скорбью порубленных сербских
лесов,
из родника нищеты горстями
мятежную долю
вы пили вволю.

Мира Алечкович
Партизанское кладбище
Перевод Р. Казаковой

В большей степени взоры поэтов обращены в более давнюю сербскую историю. Поэт как бы спорит, полемизирует с давними и не очень давними соплеменниками, с историей своего народа. Десанка Максимович вступает в спор аж с самим царем Душаном — сербским правителем XIV в., при котором был составлен первый сербский свод законов. Она "требует помилования" для бедной пряхи, солдатских погостов, Золушки, для "тех, кто спотыкается о порог", для непонятых и наивных — для всего, не замеченного средневековым законником.

За тех прошу, у кого на душе
тот же полдень стоит уже
полвека,
для человека,
что любит старинные песни,
любовные песни,
и в минувшее крепко вцепился.
И пишет он так, как полвека
назад,
как сегодня писать нельзя
нипочем,
а он не желает иначе
и не умеет шагать быстрей и
всегда отстает хоть на шаг,
ему бы вовремя умереть, а он все
никак,
только больно ему становится
вдруг,
если он обернется назад,
если в прошлое он устремляет
взгляд,
и еще от разлук.

Десанка Максимович
Требую помилования. Спор поэта с законником царя Душана. В защиту тех, кто не умирает вовремя

Перевод А. Алигер

Сербы любят свою историю. Она, хоть и неоднозначна, сложна и полна бедствий, зато объединяет и дает образы (и образа), на которые можно смотреть и в тягостные минуты, и в пору радости. Первый сербский святой — Савва Сербский — еще один из таких персонажей.

Над головой его вьются пчелы
Создавая живой нимб

В бороде его рыжей
Усыпанной липовым цветом
Громы и молнии в жмурки играют

На шее висят вериги
И во сне железом позванивают

На плече петух огнеперый
Посох премудрый в руке
Поет песни дорог и распутий

Слева от него течет время
Справа от него течет время

Шагает он по суше и по топям
И везде его сопровождают волки

Васко Попа *Святой Савва*
Перевод М. Карасевой

Житель Косова Васко Попа был не только поэтом, но и собирателем и исследователем сербского фольклора. Образ св. Саввы построен именно на отголосках народных верований: он считается не только покровителем этого народа, но и — по народным верованиям — повелевает волками.

Сербская поэзия сильно ориентирована на фольклор. Фольклорные образы, мотивы и ритмы задают ее строй. Неслучайно стихи называются тем же словом, что и песня — *песма*. Соответственно поэт — *песник*. Силлабической ритмике народной поэзии вторит свободный стих большинства поэтов, чьи сочинения помещены в антологии. Создается впечатление, что вся современная сербская поэзия — это поэзия верлибра. Почти нет ни привычных для русского уха силлабо-тонических строк, ни рифмы. Зато временами поражает близкая к фольклорно-притчевой двусмысленной противоречивости афористичность. Мастер афоризмов — недетский детский писатель Душан Радович. За кажущейся легкостью и простотой игры слов и смыслов в его стихах кроется грусть мудрого человека.

ЧТО В ЖИЗНИ БЕСПЛАТНО?

ТОЛЬКО ТО,
ЧТО БОЛЬШЕ,
ЛУЧШЕ
И ВАЖНЕЕ ВСЕГО!

Душан Радович *Прейскурант*
Перевод А. Базилевского

Отдельных слов заслуживает предисловие. Написанное составителем и главным переводчиком этой книги, оно призвано — как это часто происходит в припадках российской любви к "братьям меньшим" — пробудить у читателя, имеющего лишь приблизительное представление о сербах, приступ любви, нежности и желания погладить их по головке. Это почему-то у нас так уже давно принято относиться к сербам: надрывно жалеть их и одновременно восхищаться ими. Дескать, вот, смотрите: несчастный, малочисленный, но гордый, самостоятельный, независимый народ, тяжкая судьбина, все от него отвернулись, кроме естественно нас, русских, — так что ни пожалеть, ни восхититься некому! Вот и давайте, восхищайтесь тем, что "Югославия была прекрасной сказкой. Такой же прекрасной, невозможной и ненавистной врагу, как Советский Союз". И сожалейте, скорбите о том, что "нынешняя беспамятная и обездушенная Эрэфия (от абревиатуры РФ — Российская Федерация. — *А. М.*), угождая либерал-лавочникам, предала тех, кто любил "сестру-Русију", как никто на свете (уж не Слободан ли Милошевич? — *А. М.*)". К счастью, панславизм под знаменами мировой революции и экспроприации "либерал-лавочников" уже давно ушел в прошлое, так что лучше восхищайтесь стихами и не оплакивайте химер.

Андрей Мороз

Ежедневный труд свободы

Борис Дубин *На полях письма. Заметки о стратегиях мысли и слова в XX веке*. — М.: Emergency Exit, 2005

Название книги интригует. Оно как будто противоречит самому себе. В то время как заголовок указывает на нечто побочное, маргинальное (примечания? комментарий к чему-то?), подзаголовок с его ключевым словом "стратегия" означает, что речь пойдет о главном и крупномас-

штабном — о решающих тенденциях письменной культуры минувшего века. Скромный жанр статей, составивших книгу — по большей части предисловий и введений к публикациям других авторов, — обманывает.

При первом же беглом просмотре книги замечаешь, что эти вступительные заметки (чаще всего дополненные или переработанные для настоящего издания) не имеют ничего общего с обычными, просветительными или оправдательными предисловиями, которые начинаются словами "советскому (или российскому) читателю не нужно представлять Такого-то...", а дальше получается, что именно эту задачу и ставит перед собой автор предисловия. Нет, перед нами вовсе не те безликие "поплавки" недавних времен, предназначенные не столько для публики, сколько для бдительного, но тупоумного начальства, и не популярные введения, рассчитанные на читателя, у которого только что прорезались молочные зубки.

Поражает прежде всего широта и многообразие материала. Автор книги, филолог и социолог, эссеист и ученый, полиглот и классный переводчик с многих языков, чувствует себя как дома по крайней мере в трех литературных регионах: англо-американском, польском и, конечно, романском (прежде всего французском, иберийском и латиноамериканском). Вместе с писателями в ранге классиков, с Кафкой, Рильке, Беньямином, Борхесом, Целаном, Исайей Берлином, вместе с теми, кого, отчасти благодаря тому же Борису Дубину, уже более или менее знают и привечают в России, — бельгийской француженкой Маргерит Юрсенар, американкой Сьюзен Сонтаг, румынским парижанином Эмилем Мишелем Чораном, галицийским евреем Бруно Шульцем, поляками Чеславом Милошем и Витольдом Гомбровичем, мексиканцем Октавио Пасом, аргентинцем Хулио Кортасаром, венгром Яношем Пилински, эллином Константиносом Кавафисом, — мы встречаем имена, отечественной публике почти или вовсе незнакомые: Анри Мишо, Мишель Серр, Мишель Деги, Морис Бланшо, Жак Дюпен, Хосе Лесама Лима, Мануэль Пуиг и многие другие, кого автор книги "На полях письма" вводит в русский культурный обиход.

Книга представляет собой итог работы за последние 15 лет. Автор оговаривается, что это лишь часть опубликованного в эти годы. Даже если не вспоминать другую сферу деятельности Бориса Владимировича Дубина — широко известные исследования по социологии культуры и литературы в современной России, какая поразительная творческая работоспособность, какое неутомимое служение слову! О чем же он размышляет "на полях письма"? Писатели эпохи модерна (автор ограничивается XX веком, замечая в предисловии к книге, что в России эта эпоха по существу даже еще не началась, — ничего себе) для Б. Дубина — не представители чего-то, адепты школ, последователи тех или иных течений, но прежде всего суверенные индивидуальности, каждый — сам по себе, каждый являет собою целый мир, и каждый обречен одиночеству. Между тем как для Дубина-социолога первичным объектом является группа, в текстах разбираемой книги классификационное литературоведение начисто отсутствует, а среда, общество, "народ" — маячит, словно кромка леса на горизонте, где-то далеко. Писатель созревает внутри некоторой традиции, но приходит день, когда он сбрасывает старую кожу; степень его значительности будет зависеть от того, насколько ему удалось выломаться из традиции. Что касается обще-

ства, то оно скорее воспринимает и адаптирует духовную культуру, приемлет, отвергает или игнорирует ее творцов — нежели создает культуру. Однако диалектика подобного восприятия-неприятия такова, что отшельник искусства и мысли, этот вечный empêcheur de dancer en rond[1], оказывается по-своему необходим. Хочется повторить слова Теодора Адорно (в "Философии новой музыки"): "И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, она обращена к людям".

"Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз..." Не подверстывать людей духа (в старомодном значении немецкого слова "Geist"), писателей, поэтов, эссеистов, под предписанные рубрики, но видеть каждого, внимать каждому в его исключительности, уникальности, неповторимости, "жить чужой жизнью", вживаться в чужую и даже чуждую мысль — вот чему ненавязчиво учит эта книга. Показателен в этом смысле очерк об Исайе Берлине, пока известному в России не своими работами (по-русски опубликовано очень немного), а как персонаж "Поэмы без героя", только что процитированной нами Анны Ахматовой, — таинственный "гость из будущего". (Б. Дубин приводит слова Берлина, сказанные незадолго до смерти: "Меня знают единственно как человека, встречавшегося с Ахматовой..." Ему посвящены и некоторые стихотворения Ахматовой).

"Дело не просто в разносторонности его (Берлина) познаний, а в том решающем значении, которое для него всегда имел принцип плодотворного и неупразднимого многообразия жизни, множества человеческих ценностей и целей — самая основа европейского духа Нового времени, — пишет автор книги 'На полях письма'. — Поэтому позиция всевозможных 'единственно правильных доктрин' и 'окончательных решений' для Берлина была начисто исключена... Он понимал смысл и цену независимости, ежедневный труд свободы, без которого серьезное существование невозможно". Полагаю, что у нас есть все основания отнести эти слова к самому Борису Дубину.

Писатель живет в своем времени и вопреки своему времени. Из своего века не убежишь; игнорировать историю (а так бы хотелось!), пробудиться — как Стивен Дедалус — от "кошмара истории" невозможно. Но писатель — и в этом, быть может, состоит центральная коллизия, в этом весь смех и парадокс — принадлежит своему времени *постольку, поскольку* он ему противостоит, восстает против своего времени, отвергает, отблевывает его. Или — сдается. Говоря так, мы, дети омерзительного века, слишком хорошо знаем, что конкретно имеется в виду. Упомяну этюд "Я как другой: роман голосов" — об аргентинском прозаике Мануэле Пуиге (1932—1990). Пуиг прожил достаточно пеструю жизнь, скитался по Европе, жил в Нью-Йорке, перепробовал множество профессий и занятий, вернувшись на родину, восстановил против себя режим вдовы Перона и закончил свои дни в эмиграции. Два лучших романа Пуига опубликованы в России в начале нынешнего десятилетия[1]. Ну и что? — спрашивает Дубин. Писатель, сделавший для испаноаме-

1. Нарушитель всеобщего веселья, непрошеный гость (*франц.*).

1. В "ИЛ" были опубликованы два романа М. Пуига: "Поцелуй женщины-паука" (2003, № 6) и "Крашеные губки" (2004, № 2). (*Прим. ред.*)

риканской прозы, быть может, ненамного меньше, чем Борхес, все еще остается в нашей стране практически неизвестным.

Борхесу, многолетнему собеседнику, посвящены две глубоких работы, они открывают книгу и составляют ее первый раздел; я, однако, советовал бы не обойти вниманием не слишком бросающийся в глаза этюд о Пуиге: на его примере можно видеть, какие формы принимает противостояние писателя своему времени в век фашистских диктатур и сменяющего их массового потребительского общества. Человек духа способен проявить изумительную стойкость перед лицом каннибальского режима. Но подчас оказывается беспомощным перед тотальной коммерциализацией литературы — агрессией пошлости. Кому, как не нам, детям России, этого не знать.

Книга выпущена (об этом стоит упомянуть в рецензии) на бумаге приличного качества, в стильной и привлекательной, в меру модной суперобложке. Но техническое исполнение, к сожалению, оставляет желать лучшего. Редактор продемонстрировал странную бедность и неумелость шрифтовки: имя автора на титульном листе набрано крошечным кеглем, плохо выделены заголовок и подзаголовок, тексты различного назначения напечатаны одним и тем же шрифтом, это же относится к заглавиям разных частей книги. Авторские примечания к четырем основным разделам — мельчайший, почти нечитаемый петит. Неудовлетворительно скомпоновано и набрано Приложение — образцы чрезвычайно разносторонней переводческой работы автора. Для книги такого ранга и значения можно было бы не скупиться сверх всякой меры на бумагу.

Борис Хазанов

Издательские планы

Об опере барокко, эстетике смерти и вечной эйфории

Серия "Studia Europaea", Издательство Ивана Лимбаха

О книгах, вошедших в эту новую серию, нам рассказали главный редактор Издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова и переводчик Наталья Мавлевич.

"ИЛ". Каков Ваш принцип отбора зарубежных книг в издательской практике?

Ирина Кравцова. К переводной литературе Издательство Ивана Лимбаха обратилось на пятом году жизни, в 2000-м. Книжный бум 1990-х "вынудил" нас издавать больше, а переводы – естественный путь расширения издательского репертуара. Но наше кредо не меняется: мы печатали и собираемся печатать только выбранные книги выбранных авторов. Я не люблю словосочетание "издательская политика" – в нашем случае скорее следует говорить об издательской эстетике в широком ее понимании. Мы исходим не из потенциальной коммерческой успешности книг, а из их эстетической и нравственной ценности. Наш издатель Иван Юрьевич Лимбах верит, что литература, которую мы публикуем, способна войти в зону рынка. Для этого нужно, чтобы читатель знал нас, чтобы аудитория чувствовала: в книгах, которые мы выпускаем, речь идет о непреходящих ценностях. Кстати, поэтому год их издания абсолютно не важен. Разве важно, когда мы издали Жерара де Нерваля или Сирано де Бержерака, Натанаэла Уэста или Гертруд фон Лефорт?

"ИЛ". Кто же он – любимый автор Издательства Ивана Лимбаха?

И. К. Нас привлекают книги, выражающие опыт самопознания. Привлекают "трудные" писатели, те, чья судьба по разным причинам складывается в России непросто. Назову для примера еще несколько имен: Макс Жакоб, Пер Улов Энквист, Томас Бернхард, Андре-Марсель Адамек... Цель – воздать им должное, расширив тем самым как собственный культурный горизонт, так и кругозор читателей.

"ИЛ". Вероятно, и к переводам приходится предъявлять особые требования...

И. К. Мы верны нашей изначальной установке — работать с лучшими переводчиками. Уровень подготовки переводных книг был задан Ю. Я. Яхниной. Она отличалась удивительной готовностью к кропотливой работе не только над вновь переведенной, но и над уже опубликованной когда-то вещью. С Юлианой Яковлевной мы подготовили трехтомное собрание сочинений Маргерит Юрсенар. Свой перевод "Философского камня" она просматривала пристрастно и даже поменяла название заключительной главы романа, до этого не единожды публиковавшегося. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за доверие всех, кто внес свой вклад в работу над трехтомником: мы были пятым или шестым издательством, взявшимся за этот проект.

Как редактор не могу не отметить высочайший профессионализм Б. Дубина, Н. Кисловой, Н. Кулиш, Н. Мавлевич, Н. Хотинской, С. Шлапоберской, М. Яснова. A propos: чем выше квалификация переводчика, тем охотнее он откликается на редакторские вопросы и замечания.

"ИЛ". Поздравляем вас с появлением новой серии "Studia Europaea". Как возникла ее концепция?

И. К. Начну с того, что это первая наша серия, имеющая название. Ранее мы ограничивались просто серийным модулем — то есть использовали единый формат и соответствующее художественное оформление для того, чтобы обозначить единство замысла. Подчеркну, именно единство замысла! Мы отнюдь не стремимся, чтобы читатель почти машинально покупал книги знакомого формата.

"Studia Europaea" родилась из размышлений о небеллетристической составляющей издательского портфеля. Мы не работаем конвейерным способом и не выпускаем книжную продукцию полка за полкой, а потому можем расширить наш репертуар и привлечь нового читателя только одним способом — разнообразием жанров и тем. Такую возможность дает издание литературы non-fiction.

Удивительно, что сразу у нескольких книг, включенных в наш план, обнаружилось внутреннее родство. По форме это большие эссе или полноценные научные монографии, а по сути — образцы "веселой науки": необычайно полный и глубокий охват темы сочетается в них с ярким и увлекательным стилем изложения. Все эти книги содержат в себе культурно-историческую перспективу, их авторы — европейцы, а темой размышления служит тот или иной сложный феномен из ряда вечных вопросов бытия.

Так, естественным путем обозначились рамки серии — подчеркну, весьма широкие. Нам представилось, что авторы этих книг (будь то писатель или ученый-гуманитарий) могли бы оказаться друг для друга хорошими собеседниками. Ну а место, где люди творческие, чем бы они ни занимались, встречаются и разговаривают об искусстве и жизни, можно назвать студией в европейском понимании этого слова. Омонимичность на грани словесной игры показалась привлекательной, и мы решили отразить эту игру в оформлении серии: на обложке всякий раз будет некая завеса, в каждой книге приоткрывающаяся по-новому. Попутно замечу, что мы сохраняем иллюстрации, присутствующие в оригинальном издании.

"ИЛ". Какие же темы поднимают гости вашей "студии"?

И. К. Первая книга серии, вышедшая в сентябре 2005 года, называется "Эстетика смерти". Перевел ее А. В. Белобратов, а написал Крис-

тиаан Л. Харт Ниббриг – профессор Лозаннского университета, изощренный стилист. В этой монографии автор предстает как ироничный исследователь постоянно возобновляющегося усилия искусства продемонстрировать "невероятный фокус умирания". Он рассматривает смерть как вызов, брошенный эстетическому сознанию в его стремлении уловить неуловимое. В поле зрения Ниббрига оказываются писатели (от Гёте до Бернхарда), художники (от Пуссена до Мунка) и композиторы (от Баха до Малера). Виртуозно владея литературоведческой, музыковедческой, лингвистической терминологией, он создает некий метатекст о смерти – поворотной точке бытия, благодаря которой оно обращается на себя самое, порождая, в частности, искусство как великую возможность преодоления страха смерти и одухотворения того, что мы называем жизнью.

"ИЛ". А другие книги серии отличаются такой же универсальной широтой?

И. К. Известный французский музыковед Патрик Барбье в своей "Истории кастратов" дает исчерпывающее описание этого культурного феномена. Автор задается вопросом, почему именно эпоха европейского барокко решилась искать чистой и самодостаточной Красоты столь изуверским способом. Почему оказалось неважным традиционное различие между мужским и женским? На широчайшем историческом материале – "с незапамятных времен" до "последнего кастрата" – Патрик Барбье в красочных деталях описывает великие итальянские театры, театральные постановки и актерское поведение кастратов, рассказывает об их причудах, о том, как они вели себя в свете, об их отношениях с женщинами, родственниками, покровителями. Книга прекрасно написана и великолепно переведена Еленой Георгиевной Рабинович, известным филологом-классиком, автором книги "Риторика повседневности", вышедшей в нашем издательстве в 2000 году.

Поистине безграничной широтой отличаются и произведения Роже Кайуа – блестящего интеллектуала и эрудита, принятого в 1971 году во Французскую академию. Мы включили в серию сборник Кайуа "В глубь фантастического", куда входят одноименное произведение и книга "Отраженные камни". Сквозная для творчества Кайуа идея единства вселенной понуждала его искать и обдумывать соответствия в мире живой и неживой природы, на физическом и психологическом уровнях, в области материальной и интеллектуальной. Его "мыслегрёзы" о тайном коде, связавшем воедино все структуры мироздания, чрезвычайно глубоки и поучительны. К тому же Кайуа облек свои размышления в совершенную литературную форму, а Наталья Кислова блестяще "переложила" его стиль на русский язык.

И, наконец, "Вечная эйфория: Эссе о принудительном счастье" французского романиста и публициста Паскаля Брюкнера...

"ИЛ". Об этой книге хотелось бы поговорить подробнее, поскольку благодаря вашему любезному разрешению мы публикуем в этом же номере "ИЛ" ее фрагменты.

И. К. Мне кажется, лучше всего о "Вечной эйфории" и самом Брюкнере расскажет переводчик книги Наталья Мавлевич.

Наталья Мавлевич. Паскаль Брюкнер – чистейший образец классической французской культурной традиции. Он постоянно подчерки-

вает свою генетическую связь с философами Просвещения. "Дух французской культуры полнее всего выражается в искусстве беседы", – сказал Брюкнер, сидя здесь, в редакции журнала "Иностранная литература", шесть лет назад. Тогда я и "положила на него глаз": все, что говорил Брюкнер, хотелось тут же записать, перевести, обдумать и обсудить с друзьями. Тогда он упомянул, что пишет книгу о гедонизме общества потребления – это и было "Эссе о принудительном счастье". Поэтому, едва дождавшись выхода книги в свет, я ее прочла и прикипела к ней.

Кстати, сам Брюкнер, насколько могу судить, предпочитает, чтобы в нем видели в первую очередь романиста – но мне лично он интереснее как эссеист.

"ИЛ". Своим публицистическим книгам Брюкнер дает парадоксальные названия...

Н. М. Да, они говорят сами за себя: "Искушение невинностью", "Принудительное счастье", "Нищета богатства". Это целая серия книг, каждая из которых посвящена определенному мифу современного общества. Брюкнер осуществляет масштабную инвентаризацию ценностей, производит пересмотр иллюзорных представлений о всеобщем счастье, равноправии, богатстве, свободной любви.

"ИЛ". Итак, Брюкнер – суровый судья окружающей действительности?

Н. М. Его взгляды отличаются устойчивым здравомыслием. Проведя несколько лет в Америке, он не заболел ни про-, ни антиамериканизмом. Он сторонник гуманистической западной цивилизации, к которой причисляет культуру как Старого, так и Нового Света.

"ИЛ". А какого мнения о Брюкнере его соотечественники?

Н. М. У себя во Франции он входит в число присяжных интеллектуалов, которых вопрошают как оракула во всех случаях жизни. Он рассказывал, как однажды его вызвал премьер-министр и спросил, скоро ли, по его мнению, прекратится забастовка транспортников.

Между тем Брюкнер не пишет специально на злобу дня, если понимать под этим непосредственную реакцию на события в мире. Его эссе – не реакция, а осмысление, обобщение существующих в обществе тенденций, и часто его выводы не отражают, а упреждают события. Именно так обстоит дело с книгой, о которой мы говорим. "Вечная эйфория" опубликована в 2000 году. То есть она написана незадолго до 11 сентября – дня, который положил конец "вечной эйфории", а вернее, положил бы, если бы от этой эйфории было так легко очнуться.

"ИЛ". Центральное понятие "Вечной эйфории" – счастье. Точнее, "bonheur". Полностью ли совпадает семантика этого французского слова и русского "счастье"?

Н. М. Семантика в целом совпадает. Даже этимология близка: *bonheur* (дословно "добрый час") содержит корень *heur*, означающий не что иное, как "час". "Час", "с-час-тье"... Но при переводе возникла другая неожиданная трудность. Если для всяких бедствий, горестей и несчастий в русском языке предостаточно слов, то синонимический ряд "счастья" куда беднее! Во французском ведь даже существительное *bonheur* и прилагательное "счастливый" *heureux* звучат по-разному. А у нас: "счастье", "радость", "удовольствие"... И только. Дальше идет либо высокий слог:

"ликование", "блаженство", "отрада", "услада", либо чуть ли не сленг: "кайф" и прочее. Приходится изворачиваться, пускать в ход глаголы, наречия, фразеологизмы и, ничего не поделаешь, повторяться...

"ИЛ". Значит, у французов столь же разветвленная классификация видов счастья, как у эскимосов — снега? Отчего возникла такая необходимость?

Н. М. Вряд ли я могу компетентно на это ответить. Рискну предположить, что причины — в природном жизнелюбии, а также в том, что история страны более благоприятствовала счастью.

"ИЛ". В таком случае, переводим ли Брюкнер на русский язык?

Н. М. Надеюсь, что да. Кстати, это, как ни странно, первый случай в моей жизни, когда я своими глазами видела автора, которого перевожу, представляю себе его голос, лицо, манеру говорить, а это очень важно.

Конечно, были и трудности. При работе над такого рода текстами обычно возникает искушение переводить наполовину — наводнять перевод иностранными словами, латинизмами, не подыскивая полнокровных русских слов, передающих не только содержание, но и форму, красоту мысли. Кроме того, во французском языке значительно больше синонимов для абстрактных понятий. В одном абзаце может встретиться слов пять, обозначающих в принципе то же самое. Чтобы не повторяться, переводчик вынужден заниматься настоящей эквилибристикой.

"ИЛ". Чем вам интересен Брюкнер как стилист?

Н. М. Его стиль очень французский, можно даже сказать, галльский. Почему-то у нас считается, что французы — народ фривольный, живущий не умом, а чувством (этакое водевильное представление). На самом деле французская культура, пожалуй, самая рациональная в Европе, недаром именно Франция — родина Корнеля и Декарта, Дидро и Вольтера. Картезианская ясность, помноженная на вольтерианское остроумие, — это и есть стиль Брюкнера. Впрочем, стиль, как и язык, нельзя описать. Приглашаю вас, перелистнув страницы журнала, попробовать его на вкус.

"ИЛ". Поскольку мы публикуем лишь фрагменты, скажите, пожалуйста, несколько слов об общей композиции "Вечной эйфории".

Н. М. В книге четыре части. В первой излагается, так сказать, история вопроса: как христианский культ страдания сменился в XVIII веке установкой на земное счастье, и это счастье постепенно сделалось эталоном, непременным атрибутом полноценного человека. Здесь же раскрывается механизм того, как забота об успехе, здоровье, красоте и сексе оборачивается тиранническим гнетом, доводит людей до депрессии и, в конечном счете, делает несчастными. Вторая часть — обзор кукольного мира, в котором царит мнимое счастье, а на самом деле — посредственность и пошлость. В третьей части идет речь о буржуа. Читатель, перекормленный в советское время антибуржуазными заклинаниями, может захлопнуть книжку, а зря — Брюкнер здесь ближе к Монтеню, чем к Марксу. Главный вопрос этой части книги, вопрос тривиальный и неисчерпаемый: деньги и счастье. Наконец, четвертая часть возвращает нас к теме страдания: запретное, изгнанное с поверхности жизни, оно взрывает царство вечной эйфории изнутри. Разумеется, Брюкнер не дает рецептов избавления от "вечной эйфории", но выражает надежду на

БиблиоФИЛ

возможность разумного синтеза тезы (культа страдания) и антитезы (культа счастья) в виде "искусства счастливо жить, признавая страдание и преодолевая его".

"ИЛ". В заключение нашей беседы хотелось бы пожелать серии "Studia Europaea", издательству и нашим собеседницам счастья – но, памятуя заветы Брюкнера, не "принудительного".

Материал подготовила Светлана Силакова

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Свиньин П. *Американские дневники и письма (1811–1813).* – М.: Парад, 2005. – 559 с. – 800 экз. (п)

Павел Петрович Свиньин (1787–1839) был известен как великий враль, Александр Сергеевич Пушкин сочинил про "Павлушу" ядовитую сказочку "Маленький лжец", а Гоголь называл его прототипом Хлестакова. Однако именно Свиньин оставил потомкам одно из первых русских описаний Соединенных Штатов Америки, недавно получивших независимость. Свиньин был секретарем генерального консула в Филадельфии, в Новом Свете он провел два года, объехал немало американских городов (хотя тогда их было гораздо меньше, чем сейчас) и рассказывал про тамошние нравы, пейзажи, состояние промышленности и экономики в дневниках и письмах, которые долгие годы лежали в архиве города Костромы, а теперь доступны каждому, кто успеет купить один из восьмиста экземпляров этой книги.

Таньшина И. *Политическая борьба во Франции по вопросам внешней политики в годы Июльской монархии:* Монография. – М.: Прометей, МПГУ, 2005. – 512 с. – 500 экз.

Редкая книга бывает посвящена Июльской монархии (1830–1848), так уж сложилось, что времена правления Луи-Филиппа Орлеанского не в чести ни у нас, ни во Франции. Меж тем последствия внешней политики тех лет французы чувствуют на себе до сих пор. Ведь как раз при Июльской монархии был завоеван Алжир. Впрочем, были и другие важные проблемы – отношения с Англией, Бельгия и ее независимость, Ближний Восток, Китай и, конечно, стремление дипломатов добиться признания Луи-Филиппа королем, равным его коронованным "коллегам". А то, скажем, наш Николай I так ни разу и не назвал Луи-Филиппа братом, как того требовал этикет, ибо считал узурпатором. Тому, как все эти вопросы решались во Франции, посвящена подробная и обстоятельная книга И. Таньшиной.

Бидструп Х. *200 лучших работ. Рисунки.* – М.: ИМД, 2006. – 208 с. – (Рисунки признанных мастеров). 5000 экз. (п)

Любите ли вы Бидструпа так, как люблю его я? Да, он был коммунистом и его карикатуры предельно политизированы, но это не отменяет того факта, что Херлуф Бидструп – замечательный художник. Всего несколькими штрихами он мог передать характер человека, изобразить всю его жизнь – смешную или трагическую. Над капиталистической повседневностью Бидструп, конечно, издевался, но все равно в советское время его рисунки были редким окном на Запад, позволявшим хоть краешком глаза взглянуть на европейский быт. В этот сборник вошли как известные карикатуры Бидструпа, так и те, что в советское время не издавались.

Де Голль Ш. *На острие шпаги* / Пер. с франц. О. Дубицкой. – М.: Европа, 2006. – 240 с. – (Идеологии). 2000 экз. (о)

Шарль де Голль излагает свою программу и свое кредо. Эти работы были написаны в 30-е годы, когда он еще не был ни президентом, ни генералом, а был простым полковником. Настоящим полковником. Убеждения его к тому времени сформировались настолько, что он решил изложить собственные взгляды на управление армией и государством на бумаге. Решил рассказать

соотечественникам, что нужно делать и чего делать не нужно. Правда, ни до Второй мировой, ни в 1940-е годы французы советам генерала не следовали. И только в конце 1950-х вспомнили о нем и выбрали его президентом — спасать отечество. Многие рекомендации де Голля пригодятся и нам.

Кучок В. *Дрянь ё (антибиография)*: Роман / Пер. с польского. Ю. Чайникова. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 176 с. — (Современное европейское письмо. Польша) Тираж не указ. (о)

Очень мрачная книга молодого польского писателя Войцеха Кучока про самую несчастливую семью на свете. Рекомендуется всем жестоким родителям, которые практикуют семейные наказания как форму проявления отеческой или материнской любви (может, наконец одумаются?). Стоит также отметить, что "европейское письмо" у Кучока очень тщательное, в итоге у каждого героя своя манера говорить, свои словечки и своя манера строить фразы, и тут уж старайся ни старайся, хитри ни хитри, а все вылезет наружу — и характер, и тайные помыслы, и отношение к окружающим.

Александрия. Жизнеописание Александра Македонского. — М.: Айрис-Пресс, Айрис-Дидактика, 2005. — 512 с. — (Библиотека истории и культуры). 5000 экз. (п)

Сербская версия столь популярной в Средневековье истории об Александре Македонском, одна из самых популярных светских книг догутенберговской эпохи. Александр здесь — это тот, который полмира завоевал, народы Гог и Магог в горах до Судного дня запер, на дно морское в бочке спускался и на гиппогрифах на небо летал. В новом издании воспроизводится рукописный список XVII века, а также свыше восьмидесяти средневековых миниатюр. Кстати, в русскую культуру легенда об Александре Македонском пришла именно из православной Сербии.

Гериттсен Т. *Хирург:* Роман / Пер. с англ. И. Литвиновой. — М.: Книжный клуб 36.6, 2005. — 320 с. (п)

Люди любят читать про кровавых маньяков. Меня всегда поражала популярность книг о расчленителях, а особенно меня волнует душевное состояние автора, который сладострастно описывает людоедов и серийных убийц. По-моему, у них самих что-то не в порядке с психикой. В оправдание Тесс Гериттсен скажу, что триллер про господина, который залезал в дом к женщинам, привязывал их скотчем к кровати, вырезал у несчастных матку, а затем убивал их, и про то, как его ловила мужественная, но не знакомая с простым женским счастьем детектив Джейн Риццоли, написан крайне увлекательно. Хотя местами уж больно смахивает на "Молчание ягнят" как сюжетом, так и приемами завоевания женской аудитории. Ни одна дама не захочет оказаться на месте хирурговых жертв, но какая дама не захочет почитать про приключения крутой женщины, которая не дает мужикам спуску и все время доказывает им и в первую очередь себе, что она ничуть не хуже!

"ИЛ" рекомендует

На книжных прилавках начала 2006-го

Выбор главного редактора

Адамсон Айзек *Эскимо с Хоккайдо (Hokkaido Popsicle)* / Перев. с англ. Л. Сумм. – М.: Эксмо, 2005. – 416 с. – (Тарантинки). 3000 экз.

Принудительный отпуск на японском острове Хоккайдо, куда отправлен Билли Чака, репортер кливлендского журнала "Молодежь Азии", бывший любитель гейш, начался с пощечины всемирно известному кинорежиссеру и безвременно оборвался, когда Ночной Портье прямым рейсом отправился из гостиничного номера в загробный мир. Затерянный в снегах отель наводнят кошки, а великая японская рок-звезда умрет в двух районах Токио разом. Глава крупнейшей студии звукозаписи будет изъясняться цитатами из "Битлз", а его подручный – с ностальгией вспоминать годы, проведенные в тюрьме Осаки. Худосочный бас-гитарист помешается на кикбоксинге, супертяжеловесы-близнецы хором поведают краткую историю рок-н-ролла, а небесталанный журналист поселится в картонном домике. Кроме того, шведская стриптизерша обучится парочке новых ругательств, нескольких человек "приостановят" и заморозят до 2099 года, а "Общество Феникса" уйдет в подполье. И все пострадавшие лишний раз убедятся в злонамеренности цифры "4".

Беллоу Сол *Серебряное блюдо (A Silver Dish and Other Stories)* / Перев. с англ. Ларисы Беспаловой. – М: Текст, АСТ, 2005. – 256 с. – (Проза еврейской жизни). 10000 экз.

В книгу вошли лучшие рассказы знаменитого американского писателя, лауреата Нобелевской премии Сола Беллоу. Герои писателя – умные, любящие, страдающие люди, которые, попадая в самые разные житейские ситуации, пытаются остаться личностями, сохранить чувство собственного достоинства.

В "ИЛ" публиковался роман Сола Беллоу "Между небом и землей" (1998, № 4), а также его рассказы и эссе (1997, № 5; 1999, № 2, 6; 2005, № 12).

Ван Ковелер Дидье *Воспитание феи (L'education d'une fee)* / Перев. с франц. М. Петрова. – М.: АСТ, АСТ Москва, Транзиткнига, 2006. – 192 с. – (Bestseller-2). 3000 экз.

Весьма необычный для Дидье ван Ковелера роман... В немыслимый клубок переплетаются незадачливые судьбы "мастера игрушек" Николя и его немолодой жены Ингрид, ее ма-

ленького сына Рауля — и юной иммигрантки с Ближнего Востока Сезар. Финал этой очаровательной "комедии положений" для интеллектуалов превосходит самые смелые ожидания...

В "ИЛ" (1996, № 3) опубликован роман Дидье ван Ковелера "Путь в один конец".

Кэри Питер *Моя жизнь как фальшивка (My Life as a Fake)* / Перев. с англ. Л. Сумм. — М.: Эксмо, 2005. — 336 с. — (Книга, о которой говорят). 12100 экз.

...Эта история началась на задворках цивилизации вскоре после войны как безобидная шутка. Посредственный поэт Кристофер Чабб решил доказать застойному австралийскому обществу, что поэзия жива, — и создал Боба Маккоркла, велосипедного механика, интеллектуала и автора гениальных стихов, равных которым еще не знала мировая культура. Случился страшный скандал — редактор, опубликовавший их, отправился под суд за оскорбление морали; на суде человек, которого быть не должно, встал и заявил, что Боб Маккоркл — это он. Поэзия и впрямь ожила, чтобы мстить своему создателю.

И тем, кто пойдет по стопам нового Франкенштейна, даже в ночном кошмаре не может привидеться, насколько жестокой окажется эта месть. А читателю предстоят бессонные ночи и попытки распутать тенета этой изобретательной мистификации.

Лу Эрленд *Допплер (Doppler)* / Перев. с норвежск. Ольги Дробот. — М.: Азбука-классика, 2005. — 256 с. — (Espresso). 10000 экз.

Новейший роман главного норвежского писателя современности, автора "Наивно. Супер", "У" и других бестселлеров, полюбившихся российскому читателю.

Господин Допплер уходит жить в лес. Он убивает тесаком лосиху, в супермаркете выменивает мясо на обезжиренное молоко и воспитывает ее лосенка. Он борется с ядовитыми стрелами детской поп-культуры, вытесывает свой собственный тотемный столб и сопротивляется попыткам дочки обучить его эльфийскому языку...

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2005, № 11.

Моррисон Тони *Любовь (Love) / Перев. с англ. Владимира Бошняка.* - М.: Иностранка, 2005. — 304 с. — (ИЛлюминатор). 5000 экз.

Тони Моррисон — первая афроамериканка, сначала получившая Пулицеровскую премию, а потом ставшая и нобелевским лауреатом по литературе (1993). Она перекроила американскую литературную историю XX века, считают исследователи ее творчества.

Роман "Любовь" (2003) — увлекательное исследование природы любви: страстной и жертвенной, эгоистической и граничащей с ненавистью, любви, которой одержимы героини романа; их кумир — отец, муж, любовник, опекун, друг — не появляется на страницах книги, он лишь оживает в их воспоминаниях.

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2005, № 9.

Паж Мартен *Как я стал идиотом (Comment je suis devenu stupide)* / Перев. с франц. Ирины Кузнецовой. — М.: Иностранка, 2005. — 139 с. — (За ИЛлюминатором). 5000 экз.

"Как я стал идиотом" — дебютный роман Мартена Пажа, тридцатилетнего властителя душ и умов сегодняшних молодых французов. Это "путешествие в глупость" поднимает проблемы, общие для молодых интеллектуалов его поколения, не умеющих вписаться в "правильную" жизнь. "Ум делает своего обладателя несчастным, одиноким и нищим, — считает герой романа, — тогда как имитация ума приносит бессмертие, растиражированное на газетной бумаге, и восхищение публики, которая верит всему, что читает".

В одной из рецензий книги Пажа названы "манифестом детской непосредственности и взрослого цинизма одновременно". Читатели же любят его за легкость письма, остроумие, фантазию и умение "не важничать", "не стараться выглядеть слишком взрослым".

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2005, № 7.

Смит Зэди *Белые зубы (White Teeth)* / Перев. с англ. Олеси Качановой и М. Мельниченко. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2005. — 672 с. — 5100 экз.

"Белые зубы" Зэди Смит — один из самых ярких и успешных дебютных романов, появившихся за последние годы в британской литературе. Блестящее комическое повествование, в котором рассказывается о дружбе, любви, войне, землетрясении, трех культурах, трех поколениях трех семей и об одной очень необычной мыши. Автор, как пишет "New York Times", – *"самобытный талант, знающий язык улицы и университетских аудиторий, дерзкий и философствующий одновременно"*...

Уэльбек Мишель *Оставаться живым (Rester vivant)* / Перев. с франц. Е. Белавиной, Е. Гречаной, Ильи Кормильцева, И. Кузнецовой, Ю. Покровской, Н. Шаховской, Михаила Яснова. — М.: Иностранка, 2005. — 344 с. — (The Best of Иностранка). 5000 экз.

В книгу автора мировых бестселлеров "Элементарные частицы" и "Платформа" вошли стихи из сборников "Погоня за счастьем" (премия Тристана Тцара, 1992), "Смысл борьбы" (премия "Флор", 1996), "Возрождение" (1999) и эссе "Оставаться живым" (1991), стилизованное под руководство для начинающих поэтов. М. Уэльбек, знаменитый язвительностью и жесткостью своей прозы, исповедуется здесь, как исповедовались поэты испокон веков, и приспосабливает к сегодняшнему дню все темы мировой поэзии, включая сатиру на окружающую жизнь, тоску по совершенству и неразделенную любовь. Многие из этих стихов положены на музыку французским композитором Б. Бюргала и вошли в первый альбом Уэльбека "Человеческое присутствие" ("Presence humaine", 2000).

Стихи и эссе Мишеля Уэльбека неоднократно публиковались в "ИЛ" (2001, № 5; 2002, № 3; 2003, № 3; 2005, № 3).

Эшбах Андреас *Один триллион долларов (Billion Dollar)* / Перев. с нем. Татьяны Набатниковой. — М.: Захаров, 2006. — 720 с. — (Европейский триллер). 10000 экз.

Вчера Джон Фонтанелли развозил по Нью-Йорку пиццу. Сегодня он — богатейший человек мира. Один триллион долларов. Миллион миллионов. Тысяча миллиардов. Денег больше, чем можно себе представить. Это состояние в течение пятисот лет собирало итальянское адвокатское семейство Вакки и управляло им до того дня, который был указан в завещании основателя династии. С этими деньгами Джон может делать что хочет. Но готов ли он теперь хоть кому-нибудь доверять? Джон наслаждается роскошной жизнью, пока в один прекрасный день не раздастся звонок от таинственного незнакомца, который утверждает, что знает, как использовать наследство, чтобы сбылось пророчество, о котором сказано в завещании. Что это за план? И действительно ли Джон способен привести этот план в исполнение?

Стол и стул для гиганта литературы

Фешенебельный лондонский район Хампстед имеет богатую литературную историю. Когда-то здесь жили Джон Китс, Перси Биши Шелли, популярный романист XIX века и возмутитель нравов Джордж Альфред Лоуренс. Именно здесь в течение нескольких месяцев лондонцы могли созерцать работу итальянца Джанкарло Нери "Писатель". Гигантская инсталляция — размерами с небольшой дом — представляла собой деревянный стол и стул, по мысли автора, символизировавшие творческое одиночество. На ее создание ушло шесть тонн стали и более тысячи погонных метров досок, а чтобы собрать конструкцию, доставленную из Рима, где она демонстрировалась два года, потребовалось несколько тысяч гаек и шурупов.

Римляне, кстати, нашли "Писателю" вполне практическое применение. В жаркие дни они укрывались в его тени от палящего солнца, а в какой-то момент пространство под столом облюбовали бездомные. Впрочем, Нери отнюдь не покоробило такое отношение к своему произведению — самому крупному, в буквальном смысле слова, — за последние двадцать лет. "Мои инсталляции находятся в общественном пользовании, и люди вольны распоряжаться ими как угодно", — сказал он.

Новое стихотворение Сафо

В античные времена поэзия Сафо служила предметом безграничного восхищения. Древние именовали поэтессу десятой музой. Живший во времена императора Августа историк Страбон писал, что "доселе мы не знали ни одной женщины, которая могла бы с ней сравниться в поэтическом мастерстве". А современник Сафо, афинский архонт Солон, услышав, как поют ее стихи, попросил обучить его этой прекрасной песне, "потому что хочется выучить ее и умереть".

Творчество Сафо известно благодаря найденным во время раскопок папирусам и пергаментам с записями ее стихотворений, дошедших до нас, как правило, в виде отрывков. Современные издания содержат 264 фрагмента, 63 отдельные строки и лишь 3 стихотворения целиком, которые и дают представление о поэтической манере античной поэтессы.

Однако благодаря недавнему открытию таких стихотворений стало четыре. Некоторое время назад археологи обнаружили египетскую мумию, завернутую в папирус, покрытый письменами, который датируется III веком до н. э. В прошлом году ученые Майкл Гроунуолд и Роберт Дэниел опознали текст как фрагмент произведения Сафо. Сопоставив его с фрагментом на папирусе, найденном в 1922 году во время раскопок одного из древнеегипетских городов, исследователи пришли к выводу, что вместе они составляют законченное стихотворение.

Сафо

Стихотворение состоит из 12 строк (6 строф). Некоторые слова в начальных строках отсутствуют, что, однако, не нарушает цельности восприятия.

Размышляя о надвигающейся старости, Сафо перечисляет ее симптомы и предлагает примириться с неизбежным. Как это часто бывает в древнегреческой лирике, Сафо дополняет свои рассуждения примером из мифологии, рассказывая легенду о прекрасном сыне троянского царя Титоне, в которого влюбилась и взяла себе в мужья богиня утренней зари Эос. По ее просьбе Зевс наделил юношу бессмертием, но Эос забыла испросить ему вечной молодости. Когда Титон состарился и одряхлел, а Эос надоело за ним ухаживать, она заперла мужа в своей спальне, где тот постепенно высох и превратился в цикаду.

Оливер Твист — кто он?

Долгое время считалось, что в романе "Приключения Оливера Твиста" Чарльз Диккенс описал свои детские переживания. Хотя судьба была более милостива к английскому классику, чем к его герою, появившемуся на свет в работном доме, а затем оказавшемуся в шайке воров, история злоключений Оливера Твиста, по мнению многих литературоведов, перекликается с воспоминаниями писателя о его безрадостном полуголодном детстве и изнурительной работе на фабрике, где юному Чарльзу с утра до ночи приходилось упаковывать баночки с ваксой.

Однако через 167 лет после опубликования романа возникла новая версия. Ее высказал в своей книге "Настоящий Оливер Твист" британский литературовед Джон Уоллер. По его предположению прототипом Оливера Твиста явился некий Роберт Блинко — человек из лондонских "низов", сумевший, как и Оливер, подняться на более высокую ступень социальной лестницы. Его подробная история, записанная неким журналистом, печаталась в начале 1828 года в нескольких номерах газеты "Лайон", а четыре года спустя вышла отдельным изданием под названием "Воспоминания Роберта Блинко".

Блинко родился в 1792 году в приходе Сент-Панкрас. В четыре года попал в работный дом. Когда Блинко исполнилось шесть, вместе с такими же детьми-горемыками он несколько месяцев работал трубочистом, а уже год спустя был отправлен в обучение на хлопкопрядильную фабрику. И все-таки, несмотря на нищенскую плату, к 25 годам Блинко удалось поднакопить денег и открыть собственное небольшое хлопкопрядильное предприятие. Однако в 1928 году случилось несчастье — пожар уничтожил купленное с таким трудом оборудование, а его хозяин оказался в долговой тюрьме. С мечтами о мануфактуре пришлось расстаться, и Блинко наладил торговлю отходами пряжи. Дела, видимо, шли неплохо, поскольку дети Блинко получили достойное образование: один из сыновей, в частности, закончил Кембридж и стал священником.

Специалисты по творчеству Диккенса отнеслись к гипотезе Уоллера с интересом, хотя не всем она показалась убедительной. Что же до обычных читателей, то повышенный интерес к этой теме непосредственно связан с фильмом Романа Поланского "Оливер Твист", который в конце минувшего года вышел на мировые экраны.

Испания

Хавьер Мариас пишет роман с продолжением

Яркая проза Хавьера Мариаса, лауреата многих престижных премий, пользуется большой популярностью и в Испании, и за рубежом. Его книги переведены на 34 языка, включая хинди. Известен Мариас и в России. В частности, в "ИЛ" публиковался его роман "В час битвы завтра вспомни обо мне..." (2002, № 5).

Уже несколько лет Мариас работает над романом с продолжением "Твое лицо завтра". Названием служит цитата из испанского перевода "Генриха IV" (в переводе Б. Пастернака полностью эта фраза звучит так: "При любой встрече узнаю тебя в лицо"). По-испански опубликованы две части — "Жар и копье" и "Танец и сон" (первая появилась также во французском и английском переводах). Предполагается, что томов будет три или больше, — в своей обычной афористичной манере Мариас поясняет, что "пишет, вооружившись не картой, а компасом", зная лишь общее направление пути, "иначе было бы скучно".

Мариас утверждает, что издавать роман отдельными частями он стал "по сугубо практической причине". Писателю хотелось, чтобы книгу успели увидеть два старика, чей жизненный опыт послужил для нее материалом: его отец, философ Хулиан Мариас, и британский испанист сэр Питер Рассел.

Тематически "Твое лицо завтра" перекликается с известным романом Мариаса "Все души", рассказывающим о жизни преподавателя-испанца в Оксфорде (где, кстати, автор и сам преподавал несколько лет).

В новом сочинении прежний безымянный герой получает фамилию Деса и сразу несколько имен: Жак, Джейкоб, Хайме. Деса работает в Лондоне на Би-би-си. Заинтересовавшись феноменальной способностью испанца — Деса может увидеть "твое лицо завтра", то есть предугадать поведение любого человека в будущем, — его вербуют английские спецслужбы.

Критики назвали "Твое лицо завтра" "философским шпионским

романом", одновременно найдя в нем сходство с прозой Пруста. Роман мало похож на более ранние вещи Мариаса. Действие, хронологически ограниченное рамками двух дней, нарочито замедлено. Оно до такой степени разбавлено пространными размышлениями, подробными описаниями, экскурсами в прошлое и будущее, что, как замечают рецензенты, "читатель вслед за героем начинает чувствовать себя провидцем". Сам Мариас поясняет, что решился на эксперименты со временем, вдохновившись фразой своего литературного наставника, знаменитого испанского прозаика Хуана Бенета: "Время — единственное измерение, позволяющее живым общаться с мертвыми".

Польша

Новый перевод "Дублинцев"

"Когда ты обнаружишь, что Дублин — столица с более чем тысячелетней историей, что он — вторая метрополия Британской империи, наконец, что он почти втрое больше Венеции, — тебе покажется странным, что до сих пор ни один художник не открыл этот город миру", — писал Джеймс Джойс из Триеста брату Станиславу в сентябре 1905 года. А в декабре того же года он сообщил тетке Джозефине Мерри, жившей в Дублине и снабжавшей писателя необходимыми подробностями о городе, что отправил издателю свой сборник "Дублинцы", в который включены двенадцать рассказов. Но радость Джойса оказалась преждевременной — книга, "потолстев" на три рассказа, увидела свет лишь девять лет спустя, 15 апреля 1914 года.

"Дублинцев" не издавали под разными предлогами. Сначала сборник отвергло лондонское издательство Гранта Ричардса — некоторые эпизоды были сочтены недопустимыми с точки зрения общественной морали. И несмотря на то, что автор готов был пойти на уступки, рукопись вернули. Через несколько лет потерпела фиаско попытка выпустить книгу в дублинском издательстве — к обвинениям в аморальности добавились еще и претензии политического характера. Дело в том, что герои одного рассказа не слишком уважительно высказывались в адрес короля Эдуарда VII. Пытаясь объясниться, автор даже написал письмо сыну "оскорбленного" короля Георгу V.

В результате многолетнего хождения от издателя к издателю Джойсу удалось договориться с Ричардсом. Когда же наконец многострадальную книгу удалось выпустить в свет, интерес она вызвала весьма скромный — за полгода во всем Объединенном Королевстве было продано 379 экземпляров, 120 из которых приобрел сам автор.

Польская версия "Дублинцев" в переводе маститой Калины Войцеховской, ныне покойной, вышла в свет в 1958 году. Теперь, по прошествии почти полувека, у польских читателей появилась возможность снова вернуться к произведениям Джойса и оценить их уже в переводе Збигнева Батко, довольно известного в Польше переводчика с английского и сценариста.

Вопрос о необходимости новых переводов классики остается спорным. С одной стороны, существуют переводные произведения, признанные в некоем смысле каноническими. Но с другой стороны — каждое новое поколение предъявляет свои требования к языку. "Новые переводы классических произведений должны быть нормой, — считает автор статьи в польской газете "Тыгодник повшехны". — Именно так обстоит дело в Германии, где "Дневники" Гомбровича уже изданы в двух вариантах".

Неизвестно, как сложится судьба нового перевода "Дублинцев", но поговаривают, что Батко уже принялся за "Улисса".

Франция

За что иностранцы любят Мишеля Уэльбека?

Выход нового романа Мишеля Уэльбека "Возможность острова" стал событием не только во Франции, но и за ее пределами. В прессе появились многочисленные отклики, и спектр мнений весьма широк: от восторгов до полного неприятия. Однако факт остается фактом: на сегодняшний день вряд ли кто-то из французских писателей может состязаться с автором "Элементарных частиц" в популярности. Впрочем, считает журнал "Нувель обсерватёр", книги Уэльбека пользуются бóльшим успехом за границей, чем во Франции, где отношение к ним остается довольно неоднозначным.

Романы Уэльбека переведены на 36 языков, включая албанский, ко-

рейский, сербский, литовский, исландский (в "ИЛ" печатались "Элементарные частицы" и "Платформа"). Недавно в Эдинбурге прошел международный коллоквиум, на котором присутствовали специалисты по творчеству писателя-бунтаря. "Для меня Уэльбек — крупнейший писатель современности, — говорит организатор коллоквиума профессор из Шотландии Гейвин Боуд, — причем последний роман, на мой взгляд, лучшая его книга. Хотя, возможно, неподготовленному читателю трудно будет уловить все нюансы, связанные с французской поп-культурой, тем не менее в Англии немало людей, которые знают Францию, и для них понять соль романа не составит большого труда". Точку зрения Боуда разделяет и итальянская издательница Уэльбека Элизабетта Згарби: "Я открыла для себя Уэльбека еще до того, как критики заговорили о нем как о заметном явлении. Этот писатель создает особые миры, отличные от тех, что исследуют другие авторы, приверженцы эстетики постмодернизма". Что до воззрений Уэльбека, в частности, апологетики секс-туризма или скандальных высказываний по поводу ислама, которые во Франции дали повод к судебному разбирательству, то иностранных издателей мало смущает авторский радикализм. "Уэльбек излагает свои взгляды очень искренне и серьезно, что уже внушает уважение, — говорит испанский издатель Хуан Гонсалес. — И его мировоззрение значительно сложнее, чем думают многие". Но больше всего поклонников у Уэльбека в Голландии, Великобритании и Германии. К слову, именно в Германии, где тиражи романов Уэльбека перевалили за сотню тысяч, сейчас снимается фильм по мотивам "Элементарных частиц". В меньшинстве те, кто мыслит подобно критику газеты "Вельт": "Нельзя не увидеть иронии в том, что в Германии политкорректные левые буржуа упиваются книгами, полными моральной апатии и цинизма. Будь Уэльбек немцем, эти же люди заподозрили бы его во всех грехах (усмотрев, например, в утопии о клонах намек на генетические опыты нацистов) и не допустили бы публикации романов".

По материалам газет "Гардиан", "Обсервер" [Великобритания], "Паис" [Испания], "Тыгодник повшехны" [Польша], еженедельника "Таймс литерари саплемент" [Великобритания], журнала "Нувель обсерватёр" [Франция].

Амели Нотомб
Amelie Nothomb
Бельгийская писательница.

Автор романов *Гигиена убийцы* [*Hygiène de l'assassin*, 1992; рус. перев. 2005], *Пеплум* [*Péplum*, 1996], *Преступление* [*Attentat*, 1997; рус. перев. 2003], *Ртуть* [*Mercure*, 1998; рус. перев. 2003], *Страх и трепет* [*Stupeur et tremblements*, 1999, Гран-при Французской академии; рус. перев. 2002]; *Метафизика труб* [*Métaphysique des tubes*, 2000], *Косметика врага* [*Cosmetique de l'ennemi*, 2001], *Словарь имен собственных* [*Robert des noms propres*, 2004; рус. перев. 2004], *Биография голода* [*Biographie de la faim*, 2004] и др. В *ИЛ* напечатан ее роман *Антихриста* [*Antechrista*, 2004, № 10].
Публикуемый роман печатается по изданию *Le Sabotage amoureux* [Paris: Albin Michel, 1993].

Патрик Каванах
Patrick Kavanagh
[1904–1967]. Ирландский поэт.

Автор книг стихов *Пахарь и другие стихотворения* [*Ploughman and Other Poems*, 1936], *Великий голод* [*The Great Hunger*, 1942], *Потанцуй с Китти Стобling* [*Come Dance with Kitty Stobling*, 1960] и др. В 1972 году опубликовано полное собрание стихотворений.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Избранное* [*Collected Poems*. New York: W.W. Norton & Company, 1973].

Николь Краусс
Nicole Krauss
Американская писательница.

Автор романа *Человек входит в комнату* [*Man Walks into a Room*, 2003].
Публикуемый роман печатается по изданию *The History of Love* [New York, London: W. W. Norton & Company, 2005].

Паскаль Брюкнер
Pascal Bruckner
[р. 1948]. Французский писатель. Лауреат премий Ренодо [1997] и Медичи [1995].

Автор романов *Горькая луна* [*Lune de fiel*, 1981], *Божественное дитя* [*Le Divin enfant*, 1992; рус. перев. 1997], *Похитители красоты* [*Les Voleurs de beauté*, 1997; рус. перев. 1999], эссе *Рыдание белого человека* [*Le Sanglot de l'homme blanc*, 1983], *Демократическая меланхолия* [*La Mélancolie démocratique*, 1990). В *ИЛ* печатался фрагмент из книги *Искушение невинности* [*La Tentation de l'innocence*, 2003, № 6].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *L'Euphorie perpétuelle. Essai sur le devoir de bonheur* [Paris: Éditions Grasset et Fasquelle, 2000].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иностранная литература* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Ж. Гина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор многих работ по английской поэзии рубежа XVI–XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Леонид Владимирович Костюков [р. 1959]. Прозаик, эссеист, преподаватель. Лауреат премии *Улоф* за лучший рассказ [2000], премии *Дружбы народов* [2000].

Автор книг *Он приехал в наш город* [1998], *Великая страна* [2002], *Просьба остановить вагон* [2004], а также многих статей в периодических изданиях.

Светлана Владимировна Силакова Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также переводы романов П. Теру *Колун Тонг* [2002, № 4] и Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11–12] и др.

Константин Аркадьевич Мильчин [р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Оксана Юрьевна Чуракова Переводчик с французского.

В ее переводах опубликованы романы *Бесприютный* и *Уйди скорей или спеши назад* Ф. Варгас, *Внешность* Ж. М. Аризи. В *ИЛ* публикуется впервые.

Григорий Геннадьевич Стариковский [р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, Э. Хекта, Д. Махуна, С. Беккета, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его переводы Л. Арагона [2002, № 5] и Л. Глик [2004, № 4].

Елена Викторовна Левенсон Врач-иммунолог, доктор медицинских наук. С 1992 года живет в Америке.

Автор воспоминаний о семье Цветаевых, опубликованных в русско-американском журнале *Вестник* [2005, № 5 и № 12]. В качестве переводчика выступает впервые.

Наталья Самойловна Мавлевич Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолиттл* [1999] и премии имени Мориса Ваксмахера [2002].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдорора* Лотреамона [1993, № 1], романы А. Сарразен *Перелом* [1993, № 10, 11], Э. Ажара *Голубчик* [1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [2004, № 10], Дай Сы-цзе *Комплекс Ди* [2005, № 8], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса Э.-Э. Шмитта *Гость* [2004, № 6] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины современного канадского художника Андре Дюрана *Смерть Адониса* [1993].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.2.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 155.
Тираж 7500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

До конца 2006 года будут напечатаны:

"Флоренс Аравийская" – роман хорошо известного российскому читателю американца КРИСТОФЕРА БАКЛИ, увлекательный остросатирический рассказ о молодой женщине, волею обстоятельств вовлеченной в разворачивающуюся в Арабских Эмиратах политическую интригу.

"Не отпускай меня" – новинка от известного английского романиста КАДЗУО ИСИГУРО. Это антиутопия, где речь пойдет о клонировании. Автор, мастер закрученной интриги, рассмотрел проблему в очень необычном ракурсе...

"Свидания" – маленький французский роман о любви мастера стильной прозы КРИСТИАНА ОСТЕРА, которого "ИЛ" впервые представляет на русском языке.

"Игра в вышибалу" – новый роман самого читаемого автора в Чехии, МИХАЛА ВИВЕГА.

"Педант на кухне" – книга кулинарных рецептов от именитого английского острослова ДЖУЛИАНА БАРНСА.

"Мой XX век" – мемуары одного из крупнейших польских поэтов АЛЕКСАНДРА ВАТА, построенные на основе его бесед с Чеславом Милошем.

"Сефард" – роман-эссе АНТОНИО МУНЬОСА МОЛИНЫ, одного из самых известных писателей современной Испании.

"Гуантанамо" – документальная книга итальянского журналиста КАРЛО БОНИНИ, где рассказывается о знаменитой американской тюрьме, расположенной на военно-морской базе США на Кубе.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

---

[4] 2006

ПЬЕСА ПИТЕРА ШЕФФЕРА "СОГЛЯДАТАЙ" / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: ДНЕВНИКИ ДЖОНА ФАУЛЗА / РОМАН "ПЁС ОДИССЕЯ" САЛИМА БАШИ / "МИКРОРАССКАЗЫ" ВАН МЭНА / БАЛИНТ БАЛЛАШИ В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"

БРИТАНСКИЙ СОВЕТ В РОССИИ / ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» /
ГАЗЕТА «КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» / СОЮЗ «МАСТЕРА ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА»

объявляют конкурс

"Единорог и Лев"

на лучший перевод на русский язык литературы Британских островов

BRITISH COUNCIL Russia

книжное обозрение

Премия за лучший перевод будет присуждена в двух номинациях:
перевод прозы / перевод поэзии

На конкурс принимаются переводы произведений авторов с Британских островов. Произведения для конкурса должны быть впервые опубликованы на языке оригинала с 1980 по 2005 год; переводы на русский язык – с 2000 по 2005 год.

Выдвижение на соискание премии могут осуществлять:
издательства / редакции газет и журналов, регулярно освещающих литературный процесс / библиотеки федерального подчинения / областные научные универсальные библиотеки / национальные библиотеки республик / краевые библиотеки.
Каждая организация может выдвинуть
не более двух произведений в каждой номинации.

Выдвижение на соискание премии будет производиться с 15 марта до 15 мая 2006 года. Заявку и 2 копии издания, содержащего номинируемый перевод, необходимо прислать до 15 мая по адресу: 129272, Москва, Сущевский вал, 64. Редакция газеты «Книжное обозрение». На конверте должно быть указано: Премия «Единорог и Лев».
Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки, поступившие после 15 мая.

Заявка должна содержать в себе следующую информацию:
название произведения (на русском и английском языках) / фамилию и имя автора (на русском и английском языках) / фамилию и имя переводчика и краткую информацию о нем / контактные координаты номинирующей организации / фамилию и имя представителя номинирующей организации.

Объявление итогов конкурса состоится на Московском международном открытом книжном фестивале, который пройдет с 30 июня по 2 июля 2006 года.
Премия победителям –
участие в Эдинбургском книжном фестивале в августе 2006 года.
В дальнейшем конкурс предполагается сделать ежегодным.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Британский Совет к Татьяне Ильиной / tatiana.ilyina@britishcouncil.ru

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №3, 1-288